НЕКРАСОВ



В. Жданов

ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ ЛЮДЕЙ

Жизнь замечательных людей

Серия биографий

ОСНОВАНА
В 1933 ГОДУ
М. ГОРЬКИМ



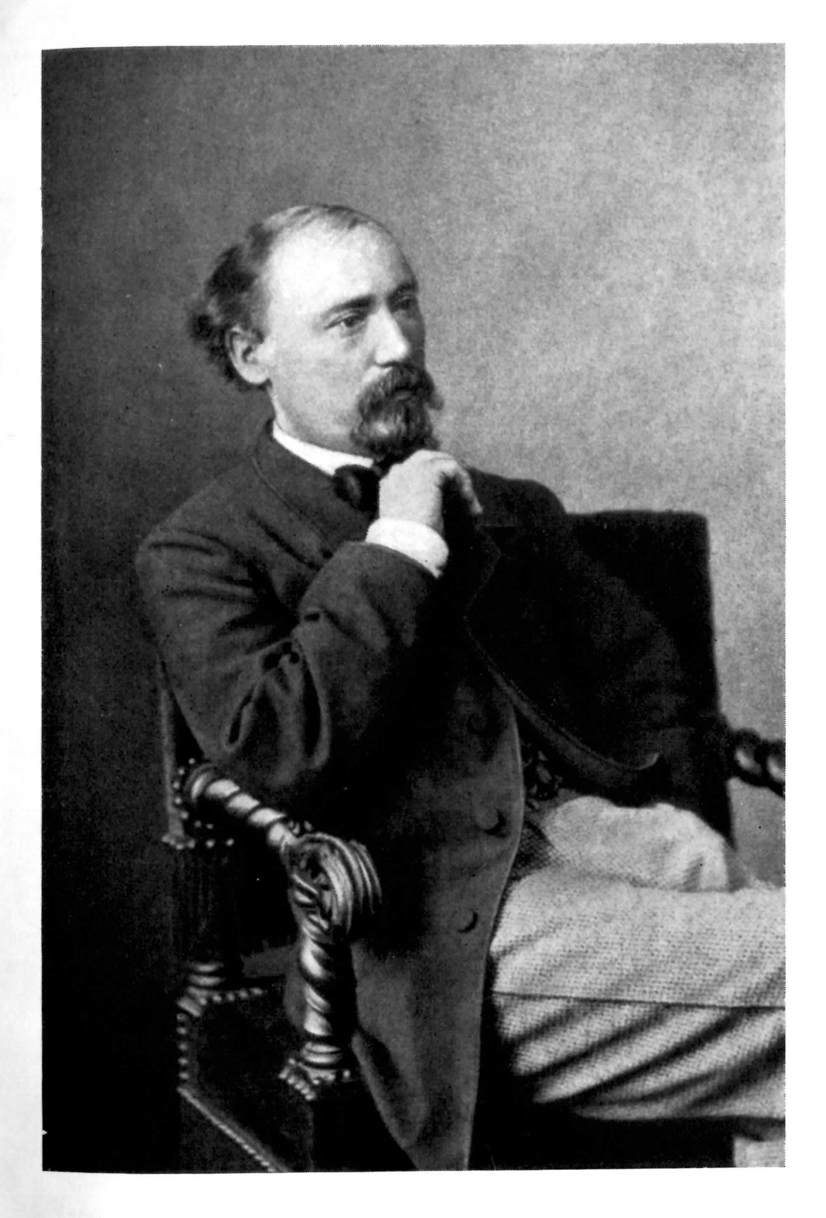
ВЫПУСК 18
(506)

МОСКВА
1971

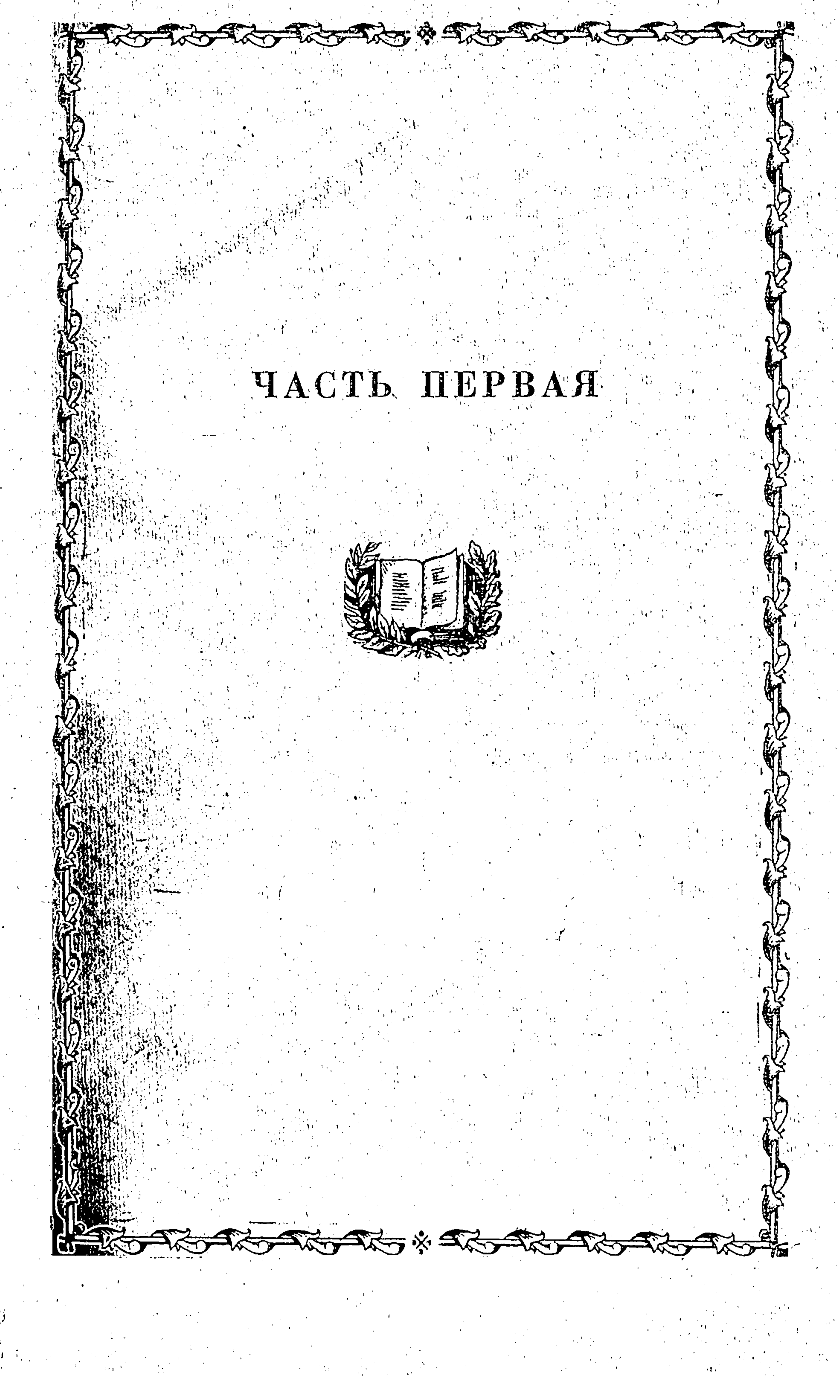
В. Жданов

НЕКРАСОВ

ИЗДАТЕЛЬСТВО
ЦК ВЛКСМ
«МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ»



Ник. Некрасов



ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

1

ДЕТСКИЕ ГОДЫ

В старой энциклопедии сказано, что городок Немиров на Украине — это небольшой населенный пункт Брацлавского уезда Подольской губернии, что в нем имеются гимназия, один винокуренный и два колокольных завода. После Богдана Хмельницкого городок этот переходил то к полякам, то к туркам, поэтому состав его населения был самый пестрый. К концу прошлого века в Немирове насчитывалось 5419 жителей, а в начале века их было, надо полагать, и того меньше.

В этом захолустном местечке, расположенном на юго-западе России, в непосредственной близости от тогдашней русско-польской границы, суждено было родиться Некрасову.

Отец поэта, помещик Алексей Сергеевич Некрасов (1788—1862), служил в чине поручика в 28-м егерском полку, стоявшем в городке Литин Подольской губернии. В 1817 году, вероятно, на одном из традиционных офицерских балов, куда нередко приглашались окрестные помещики, он познакомился с дочерью украинского дворянина Андрея Семеновича Закревского, занимавшего тогда пост капитан-исправника Брацлавского уезда. Известно, что Закревский одно время владел довольно большим имением в местечке Юзвин (того же уезда) с приписанными к нему шестью деревнями, были у него и другие владения.

Вскоре семнадцатилетняя Елена Андреевна стала невестой, а затем и женой Алексея Сергеевича Некрасова. Поздней осенью, 11 ноября 1817 года, в местечке Юзвин, в церкви, находившейся в имении отца невесты, состоя-

лась свадьба, после которой молодые поселились в Литине, где и прожили несколько лет. В 1820 году у них родился сын Андрей, в 1821-м — дочь Елизавета. К этому времени Алексей Сергеевич служил уже в 36-м егерском полку, стоявшем по соседству, — в Немирове. Здесь-то и родился у них третий ребенок — сын Николай, а вслед за ним — дочь Анна (1823) и сын Константин (май 1824); позднее, в Грешневе, родился Федор (28 февраля 1827). В Немирове Некрасов, уже имея чин штабс-капитана, а потом и капитана, прослужил до января 1823 года, когда по болезни был «уволен от службы» в чине майора.

Брак этот был во многом неравный и не сулил ничего хорошего юной Закревской. Впоследствии у Некрасова-сына сложилось даже представление, что свадьба была сыграна без согласия родителей невесты, вопреки их воле. Вряд ли это было так, но нетрудно себе представить, что солдафон, картежник и гуляка мало привлекал родителей в качестве мужа их любимой дочери. В одном из автобиографических набросков, сделанных в конце жизни, поэт так объяснял недовольство Закревских: «Армейский офицер, едва грамотный, и дочь... богача — красавица, образованная, певица с удивительным голосом...»

Не сохранилось никаких сведений о том, как жила семья Некрасовых в Подольской губернии. До недавнего времени даже не было известно, где именно родился будущий поэт; да он и сам этого в точности не знал, в большинстве биографических очерков (как старых, так и выпущенных в наше время) местом его рождения обычно называли село (имение) Грешнево Ярославского уезда, в котором протекало его детство. Теперь же благодаря вновь обнаруженным документам[1] установлено точно, что Николай Алексеевич Некрасов родился в местечке Немирове 28 ноября (10 декабря) 1821 года[2]. По-видимому, в конце 1824 года (но не раньше октября) Алексей Сергеевич вместе с семьей переехал в Ярославскую губернию, в свое родовое имение Грешнево.

Маленький Некрасов обладал удивительной памятью. И, несмотря на то, что ему было всего около трех лет, он на всю жизнь запомнил, как экипаж, в котором он вме-

---

[1] См. сообщение А. В. Попова «Когда и где родился Некрасов?». «Литературное наследство», т. 49—50. М., 1946.

[2] В дальнейшем все даты даются только по старому стилю.

сте с братьями и сестрами очень долго ехал, остановился у подъезда, как внесли его на руках в темные комнаты, в одной из них был наполовину разобран пол, а в другой он увидел двух старушек в очках, сидевших перед нагоревшей свечой и вязавших чулки... Это были мать и тетка Алексея Сергеевича.

Так началась новая жизнь в родовой усадьбе, оставившая глубокий след в душе будущего поэта.

Сельцо Грешнево, «усадьба господ Некрасовых», стояло на столбовом почтовом тракте, между Ярославлем и Костромой, в каких-нибудь двадцати верстах от Ярославля. Барский дом выходил прямо на дорогу, а называлась она тогда Сибиркой, или Владимиркой. Это была та самая знаменитая Владимирка, по которой немало прошло людей, осужденных на каторгу и ссылку. В воспоминаниях Некрасова говорится об этой дороге: «...все, что по ней шло и ехало и было ведомо, начиная с почтовых троек и кончая арестантами, закованными в цепи, в сопровождении конвойных, было постоянной пищей нашего детского любопытства».

«Во всем остальном, — продолжает Некрасов, — грешневская усадьба ничем не отличалась от обыкновенного типа тогдашних помещичьих усадеб; местность ровная и плоская, извилистая река (Самарка), за нею... перед бесконечным дремучим лесом — пастбище, луга, нивы. Невдалеке река Волга. В самой усадьбе более всего замечателен — старый обширный сад...» Детские впечатления навсегда врезались в память Некрасова. В стихах о старом помещичьем доме, об отце-рабовладельце, о страданиях матери, о бурлаках на волжском берегу, о крестьянских детях и многом другом — мы находим правдивую и скорбную повесть о трудном детстве поэта.

Перечитаем эти стихи:

И вот они опять, знакомые места,
Где жизнь отцов моих, бесплодна и пуста,
Текла среди пиров, бессмысленного чванства,
Разврата грязного и мелкого тиранства;
Где рой подавленных и трепетных рабов
Завидовал житью последних барских псов,
Где было суждено мне божий свет увидеть,
Где научился я терпеть и ненавидеть...

Конечно, в некрасовской «Родине» говорится не только о детстве и об отце, здесь вся трагедия крепостного быта, подневольной жизни, где все подавлено неукроти-

мой властью помещика, где барским псам предоставлено больше прав, чем забитым и запуганным людям.

У Некрасова нет и в помине элегических раздумий и сожалений по поводу гибели — пока еще воображаемой — дворянской усадьбы с ее тишиной и очарованием. Наоборот, с отрадой наблюдает он упадок поместного быта, оскудение родового гнезда своих «отцов», видя в этом справедливый финал их бесплодной и преступной жизни.

* * *

Отец поэта принадлежал к старинному, но обедневшему роду дворян Некрасовых, происходивших из Орловской губернии. Еще в молодые годы и он, и его братья избрали военную карьеру. В литературе есть упоминание (главным образом, со слов поэта) о том, что Алексей Сергеевич принимал участие в Отечественной войне 1812 года, а его братья погибли в Бородинском сражении[1]. Во время службы своей в Подольской губернии он был в течение некоторого времени адъютантом П. X. Витгенштейна, командовавшего армией, расположенной на юге страны.

Судя по всему, Алексей Сергеевич был типичный служака из дворян-крепостников, — один из тех, на кого опирались жестокие законы армейской жизни того времени. Уверенный в справедливости этих законов, он был чужд каких бы то ни было умственных интересов. Офицерские похождения, безудержный разгул и карты наполняли его жизнь в часы, свободные от службы.

Однажды, много лет спустя, сын спросил у отца о прошлом своего рода. Алексей Сергеевич ответил:

— Предки наши были богаты, прапрапрадед ваш проиграл семь тысяч душ, прапрадед — две, дед (мой отец) — одну, я ничего, потому что нечего было проигрывать, но в карточки поиграть тоже любил...

Тотчас по возвращении в свою усадьбу (в эти годы он обладал всего сотней душ крепостных обоего пола) Алексей Сергеевич принялся наводить в ней суровый порядок. От природы он обладал деспотическим характером, а годы военной службы укрепили в нем наклонность к властолюбию, черствость души. К тому же он был глу-

[1] Впрочем, сведения эти исследователями оспариваются.

боко убежден в незыблемости священного помещичьего права полновластно распоряжаться жизнью и судьбой крепостных крестьян. Свято верил он и в то, что крестьяне обязаны заботиться о благе и процветании своего помещика. Поэтому он ввел самую тяжелую барщину, при которой крепостным вовсе не оставалось времени для работы на себя. «Всю неделю работали для него, а для себя только по ночам да по праздникам», — вспоминал один из грешневских крестьян.

Среди поощрительных мер в малодоходном некрасовском имении преобладали розги и кулачная расправа. Все грешневские старожилы, которых в начале нашего века удалось найти и расспросить биографам поэта, в один голос подтвердили, что наказания на конюшне были самым обыкновенным явлением в Грешневе. Местный житель Платон Прибылов подтвердил, что Алексей Сергеевич «крестьян часто сек, особенно за пьянство». Случалось, что во время охоты псари избивали по барскому приказу какого-нибудь ловчего или егеря за самую мелкую оплошность.

Охота, кстати сказать, занимала очень большое место в быту Некрасова-отца и была поставлена на широкую ногу. Конечно, это пагубно отражалось на его бюджете. Едва сводя концы с концами, он тем не менее держал до двадцати псарей и множество собак самых отменных пород [1].

Алексей Сергеевич вполне мог бы отнести к себе слова водевильного куплета, сочиненного Некрасовым-сыном:

Дорога моя забава,
Да зато и веселит, —
Об моей охоте слава
По губернии гремит!

В стихотворении «Псовая охота» с документальной точностью описана эта дорогая барская забава, наводившая ужас на окрестные селения; поэт не забыл упомя-

[1] В одном из писем А. С. Некрасова (от 22 ноября 1856 года) говорится: «...с 1 августа начал я охотиться; охота шла довольно хорошо, зайцев по 14 ноября затравлено 634, лисиц три... Борзых есть у нас 20, гончих 24, те и другие отличные». Письмо относится к тому времени, когда охотничье хозяйство Алексея Сергеевича уже шло к упадку. Количество загубленных зайцев не должно нас удивлять: дело в том, что заячье мясо, засоленное в бочках, всю зиму ели и господа и дворня; шкурки же шли на продажу.

нуть о перепуганных детях, о затоптанных полях, об избитом арапником крестьянском парне...

Отец нередко брал сына на охоту, потому-то уже в юные годы ему приходилось не только стрелять в глухарей и вальдшнепов, но и травить волков. В одном из поздних набросков Некрасов отметил: «В пятнадцать лет я был вполне воспитан, Как требовал отцовский идеал: Рука тверда, глаз верен, дух испытан».

Выжимая все, что можно из крестьянского скудного хозяйства, Алексей Сергеевич все-таки не мог обеспечить благосостояние имения; ему приходилось изыскивать разные дополнительные средства обогащения. Например, одно время он держал на Костромской дороге нечто вроде почтовой станции («почтовую гоньбу», как тогда говорили); это значило, что определенный участок дороги обслуживался лошадьми из некрасовской конюшни. Колоритное свидетельство об этом сохранилось на страницах газеты «Ярославские губернские ведомости», где Алексей Сергеевич довольно часто публиковал самые разнообразные сообщения.

В двух номерах этой газеты (№ 51 за 1847 год, № 1 за 1848 год) можно прочесть следующее:

«1 января 1848-го года Ярославского уезда в сельце Грешнево на 23 версте от Ярославля выставлены будут от помещика майора Некрасова лошади для вольной гоньбы, в перемене коих никто из проезжающих из Ярославля прямо в Кострому и обратно не встретит ни малейшего замедления; плата же назначается 8 копеек, полагая на ассигнации, с лошади за версту».

Расточительный, когда дело касалось охоты и псарни, Алексей Сергеевич в других случаях отличался необычайной скаредностью, даже алчностью. Достаточно сказать, что почти всю жизнь он вел тяжбы, обнаруживая удивительную ловкость и настойчивость в стремлении отсудить хотя бы незначительную денежную сумму.

В своей трехтомной биографии Некрасова В. Евгеньев-Максимов рассказывает (по материалам ярославского архива), что вскоре после возвращения в родовое имение Алексей Сергеевич начал тяжбу со своей сестрой Татьяной Сергеевной[1]; предметом тяжбы был один «беглый

[1] В. Евгеньев-Максимов ошибочно называет ее Еленой Сергеевной. См. статью А. Ф. Тарасова Новые архивные мате-

человек», крепостной крестьянин Степан Петров, пойманный уже после того, как был произведен раздел состояния между братьями и сестрами Некрасовыми. Процесс тянулся много лет и закончился полной победой брата, умножившего свое крепостное богатство ровно на одну «душу». Не довольствуясь этим, он возбудил новое дело против сестры, требуя возмещения судебных издержек. И в этом случае суд оказался на стороне Алексея Сергеевича.

Предметом другого, более крупного процесса, который в течение нескольких лет вел отец Некрасова, явились имения во Владимирской и Симбирской губерниях, где крестьяне были доведены до полной нищеты. «Вся жизнь его была посвящена этому процессу», — отмечает Некрасов-сын в своих автобиографических заметках.

Но бывали случаи, когда коса находила на камень. Так около 1847 года Алексей Сергеевич сам оказался под судом. Ярославский почтмейстер привлек его к ответственности за нанесение побоев смотрителю почтовой станции. Дело это тяготело над Некрасовым больше десяти лет.

* * *

Мрачная обстановка грешневской усадьбы легко могла бы погубить натуру податливую, растлить душу нестойкую. Разве мало известно примеров, когда на крепостных хлебах вырастали люди очерствелые, бездеятельные, духовно опустошенные? И кто знает, как пошло бы развитие юного Некрасова, если бы не оказалось сил, способных противостоять жестким нравам крепостного времени.

Прежде всего надо вспомнить о его матери — Елене Андреевне.

Может быть, ни один поэт не посвятил столько проникновенных строк своей матери, как Некрасов. И это легко понять: роль матери в его жизни была велика и благотворна. «Во мне спасла живую душу ты!» — восклицал он. Вот почему светлый образ матери так прочно вошел в некрасовскую лирику.

Во всем противоположная своему мужу, Елена Андреевна была в его доме явлением как бы иного мира. «Русокудрая, голубоокая, с тихой грустью на бледных

риалы о семье Некрасовых, в кн.: «О Некрасове, статьи и материалы», вып. 2. Ярославль, 1968, стр. 265.

устах», она меньше всего была похожа на помещицу, барыню, владелицу усадьбы. С молчаливым осуждением наблюдала она разгульную жизнь и жестокость помещика, который был ее мужем, и первая принимала на себя ярость его гнева. А поводов для гнева было достаточно. К Елене Андреевне приходили искать защиты и помощи грешневские крестьяне, и она как могла помогала им. Она вступалась за своих детей, когда им угрожало несправедливое наказание, или просто старалась уберечь их от неприглядных сцен, разыгрывавшихся в доме.

Все это вызывало крайнее раздражение Алексея Сергеевича, не желавшего ни в чем себя ограничивать. Со слов грешневских крестьян известно, что он позволял себе поднимать руку на жену. «Грозный властелин», державший «под страхом всю семью и челядь жалкую свою», Алексей Сергеевич, не задумываясь, унижал достоинство своей жены, не церемонился с детьми. Поразительные строки обнаружил среди некрасовских рукописей К. И. Чуковский, — ему удалось расшифровать следующий черновой набросок:

«Чай не хорош...» — и чашку опрокинул,
И Аграфену приказал позвать
И ей ему чай сделать...
Вдруг отец
Сказал: «садись», и села Аграфена,
И нагло посмотрела на нее,
На мать мою...

За каждым словом этого незавершенного отрывка угадывается драматическая ситуация. Не следует думать, что подобные сцены обязательно имели место в некрасовском доме. Перед нами, по всей вероятности, набросок художественного произведения. Но это не меняет того факта, что, обращаясь к грешневским воспоминаниям в зрелые годы, поэт допускал возможность такой ситуации.

Исследователем семейного быта Некрасовых [1] доказано, что в 1838 году (год отъезда будущего поэта в столицу) грешневской крепостной Аграфене было всего четырнадцать лет. Она поселилась в барском доме только спустя несколько лет после смерти Елены Андреевны. Алексей Сергеевич, оставшийся к этому времени почти в одиночестве (одни дети разъехались, другие умерли),

---

[1] См.: А. Ф. Тарасов, Новые архивные материалы о семье Некрасовых, в сб.: «О Некрасове, статьи и материалы», вып. 2. Ярославль, 1968, стр. 267—268.

облек Аграфену большой властью, сделал ее «домоправительницей» (Анна Алексеевна, сестра Некрасова, в своих воспоминаниях так и называет ее: «домоправительница Аграфена Федоровна»), а около 1850 года дал ей «вольную»; позднее благодаря его стараниям она стала именоваться ярославской мещанкой.

С малых лет Коля Некрасов был горячо привязан к матери. Нетрудно представить себе: чем больше отталкивал его от себя отец и чем больше невзгод выпадало на долю матери, тем сильнее были его сочувствие и тяготение к ней. Многие часы проводили они вместе. Не раз случалось им, обнявшись, плакать где-нибудь украдкой. И в стихах своих Некрасов часто вспоминал и нежный голос матери, и ее «печальный взор», и «тихий плач», и «бледную руку», ласкавшую его, когда в сумерках они сидели «у догоравшего огня»...

Но не одна только безропотная покорность судьбе отличала Елену Андреевну. Нет, как ни трудно было ей противостоять необузданному характеру мужа, однако и ему порой приходилось отступать перед ее твердостью, когда речь шла о детях, когда их надо было уберечь от «безумных забав» отца. И не напрасно, конечно, Некрасов называл свою мать святой, подвижницей — подвижничество невозможно без упорства и силы, без стойкости духа. А в поэме «Мать» говорится даже, что она могла бы дать «урок железной воли» для русской женщины, которой судьба оставила мало сил для борьбы. Так высок был в глазах сына нравственный авторитет его матери.

Елена Андреевна получила довольно широкое по тем временам образование: она вместе со своими тремя сестрами воспитывалась в женском пансионе в Виннице, где изучала языки, в том числе польский, знакомилась с иностранной литературой. Она хорошо играла и пела. Позднее Некрасов засвидетельствовал, что первые понятия о Данте и Шекспире он получил от матери: она умело превращала их творения в «сказки» о рыцарях, монахах, королях.

Потом, когда читал я Данте и Шекспира,
Казалось, я встречал знакомые черты:
То образы из их живого мира
В моем уме напечатлела ты.

Лишь в зрелые годы Некрасов мог полностью осознать, в каком вопиющем несоответствии находились

умственные интересы его матери и дикарские нравы окружающей среды, какая пропасть отделяла ее от мужа.

И стал я понимать, где мысль твоя блуждала,
Где ты душой, страдалица, жила,
Когда кругом насилье ликовало,
И стая псов на псарне завывала,
И вьюга в окна била и мела...

Характерно, что псарня не раз появляется у Некрасова как некий символ поместного быта крепостной поры.

Уже на склоне дней, подводя итоги прожитой жизни, Некрасов писал давно начатую поэму «Мать» — гимн ее памяти. Поэт утверждал здесь: все, что было в нем хорошего, вся неутомимая его борьба «за идеал добра и красоты», — все было навеяно матерью, ее воспитанием, ее чистым и светлым образом. Тогда же, смертельно больной, уже не встававший с постели, Некрасов читал знакомым отрывки из этой поэмы. «...Он вспоминал о матери с такой любовью, — писал один из его слушателей, — с такой трогательной нежностью, он приписывал ей такое громадное влияние на всю свою жизнь и рисовал ее образ в таком поэтическом ореоле, что для меня вполне стала понятна восторженность, с какой он вспоминал о матери в прежних своих стихотворениях...»

* * *

Там, где кончался желтый деревянный забор некрасовского сада, начиналась длинная улица сельца Грешнева, шли в два ряда крестьянские избы. По ту сторону решетчатого забора было излюбленное место игр деревенских ребятишек, и сюда-то как магнитом притягивало маленького Колю. «Никакие преследования не помогали», — вспоминает его сестра Анна Алексеевна, хорошо знавшая, что отец запрещал детям общение с деревней. Коля же ничто так не любил, как эти запретные игры с крестьянскими ребятами, среди которых имел немало друзей-приятелей. Он даже проделал в заборе специальную лазейку и, как говорится в тех же воспоминаниях, «при каждом удобном случае вылезал к ним в деревню, принимал участие в их играх, которые нередко оканчивались общей дракой».

Сверстники подрастали, но дружба между ними не ослабевала. Будучи гимназистом, Некрасов приезжал из

Ярославля на каникулы и по целым дням пропадал с приятелями в лесах — совершали грибные походы, удили рыбу, бегали купаться на Волгу. Одним из любимых развлечений было ходить на «большую дорогу», по которой беспрестанно шли и ехали самые разные люди, и прежде всего — «рабочего звания люди сновали по ней без числа» (так сказано в «Крестьянских детях»). Под густыми вязами, окаймлявшими усадьбу, любили отдыхать усталые путники, и тут-то их обступали ребята, и начинались рассказы — «про Киев, про турку, про чудных зверей...»

Случалось, тут целые дни пролетали...
Что новый прохожий, то новый рассказ...

Разнообразные впечатления невиданно расширяли горизонты грешневской усадьбы.

Общение с крестьянскими детьми оказало влияние на всю дальнейшую жизнь Некрасова. У него не было даже малейших признаков сословного чванства или дворянских предрассудков. Скорее, наоборот: его постоянно мучила мысль о своей вине перед грешневскими крестьянами. Еще в сравнительно ранней «Родине», написанной в 1846 году, он с горечью упоминал, что в родных местах ему иной раз приходилось чувствовать себя помещиком («где иногда бывал помещиком и я»). Уже в зрелые годы, наезжая в Грешнево, Некрасов, по собственным словам, «чувствовал какую-то неловкость», хотя сам же не раз с гордостью говорил, что ел крепостной хлеб только до шестнадцати лет и никогда не владел крепостными.

Грешневские крестьяне, со своей стороны, платили Некрасову самой бескорыстной симпатией, ибо видели в нем не барина, а старого знакомца, товарища по детским играм, позднее же — по охоте. И Некрасов, уже будучи петербургским писателем, всегда любил вспоминать свои встречи с грешневцами:

Все-то знакомый народ,
Что ни мужик, то приятель.

Некрасов имел полное право сказать так. Поясняя эти строки, он писал в своей автобиографии: «Я постоянно играл с деревенскими детьми, и когда мы подросли, то естественно, что между нами была такая короткость...»

Вместе с деревенскими своими друзьями юный Некрасов часто бывал на волжском берегу. Волга текла неблизко от усадьбы, не меньше шести-семи верст надо было пробежать полями и деревнями, но зато здесь начиналось настоящее раздолье. Не отрываясь, часами можно было любоваться вольным простором великой реки. И мы знаем из некрасовских стихов, как часто любовался он ею, как много значили для него эти дни, проведенные на невысоком песчаном берегу.

О Волга!.. колыбель моя!
Любил ли кто тебя, как я?
Один, по утренним зарям,
Когда еще все в мире спит
И алый блеск едва скользит
По темноголубым волнам,
Я убегал к родной реке...

Лениво катятся речные волны. Над водой в летний жаркий полдень дремлют чайки, усевшись плотными рядами, с лугов несется крик перепелов. Вдали, на острове, виден монастырь, откуда временами слышится колокольный звон... Мирные, безмятежные картины!

Но не остается и следа от этой тишины, исчезает вся безмятежность, когда на берегу покажется толпа бурлаков; почти пригнувшись головой к ногам, они тянут, напрягаясь из последних сил, огромную расшиву, и воздух оглашается их тяжким стоном.

И был невыносимо дик
И страшно ясен в тишине
Их мерный похоронный крик —
И сердце дрогнуло во мне.

Подросток Некрасов был потрясен до глубины души, когда впервые увидел бурлаков. Их тяжелый, нечеловеческий труд, их крики и стоны испугали, оглушили его, заставили рано задуматься над такими вопросами, которые обычно не приходят в голову детям. Недаром он крепко запомнил все, что увидел тогда, и позднее почти с документальной точностью воплотил в поэтических образах.

Ему случалось близко подходить к привалам, которые делали бурлаки; он приглядывался к обессиленным людям, прислушивался к их разговорам (хотя и не все понимал в них). Один из таких разговоров почти дословно воспроизведен в стихотворении «На Волге», что под-

тверждается свидетельством Чернышевского. В своих заметках о Некрасове он сообщает, как однажды поэт, рассказывая ему о своем детстве, припомнил разговор бурлаков; пересказав его, Некрасов прибавил, что думает воспользоваться им в одном из будущих стихотворений. «Прочитав через несколько времени пьесу «На Волге»,— продолжает Чернышевский, — я увидел, что рассказанный мне разговор бурлаков передан в ней с совершенною точностью, без всяких прибавлений или убавлений; перемены в словах сделаны лишь такие, которые были необходимы для подведения их под размер стиха...»

Образ угрюмого и тихого бурлака с больным плечом, который в некрасовском стихотворении говорит: «А кабы к утру умереть, так лучше было бы еще», — на всю жизнь остался в памяти поэта, хотя он услышал его слова в детские годы. «Он и теперь передо мной», — писал Некрасов об этом бурлаке много лет спустя, в 1860 году, вспоминая его болезненное лицо и «выражающий укор спокойно-безнадежный взор».

Некрасов сам рассказал о том, какое влияние оказали на него встречи с бурлаками, как они заставили его, подростка, по-новому взглянуть на мир. Даже самая природа потускнела в его глазах, вся ее красота померкла, когда он, потрясенный, снова прибежал на волжский берег:

Бог весть, что сделалось со мной?
Я не узнал реки родной:
С трудом ступает на песок
Моя нога: он так глубок;
Уж не манит на острова
Их ярко свежая трава...

О, горько, горько я рыдал,
Когда в то утро я стоял
На берегу родной реки
И в первый раз ее назвал
Рекою рабства и тоски!..

Что я в ту пору замышлял,
Созвав товарищей-детей,
Какие клятвы я давал,
Пускай умрет в душе моей,
Чтоб кто-нибудь не осмеял!

В этих словах все знаменательно. Их автобиографический характер не вызывает сомнений (вспомним свидетельство Чернышевского!), хотя очевидно, что детские впечатления здесь осмыслены уже зрелым поэтом и осве-

щены мыслью, которой, конечно, не могло быть у подростка.

Особенно интересны последние пять из приведенных строк, в которых речь идет о «клятвах». Зрелище нечеловеческого труда бурлаков внушило юному Некрасову мысль о социальной несправедливости, об ужасах рабства, и он, созвав своих товарищей, то есть крестьянских детей, среди них дал клятву посвятить себя борьбе за справедливость, за то, чтобы не раздавался над его любимой рекой «похоронный крик» измученных людей.

* * *

В конце августа 1832 года Алексей Сергеевич Некрасов «представил для обучения» в ярославскую гимназию двух своих сыновей — Андрея и Николая. Первому в это время было двенадцать, а второму одиннадцать лет.

Братья Некрасовы поселились на частной квартире, неподалеку от гимназии, вместе с крепостным дядькой, который обязан был кормить мальчиков и присматривать за ними. Но после деревенского однообразия Ярославль открыл перед крепостным наставником столько соблазнов, что у него пропала всякая охота заниматься обслуживанием двух гимназистов. Он просто выдавал им на руки понемногу денег, а те, очень довольные этим, запасались хлебом и колбасой и нередко вместо гимназии отправлялись на загородные прогулки — с утра до вечера.

Все это продолжалось до того дня, когда мальчики, возвращаясь однажды домой, к ужасу своему, увидели разгневанного отца, до которого дошли слухи об их привольной жизни. У «крепостного ментора» обе скулы были уже «сильно припухши», и он был немедленно отправлен в деревню, а к мальчикам приставили другого надзирателя, более строгого.

Новый наставник также оказался не на высоте. Братья очень скоро подметили его слабое место: уложив их спать, он любил посидеть за чаркой. Выждав, пока он уснет, мальчики вылезали из окна и отправлялись в трактир, где маркером был также крепостной их отца, отпущенный по оброку; там они практиковались в игре на бильярде и быстро приобретали в ней большие познания.

В первом классе Николай Некрасов учился хорошо и часто сидел на первых партах, куда в те времена сажали лучших учеников (перемена мест происходила ежемесячно). Но в дальнейшем его успехи были более чем скромны, о чем свидетельствуют сохранившиеся отметки. Что касается Андрея, от природы вялого и болезненного, то он учился еще хуже.

Братья Некрасовы часто не ходили на занятия, иной раз по нескольку месяцев подряд — по болезни; однако настоящая причина их отставания была, конечно, в другом. В гимназии господствовали рутина и схоластика. Многие учителя слабо знали свой предмет и вели занятия по учебнику. Не только физику или зоологию, но даже словесность преподаватель-чиновник умудрялся сделать невыносимо скучной для учащихся. В его понимании эта наука сводилась к риторике и пиитике, сама литература даже в ее лучших образцах почти отсутствовала на занятиях. Надо ли удивляться, что гимназические курсы вызывали мало интереса у воспитанников?

Товарищи любили Некрасова за живой, общительный характер и особенно за увлекательные рассказы, на которые он был большой мастер. Его одноклассник М. Н. Горошков вспоминает, как Некрасов, коренастый, стриженый, небольшого роста, облаченный в форменный однобортный сюртук со светлыми пуговицами, по переменам собирал вокруг себя гимназистов и после скучного урока начинал рассказывать им всякие истории из деревенской жизни, которую хорошо знал. По выражению Горошкова, эти его рассказы были «проникнуты народом».

В эти годы Некрасов много читал, хотя круг чтения его, разумеется, был узок. Где он доставал книги? В гимназической библиотеке, обращался к учителям гимназии. Кроме того, в грешневской усадьбе была какая-то, вероятно очень небольшая, библиотечка. Об этом свидетельствует поздний стихотворный набросок Некрасова, посвященный юности и содержащий строку: «Я рылся раз в заброшенном шкафу...» Конечно, в этом шкафу были книги, принадлежавшие его матери и привезенные ею когда-то из родительского дома. Разве не об этом говорит Некрасов в поэме «Мать», там где описан приезд героя в опустевшую усадьбу после смерти матери:

Я книги перебрал, которые с собой
Родная привезла когда-то издалека...

Гимназисты привыкли видеть Некрасова с книгой в руках. Чтением он нередко был занят и во время классных занятий, за что постоянно рисковал подвергнуться наказанию. В это время познакомился он с Байроном, Жуковским, Пушкиным; прочитал «Евгения Онегина» и оду «Вольность». Тогда же «начал почитывать журналы», как сказано в одном из автобиографических набросков, в том числе «Московский телеграф» и «Телескоп» — передовые журналы того времени. В «Телескопе» он мог встретить ранние статьи Белинского и Герцена.

Тогда же Некрасов начал писать стихи — сначала сатиры на товарищей, а затем и лирику, конечно, еще несамостоятельную и незрелую, о чем он сам позднее вспоминал: «В гимназии я ударился в фразерство... Что ни прочту, тому и подражаю». Под фразерством Некрасов разумел свои подражания модным тогда поэтам вроде Бенедиктова, грешившим выспренностью, трескучими фразами, романтической безвкусицей.

Через некоторое время у пятнадцатилетнего гимназиста была уже целая тетрадь стихов; именно это, по собственному признанию автора, сильно подмывало его тогда же ехать в Петербург («...Воображенье к столице юношу манит»).

В июле 1837 года Николай Некрасов навсегда расстался с гимназией. И в этот последний год его успехи были все так же сомнительны, а когда подошла пора весенних переходных экзаменов, то оказалось, что по многим предметам он не аттестован и к экзаменам совершенно не готов. К тому же его отношения с гимназическим начальством еще раньше были испорчены одним странным обстоятельством: Алексей Сергеевич упорно отказывался вносить плату за обучение своих детей и вел по этому поводу нудную переписку с гимназией: пытался всячески оттянуть неприятный день выплаты денег.

Словом, дела складывались так, что юному Некрасову ничего не оставалось, как, покинув гимназию, отправиться домой. В прошении его отца, поданном в гимназию, это мотивировалось так: «Сын мой Николай... по расстроенному его здоровью взят был мною для пользования в дом мой и продолжать науки в гимназии не мог...»

В Грешневе он провел целый год. Как раз в это вре-

мя Алексей Сергеевич занимал (немногим больше полутора лет) должность уездного исправника, то есть полицейского чиновника. По делам службы ему приходилось ездить по окрестным селам, разбирать всевозможные дела, вести следствия и т. п. Иногда случалось ему брать с собою сына, которому было в это время уже шестнадцать лет. Вот почему, как сообщает один из первых биографов Некрасова, М. М. Стасюлевич, юноше не раз приходилось присутствовать «при различных сценах народной жизни, при следствиях, при вскрытии трупов, а иногда и при расправах во вкусе прежнего времени. Все это производило глубокое впечатление на ребенка и рано в живых картинах знакомило его с тогдашними, часто слишком тяжелыми условиями народной жизни».

Перед Некрасовым неумолимо вставал вопрос «о своей участи», о том, что делать дальше. Все размышления по этому поводу приводили к решению ехать в столицу, в Петербург, и там искать счастья. Предотъездные дни его были омрачены смертью давно болевшего любимого брата Андрея. Свои чувства потрясенный Некрасов тогда же выразил в стихотворении «Могила брата» (позднее оно вошло в сборник «Мечты и звуки»).

Отец не сразу, но все-таки без особенного труда согласился отпустить сына, но поставил непременное условие: он хотел, чтобы сын получил военное образование, для чего поступил бы в Дворянский полк — так называлось тогда военно-учебное заведение для детей дворян.

Однако Некрасова меньше всего привлекала военная служба. Он думал об университете, о литературных занятиях, и эти мысли впервые были внушены ему матерью, вовсе не хотевшей видеть своего сына военным. По этому поводу сохранилось свидетельство Чернышевского: Некрасов сам рассказывал ему подробности, какими сопровождалась подготовка его к отъезду из родного дома.

«Мать хотела, чтоб он был образованным человеком, — пишет Чернышевский, — и говорила ему, что он должен поступить в университет, потому что образованность приобретается в университете, а не в специальных школах. Но отец не хотел и слышать об этом; он соглашался отпустить Некрасова не иначе, как только для поступления в кадетский корпус. Спорить было бесполезно, мать замолчала... Но он ехал с намерением поступить не в кадетский корпус, а в университет...»

Желание покинуть стены мрачного отцовского дома было столь велико, что молодой человек, не колеблясь, согласился на условия отца, хотя у него и в мыслях не было делать военную карьеру.

20 июля 1838 года, вырвавшись из объятий матери и любимой сестры Елизаветы, он сел в тряскую телегу и отправился в далекий Петербург. На каждой почтовой станции путник пересаживался в новую телегу, и так за шесть-семь дней он должен был добраться до столицы. Он ехал, ликуя при мысли о том, что ему удалось «надуть отца» притворным согласием поступить в Дворянский полк. В кармане его лежали тетрадка стихов, сто пятьдесят рублей ассигнациями и свидетельство о том, что он столько-то лет обучался в ярославской губернской гимназии.

II

ПЕТЕРБУРГСКИЕ МЫТАРСТВА

Холодно и неприветливо встретил молодого человека огромный город, в котором у него не было ни родных, ни знакомых. На первых порах он поселился в какой-то грязной гостинице, где брали за сутки не меньше двух рублей. Деньги таяли прямо на глазах, и вскоре пришлось ему перебраться на дешевую квартиру, куда-то в район Малой Охты; точных сведений об этом не сохранилось.

В первые же дни столичной жизни перед Некрасовым встали неотложные вопросы: как поступить учиться и как начать печататься? Прежде всего он решил отправиться с рекомендательным письмом к жандармскому генералу Д. П. Полозову, брату ярославского приятеля Алексея Сергеевича Некрасова. Перед отъездом сына Алексей Сергеевич снабдил его этим письмом, считая, что оно облегчит поступление в Дворянский полк. Расчет был верен: петербургский Полозов уже был готов взяться за дело, когда Некрасов признался, что хотел бы вместо военного заведения поступить в университет.

Он прибавил, что чувствует сильную склонность к литературным занятиям, вряд ли совместимым с военной службой.

Генерал Полозов и его жена одобрили мысль об университете и посоветовали Некрасову, не откладывая, начать готовиться к экзаменам. Вскоре они написали о таком обороте дела в Ярославль. Алексей Сергеевич был крайне раздражен таким противодействием его воле. Тут же он отправил в Петербург гневное письмо, требуя послушания и угрожая оставить сына без материальной поддержки.

Некрасов проявил твердость характера, хотя отлично знал, что с отцом шутки плохи. Он написал грубый ответ, который заканчивался такими словами: «Если вы, батюшка, намерены писать ко мне бранные письма, то не трудитесь продолжать, я, не читая, буду возвращать вам письма». После этого ему оставалось надеяться только на самого себя и самостоятельно устраивать свою судьбу.

«Я был один-одинехонек в огромном городе, наполненном полумиллионом людей, которым решительно не было до меня никакой нужды». Эти слова Тихона Тростникова, героя незаконченного автобиографического романа, несомненно, вобрали в себя первые впечатления, испытанные молодым Некрасовым в столице [1].

Он начал скитаться по петербургским трущобам, — по углам и подвалам, где ютились бедность и нищета. Надвигавшаяся зима не сулила ничего хорошего. Однако врожденная стойкость характера, сила воли, присущая ему с юности, помогли выдержать суровые испытания.

«Я дал себе слово не умереть на чердаке», — вспоминал об этом времени Некрасов. Помогли ему и те люди, с которыми столкнула его судьба.

Еще в первое время пребывания в Петербурге Некрасов встретил нескольких своих товарищей по ярославской

---

[1] Множество подробностей жизни Некрасова в Петербурге содержится в его ранних прозаических произведениях. Конечно, они не могут считаться точным изложением фактов, однако автобиографический элемент в них очень силен; некоторые детали настойчиво повторяются в рассказах и романах, написанных в ранние годы (например, «Без вести пропавший пиита» — 1840; «Повесть о бедном Климе» — 1842—1843; «Жизнь и похождения Тихона Тростникова» — 1843—1848). Это не позволяет сомневаться в достоверности таких деталей, тем более что многие из них подтверждаются воспоминаниями современников.

гимназии, которые горячо поддержали мысль о поступлении в университет, куда и сами собирались поступать. А один из них, Андрей Глушицкий, уже студент университета, взялся подготовить своего земляка к экзаменам по математике и физике.

Тогда же, в первые месяцы столичной жизни, Некрасов познакомился с офицером Николаем Федоровичем Фермором, преподавателем инженерного училища. Это был добрейший и благороднейший человек, поставивший своей целью борьбу со злоупотреблениями, проповедовавший бескорыстие (об этом, как и о печальной судьбе Фермора, впоследствии рассказал Н. С. Лесков в очерке «Инженеры-бессребреники»). Некрасов подружился со всей семьей Ферморов, бывал у них в доме; в альбом Марии Фермор (сестры) он записал одно из ранних своих стихотворений («На скользком море жизни бурной»).

Оказалось, что новый приятель Некрасова знаком с литератором Николаем Полевым; в то время он был редактором «Сына отечества», органа «официальной народности», журнала, в который никогда не обратился бы зрелый Некрасов. Но тогда он обрадовался возможности отнести свои стихотворные опыты известному редактору. Устами героя автобиографического романа «Жизнь и похождения Тихона Тростникова» Некрасов так рассказал об этом:

«Я решительно не имел тогда никакого понятия о журнальных партиях, отношениях, шайках — я думал, что литература... есть семейство избранных людей высшего сорта, движимых бескорыстным стремлением к истине... я думал, что литераторы... как члены одного семейства, живут между собою как братья, и если возникают между ними порою споры и противоречия, то не иначе, как за святость и чистоту прав науки и жизни, которым они служат в пользу...»

С таким наивным убеждением он вместе с Фермором и явился к редактору «Сына отечества». Свидетельством их встреч служат записи, сохранившиеся в дневнике Полевого: «Вечером был Фермор и юноша Некрасов» (3 октября 1838 года); «Вечером поэт Некрасов с Фермором» (30 октября 1838 года).

Сердце юноши сильно билось, когда редактор взял тетрадку и, развернув наудачу, начал читать стихи. Ведь от того приговора, который сейчас будет произнесен, зависит вся его судьба! Но вот редактор прочитал вслух

стихотворение, в котором описывалась ночь, озаряемая полной луной, и сказал:

— Хорошо, почтеннейший, а сколько вам лет?

Получив ответ, он повторил:

— Очень хорошо. Я непременно напечатаю одно из ваших стихотворений.

О том, что было дальше, можно с большей или меньшей точностью представить себе, обратившись к тому же роману о Тростникове.

Развеселившийся, вернулся поэт в свою каморку, где к этому времени уже не было ни свечи, ни куска хлеба. И что всего хуже — сапоги совсем развалились. «Три дня лежал я на ковре своем, обдумывая свое положение... Сидеть было не на чем, да и не для чего: не было ни огарочка, в комнате была глубокая тьма. Не могу, однако ж, сказать, что я скучал. На сердце у меня было довольно легко и весело... Я знал, что когда-нибудь выйду из такого положения, и никак не хотел верить очевидной и близкой истине, что могу умереть с голоду».

Прошло совсем немного времени, и вот в октябрьском номере «Сына отечества» за 1838 год появилось стихотворение «Мысль» с полной подписью автора и с примечанием, сделанным Полевым, где сообщалось, что это «первый опыт юного, шестнадцатилетнего поэта». В стихотворении шла речь о дряхлости мира, и оно явно было навеяно литературными образцами. Тем не менее в нем нельзя было не заметить способности автора к стихотворству, умения строить поэтическую речь. Легко представить себе его радость.

Правда, спустя несколько лет поэт иронически отзывался о своих переживаниях дебютанта: «Забуду ли тот нелепый восторг, который заставлял меня бегать высуня язык, когда я увидел в «Сыне отечества» первое мое стихотворение, с примечанием, которым я был очень доволен». Но в те дни он, разумеется, видел себя наверху блаженства. Да и в самом деле это был немалый успех — ведь прошло каких-нибудь три месяца, как он приехал в столицу! Ему еще не исполнилось семнадцати лет, а стихи с его фамилией уже напечатаны в журнале!

В ноябре «Сын отечества» снова заставил ликовать молодого поэта: он нашел в нем два своих стихотворения: они назывались «Безнадежность» и «Человек». В январе 1839 года появилась элегия «Смерти»; затем весной еще два стихотворения были напечатаны в «Литературных

прибавлениях» к «Русскому инвалиду», а в июле «Библиотека для чтения» Сенковского поместила стихотворение «Жизнь» — пожалуй, наиболее содержательное среди всех этих ранних опытов. Под явным впечатлением лермонтовской «Думы», как бы продолжая ее обличительную тему, молодой автор обращался с укором к современникам:

...Но чуждо нам добро, искусства нам не новы,
Не сделав ничего, спешим мы отдохнуть;
Мы любим лишь себя, нам дружество — оковы,
И только для страстей открыта наша грудь.

Дальше в стихотворении говорилось о «бездейственной лени», о «тайном холоде неверья» и т. д.

Интересно, что даже первые произведения, с которыми Некрасов появился в печати, несмотря на всю их незрелость, были замечены критикой. Так, уже в начале 1839 года в официальном «Журнале министерства народного просвещения» был помещен обзор газет и журналов, автор которого (рано умерший поэт и критик Федор Менцов) нашел нужным в массе текущей стихотворной продукции выделить несколько стихотворений Некрасова, разбросанных по журналам.

«Не первоклассное, но весьма замечательное дарование, — говорилось в этом обзоре, — нашли мы в г. Некрасове, молодом поэте, только в нынешнем году выступившем на литературную арену. С особенным удовольствием прочитали мы две пьесы его: «Смерти» и «Моя судьба», из них особенно хороша первая... Приятно надеяться, что г. Некрасов окажет дальнейшие успехи в поэзии, в дарах которой не отказала ему природа».

Правда, в дальнейшем выяснилось, что Менцов, сам писавший стихи в духе вырождающегося романтизма, увидел в Некрасове своего единомышленника и решил поддержать его на пути, который вовсе не был настоящим его путем. Спустя год, отмечая новые стихи Некрасова, он на страницах того же журнала уже прямо заявил, что «начала религии и чистой нравственности» должны управлять вдохновением поэта. Но любопытен самый факт: даже дебюты Некрасова нашли отклик в печати.

* * *

Итак, в первые месяцы петербургской жизни молодой человек уже был окрылен успехом. Однако очень

скоро выяснилось, что «Сын отечества», да и другие журналы платят за стихи сущие гроши или не платят вовсе, считая, что для начинающего автора достаточно одной чести быть напечатанным. Выяснилось, кроме того, что надо готовиться к университетским экзаменам и что голод стучится в двери в самом буквальном смысле слова.

На этот раз его выручил случай. Он где-то познакомился с учителем духовной семинарии Д. И. Успенским, и тот не только обещал выучить молодого человека латыни, необходимой для экзамена, но и пригласил его жить к себе на Малую Охту. Темный чулан за перегородкой отныне стал его квартирой. Но гостеприимный хозяин оказался пьяницей. Он пил запоем по нескольку недель, потом приходил в себя и принимался за латынь. Уроки, казалось, шли хорошо, но ненадолго — вскоре опять начинался запой.

Желание поступить в университет, обрести право на жизнь было так велико, что Некрасов упорно продолжал готовиться к экзаменам — вопреки бедности, вопреки необходимости искать любую, даже самую неблагодарную, работу, чтобы не умереть с голоду. С завистью смотрел он на каждого юношу, одетого в студенческую форму.

Поступить в университет стало его единственной целью и мечтой. Но мечта эта развеялась как дым чуть ли не в первый же день экзаменов, которые он начал сдавать на факультет восточных языков. Это было в июле 1839 года, ровно через год после приезда в столицу. Слабо подготовленный, несмотря на старания Глушицкого и Успенского, он только по российской словесности получил относительно приличную отметку — тройку. По другим предметам пошли сплошные единицы, и Некрасов отказался от экзаменов: двух единиц было достаточно, чтобы быть не принятым.

Удрученный провалом, он все-таки не расстался с мыслью об университете и той же осенью поступил вольнослушателем на философский факультет, причем был освобожден от платы за слушание лекций: отец прислал ему свидетельство от ярославского предводителя дворянства о своем «недостаточном состоянии». А на следующий год он снова попытался сдать вступительные экзамены, на этот раз на юридический факультет, и опять не был принят. Правда, теперь отметки его были гораздо лучше: по словесности профессор А. В. Никитенко

поставил ему пятерку. Но по математике и языкам (греческому, немецкому, французскому) его знания были явно недостаточны: тогда экзаменовали по четырнадцати предметам, среди которых были логика, география и статистика, четыре иностранных языка...

Как бы то ни было, но с мечтой об университете было покончено. Обида и огорчение его были велики, — об этом хорошо рассказано на страницах романа о Тростникове.

Некоторое время Некрасов еще числился вольнослушателем, но вряд ли он посещал университетские занятия после второй своей неудачи: мысли его и интересы были уже устремлены в другую сторону.

* * *

В конце 1839 года пришлось расстаться с Успенским и его чуланом, где Некрасов прожил около полугода. Снова начались скитания по углам, поиски заработка, тяжелая борьба за существование.

За что только не брался он в эти годы, чтобы добыть хоть несколько копеек! Иногда он по утрам отправлялся на Сенную площадь, где были торговые ряды, и там за пятачок или кусок хлеба писал крестьянам письма и прошения. А если такой работы не находилось, то шел в казначейство и там расписывался за неграмотных. Он переписывал бумаги, роли, давал уроки за грошовую плату, составлял по заказу афиши, азбуки, объявления. Позднее по заказу же в силу крайней нужды писал водевили, фельетоны, пародии, переделывал или пересказывал чужие рассказы...

— Ровно три года, — говорил много лет спустя Некрасов одному из своих знакомых, — я чувствовал себя постоянно, каждый день голодным. Приходилось есть не только плохо, не только впроголодь, но и не каждый день.

Не раз случалось ему отправляться в один ресторан на Морской, где разрешалось читать газеты, ничего не заказывая; там он брал для виду газету, а сам придвигал к себе тарелку с хлебом и украдкой ел...

В зимнюю стужу и в осеннюю слякоть его можно было встретить на Невском, насквозь продрогшего, в легком пальто, в дырявых сапогах и соломенной шляпе.

Артистка А. И. Шуберт, сестра режиссера Н. И. Ку-

ликова, приятеля Некрасова, встречавшая его в начале 40-х годов, то есть в то время, когда самые трудные дни уже остались позади, писала в своих воспоминаниях:

«Особенно жалким казался Некрасов в холодное время. Очень бледен, одет плохо, все как-то дрожал и пожимался. Руки у него были голые, красные, белья не было видно, но шею обертывал он красным вязаным шарфом, очень изорванным. Раз я имела нахальство спросить его:

— Вы зачем такой шарф надели?

Он окинул меня сердитым взглядом и резко ответил:

— Этот шарф вязала моя мать...»

Нет ничего удивительного в том, что еще в первое время столичной жизни он сильно заболел от утомления, голода и простуды. Жил Некрасов в это время на Разъезжей улице, в деревянном флигельке, у какого-то отставного унтер-офицера. За время болезни он задолжал хозяевам, кормившим его, около сорока рублей, и это внушило им беспокойство. За перегородкой постоянно слышались тревожные разговоры, что вот-вот-де жилец умрет и тогда деньги пропадут.

Наконец в один прекрасный день хозяин квартиры, подгоняемый хозяйкой, явился к больному и откровенно объяснил ему свои опасения. Тут же он попросил написать расписку в том, что жилец согласен оставить ему в счет долга свои пожитки — чемодан, книги и все остальные нехитрые «вещички». Расписка, конечно, была написана (вдруг еще перестанут кормить!), а вскоре дело пошло на поправку.

Молодость и крепкий от природы организм взяли свое; через некоторое время он стал понемногу выходить и даже решился однажды пойти к знакомому студенту-медику не то на Петербургскую, не то на Выборгскую сторону. Добрался до него с трудом и там засиделся до позднего вечера. А на обратном пути сильно прозяб — холодная шинель плохо защищала от ноябрьского ледяного ветра.

Мечтая поскорее лечь и согреться, он постучался в двери унтер-офицерского домика. На стук его долго не откликались, а затем голос из-за запертой двери сообщил, что в дом его больше не пустят, что в его комнате уже поселился другой жилец, а в счет долга хозяева взяли себе его имущество на основании имевшейся у них расписки.

Что было делать? Попробовал кричать, браниться, угрожать, все было бесполезно. Так и остался он на улице, на холоде, один, без вещей, еще не оправившийся после тяжелой болезни.

— Пошел я, — вспоминал об этом в конце жизни Некрасов, — хорошенько не сознавая, куда иду, на Невский проспект и сел там (кажется, около Доминика) на скамеечку, которые выставлялись на улицу для посетителей. Озяб. Чувствовал сильную усталость и упадок сил. Наконец заснул. Разбудил меня какой-то старик, оказавшийся нищим, который, проходя мимо, сжалился надо мной.

Нищий привел его на Васильевский остров. На одной из отдаленных линий, в самом конце улицы, стоял деревянный полуразвалившийся домишко. Кругом пустырь. Вошли они в большую накуренную комнату, полную нищими, стариками, старухами и детьми. В одном углу пили водку, в другом — играли в карты. Подойдя к ним, старик сказал:

— Вот грамотный, а приютиться некуда. Дайте ему водки, иззяб весь.

Какая-то старуха постлала ему на нарах постель из рогожи и лохмотьев, он лег и крепко уснул. А когда утром проснулся, комната была пуста, все нищие разошлись, только старуха ждала его пробуждения. Она попросила написать ей «аттестат» — видно, грамотные люди не часто встречались в ночлежке для нищих. Выяснив, что такое «аттестат», он составил со слов старухи нечто вроде свидетельства о бедности, которое начиналось такими словами: «Милостивейшие господа и госпожи! Великодушнейшие благотворители! Воззрите на слезы злополучной вдовы...» Написав этот документ, он получил за свой труд пятнадцать копеек.

— С ними пошел разживаться, — так с усмешкой закончил Некрасов один из своих рассказов о горьких днях молодости.

* * *

Еще во время подготовки к экзаменам Некрасов, вероятно, через Фермора познакомился с штабс-капитаном Григорием Францевичем Бенецким, преподавателем Дворянского полка и Павловского кадетского корпуса, и тот постарался облегчить бедственное положение юноши. В автобиографии поэта об этом говорится так: «Переби-

ваясь изо дня в день, я насилу добыл место гувернера у офицера Бенецкого — содержателя пансиона для поступления в инженерное училище. За сто рублей ассигнациями в месяц я обучал его десяток мальчиков с утра до позднего вечера».

По-видимому, Некрасов был в пансионе не столько гувернером, сколько репетитором — должность, к которой он был мало расположен. Но все же те месяцы, что он занимался подготовкой мальчиков «по всем русским предметам» к поступлению в училище, в некоторой степени облегчили его трудную жизнь. Бенецкий оказался человеком благожелательным и заботливым. Именно он, по словам Некрасова, советовал ему собрать стихи и напечатать отдельной книжкой; он же вызвался помочь их распространению.

Некрасов, конечно, и сам помышлял о таком сборнике. Летом 1839 года он уже представил в цензуру рукопись будущей книжки, куда включил сорок четыре стихотворения (некоторые из них, как мы знаем, были до этого напечатаны в журналах и газетах). Вскоре последовало цензурное разрешение, а Бенецкий тем временем заранее продал «по билетам» до сотни экземпляров своим ученикам. Теперь юного автора начали мучить сомнения — издавать ли сборник? Положение осложнилось тем, что вырученные деньги были уже прожиты.

После некоторых раздумий, не зная, как поступить и с кем посоветоваться, он внезапно решил отправиться к Василию Андреевичу Жуковскому, старому и знаменитому поэту. Жуковский жил близ Зимнего дворца. Он довольно ласково встретил начинающего автора. Некрасов вспоминал позднее, как навстречу ему вышел седенький согнутый старичок: узнав, в чем дело, он взял уже отпечатанные листы книжки и велел прийти через три дня.

В назначенный срок Некрасов явился за ответом. Жуковский указал ему одно или два стихотворения как порядочные, а об остальных сказал:

— Если хотите напечатать, то издавайте без имени. Впоследствии вы напишете лучше и вам будет стыдно за эти стихи.

Не печатать было нельзя, и Некрасов решил послушать доброго совета. Он снял свое имя с обложки и заменил его инициалами — Н. Н. Через некоторое время, в начале 1840 года (не раньше февраля), его первая книга вышла из печати. Она называлась «Мечты и звуки».

Распространению книжки способствовал не только Бенецкий, но и офицер Николай Фермор. В воспоминаниях Д. В. Григоровича, воспитанника инженерного училища, сохранился рассказ о том, как этот офицер однажды вошел в рекреационный зал, держа в руках пачку тоненьких брошюр в бледно-розовой обертке. Предлагая покупать их, он рассказал, что «автор стихов, заключавшихся в брошюрах, молодой поэт, находится в стесненном денежном положении».

Тем временем сам счастливый автор отправился в магазин и отдал свою книгу на комиссию. Чем это кончилось, известно. Это рассказано самим Некрасовым в одной из его автобиографий: «...Прихожу в магазин через неделю — ни одного экземпляра не продано, через другую — то же, через два месяца — то же. В огорчении отобрал все экземпляры и большую часть уничтожил. Отказался писать лирические и вообще нежные произведения в стихах».

* * *

Как ни скромно то место, какое занимает сборник «Мечты и звуки» в творческой биографии автора, однако при своем появлении он был сразу замечен критикой. В печати появилось не менее семи отзывов о первой книжке «г. Н. Н.», как называли Некрасова рецензенты. Многие из них были благосклонны к автору, хотя не забывали подчеркнуть его молодость и снисходительно упомянуть о «первых опытах юношеского пера». Среди первых рецензентов были и видные литераторы — Н. А. Полевой и П. А. Плетнев опубликовали небольшие заметки о «Мечтах и звуках» в журналах «Библиотека для чтения» и «Современник». Они положительно оценивали дарование молодого автора, делая ему, впрочем, некоторые замечания.

В то же время «Литературная газета» дала уничтожающую оценку книжке. «Название «Мечты и звуки» совершенно характеризует его стихотворения, — писал рецензент. — Это не поэтические создания, а мечты молодого человека, владеющего стихом и производящего звуки правильные, стройные, но не поэтические. Со временем, мы уверены, он сам убедится в этом...»

Все эти рецензии, среди которых было немало одобрительных, как будто не произвели большого впечатле-

ния на дебютанта. Когда же в «Отечественных записках» 1840 года он прочитал еще один отзыв — лаконичный, безжалостный и неотразимый в своей справедливости, тогда он не мог остаться равнодушным; это был отзыв Белинского.

Не больше одной журнальной страницы посвятил «Мечтам и звукам» критик. Но эти немногие строчки потому так задели за живое молодого поэта, что он нашел в них «более правды и меньше насмешек», чем в других рецензиях. Словам Белинского суждено было оказать решающее влияние на представление Некрасова о поэзии, на его отношение к собственному творчеству.

В рецензии не было разбора стихотворных опытов начинающего автора; критик ограничился тем, что высказал свои мысли об истинной поэзии, о том, что отличает ее от гладких виршей. Признавая в авторе «человека с душой», Белинский писал: «Вы видите по его стихотворениям, что в нем есть и душа, и чувство, но в то же время видите, что они и остались в авторе, а в стихи перешли только отвлеченные мысли, общие места, правильность, гладкость, и — скука. Душа и чувство есть необходимое условие поэзии, но не ими все оканчивается: нужна еще творческая фантазия, способность вне себя осуществлять внутренний мир своих ощущений и идей и выводить во вне внутренние видения духа. Но если этой способности в вас нет, то сколько вы ни пишите и как красиво ни издавайте ваших стихотворений, вы не дождетесь от читателей ни восторга, ни сочувствия...»

Решительно отделяя автора книги от стихотворцев, лишенных всякого чувства, всякой мысли, не умеющих владеть стихом и способных только позабавить читателя своей бездарностью, критик в то же время заканчивал рецензию строгим приговором: «...прочесть целую книгу стихов, встречать в них все знакомые и истертые чувствованьица, общие места, гладкие стишки, и много-много, если наткнуться иногда на стих, вышедший из души, в куче рифмованных строчек, — воля ваша, это чтение или, лучше сказать, работа для рецензентов, а не для публики...»

Надо сказать, что суровый отзыв Белинского был справедлив по существу, но все-таки его недостаточно, чтобы получить представление о первом сборнике Некрасова. Бесспорно, перед нами первые шаги будущего поэта. Но в этой книжке есть стихи, которые при всей их

незрелости позволяют сказать, что уже в те ранние годы Некрасов искал и угадывал свою тему, нащупывал большие вопросы. Мы уже говорили о стихотворении «Жизнь», где поэт обращался к обществу с упреками в «бездейственной лени». В этом ряду стоит стихотворение «Тот не поэт», показывающее, что Некрасову уже тогда было свойственно довольно широкое понимание цели и смысла поэзии:

...Кто юных лет губительные страсти
Не подчинил рассудка темной власти,
Но волю дав и чувствам и страстям,
Пошел как раб вослед за ними сам,
Кто слезы лил в годину испытанья
И трепетал под игом тяжких бед,
И не сносил безропотно страданья,
Тот не поэт!

...Кто у одра страдающего брата
Не пролил слез, в ком состраданья нет,
Кто продает себя толпе за злато,
Тот не поэт!

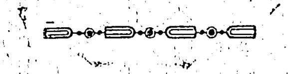
Некоторые мотивы первого сборника Некрасова впоследствии получили развитие в его зрелой лирике. Были в нем отголоски народной поэзии («Пир ведьмы»), были стихи, написанные знакомым некрасовским размером — именно тем, который позднее прочно утвердил в русской поэзии Некрасов. Такова в его первом сборнике «Песня». Вот ее начало:

Мало на долю мою бесталанную
Радости сладкой дано,
Холодом сердце, как в бурю туманную,
Ночью и днем стеснено...

И в то же время резкие слова Белинского — это и были те самые слова, в которых больше всего нуждался молодой поэт. Критик подошел к его стихам с высокими требованиями, какие он предъявлял к поэзии вообще. Его не могли удовлетворить ни идеальные «мечты», ни самые гармонические «звуки», если за ними не стояла зрелая мысль, если талант автора не был обращен к насущным вопросам жизни. Белинский видел известные достоинства первых опытов Некрасова (упомянул же он о стихах, «вышедших из души»), но эти достоинства потонули для него в «куче рифмованных строчек», а за ними он видел следы прямых литературных влияний —

отзвуки Жуковского и Лермонтова, Подолинского и Бенедиктова.

И надо отдать должное Некрасову: как ни огорчил его суровый приговор «Отечественных записок», он нашел в себе мужество признать его справедливым.



III

ГОДЫ «ЛИТЕРАТУРНОЙ ПОДЕНЩИНЫ»

В начале 1840 года девятнадцатилетний Некрасов остановился как бы на перепутье. Уже второй год он жил в столице, но жизнь была по-прежнему трудной и безрадостной. Удары судьбы сыпались один за другим.

Сборник стихов, на который он возлагал большие надежды, принес одни неприятности. Мечта о поступлении в университет рухнула окончательно. Резкие слова Белинского в «Отечественных записках» также доставили ему немало огорчений. И вдобавок по-прежнему угнетала нужда. Заработки оставались скудными, хотя он вовсе не сидел сложа руки, а, наоборот, постоянно и неутомимо работал.

— Господи, сколько я работал! — вспоминал о том времени Некрасов в конце жизни. — Уму непостижимо, сколько я работал; полагаю, не преувеличу, если скажу, что в несколько лет исполнил до двухсот печатных листов журнальной работы; принялся за нее почти с первых дней прибытия в Петербург.

Словом, было от чего прийти в уныние. И, несмотря на редкую твердость характера, Некрасов порой готов был упасть духом. Он начал было пить, но успел вовремя остановиться. Иной раз его охватывало гнетущее настроение, мрачная тоска — это заметно в некоторых стихотворениях, где он призывал свой смертный час, и особенно в большом письме к сестре Елизавете, написанном осенью 1840 года, где содержатся горькие жалобы на «пустоту души» и «грусть одиночества». Причем главной причиной пессимизма были, конечно, не житейские

трудности сами по себе, а нечто более значительное — разочарование в юношеских мечтах, крушение наивно-романтических иллюзий, разбившихся о грубую и жестокую действительность.

Он решил отказаться от писания лирических стихов, не принесших ему удачи, и попробовать себя в других жанрах. Возникла потребность постоянного общения с журналом, в котором можно было бы испытать свои силы. На помощь пришел тот же Бенецкий, который однажды уже выручил Некрасова из беды. Бенецкий преподавал в Дворянском полку, и там же читал лекции по русской и всеобщей истории Федор Алексеевич Кони, бывший, кроме того, довольно известным журналистом, редактором журнала «Пантеон русского и всех европейских театров», а также «Литературной газеты». Кони был еще и драматургом, автором многих водевилей, шедших с успехом на сцене («Петербургские квартиры» и др.). Одним словом, он был именно тем человеком, в котором больше всего нуждался теперь Некрасов.

Видимо, в самом начале 1840 года Бенецкий привел его к Федору Кони. Их встретил худощавый человек небольшого роста, в золотых очках, в черном как смоль парике, с черными быстрыми глазами. Он отнесся участливо к молодому литератору и тотчас привлек его к работе в своем журнале. Во всяком случае, в феврале и марте в «Пантеоне» уже был напечатан (в трех номерах, с продолжением) стихотворный фельетон Некрасова «Провинциальный подъячий в Петербурге», подписанный замысловатым псевдонимом: Феоклист Онуфрич Боб. В этом фельетоне, написанном хлестким, почти разговорным стихом, ощутимы элементы реалистической сатиры — впервые у Некрасова. Весело и задорно изображены здесь петербургские развлечения провинциального чиновника-взяточника. Фельетон был замечен Белинским и даже удостоился его похвалы: забавные куплеты «всем так понравились, — писал критик, — и уже так всем известны, что мы не имеем нужды выписывать их». Чуть позднее Некрасов сделал Феоклиста Боба героем одного из своих водевилей.

Издатель «Пантеона», человек доброжелательный, искренне хотел помочь Некрасову и для начала напечатал несколько его стихотворений, написанных в прежнем романтическом духе («Мелодия», «Слезы разлуки», «Скорбь и слезы» и др.). Тогда же он поддержал наме-

рение нового сотрудника испытать свои силы в прозе, а может быть, и натолкнул его на эту мысль.

— Но я никогда не пробовал и не знаю, о чем писать, — колебался Некрасов.

— А вы попробуйте на первый раз рассказать какой-нибудь случай, известный вам из жизни, — говорил Кони.

Некрасов попробовал, и вскоре на страницах того же «Пантеона» появился первый его опыт — повесть из чиновничьей жизни «Макар Осипович Случайный». Под нею стояла подпись, которая затем приобрела довольно широкую известность, — Н. Перепельский. Современники утверждали, что в основе повести лежала действительная история, известная в свое время в Петербурге. История состояла в том, что один крупный чиновник, генерал, грубо обошелся с бедным, но способным молодым человеком, хлопотавшим о получении места в канцелярии. Затем обстоятельства меняются: генерал выходит из милости начальства, а молодой человек, наоборот, становится «правой рукой» некоего князя и получает возможность отомстить генералу, отставленному от дел.

Излагая эту историю, Некрасов отдал дань читательским вкусам того времени: он пытался осложнить действие двойной любовной интригой, введением маскарадных сцен и т. д. В повести заметен недостаток литературного опыта, некоторые эпизоды страдают отсутствием художественной убедительности. Но есть в ней и немало интересного, и прежде всего интересен образ главного героя. Вначале мы находим рассуждение автора о людях «случайных, ставших по заслугам или иначе на видную степень», приблизившихся к знати с помощью ловкости, а не «породы». Это рассуждение объясняет не совсем обычную фамилию героя и придает ему некоторый обобщенный смысл. Автор как бы обличает в его лице выскочек, добившихся «степеней известных» не по заслугам, а «иначе», то есть различными темными путями. Мы узнаем, как Макар Случайный, сын бедного священника в Малороссии, постепенно продвигался по служебной лестнице, как он сделался где-то полицмейстером, затем упрочил свое положение выгодной спекуляцией — женитьбой на купчихе.

* * *

Первое сочинение в прозе положило начало целому периоду в жизни Некрасова, когда он, почти оставив

стихи, занялся рассказами, повестями, позднее романами; одновременно он писал водевили.

После повести о Макаре Случайном Некрасов напечатал в том же «Пантеоне» второй рассказ — «Без вести пропавший пиита» (1840). Он был написан также не без влияния Федора Кони, посоветовавшего начинающему литератору на этот раз описать себя, свое недавнее положение. Он так и поступил — рассказал о бедствиях молодого человека, приехавшего из провинции и мечтающего о своем высоком призвании.

В потоке ранней некрасовской прозы, о которой он сам впоследствии говорил с некоторым смущением, были и рассказы чисто литературного происхождения, имевшие целью развлечь невзыскательного читателя, падкого на любовную интригу, романтические преувеличения, оглушительные эпитеты. В таких рассказах («Певица», «В Сардинии») фигурируют честные графы и коварные бароны, ослепительные красавицы и гордые феодалы, черные кудри, «дикий огонь» глаз и «нега страсти»; действие происходит под небом южных стран, в которых никогда не приходилось бывать автору; свои сведения об этих странах он черпал из посредственной беллетристики.

Но резко выделяются среди первых прозаических сочинений Некрасова те рассказы и повести, в которых отразились собственный жизненный опыт молодого автора и впечатления окружающей действительности. Их персонажи характерны для нового литературного направления: молодые люди из разночинцев, осаждающие приемную «значительного лица» в надежде получить «место»; голодные поэты, ютящиеся в углах и не имеющие средств даже на покупку чернил; забитые нуждой чиновники; бедные девушки, обманутые столичными хлыщами; ростовщики, опутывающие своими сетями бедняков; крупные чиновники-взяточники, мнящие себя опорой государства, — все эти герои некрасовской прозы как нельзя более своевременно появились на журнальных страницах.

В 1841 году в «Литературной газете» был напечатан рассказ Некрасова «Карета», в котором описана история молодого человека, одержимого завистью и злобой к тем, кто ездит в каретах. Некрасов не знал, что за несколько лет до него Лермонтов уже нашел эту чисто петербургскую тему: незаконченная повесть «Княгиня Лиговская»,

где изображен бедный чиновник Красинский, возненавидевший богачей после того, как его сбил с ног роскошный экипаж, появилась в печати много позднее (в 1882 году). Подобно лермонтовскому герою, некрасовский молодой человек не может и мечтать о карете. Ему приходится иной раз делать до десяти верст в день, чтобы прокормить себя с помощью уроков. «Чем они лучше меня», — думает он, глядя на проносящиеся мимо кареты.

Читатели «Пантеона» и «Литературной газеты» в значительной своей части принадлежали к той среде, которую описывал Некрасов, и им нравилось читать рассказы о себе, о таких же, как они, бедняках и тружениках, о их горестях, страданиях и надеждах. Ранняя проза Некрасова при всем ее несовершенстве неоспоримо свидетельствовала: новая литература обратилась к таким сторонам жизни, какие еще недавно считались недостойными искусства.

Правда, Некрасов не был первым русским писателем, вступившим на этот путь. У него, как и у всей литературной школы реалистов 40-х годов, был великий учитель — Гоголь. Своей гениальной «Шинелью» он дал русской литературе столь необходимую ей в эти годы гуманистическую тему «маленького человека». Своим «Невским проспектом» он утвердил тему большого города, раздираемого противоречиями бедности и богатства, города, где торжествует несправедливость, где гибнут талантливые, но беззащитные пискаревы и благоденствуют тупые, самодовольные пироговы. Продолжая гоголевскую традицию, писатели 40-х годов пошли еще дальше в своем художественном исследовании «низов» русского общества.

Ранние повести Некрасова — только первые шаги в этом направлении, но и они заслуживают серьезного внимания.

Какие причины побудили Некрасова перейти к писанию прозой? Было бы наивно приписать это неудаче первого сборника стихов или влиянию Федора Кони, который посоветовал молодому поэту приняться за прозу. Суть дела заключалась в том, что если бы этот совет не подал Кони, то его подал бы кто-нибудь другой: само время толкало Некрасова к прозаическим жанрам.

Уже с конца 30-х годов стихи пользовались среди читающей публики все меньшим и меньшим спросом. За-

метно уменьшилось количество стихотворных произведений в журналах; более того, они стали подвергаться насмешкам, своего рода преследованиям в печати. «Критики ставят их ниже всех других родов литературы»,— говорит герой одного из ранних рассказов Некрасова («25 рублей»). В русской литературе наступила, по выражению Белинского, пора «смиренной прозы», гораздо больше отвечавшей запросам и вкусам новой читательской аудитории. И не случайно, конечно, в это время почти не появляются новые поэтические имена.

В этих условиях отказ Некрасова от стихов и переход его к трезвой прозе были вполне закономерны. Для того чтобы поэзия, освобожденная от обветшавших штампов романтизма, могла подняться на новую ступень, занять свое место рядом с демократической прозой, должен был явиться такой поэт, каким позднее явился Некрасов. А в ту пору, в начале 40-х годов, он проходил период ученичества, готовясь к этой своей будущей роли.

Начав работать в изданиях Кони, Некрасов с его помощью очень быстро сделался профессиональным литератором. Он вообще многим был обязан Федору Алексеевичу, который сумел навсегда оторвать его от петербургского «дна», от привычек бездомной жизни, от начинавшегося пристрастия к вину и ввести его в среду литераторов и артистов. Сам Некрасов хорошо это понимал: «Я помню, что был я назад два года, как я жил... — писал он Кони из Ярославля 16 августа 1841 года. — Я понимаю теперь, мог ли бы я выкарабкаться из сору и грязи без помощи Вашей... Я не стыжусь признаться, что всем обязан Вам...»

Кроме рассказов, он писал тогда рецензии, заметки, театральные обозрения, фельетоны, водевили. В конце жизни Некрасов все огромное количество написанного им в эти годы назвал «литературной поденщиной». В этом определении была немалая доля правды, но это не значит, что его литературная продукция тех лет не заключала в себе ничего примечательного.

Сам Некрасов очень строго относился к своим ранним произведениям. Требовательный к себе, он никогда не перепечатывал их впоследствии. Например, стихи, написанные до 1842 года, поэт не включал в свои позднейшие сборники вообще; из стихов, написанных между 1842 и 1845 годами, он включил в трехтомное из-

дание 1864 года только четыре стихотворения, да и то поместил их в раздел «Приложений». Тогда же, в специальном примечании к этому разделу, он обратился к родным и библиографам с «покорнейшей просьбой», не перепечатывать ничего другого, кроме этих четырех пьес, даже после его смерти.

Столь же сурово относился Некрасов и к своей прозе. Он не только сам не перепечатывал ранних рассказов, но и предупреждал будущих издателей и читателей: «Прозы моей надо касаться осторожно. Я писал из хлеба много дряни, особенно повести мои, даже поздние, очень плохи — просто глупы; возобновления их не желаю, исключая «Петербургские углы»... и, разве, «Тонкий человек»...

Некрасов был прав: эти два произведения действительно выделяются в литературе того времени, хотя было бы неверно согласиться с его попыткой зачеркнуть все остальное.

Огромный материал жизненных наблюдений, накопленный в молодости, Некрасов еще не мог использовать полностью в силу незрелости своего таланта. К тому же иные рассказы написаны явно «на заказ», «из хлеба», по его собственному выражению. Но лучшие его страницы отмечены отчетливо выраженной социальной тенденцией. Писателю удалось показать, что в «низах» общества есть люди, имеющие право на лучшую участь. Он осознал, что такое контрасты большого города, попытался раскрыть их уже в первых своих рассказах. «О, как далеко Выборгской стороне до Невского проспекта! — писал Некрасов в одном из них. — Как бы я хотел теперь побывать с вами на Невском проспекте, показать вам на деле все неизмеримое расстояние между ним и Выборгскою стороною...»

В ранней некрасовской прозе ощутимо смешение разнородных стилистических элементов. Черты романтического стиля еще дают себя знать даже в тех рассказах, где предметом изображения служит реальная жизнь, где действуют живые, списанные с натуры люди. В одних случаях это штампы, некоторая выспренность языка; в других — стремление осложнить действие любовной интригой или мелодраматическим поворотом сюжета (например, злодей-ростовщик, погубивший переплетчика, в конце рассказа «Ростовщик» узнает в нем своего сына и сходит с ума). В этих случаях сказывается извест-

ное недоверие к самой теме, еще непривычной для литературы, новой для читателя.

Но главное — это обращение к реальной жизни, к ее социальным противоречиям, стремление утвердиться на пути к реалистическому изображению действительности.

И некрасовская проза, и драматургия, и критика дают большой материал для изучения истоков зрелого творчества, для понимания литературно-эстетических взглядов писателя. Его ранняя деятельность занимает заметное место в литературе 40-х годов. Без его рассказов и повестей было бы неполным наше представление о художественной прозе гоголевской школы; без его водевилей трудно оценить театральную жизнь того времени; наконец, его критические статьи и обзоры являются составной частью той борьбы за реализм, которую вели в 40-х годах передовые литераторы во главе с Белинским.

IV

«О СЦЕНА, СЦЕНА! НЕ ПОЭТ, КТО НЕ БЫЛ ТЕАТРАЛОМ...»

Впервые же годы столичной жизни Некрасов, как и многие его современники, пережил страстное увлечение театром. Он постоянно бывает на спектаклях, заводит дружбу с молодыми актерами, почти такими же бедняками, как он сам; вместе с ними постоянно сидит в трактире «Феникс», что возле самой Александринки, поигрывает в карты и горячо обсуждает разнообразные темы театральной жизни. Он проникается театральной атмосферой и с присущей ему наблюдательностью следит за своеобразным бытом кулис (потом это найдет отражение в романах «Жизнь и похождения Тихона Тростникова» и «Мертвое озеро»).

Работа в театральном журнале и покровительство Федора Кони, человека близкого к театру, способствуют его сближению с комиком А. Е. Мартыновым и ярким характерным актером В. В. Самойловым, а также

с П. И. Григорьевым, А. А. Алексеевым, режиссером Н. И. Куликовым, В. Н. Асенковой.

Первые же театральные впечатления находят отклик в стихах и фельетонах Некрасова. Еще в июне 1840 года, через несколько месяцев после выхода сборника «Мечты и звуки», он напечатал в журнале «Пантеон» за своей полной подписью стихотворение «Офелия», явно навеянное представлением «Гамлета» в Александринском театре, где Офелию именно в сезон 1839—1840 годов играла знаменитая Асенкова:

В наряде странность, беспорядок,
Глаза — две молнии во мгле,
Неуловимый отпечаток
Какой-то тайны на челе;
В лице то дерзость, то стыдливость,
Полупечальный дикий взор,
В движеньях стройность и красивость —
Все чудно в ней...

Меньше чем через год после появления этих стихов Некрасов был на похоронах рано погибшей актрисы, а много лет спустя, в 1853 году, он написал стихотворение «Памяти Асенковой», показывающее, что он не забыл ее проникновенной игры:

Я помню: занавесь взвилась,
Толпа угомонилась —
И ты на сцену в первый раз,
Как светлый день, явилась.
Театр гремел: и дилетант
И скептик хладнокровный
Твое искусство, твой талант
Почтили данью ровной.

Он знал, конечно, трагическую судьбу актрисы: отвергнутые ею высокопоставленные поклонники, среди которых упорно называли Николая I, отомстили ей отвратительной клеветой, что и свело ее в могилу в двадцатичетырехлетнем возрасте. Эта ранняя смерть вызвала много толков и взбудоражила тогдашнее общество; похороны актрисы явились, по словам современника, «своего рода демонстрацией». На полях стихотворения, посвященного Асенковой, Некрасов сделал в 1873 году такое примечание: «Бывал у нее, помню похороны, — похожи, говорили тогда, на похороны Пушкина; теперь таких вообще не бывает».

Уже на первых порах своей работы в изданиях Федора Кони Некрасов выступает как театральный рецензент и обозреватель. Редактор поручает ему регулярно вести театральное обозрение и в «Пантеоне», и в «Литературной газете», и Некрасов, судя по всему, справляется с этой задачей: его театральные фельетоны написаны живо, хлестко, со знанием дела, они содержат острую полемику против реакционной «Северной пчелы» и ее сотрудника Межевича.

А позднее он написал фельетон, озаглавленный «Выдержка из записок старого театрала» («Литературная газета», 1845), где дал характеристику театральных нравов и публики того времени, когда ему приходилось постоянно писать о театре («в старину только и делал, что ходил в театр да пописывал фельетонные статейки»). Он иронизирует по поводу вкусов зрителей, жаждущих дешевых театральных эффектов, отмечая прежде всего купеческие вкусы: «Сидельцы — большие охотники до драматической крови, обмороков, сумасшествий, но в особенности восхищают их потрясающие здание театра крики отчаяния, скрежет зубов и дикие сверкания глаз. Не будь в драме ни смысла, ни толка, они все-таки будут в восторге».

В некрасовском фельетоне любопытно также описание зрительного зала, его разношерстной публики, это описание обнаруживает и наблюдательность, и знание театрального быта. Вот несколько строк, посвященных наиболее демократической части зала — райку, набитому сверху донизу:

«Боже милостивый! какое изумительное разнообразие, какая пестрая смесь! Воротник сторожа, борода безграмотного каменщика, красный нос дворового человека, зеленые глаза вашей кухарки, небритый подбородок выгнанного со службы подьячего, ...красная, расплывшаяся от жира, мокрая от пота голова толстой кухмистерши, хорошенькое личико магазинной девушки, которую часто встречаете вы на Невском проспекте; рядом с ней физиономия отставного солдата... Боже милостивый, сколько голов...»

* * *

Уже сделавшись записным театралом, приобретя некоторый опыт, Некрасов решился попробовать свои силы в драматургии. Не только жизненные обстоятель-

ства, не только интерес к театру привели его к этому решению. Как тонко отметил К. И. Чуковский, Некрасову вообще было свойственно «мышление драматурга», его всегда тянуло к динамичной, сюжетной драматической форме; поэтому и в некрасовской лирике можно обнаружить ее внутреннюю драматургическую основу (вспомним такие сюжетные стихотворения, как «Огородник», «Еду ли ночью по улице темной»). Диалоги его поэм, драматические куски в прозаических произведениях, театрализованная форма газетных фельетонов — все это говорит о тяготении Некрасова к драматургии, к сцене.

Еще раньше, во время службы в пансионе Бенецкого, не имея никаких связей с театром, Некрасов написал пьесу для детей в стихах «Юность Ломоносова» и два водевиля «Великодушный поступок» (он посвятил его В. Ф. Фермору, брату своего приятеля) и «Федя и Володя». Оба предназначались для детской аудитории. В этих пьесах, переданных автором книгопродавцу и издателю лубочной литературы В. П. Полякову, слишком ощутима неопытность драматурга. Однако «Юность Ломоносова» интересна тем, что в ней изображен молодой человек, одержимый мечтой получить образование и для этого приехавший в столицу. Этот образ не лишен автобиографической окраски:

Трудов немало перенес я:
Нередко даже голодал,
С людьми боролся и с судьбою,
Дороги сам себе искал.

Так говорит герой пьески, но эти слова вполне мог бы произнести и сам автор. Интересно и то, что замысел этой наивной драматургической фантазии об «архангельском мужике» в зрелые годы явственно откликнулся в некрасовском стихотворении «Школьник» (1856) — вплоть до сохранения в нем отдельных строк. В пьесе Ломоносов говорит извозчику:

Вот видишь: ты тужил,
Как я дойду, а первый сам помог мне.
На свете не без добрых, знать...

Спустя шестнадцать лет Некрасов в стихах, воскрешающих память Ломоносова, повторил:

Не без добрых душ на свете —
Кто-нибудь свезет в Москву...

Быстро сблизившись с театральной средой, а с другой стороны, — узнав нравы журнального мира, Некрасов пишет водевильную сцену «Утро в редакции» и печатает ее в «Литературной газете» (1841), конечно, не без участия Федора Кони, который помогал молодому автору, да, кажется, и натолкнул его на мысль приняться за водевили.

«Утро в редакции» — жанровая зарисовка, в которой автору удалось наметить довольно четкие эскизы характеров; среди действующих лиц — честный журналист Семячко (имелся в виду Ф. Кони), которого обливает клеветой продажный писака Задарин (то есть Булгарин); развязный невежда и графоман Оболтусов; аристократический бездельник Будкин, похожий на тех театральных завсегдатаев, каких немало доводилось встречать Некрасову.

На сцене Александринского театра в это время господствовали риторика монархических драм и непритязательная пестрота легкого водевильного репертуара. С трудом проникало сюда дыхание живой жизни и настоящего искусства. Этой сцене покровительствовал сам Николай I — он удостаивал своими посещениями не только спектакли, но даже репетиции императорской труппы. Сюда-то судьба и привела двадцатилетнего Некрасова, задумавшего поставить на театре свой водевиль. Новые друзья оказывали ему всяческую помощь.

Водевиль был изготовлен без особых усилий. Основой его явился сюжет повести В. Нарежного «Невеста под замком»; молодой драматург быстро превратил ее в пьесу, построенную по всем канонам водевильного жанра. Не заботясь о содержании повести, он больше думал о требованиях сцены. Так появились юная воспитанница, ловкий молодой человек, влюбленный в нее, и, конечно, одураченный дядюшка. Ситуация, напоминающая «Севильского цирюльника» Бомарше. К тому же воспитанницу автор водевиля назвал Розиной. Острые положения, живой диалог, веселые куплеты... Словом, в этой пьесе от Нарежного почти ничего не осталось. «Написал он ее в несколько дней у нас на квартире, — рассказывает актер А. Алексеев, — по переписке ее я был его усердным помощником. У нас дело шло быстро: он писал, я переписывал за тем же столом набело».

24 апреля 1841 года, съезжаясь вечером к зданию Александринского театра, к его величественной, ярко освещенной колоннаде, зрители увидели на афишах никому до тех пор не известное имя — Н. А. Перепельский: в этот вечер давали его водевиль «Шила в мешке не утаишь — девушки под замком не удержишь».

Первая пьеса Некрасова, поставленная на театре, мало отличалась от множества водевилей, шедших на столичной сцене и составлявших тогда основу театрального репертуара. В один сезон Александринка ставила до сотни водевилей. «...Водевиль завладел современною сценою и исключительным вниманием театральной публики», — писал Белинский в 1840 году.

Необычайный успех этого легкого жанра вызывался многими причинами. В то время национальная русская комедия насчитывала лишь несколько названий: «Недоросль» Фонвизина, «Горе от ума» Грибоедова, в силу запретов еще не получившее сценической жизни, и, конечно, «Ревизор» Гоголя — вот, в сущности, и все. Водевиль, родившийся в XVIII веке во Франции, распространился в России, служа заменой комедии нравов, которой остро недоставало в русском театральном репертуаре.

Самый условный из комедийных жанров, водевиль, вместо характеров предлагал зрителям традиционные сценические маски, он строился на банальных сюжетах, переодеваниях и путанице, он обрушивал в зрительный зал поток игривых куплетов и дешевых острот, пленявших не слишком избалованную публику. Само содержание большинства водевилей было крайне легковесным, часто фривольным. Характеристику тогдашнего водевиля мы находим у самого Некрасова:

«В водевилях мужья никогда не обижаются за поругание своих прав, а если и делают это, так для шутки; жены никогда не узнают своих мужей; ...дяди (самый глупый народ) все прощают своим племянникам... Возьмите любое водевильное лицо, поставьте его вниз головою, заставьте говорить ногами: лицо не переменится, только будет эффектнее, а для эффекта водевилисты готовы лезть в огонь и в воду!»

Взявшись за перо драматурга, Некрасов вряд ли ставил своей целью обогатить этот жанр новым содержанием. Однако спектакль имел несомненный успех: он прошел восемь раз в сезоне, что бывало далеко не всегда.

В театральной хронике по этому поводу было сказано: «...Состоялся блистательный дебют Некрасова (Перепельского) в качестве водевилиста».

* * *

В следующем, уже оригинальном некрасовском водевиле слышны новые, необычные для этого жанра мотивы. Второй водевиль назывался «Феоклист Онуфрич Боб, или Муж не в своей тарелке». Завязка его была вполне традиционной, привычной для зрителей. Возвратившийся муж якобы не узнан своей женой; жена упорно именует супругом постороннего молодого человека; старый дядюшка поминутно нюхает табак, приговаривая нелепые слова «ни с того, ни с другого». Но в этой водевильной путанице вдруг возникает живая картина нравов. Вернувшийся из Петербурга Феоклист Боб, чиновник в отставке, рассказывает, как хлопотал он «в столичных департаментах» место в уездном городе:

«Меня преследовало несчастие... я подавал прошения... каждое утро ходил в департамент... и часто раньше служителей... Однажды я жду; входит начальник отделения... Взглянул на меня, засмеялся да и говорит: «Опять этот Боб! Надо как-нибудь отделаться от этого животного...»

Униженное положение маленького чиновника, его убогая жизнь раскрываются в косноязычном рассказе некрасовского Боба, горькая нота врывается в веселый водевиль. Его герой «перешел» сюда из стихотворного фельетона Некрасова «Провинциальный подъячий в Петербурге», напечатанного в 1840 году в журнале «Пантеон». Но если там характер был чисто комедийным, а юмористический эффект достигался изображением наивного провинциала, растерявшегося в «Северной Пальмире», то Феоклист Боб из водевиля уже приобрел некоторые черты «маленького человека», обездоленного чиновника, кое в чем схожего с персонажем гоголевской «Шинели».

Феоклиста Боба играл на александринской сцене Мартынов, актер, умевший даже из скудного водевильного материала создавать правдивые сценические портреты «маленьких людей». Можно думать, что Некрасов писал роль Боба в расчете на исполнение Мартынова.

И в других некрасовских водевилях нетрудно обнару-

жить присутствие мыслей вовсе не водевильного характера, затрагивающих темы реальной жизни. В сценах «Утро в редакции» он говорил о высоком призвании журналиста, литератора. В водевиле «Актер», поставленном в Александринском театре в 1841 году, он взял под защиту благородную профессию служителя сцены, высмеял невежественных людей, считающих актера чуть ли не шутом. В незамысловатом сюжете он остроумно и весело доказывал вполне серьезную мысль.

С точки зрения художественной «Актер» — наиболее яркий водевиль Некрасова. Излюбленный прием водевиля — переодевание получает здесь новый смысл: с помощью своего искусства актер изображает то старуху-помещицу, то итальянца, торгующего гипсовыми бюстами, — он издевается над теми, кто не уважает его труд. «Маски», в которых выступает актер Стружкин, — это беглые, но меткие зарисовки характеров. Они давали исполнителям прекрасный материал.

Роль Стружкина играл блестящий мастер перевоплощения Самойлов, для которого Некрасов и написал свою пьесу-шутку. Современники утверждают, что это была едва ли не первая роль, в которой Самойлов имел случай показать свой разнообразный талант. И не удивительно, что водевиль много лет шел с неизменным успехом.

Последним водевильным произведением Некрасова был «Петербургский ростовщик», где нарисован отталкивающий образ скряги, очень мало соответствующий привычным водевильным нормам. Этот персонаж не раз появлялся в ранних рассказах Некрасова как олицетворение алчности, хищности. Теперь же он явно свидетельствовал, что автор перерос искусственные рамки условного жанра; в эти рамки уже не укладывались его гораздо более зрелые и усложнившиеся представления о действительности, о задачах искусства.

В том же самом 1845 году, когда был поставлен на сцене «Ростовщик», Некрасов пишет проникнутые острой критической мыслью «Колыбельную песню» и «Современную оду», в которых ярко прорывается его талант сатирика. Язвительная ирония, обличение зла находят здесь чеканную форму:

...И червонцы твои не украдены
У сирот беззащитных и вдов.

Этот пронизывающий сарказм «Современной оды» весьма далек от водевильного разоблачения ростовщика, а ведь именно он, тот же ростовщик-кровопийца, выставлен на позор и в стихотворении и в пьесе. Но каким бледным и вялым кажется водевиль по сравнению с небольшим стихотворением! Как много сказано в этих шести четверостишиях, какой выразительный образ в них нарисован!

Первые попытки осознать себя как художника, начавшие складываться воззрения писателя-демократа, наконец, пробивающийся поэтический и публицистический темперамент не позволили ему надолго остаться в кругу водевильных хитросплетений. Обнаружились и начали раскрываться новые стороны некрасовского таланта, они-то и заставили его даже в самих водевилях как бы полемизировать с законами жанра, изнутри вступать в противоречие с ними. Когда же сама жизнь поставила перед ним новые, сложные и, конечно, непосильные для развлекательного жанра задачи, — он навсегда расстался с водевилем.

После 1845 года Некрасов отходит от работы для театра, но к драматургии он еще не раз обратится и в более поздние годы; последняя из его пьес — незаконченная драма «Медвежья охота» — писалась в 1867 году.

V

«ПОВОРОТ К ПРАВДЕ»

Прошло всего только три года, но это были три тяжелых и бурных года его петербургской жизни. Многого достиг за это время Некрасов. Это был уже не тот провинциальный юноша, каким он когда-то явился в столицу. Он стал теперь профессиональным литератором, журналистом, известным во многих редакциях. Его знали как водевилиста, близкого к театральной среде, как сотрудника «Пантеона» и «Литературной газеты», не последних столичных изданий, противостоявших реакционной булгаринской прессе.

Материальное положение Некрасова значительно улучшилось к этому времени благодаря работе у Кони. Правда, улучшение это было весьма относительным, и в промежутках между получениями заработанных денег он постоянно нуждался. А Кони не слишком торопился расплатиться со своими сотрудниками. Тем не менее ценой бессонных ночей, напряженного труда Некрасов имел теперь возможность заработать достаточно денег, чтобы осуществить, например, давно задуманную поездку домой.

В письмах к сестре Елизавете он уже не раз обещал побывать в родных местах, а в июле 1841 года сестра позвала его приехать на свою свадьбу. Некрасов в это время читал корректуры в редакции «Пантеона» по просьбе уехавшего в Москву Федора Алексеевича. Теперь, собравшись в Ярославль, он посылал в Москву своему шефу просьбу за просьбой, уговаривая выслать ему деньги, необходимые для поездки.

«Мне ужасно нужны деньги, — писал Некрасов 18 июля 1841 года. — К отъезду домой надо сделать себе платье. — Вы, верно, с этим согласны, надо купить, по российскому обычаю, подарок сестре, надобно доехать на что-нибудь, надо туда привезти что-нибудь, потому что с родителя моего взятки гладки. А потому, командир, как Вы меня обязали, когда бы сверх выше писанных 410 рублей [1] прислали мне еще рублей полтораста. Уж как бы я Вам был благодарен. Я бы Вам за это отдал две мои пиесы в «Пантеон»... Кроме того, я бы служил Вашей «Литературной газете» повестями и статьями сколько угодно и до зимы уж не требовал бы с Вас ни копейки денег...»

Заканчивая свою просьбу, Некрасов шутливо прибавил: «Я буду вечно за Вас бога молить, когда мне припадет охота молиться».

В самом конце июля Некрасов выехал из Петербурга домой, в Грешнево, должно быть так и не получив денег от Кони. Дома его ждало великое горе: вместо свадьбы сестры он попал на похороны матери. 29 июля 1841 года Елена Андреевна умерла, замученная своей тяжелой, страдальческой жизнью. Ее похоронили на погосте Абакумцево, в трех верстах от Грешнева, в церковной ограде.

Он долго пробыл в родных местах — почти до конца

---

[1] Речь идет о заработанных Некрасовым деньгах.

года. Позднее, в поэме «Мать», он так вспоминал об этом своем пребывании в Грешневе:

Лет двадцати, с усталой головой,
Ни жив ни мертв (я голодал подолгу),
Но горделив — приехал я домой.
Я посетил деревню, нивы, Волгу —
Все те же вы — и нивы, и народ...
И та же все река моя родная...
Заметил я новинку: пароход!
Но лишь на миг мелькнула жизнь живая.

По немногим сохранившимся письмам Некрасова к Кони можно заключить, что, живя дома, он довольно много работал. Он успел написать здесь большую повесть, драму в четырех актах, водевиль. В одном из его писем (от 25 ноября 1841 года) содержится такое признание: «Потеряв надежду на постоянную работу[1], я тороплюсь наготовить разных произведений, которые можно было бы продать поштучно для выручки денег на содержание своей особы». Как видно, в конце 1841 года период литературной поденщины и материальных затруднений далеко еще не кончился.

В письмах Некрасова нет ни слова о том, как пережил он смерть матери, каковы были в эту пору отношения с отцом. Мы узнаем из этих писем только одно: жизнь в отцовской усадьбе пробудила в нем неутолимую страсть к охоте, возникшую еще в детские годы; теперь он с увлечением ей отдался, попав в родные леса и поля после трехлетнего отсутствия.

К тому же он встретил здесь старых своих деревенских приятелей, товарищей детских игр, и с ними разделял охотничьи труды и забавы. Должно быть, по этой причине он и задержался так надолго в деревне. В конце ноября Некрасов писал Кони: «...Теперь последнее время *порош*, и я с утра до вечера на поле, — травлю и бью зайцев... Это моя страсть, в этом занятии я провел все время пребывания здесь; в городе был не больше трех дней».

Тем не менее в декабре он уже был в Петербурге.

* * *

В одном из автобиографических набросков, сделанных Некрасовым в конце жизни, сохранилась конспективная

[1] Кони ответил отказом на предложение Некрасова о постоянном сотрудничестве; отношения их в это время складывались не очень гладко и близились к разрыву.

запись, относящаяся к первой половине 40-х годов: «Поворот к правде, явившийся отчасти от писания прозой, критических статей Белинского, Боткина, Анненкова и др.». Этими лаконичными словами — поворот к правде — Некрасов точно определил целый этап своей творческой биографии: переход от неопытности к зрелости, от ученичества к мастерству и связанное с этим осознание правды как подлинной основы художественного творчества.

Подготовке этого «поворота к правде» более всего способствовали, конечно, критика и публицистика Белинского, под идейным влиянием которого Некрасов сформировался как писатель, принадлежащий к натуральной школе — передовому реалистическому направлению в литературе 40-х годов; оно развивалось под непосредственным влиянием Гоголя. Что же касается В. П. Боткина и П. В. Анненкова, то, называя их рядом с Белинским, Некрасов, по-видимому, имел в виду не столько их критические статьи (Анненков выступил как критик позднее, преимущественно в 50-е годы), сколько их идейную близость к Белинскому в то время, когда эти просвещенные и талантливые литераторы играли значительную роль в его кружке.

Многие писатели, выступившие в 40-е годы, и среди них Некрасов, нашли опору своим стремлениям к правде в искусстве, к социальной справедливости в творчестве Гоголя и потому признали его своим учителем. По той же причине и Белинский стал страстным пропагандистом Гоголя. Он объяснял в своих статьях современное значение «Миргорода», «Ревизора» и «Мертвых душ», доказывал необходимость продолжать и развивать художественные принципы, открытые Гоголем.

Но молодые таланты, к которым обращался Белинский, проявили себя по-разному. Одни из них ненадолго и едва ли не случайно примкнули к новому литературному движению (тем не менее «Полинька Сакс» А. В. Дружинина и «Тарантас» В. А. Соллогуба заняли заметное место среди произведений тех лет). Другие внесли в него скромный вклад своими «физиологическими» очерками и рассказами (В. И. Даль, Е. П. Гребенка, Я. П. Бутков и др.). Наконец, третьи вскоре стали известны как писатели, силами которых отечественная литература поднялась на новую ступень и выросла неизмеримо; но в 40-е годы эти воспитанники гоголевской

школы выступили только с первыми значительными сочинениями: Тургенев с рассказами из «Записок охотника», Герцен с повестью «Кто виноват?», Достоевский с «Бедными людьми», Гончаров с «Обыкновенной историей», Григорович с «Деревней» и «Антоном Горемыкой».

Литературное направление, рожденное самим временем, в борьбе завоевывало свои позиции. Вся охранительная печать во главе с Булгариным ополчилась против новой школы и ее вдохновителя — Гоголя. В чем только не обвиняли их литературные мракобесы! И в отсутствии таланта, и в подражательности, и в односторонности, и, конечно, в прямой клевете на действительность. Погодинский «Москвитянин» усердно старался создать впечатление, что произведения писателей гоголевской школы бесцветны и скучны, что влияние ее ничтожно и что она должна исчезнуть так же скоро, как возникла.

«Положим, что все это справедливо, — резонно возражал на это Белинский в своем ответе «Москвитянину», — но в таком случае из чего же вы горячитесь, зачем беспрестанно пишете о натуральной школе... Стоит ли толковать о пустяках, о вздоре; — словом, о литературных произведениях, которые клевещут на общество... о литературных произведениях, чуждых всякого достоинства, не ознаменованных талантом, способных наводить только скуку и потому самому безвредных и ничтожных, несмотря на ложное их направление?»

Белинский безошибочно уловил и язвительно высмеял это «странное противоречие», впрочем, легко объяснимое тем, что противники натуральной школы поняли ее силу и пытались любыми средствами скомпрометировать ее в глазах читателей. А приверженцы школы охотно приняли из рук врагов свое название, придуманное в качестве пренебрежительной клички. Это название как нельзя лучше определяло пафос литературного направления, сделавшего своим девизом верность жизненной правде, природе, натуре.

Материалом творчества новых писателей явилась прежде всего жизнь социальных низов, нищета углов и подвалов, противоречия бедности и богатства. Героями новой литературы были мелкие чиновники, крепостные крестьяне, бедные художники, швеи, шарманщики, извозчики, дворники, мастеровые и другие люди «низкого звания». Вместе с ними вошел в литературу целый мир новых чувств и мыслей, незнакомых ей прежде.

Некрасов, безраздельно примкнувший к гоголевской школе, также выступил с произведениями в духе нового направления: это были не только стихи, какие он сам считал началом своей поэтической деятельности, не только очерки и рассказы, — это были также статьи, рецензии и фельетоны, в которых молодой критик защищал принципы натуральной школы. Он явился активным союзником Белинского.

* * *

Уже в первых своих выступлениях на литературные темы в изданиях Кони — «Пантеоне» и «Литературной газете» Некрасов заявил себя противником булгаринской «Северной пчелы»; новый сотрудник оказался куда более непримиримым в своем отрицании реакционных направлений в журналистике, чем сам издатель «Литературной газеты».

Правда, на первых порах среди антибулгаринских выступлений Некрасова преобладали задор и колючие выпады. Например, в январской «Летописи русского театра» за 1841 год, которую он вел в «Пантеоне», мы читаем: «Шекспиру так же трудно было написать дурную пиесу, как автору «Ивана Выжигина» — хорошую». «Иван Выжигин» — это название известного тогда романа Булгарина, а также водевиля, состряпанного сотрудником «Северной пчелы» Межевичем. Об этом водевиле рецензент «Пантеона» отозвался как о «нелепейшем произведении литературы русской». Кстати, он провалился на первом же представлении.

С течением времени критические суждения Некрасова приобретали бо́льшую доказательность, полемическую глубину и определенность, захватывали более широкий круг общественно-литературных вопросов. Не потому ли Кони и начал постепенно сокращать активность своего молодого сотрудника: его взгляды казались ему слишком резкими.

Однако критические и театральные обозрения Некрасова заметно оживляли довольно вялые издания Кони и, по-видимому, пользовались успехом у публики. Автор этих обозрений показал себя прирожденным журналистом. Несмотря на небольшой еще опыт, он умело вел легкий и непринужденный разговор с читателем, прибегая то к шутке, то к каламбуру, то просто к насмешливо-иро-

нической интонации, широко пользуясь приемами фельетона, памфлета, даже очерка. Эта свободная манера, почти забытая позднее, позволяла рецензенту заинтересовать читателя и в одном небольшом обозрении коснуться множества пьес, спектаклей, актеров.

В массе разнообразных статей и рецензий, написанных Некрасовым, — теперь они составляют целый том в полном собрании его сочинений, — отчетливо выделяются главные линии его критической работы: борьба с реакционно-охранительной литературой, разоблачение защитников «официальной народности», казенного лжепатриотизма, критика старомодного эпигонского романтизма и в конечном счете защита принципов натуральной школы.

В первых своих рецензиях Некрасов высмеивает псевдоисторические повести К. Масальского (статья «Сто русских литераторов») и М. Загоскина («Кузьма Петрович Мирошев»). Книгу «Человек с высшим взглядом», сочинение некоего Е. Г., он осуждает за то, что «в нем не найдете вы характеров, в нем нет современной жизни, нет картин действительности, в нем только покушения на изображение действительности». Несколько страниц, проникнутых язвительной иронией, он посвящает книжонке «Русский патриот», наполненной восторженными и высокопарными стихами.

От статьи к статье Некрасов заметно растет как критик. Не осталось и следа от прежних наивных представлений о литераторах, перед которыми должно преклоняться. Теперь он уже знает, что Николай Полевой, к которому всего несколько лет назад с замиранием сердца носил он свои первые стихи, сотрудничает в булгаринских изданиях, что этот когда-то известный журналист и критик давно простился с былым либерализмом «Московского телеграфа». Полевой теперь сделался драматургом; обнаружив необычайную плодовитость, он изготовлял одну за другой весьма слабые монархические пьесы. Затем он выпустил двухтомное собрание драматических сочинений. Вот этим-то изданием и заинтересовался Некрасов. Он напечатал в «Литературной газете» критический памфлет, в котором весьма сурово обошелся с драматургом.

Вначале он дал иронический обзор пьес Полевого, имевших успех у невзыскательной публики Александринского театра, и пришел к такому заключению: «Достиг-

нув, так сказать, зенита драматической славы, ...г. Полевому более ничего не оставалось, как выдать в свет собрание своих театральных вдохновений, чтобы окончательно утвердить за собою титул и славу российского Шекспира настоящей эпохи и тут же кстати дать средство своим многочисленным поклонникам, которые восхищались произведениями его поштучно, ...насладиться ими гуртом, за один присест...»

Произведения «российского Шекспира», выстроенные в один ряд по мере своего рождения, поражают необыкновенным сходством между собой, доходящим до тождественности: это как бы «одна большая пиеса, разделенная на множество картин, актов и отделений». В них нет характеров, а есть только роли, то есть одни и те же лица, но переряженные в разные костюмы и окрещенные разными именами. И дело тут вовсе не только в художественных недостатках: Некрасов тонко вскрывает истинную подоплеку этого однообразия драматургии Полевого, а попутно и его незавидной славы; он намекает на то, что казенный патриотизм и угодничество, пропитывающие его пьесы, не могут быть отправным началом искусства. Ложная идея, предвзятость приводят к сухой риторике и трафарету, лишают искусство правды и движения. Вот причина, в силу которой, например, пьеса Полевого «Солдатское сердце» «совсем не возбуждает тех чувств, которые желал, может быть, возбудить сочинитель. Зритель смотрит на нее холодно, равнодушно, недоверчиво!»

Статья-памфлет, направленная против Полевого, имела целью показать художественную беспомощность литературного направления, противостоявшего натуральной школе. Столь же важным в этом смысле было и серьезное выступление Некрасова в 1843 году против Булгарина. Две его рецензии на булгаринские «Очерки русских нравов» были напечатаны уже в «Отечественных записках».

Фаддей Булгарин — одна из самых одиозных фигур русской журналистики — еще с пушкинских времен приобрел скандальную репутацию в обществе. Известно, какое отвращение питал к нему Пушкин, как он в стихах и публицистике клеймил его в качестве доносчика («Видок Фиглярин») и как энергично боролся против булгаринского влияния в литературе. Так же относился к нему и Гоголь. В одном из писем (от 13 мая 1838 года) он рассказывает, как однажды дерптские студенты поколотили

Булгарина; Гоголь прибавляет к своему рассказу: «Этого наслаждения я не понимаю. По мне поколотить Булгарина так же гадко, как и поцеловать его».

По свидетельству современников, на Булгарина смотрели как на прокаженного; с ним избегали раскланиваться на улице, а тем более бывать в одном обществе. Были известны нечистые источники его доходов, в число которых входили не только доносы, но и мелкие поборы с фруктовых магазинов, винных погребов, — Булгарин делал им рекламу в своей газете.

Стремясь развенчать Булгарина, как писателя, который пользовался покровительством властей, Некрасов по поводу его «Очерков» писал: «Картины бледные, безжизненные, как небо от земли далеки от действительности; веселость старческая, мешковатая, любезность ребяческая, остроумие натянутое, тяжелое, аляповатое, наконец жалкие и забавные похвалы самому себе и слабые, бессильные придирки к тем, кого он почитает своими врагами, — вот элементы, из которых состоит новое произведение г. Булгарина».

Соединив в своем фельетоне критику и сатиру, Некрасов умело создал в представлении читателя отталкивающий образ рептильного журналиста, пронженного дельца. А в конце рецензии он даже ввел рассуждения о человеке, одержимом «пагубной страстью к подслушиванию, пересказам и переносам», то есть умудрился довольно определенно намекнуть на доносительскую деятельность Булгарина, как известно, связанного с Третьим отделением и в силу этого огражденного от разоблачений в печати.

Критические суждения Некрасова отвечали задачам нового литературного движения, вернее сказать, они были частью этого движения. И вполне естественно, что статьи и рецензии молодого критика обратили на себя внимание Белинского еще до того, как они познакомились. Их мнения нередко совпадали. Нередко они писали об одних и тех же книгах, и бывало, что сходные, близкие по духу оценки появлялись в печати почти одновременно; иногда же Некрасов, писавший в газете, даже опережал Белинского, работавшего в журнале (так было, например, с критикой романа Загоскина, стихов Н. Молчанова, с откликом на «Русские народные сказки»).

Ранние статьи Некрасова, его острое сатирическое перо надолго запомнились Белинскому. Так, в 1847 году он заметил в одном из писем: «...Некрасов — это талант, да еще какой! Я помню, кажется, в 42 или 43 году он написал в «Отечественных записках» разбор какого-то булгаринского изделия с такой злостью, ядовитостью, с таким мастерством, что читать наслаждение и удивление». Разбор булгаринского изделия — это и есть рецензия на «Очерки русских нравов», о которой мы только что говорили.

Сохранились и другие суждения Белинского о Некрасове-критике. Однажды, уже в годы «Современника», уговаривая Некрасова написать какую-то рецензию, Белинский напомнил ему: «...Вы писывали превосходные рецензии в таком роде, в котором я писать не могу и не умею». Имелась в виду, конечно, та свободная полубеллетристическая форма, в которую облечены лучшие критические отзывы Некрасова. Белинский, писавший иначе, отдавал должное своеобразию его критической манеры.

Когда Некрасов определил наиболее важную черту своей тогдашней деятельности как «поворот к правде», он в числе мотивов, вызвавших этот «поворот», назвал писание прозой. Здесь под прозой надо разуметь не одни лишь повести и рассказы, но и некрасовскую критику, часто близкую к жанрам художественной прозы.

Судя по всему, Некрасов и сам не делал резкого различия между этими двумя видами своего раннего творчества. Чтобы убедиться в этом, стоит прочесть хотя бы отрывок из одной его рецензии, относящейся, правда, к 1847 году. Вот что пишет Некрасов о новых чертах реализма, обогативших отечественную литературу:

«Живым ключом забился в ней новый родник, из которого она прежде гнушалась черпать; цель ее стала благороднее и дельнее чем когда-либо... Отказавшись от изображения бурь и волнений, без сомнения возвышенных и глубоких, возникающих в благовонной атмосфере аристократических зал..., она не гнушается темных дел, страстей и страданий низменного и бедного мира, освещенного лучиной... Мир старух, желтых и страшных, посвятивших себя гнилому тряпью, вне которого нет для них ни интересов, ни радостей, ни самой жизни, стариков, сердитых и мрачных; женщин жалких и возмущающих, которые протягивают руку украдкой и краснеют или делаются

жертвой позора и нищеты; детей бледных и болезненных, которые дрожат и скачут от холода, выгнанные на свет божий нуждой из сырого подвала, — темен и страшен такой мир, и много надобно было нашей литературе, недавно еще щепетильной и чопорной, передумать и пережить, чтобы решиться низойти до него, — приподнять хоть немного завесу, скрывающую его мрачные тайны, — и она приподняла ее... Она сама знает, что ее теперешние герои — нередко люди, которых привычки грубы, страдания обыкновенны до пошлости, страсти неблаговоспитанны, в которых нет ничего романтического и привлекательного, скорей много отталкивающего, но она знает также, что они люди...»

Не так легко определить, кем написана эта страница — художником или критиком? Вернее будет сказать, что художник и критик соединили здесь свои усилия, чтобы мысль о новом качестве современной литературы обосновать с помощью живой и впечатляющей картины.

Приведенный отрывок показывает, как выросла и окрепла критическая мысль Некрасова, сумевшая обнять большой и сложный литературный процесс. Недаром рецензия на альманах «Музей современной иностранной литературы», из которой взят этот отрывок, долгое время считалась принадлежащей Белинскому и даже входила в собрания его сочинений! Исследователи предполагали, что выразительное описание новой тематики, данное Белинским, имело в виду прежде всего некрасовскую прозу; какой же другой писатель тех лет, если не автор «Петербургских углов», мог дать критику материал для этих потрясающих строк о городской нищете, впервые изображенной в русской литературе?

Но позднее выяснилось, что эти строки написаны самим Некрасовым, уже имевшим к тому времени за плечами некоторый опыт работы над реалистической «петербургской» прозой [1]. Отрывок, по-видимому, предназначался для одной из глав романа о Тростникове, но был перенесен автором в рецензию — свидетельство того, насколько условной была для Некрасова граница между художественной прозой и прозой критической.

---

[1] Это установил М. М. Гин в статье «Новонайденные рецензии Некрасова», в сб.: «Н. А. Некрасов. Научный бюллетень ЛГУ». Л., 1947.

VI

В ШКОЛЕ БЕЛИНСКОГО

Еще недавно Некрасов был только внимательным читателем «Отечественных записок», издававшихся А. А. Краевским. Но Краевский имел близкое отношение и к изданию «Литературной газеты», перешедшей с конца 1840 года в руки Кони; Некрасов же в этой редакции, как известно, был своим человеком. Начиная с 1841 года он печатал здесь критические статьи, вел редакционную работу, заменял редактора, с которым подружился. В отсутствие Федора Алексеевича он постоянно встречался с Краевским, ходил к нему «каждую неделю на совет о составлении нумеров «Литературной газеты», о чем сообщал своему шефу 2 апреля 1842 года (позднее отношения между Некрасовым и Краевским стали враждебными).

И нет ничего удивительного в том, что, продолжая сотрудничать в изданиях Кони, Некрасов начал изредка печататься в журнале Краевского. При этом он имел дело с самим издателем. Так, осенью 1841 года, живя дома, в Грешневе, Некрасов послал ему свою повесть, о чем рассказал Кони: «Я послал Краевскому «Опытную женщину», а денег за нее просить совещусь, потому что предварительно об этом не говорил...» Заказы на рецензии Некрасов тоже получал от самого Краевского, может быть, еще и по той причине, что побаивался Белинского, зная его только по статьям в журнале. Но поскольку критическим отделом «Отечественных записок» в это время руководил именно Белинский, то встреча начинающего сотрудника с известным критиком была неизбежна.

Когда эта встреча произошла — в точности неизвестно. Но примерно в середине 1842 года в редакции «Отечественных записок», помещавшейся в большом доме на углу Литейного, Некрасов впервые увидел Белинского. Ему навстречу вышел скромно одетый человек небольшого роста, сутуловатый, с неправильным, но замечательным, оригинальным лицом, с нависшими на лоб белокурыми волосами. Суровое и беспокойное выражение быстро

сменилось на его лице другим — оживленным и светлым, когда он увидел пришедшего.

С первого знакомства Некрасов произвел хорошее впечатление на Белинского. Их знакомство вскоре упрочилось и перешло в тесную дружбу; критик, по словам И. И. Панаева, горячо полюбил Некрасова «за его резкий, несколько ожесточенный ум, за те страдания, которые он испытал так рано, добиваясь куска насущного хлеба, и за тот смелый практический взгляд, не по летам, который вынес он из своей труженической и страдальческой жизни, и которому Белинский всегда мучительно завидовал».

Белинский увидел в Некрасове представителя той же трудовой интеллигенции, к которой принадлежал и сам. Он прежде всех и, конечно, раньше самого Некрасова угадал его истинное призвание.

Белинский умел почти безошибочно отличать настоящее от поддельного, талантливое от посредственного. И он скоро понял, что человек, прошедший такую жизненную школу, наделенный таким талантом и такой энергией, как Некрасов, может немало сделать для отечественной литературы. В то время она особенно нуждалась в деятельных и сильных работниках, способных принять на свои плечи огромной важности задачу: поддержать традиции Пушкина и Гоголя и, опираясь на них, повернуть современную литературу на новый путь, обратить ее непосредственно к народным нуждам, к текущей жизни.

Острым умом своим Белинский определил, какая роль здесь могла бы принадлежать Некрасову. А определив это, он принялся с присущим ему увлечением учить и воспитывать своего младшего собрата. Да, именно учить и воспитывать, иначе трудно назвать ту настойчивую и терпеливую работу, какую начал Белинский, стремясь расширить кругозор Некрасова и направить его талант по верному пути.

«Белинский видел во мне, — вспоминал сам Некрасов, — богато одаренную натуру, которой недостает развития и образования. И вот около этого-то держались его беседы со мною... имевшие для меня значение поучения».

Нередко они засиживались вдвоем часов до двух ночи, разговаривая о литературе и о разных других предметах. После таких «бесед-поучений» Некрасов, по его

собственным словам, долго бродил по опустевшим улицам в каком-то возбужденном настроении — столько было нового и необычного в том, что он услышал.

Об этих беседах знали в кругу, близком к Белинскому. Так, Тургенев отмечает в своих воспоминаниях, что «летом 1843 года Белинский... лелеял и выводил в люди Некрасова». О том же самом позднее рассказывал и Анненков в письме к М. М. Стасюлевичу: «...В 1843 году я видел, как принялся за него Белинский, раскрывая ему сущность его собственной натуры и ее силы, и как покорно слушал его поэт, говоривший: «Белинский производит меня из литературного бродяги в дворяне».

Белинский привязался к Некрасову, о чем сам часто говорил друзьям. Привязанность эта была столь велика, что даже после одной размолвки в начале 1847 года, о которой будет рассказано дальше, критик писал Тургеневу: «Я любил его, так любил, что мне и теперь иногда то жалко его, то досадно на него...» Понятно, что Белинский был с ним откровенен и высказывал самые затаенные свои мысли. Чтобы представить себе, каких предметов касались их разговоры, надо вспомнить, что судьба привела Некрасова к Белинскому во время наивысшего расцвета душевных сил критика, в ту пору, когда приближались к наибольшей зрелости его общественно-философские взгляды.

Именно в это время, вскоре после переезда в Петербург, Белинским овладела идея социализма, которую он с фанатическим увлечением принялся развивать перед друзьями, стремясь увлечь своей верой всех, кто был рядом. Многие современники рассказывали о незабываемых речах, какие произносил в ту пору Белинский. Конечно, и в беседах с Некрасовым раскрывался его могучий дар пропагандиста. Тем более, что немногие из друзей Белинского с таким пониманием, с таким доверием слушали его речи.

Стихийный демократизм Некрасова, воспитанный его трудовой жизнью, его близостью к городским низам, его отвращение к крепостничеству закономерно привели молодого литератора в кружок Белинского. И здесь он неизмеримо вырос под непосредственным воздействием своего наставника, открывшего перед ним новые горизонты; мысль о необходимости свободы для большинства, теории утопического социализма соединялись в проповеди Белинского с признанием неизбежности революции.

В позднейших стихах Некрасова с большой точностью запечатлены поразившие его идеи Белинского. В поэме «Медвежья охота», обращаясь к «многострадальной тени» своего учителя, Некрасов восклицал:

Ты нас гуманно мыслить научил,
Едва ль не первый вспомнил о народе,
Едва ль не первый ты заговорил
О равенстве, о братстве, о свободе...

Здесь сжато переданы самые важные из тех мыслей, что составляли содержание речей Белинского и бесед его с Некрасовым: утверждение гуманизма, отрицание «блаженства для избранных», забота о судьбе народа, выраженная в знаменитых лозунгах французской революции. Об этих лозунгах — «о равенстве, о братстве, о свободе» — поэт не раз слышал из уст Белинского.

По свидетельству Достоевского, Некрасов «благоговел перед Белинским и, кажется, всех больше любил его за свою жизнь». Постоянно вспоминая своего учителя в разговорах с Добролюбовым, Некрасов однажды сказал ему:

— Вы вот вступили в литературу подготовленным, с твердыми целями и ясными принципами. А я? Заняться своим образованием у меня не было времени, надо было думать о том, чтобы не умереть с голоду! Я попал в такой литературный кружок, в котором скорее можно было отупеть, чем развиться. Моя встреча с Белинским была для меня спасением... Что бы ему пожить подольше!..

* * *

После сближения с Белинским все дальнейшие писательские планы и замыслы Некрасова складывались не без его влияния. Оценив возможности молодого литератора, Белинский посоветовал ему поскорее отказаться от литературной поденщины и приняться за большое сочинение. Некрасов и сам считал себя созревшим для такой работы и потому в один прекрасный день с жаром принялся за роман из современной жизни (это было в 1843 году). В основу его он положил весь запас сведений и впечатлений, какой дала ему к тому времени петербургская действительность.

Этот роман, известный теперь под названием «Жизнь и приключения Тихона Тростникова», создавался как бы на переломе: кончилась пора литературного ученичества, и начинался период творческой зрелости. Черты переход-

ного времени ясно ощутимы в романе: довольно слабые страницы со следами романтических увлечений чередуются с превосходной прозой в духе натуральной школы.

В центре нового сочинения Некрасова оказался герой, судьба которого во многих отношениях напоминала судьбу его создателя. Писатель опирался на собственный жизненный опыт. Но писал он не воспоминания и не автобиографию, а роман, и потому имел право свободно распоряжаться своими героями, их чувствами и поступками; он ввел в повествование множество сцен и обстоятельств, не имевших места в действительности. Кроме того — и это самое главное, — он обогатил материал своих жизненных впечатлений зрелой мыслью. Он писал роман о большом городе и его социальных контрастах, о трагическом столкновении двух Петербургов — царства дворцов и особняков, населенных знатью и богачами, и мрачного мира углов и подвалов, где ютятся нищета, болезни и преступления.

С другой стороны, он показал и тех хищников, которые держат в руках судьбы неимущих и бесправных. Перед нами колоритная фигура знакомой Некрасову по личному опыту квартирной хозяйки Дурандихи, готовой выкинуть за дверь умирающего жильца; мы знакомимся с владелицей модного магазина Амалией Федоровной, извлекающей особые доходы из своего заведения, где живут беззащитные девушки-сироты; это о них Некрасов впоследствии рассказал в стихотворении «Убогая и нарядная»:

...А девочку взяла «мадам»
И в магазине поселила.
Не очень много шили там,
И не в шитье была там сила.

В романе показано, что бедность не исключает высоких чувств; здесь воспета поэзия любви, которая находит себе приют даже в самой убогой, самой прозаической обстановке. Вот одно из характерных признаний Тихона Тростникова в его записках: «В бедной низкой комнате, тускло освещенной сальным огарком, озарявшим картину подгулявшей бедности, — старые карты, полуштоф с зеленой печатью и пестрой виньеткой, закапанной сургучом, четверть фунта икры и кусок хлеба на лоскутке грязной бумаги, щипцы, из которых поминутно дымилось смрадное испарение свечного нагара, да испещренную мухами рюмку с выбитым краем — среди жалкой и бедной

действительности, окружавшей меня, я был счастлив так, как не был счастлив уже никогда впоследствии».

Некрасов отнюдь не склонен идеализировать своих героев. Нужда и голод порой вынуждают их совершать такие поступки, которые считаются безнравственными. Тростников в стремлении разбогатеть пускается в весьма сомнительные авантюры. Лишена моральных устоев его возлюбленная Матильда. Теряет человеческий облик спившийся учитель. Но, зная все это, читатель все же испытывает неизменное сочувствие и сострадание к героям книги: автор подводит нас к мысли, что пороки заложены не в природе человека, а в условиях общества, основанного на неравенстве и подавлении личности.

Мир городской нищеты подробно, с большой изобразительной силой воспроизведен Некрасовым в главе «Петербургские углы»; она представляет собой самостоятельную повесть очеркового характера и лучшую часть романа о Тростникове. Повесть, которая справедливо считалась одним из программных произведений натуральной школы, отличается остротой в постановке социальных вопросов, в характеристике городского «дна». Именно поэтому Некрасову не удалось напечатать ее в журнале: весной 1844 года цензура запретила «Петербургские углы» за якобы содержащееся в них «оскорбление добрых нравов и благопристойности». Только на следующий год удалось в измененном виде включить повесть в состав подготовленного Некрасовым альманаха «Физиология Петербурга» (1845).

В романе о Тростникове примечательна также его антибулгаринская направленность, явно связанная с влиянием Белинского. Некрасов говорит здесь о людях, которые пытаются распространить в публике «настоящее понятие о значении литературы в жизни народа». Он добавляет, что голос этих людей пока еще заглушается голосами «промышленников», которые крепко держат в руках «бразды литературного правления». Нужна борьба с ними, нужно положить немало труда, чтобы преодолеть их влияние.

Кто же эти промышленники и кто им противостоит, по мнению Некрасова? Очевидно, речь идет, с одной стороны, об участниках передового журнала, то есть о кружке Белинского, с другой — о литературных реакционерах и дельцах булгаринского типа. В романе зло высмеяна продажная пресса, набросаны сатирические портреты журна-

листов. Не называя Булгарина по имени, Некрасов так точно изобразил его отталкивающие замашки и наружность, что упоминать имя уже не было необходимости.

В романе рассказывается, как Тростников написал водевиль, в котором вывел Булгарина в самом неприглядном виде. Встревоженный Булгарин приходит к автору водевиля и упрашивает его изменить или смягчить текст.

«— Я не переменю в моем водевиле ни одного слова», — твердо отвечает автор.

Между собеседниками происходит следующий примечательный разговор:

«— С чего вы взяли, — спросил я, — что в моем водевиле выведены вы?

— Все говорят, все... Теперь же идут слухи по всему городу... У меня много врагов, много... Добросовестные литераторы всегда имеют много врагов...

— Если вы действительно добросовестный литератор, каким себя называете, то вам нечего бояться. В водевиле моем выведен страшный негодяй и бездельник, который торгует своими мнениями, обманывает публику, обирает портных и сапожников, пишет за деньги похвалы кондукторам и сигарочным фабрикантам, гонит талант, поощряет бездарность... Неужели это вы?..»

Не добившись своей цели, «почтеннейший» прибегает к угрозам. На прощание он говорит автору водевиля:

«— Смотрите же... а если не так... берегитесь... я приму другие меры... сильные меры приму... вот увидите... со мною бороться тяжело... тяжело...

— Он пойдет жаловаться в полицию! — сказал мне высокий тощий актер, подслушавший последние слова почтеннейшего...»

На страницах романа Некрасов сделал попытку поддержать Белинского в его борьбе с булгаринским направлением. И не его вина, что эта попытка не увенчалась успехом; как известно, роман о Тростникове не увидел света (за исключением двух глав), а пролежал где-то в пыли много лет. Он оставался без движения до тех пор, пока разрозненные листы и главы незаконченной рукописи были обнаружены советскими исследователями Некрасова [1]; они привели в порядок найденные бумаги, что было нелегко, и опубликовали их отдельной книгой. Но произошло это только в 1931 году.

---

[1] К. И. Чуковским и В. Е. Евгеньевым-Максимовым.

Таким образом, роман не стал в свое время фактом общественной борьбы и не занял подобающего ему места в боях, какие вела натуральная школа.

В романе о Тростникове заключено немало таких зерен, из которых впоследствии выросли многие образы и картины некрасовской лирики. Словно автор, не имея возможности закончить и напечатать рукопись, извлекал из нее отдельные мотивы и превращал их в стихотворные монологи, зарисовки, сатирические строфы. Так, прозаические сцены из жизни петербургских бедняков легли в основу стихотворений «Пьяница», «Еду ли ночью по улице темной», «Вино», цикла «На улице». Судьбы Матильды и, вероятно, Агаши откликнулись в «Убогой и нарядной» и в других стихах. Размышления о семье бедняка, умирающей с голоду («хозяин дома с проклятиями заказывает три небольших гробика, заклинаясь вперед не пускать таких постояльцев, от которых не остается даже и на их похороны...»), претворились в полный драматизма стихотворный рассказ о смерти ребенка, где отец утешает мать такими словами:

Бедная! Слез безрассудных не лей!
С горя да с голоду завтра мы оба
Так же глубоко и сладко заснем;
Купит хозяин с проклятьем три гроба —
Вместе свезут и положат рядком...

(«Еду ли ночью по улице темной»)

Есть и еще примеры, показывающие сходство между романом и позднейшими стихами. Такова история Кирьяныча («Петербургские углы»), честного труженика, обманутого каким-то полковником. Кирьяныч набрал артель печников, подрядился выполнить работу, но денег за нее не получил. «...Прихожу к полковнику, деньги прошу, — рассказывает Кирьяныч. — «Нет, братец, денег; не вышли еще». Жду месяц, другой — и опять иду... «Пошел вон! — закричал полковник. — Нет тебе ни копейки... Работа твоя никуда не годится. Печи скверные... Еще в тюрьму тебя засажу» ...Рабочие подали жалобу; платиться нечем; посадили меня в тюрьму...»

Спустя несколько лет, в 1848 году, Некрасов написал стихотворение «Вино», в котором почти буквально воспроизвел историю Кирьяныча, только заменил полковника купцом:

Я с артелью взялся у купца
Переделать все печи в дому,
В месяц дело довел до конца
И пришел за расчетом к нему.
Обсчитал, воровская душа!
Я корить, я судом угрожать;
«Так не будет тебе ни гроша!» —
И велел меня в шею прогнать.
Я ходил к нему восемь недель,
Да застать его дома не мог;
Рассчитать было нечем артель,
И меня, слышь, потянут в острог...

Роман о Тростникове, даже не будучи напечатан, явился источником и первоосновой многих важных линий в некрасовском творчестве, в частности, линии крестьянской. Он сохраняет значение переходного этапа, ознаменовавшего решительный «поворот к правде» и положившего твердый рубеж между литературной поденщиной и зрелым творчеством. От этого романа тянутся нити к лирике Некрасова второй половины 40-х годов.

* * *

Шло время, и Некрасов все больше сближался с Белинским. Все лучше они понимали друг друга. Вскоре Белинский счел, что пришла пора ввести молодого сотрудника «Отечественных записок» в свою среду — в среду литераторов, которые группировались вокруг журнала. Некрасову предстояло встретиться с Иваном Ивановичем Панаевым и его женой Авдотьей Яковлевной, Павлом Васильевичем Анненковым, Василием Петровичем Боткиным и другими писателями, в той или иной степени близко стоявшими к кружку «Отечественных записок». Впрочем, с Панаевым Некрасов уже встречался раньше. Еще в первое время жизни в Петербурге он в доме Ферморов встретил М. А. Гамазова, будущего сотрудника «Современника», востоковеда, оказавшегося родственником Панаева [1]. «Узнав от меня, — пишет Гамазов в мемуарной заметке, — что я интересуюсь литературой и имею некоторые связи в кружке писателей, он [т. е. Некрасов] просил меня сблизить его с ним. Я его свел у себя с Панаевым». Было это, по-видимому, в 1839 году.

[1] Мать Панаева Мария Якимовна, урожденная Лалаева (армянка по происхождению), была двоюродной сестрой матери Гамазова.

Знакомство возобновилось через несколько лет. Белинский однажды пригласил Некрасова к Панаевым, предложив ему прочесть там свое новое произведение. Вероятно, это был очерк «Петербургские углы», только что законченный автором. В воспоминаниях Авдотьи Яковлевны сохранилось подробное описание этого первого появления Некрасова в их доме.

После того как Белинский представил молодого автора, сконфуженного непривычной обстановкой, началось чтение. Голос у него был слабый, глуховатый, и читал он очень тихо, но постепенно разошелся. Панаева запомнила, что у Некрасова был болезненный вид, он горбился и казался старше своих лет. Читая, он часто машинально поднимал руку к едва пробивавшимся усам и, не дотрагиваясь до них, опускал ее опять. Этот жест навсегда остался у него — когда он читал свои стихи.

Тема очерка была неожиданной для большинства слушателей. По окончании чтения Белинский, очевидно, ощутил потребность поддержать молодого автора. Расхаживая по комнате, он говорил:

— Да-с, господа! Литература обязана знакомить читателей со всеми сторонами нашей общественной жизни. Давно пора коснуться материальных вопросов жизни, ведь они играют важную роль в развитии общества.

Затем сели играть в преферанс, для которого и собрались многие из присутствовавших. Игроки были весьма средней руки, и Некрасов, куда более опытный в этом деле, без особого труда всех обыграл. Тогда Белинский, кончая игру, сказал ему:

— С вами играть опасно, без сапог нас оставите!

После ухода Белинского и Некрасова Боткин, считавшийся в кружке главным ценителем изящного, обрушился на излишнюю реальность в литературе, доказывая, что она вредна и несовместима с необходимостью воспитывать возвышенные вкусы у читателей.

Коснулись и внешности Некрасова, отметили отсутствие у него светских манер. Кроме того, вспомнили о его занятиях литературной поденщиной, самая мысль о которой шокировала Боткина.

На другой день за обедом у Панаевых спор о Некрасове продолжался. Белинский горячо отстаивал необходимость самой суровой жизненной правды в литературе.

— Наше общество еще находится в детстве, — говорил он, — и если литература будет скрывать от него всю гру-

бость, невежество и мрак, которые его окружают, то нечего и ждать прогресса.

А когда за столом речь снова зашла о поденщине, к которой вынужден был прибегать Некрасов, то Белинский, по словам Панаевой, обрушился с гневной тирадой на снобов, говоривших об этом с осуждением; только он один понимал тогда, что поденщина для Некрасова уже кончилась, что она была лишь неизбежным этапом и что весь он в будущем.

Критик внимательно присматривался ко всему, что писал Некрасов, заставлял его более активно сотрудничать в «Отечественных записках». Иногда его рецензии даже заменяли в критическом отделе журнала рецензии самого Белинского. Мы знаем об этом, в частности, из письма критика к А. А. Краевскому (от 9 июля 1843 года), издателю «Отечественных записок»; Белинский, уехавший в Москву, напоминал ему о необходимости «расплачиваться с Некрасовым, Сорокиным и прочей голодной братией, работающей за меня».

Из этих слов видно, что уже в первой половине 1843 года Некрасов в какой-то степени мог заменять Белинского в журнале. Конечно, это могло быть только при условии доверия к нему со стороны критика, доверия, основанного на единстве взглядов и убеждений.

VII

ДУША НОВОГО НАПРАВЛЕНИЯ

Как-то, сидя вместе с Панаевым у Белинского (это было в начале 1845 года), Некрасов прочитал своим друзьям только что написанные печальные стихи о том, как «господа» загубили крестьянскую девушку: ее воспитали в барском доме вместе с барышней, сделали из нее «белоручку» и «белоличку», а потом отослали в деревню и выдали замуж за темного, хотя и доброго, крестьянского парня-ямщика. Когда были прочитаны последние строчки, где ямщик говорит:

...Видит бог, не томил
Я ее безустанной работой...
Одевал и кормил, без пути не бранил,
Уважал, то есь, вот как, с охотой...
А, слышь, бить — так почти не бивал,
Разве только под пьяную руку...

— Ну, довольно, ямщик! Разогнал
Ты мою неотвязную скуку!.. —

у Белинского, как вспоминает Панаев, засверкали глаза, он бросился к Некрасову, обнял его и чуть ли не со слезами на глазах сказал слова, которые теперь известны каждому школьнику:

— Да, знаете ли вы, что вы поэт — и поэт истинный?

Такая похвала из уст человека, известного своей суровой требовательностью, помогла Некрасову окончательно поверить в свои силы. Тем более, что вскоре Белинский печатно подтвердил лестное для автора мнение о стихотворении «В дороге» (после того как оно было опубликовано). «Это не стишки к деве и луне; в них много умного, дельного и современного»,— писал критик.

В некрасовском рассказе ямщика уже первые его слушатели уловили глубокий социальный смысл. Да, это было первое антикрепостническое стихотворение Некрасова, громко сказавшего о горе народном, о тяжкой жизни темной, замученной деревни. Слова ямщика: «погубили ее господа» — прозвучали неожиданно смело. Да и весь строй его рассказа, бесхитростного и сурового, был необычен для тогдашней поэзии.

Песни и романсы о ямщиках и тройках были и до Некрасова, но его стихи на эту тему оказались свободны от романтических штампов, от традиционного воспевания ямщицкой бесшабашной удали.

И другие стихи Некрасова середины 40-х годов с сочувствием, даже с восторгом, были встречены Белинским и его друзьями. Тургенев, Герцен, Огарев, Панаев ощутили в Некрасове могучую силу. Чуть ли не каждое его стихотворение становилось своего рода событием в жизни кружка — его читали, обсуждали, переписывали, посылали друзьям. Отбросив все традиционные представления о предмете и границах поэзии, Некрасов писал о темном дельце, который нечистыми путями добыл свое богатство, прикрываясь маской добродетели («Современная ода»); о маленьком человеке, задавленном «гнетущим трудом», — бедняке, перед которым «одна открыта торная

дорога к кабаку» («Пьяница»); о «падшей» женщине — жертве социальных условий, возвращенной к новой жизни («Когда из мрака заблужденья»); об участи «мужика-вахлака», которому не суждено любить «дворянскую дочь» («Огородник»); о безысходной доле крестьянской женщины («Тройка»).

В «Тройке» — снова дорога, снова ямщик. Но в центре стихотворения уже не рассказ ямщика о своей загубленной жизни, а мысли поэта о печальном будущем сельской красавицы, той самой, что, выйдя на дорогу, провожает взглядом бешеную тройку. Если в основе стихотворения «В дороге» лежит все-таки исключительный случай — гибель деревенской девушки, воспитанной в господском доме, то героиня «Тройки», написанной годом позднее, уже олицетворяет самую обычную судьбу русской крестьянки; впрочем, в конечном счете эти судьбы во всем одинаковы:

От работы и черной и трудной
Отцветешь, не успевши расцвесть,
Погрузишься ты в сон непробудный,
Будешь нянчить, работать и есть.

И в лице твоем, полном движенья,
Полном жизни, — появится вдруг
Выраженье тупого терпенья
И бессмысленный, вечный испуг...

Чтобы оценить значение этих «крестьянских» стихов Некрасова, надо вспомнить, что они появились раньше, чем «Записки охотника» Тургенева, «Антон Горемыка» Григоровича и другие произведения литературы 40-х годов о жизни крепостного крестьянства. «Тройка» («Что ты жадно глядишь на дорогу...») стала одной из самых любимых народных песен. Жизненно правдивы, естественны оказались и ее сюжет, и ее напевная строка, которую теперь уже трудно читать по книге, настолько привычно она слилась с известной всем мелодией.

К числу лучших сочинений Некрасова 1845—1846 годов в кружке Белинского относили также «Колыбельную песню» и «Родину». Первая из них — острая сатира на николаевское чиновничество, язвительное обличение корыстолюбия и наживы. Перед нами портрет будущего чиновника — благонамеренного, насквозь лицемерного, привыкшего картинно гнуть спину и брать взятку, подхалима, ужом доползающего до «хорошего местечка».

Финал его карьеры нарисован резко и с полной откровенностью:

Купишь дом многоэтажный,
Схватишь крупный чин
И вдруг станешь барин важный,
Русский дворянин...

Назвав свою «Колыбельную песню» подражанием Лермонтову, Некрасов чуть ли не демонстративно отталкивался от широко известного лермонтовского стихотворения. Он использовал интонацию и размер колыбельной песни с ее спокойным припевом «баюшки-баю» для того, чтобы воплотить свой замысел — рассказать о том, какое будущее ждет младенца (пока безвредного!), если он пойдет по стопам своего отца — чиновного грабителя и мошенника.

Картина получилась довольно мрачная. И это сразу заметили те, в кого метил Некрасов. В реакционном лагере раздались вопли возмущения по поводу «Колыбельной песни», когда она появилась в печати.

В течение многих лет Некрасов не мог напечатать «Родину» — стихотворение, в котором поэт вынес суровый приговор «гнезду своих отцов» и — более того — возвысился до беспощадного осуждения поместного быта, дворянско-усадебного уклада вообще. Она появилась только в сборнике его стихов 1856 года под нейтральным заглавием «Старые хоромы» и с пояснением: «Из Ларры». Это значило, что свои выстраданные, кровью написанные строчки об отречении от поместного прошлого Некрасов вынужден был выдать за перевод с испанского. Только такой ценой он мог провести их через цензуру.

Но это было десять лет спустя. А тогда, в 1846 году, гневные стихи «Родины», проникнутые жгучей ненавистью к крепостничеству, распространялись в списках. По словам Панаева, Белинский выучил их наизусть, переписал и послал в Москву своим знакомым. За несколько лет до этого он точно так же встретил новые стихи Лермонтова — восторгался ими, переписывал, рассылал друзьям. Теперь же критик был увлечен Некрасовым; встречаясь с друзьями, он только и говорил о нем и о его стихах. Панаеву он сказал:

— А каков Некрасов-то! Ведь он обнаруживает глубокий поэтический талант. Сколько скорби и желчи в его стихе!

Тогда же Белинский познакомил с «Родиной» и ее ав-

тором Тургенева. В автобиографии Некрасова сохранился рассказ о том, как это произошло. Поэт сидел дома и работал. Вдруг прибегают от Белинского и просят прийти. Некрасов идет и встречает там Тургенева; ему двадцать восемь лет, он тоже поэт, еще малоизвестный. Некрасов читает ему «Родину», и Тургенев полностью разделяет мнение Белинского. Он заявляет, что ему нравятся «и мысли и стих», и сожалеет, что сам он так написать не может.

Именно с чтения «Родины» началось знакомство Некрасова с Тургеневым, вскоре перешедшее в тесную дружбу.

Как поэт нового времени, как пролагатель новых путей Некрасов уже в первые годы своей деятельности создал образцы лирики, далекой от привычных представлений в этой области. Направление его поэзии, ее темы и формы как нельзя лучше отвечали новым демократическим потребностям русского общества. Даже вечные темы любви и природы приобрели у него новый, глубоко современный характер, вобрали в себя черты реальной жизни, увиденной глазами разночинца и демократа.

Вдумаемся хотя бы в смысл стихотворения «Перед дождем». Это один из лучших образцов пейзажной лирики 40-х годов:

Заунывный ветер гонит
Стаю туч на край небес.
Ель надломленная стонет,
Глухо шепчет темный лес.

На ручей, рябой и пестрый,
За листком летит листок,
И струей сухой и острой
Набегает холодок.

Полумрак на все ложится;
Налетев со всех сторон,
С криком в воздухе кружится
Стая галок и ворон.

Над проезжей таратайкой
Спущен верх, перед закрыт;
И «пошел»! — привстав с нагайкой,
Ямщику жандарм кричит...

В современных комментариях к этому стихотворению мы читаем: «В закрытой таратайке со спущенным верхом жандармы перевозили в то время арестованных полити-

ческих преступников». Так проясняется смысл небольшого стихотворения.

Картина неуютного осеннего вечера с очень точно выписанными деталями пейзажа от строфы к строфе становится все более мрачной, и это как бы подготавливает читателя к неожиданному появлению в финале фигуры жандарма с нагайкой в руке.

В русской поэзии складывалось новое направление, вдохновлявшееся Белинским. Основные его черты — интерес к народу, к жизни угнетенного крестьянства, сочувствие городским низам, ненависть к крепостничеству — отвечали принципам натуральной школы, выдвинутым великим критиком. Некрасов явился наиболее талантливым поэтическим выразителем этой школы, душой нового направления. В его стихах нашли художественное воплощение новые проблемы русской демократической литературы, стоявшей на пороге своего расцвета. Ему удалось привлечь внимание к таким закоулкам и задворкам жизни, куда прежде не заглядывала поэзия. Он нашел своих героев среди городских бедняков и крестьян и смело ввел их в литературу.

* * *

В середине 40-х годов началась неутомимая деятельность Некрасова как издателя, как собирателя сил отечественной литературы, продолжавшаяся больше тридцати лет. Не только пером поэта он участвовал в развитии натуральной школы — не меньше он сделал для нее как составитель и редактор литературных сборников, а затем журнала «Современник».

Эта сторона деятельности Некрасова так же тесно связана с именем Белинского, который поддерживал и во многом направлял его издательские начинания.

Еще в 1843 году Некрасов составил и издал (вместе с Н. И. Куликовым) небольшой альманах в двух маленьких книжечках под названием «Статейки в стихах без картинок». Здесь были представлены всего три произведения: «Встреча старого 1842 года с новым 1843-м», сочинение в стихах Куликова, режиссера Александринского театра, одного из близких театральных знакомых Некрасова; фантастическая сказка «Жизнь и люди» В. Р. Зотова, позднее довольно известного писателя и журналиста, и, наконец, стихотворный фельетон самого Некрасова —

«Говорун». Все эти сочинения носили юмористический характер и содержали элементы сатиры на современную действительность.

Фельетон Некрасова, написанный в разговорной манере, выделялся своими литературными достоинствами — живым изображением городского быта. Герой фельетона чиновник Белопяткин — обыватель, взяточник и подхалим, энергично делающий карьеру. Реальное описание нравов столичной среды — основное достоинство «Говоруна», позволяющее отнести некрасовский фельетон к числу произведений, по типу близких к физиологическому очерку; этот жанр в то время уже приобретал значительную популярность.

Альманах не принес Некрасову больших доходов, но все же разошелся, что привело поэта к мысли продолжать начатое дело на более серьезных основаниях. Не прошло и года как Некрасов вместе с Белинским уже обдумывал план нового сборника, неизмеримо более зрелого и содержательного. По их замыслу, сборник должен был явиться чем-то вроде программного издания натуральной школы; к участию в нем предполагалось пригласить многих молодых, даже начинающих, писателей, в той или иной степени тяготевших к новому литературному движению.

Белинский, загоревшийся мыслью о новом альманахе, был уверен, что Некрасов справится с нелегкой задачей. Помимо чисто организационных хлопот, ему предстояло преодолеть трудности цензурного порядка; самое же главное — путем искусного отбора материала он должен был придать будущей книге определенное идейное единство, необходимое для издания такого рода.

Белинский был самого высокого мнения о деловых качествах Некрасова, о его упорстве и трудолюбии, и даже, как мы знаем из воспоминаний Панаева, «мучительно завидовал» его практицизму. Сам Белинский был вовсе лишен этого качества...

В самом начале 1845 года одна за другой вышли из печати две части нового альманаха. На обложке его значилось: «Физиология Петербурга, составленная из трудов русских литераторов под редакцией Н. Некрасова (с политипажами)» [1]. Первая часть открывалась обширным

[1] Политипаж — гравюра на дереве. Для иллюстрирования альманаха «Физиология Петербурга» Некрасов привлек луч-

вступлением, которое было написано Белинским; критик говорил здесь о состоянии русской литературы и о задачах альманаха. Затем следовала его же большая статья «Петербург и Москва», а за нею целая серия «физиологических» очерков: «Петербургский дворник» В. И. Луганского (В. И. Даля), «Петербургские шарманщики» Д. В. Григоровича, «Петербургская сторона» Е. П. Гребенки. Книгу завершали «Петербургские углы» Некрасова, представлявшие собой главу из романа о Тростникове, напечатанную по цензурным причинам в измененной редакции.

Вторую часть альманаха также открывала статья Белинского, она называлась «Александринский театр», вслед за нею шло стихотворение Некрасова «Чиновник», затем очерк А. Я. Кульчицкого «Омнибус», статья Белинского «Петербургская литература», очерки Григоровича «Лотерейный бал» и Панаева «Петербургский фельетонист».

Не все эти материалы равноценны. Но по своей тематике и основной устремленности все очерки и статьи, собранные Некрасовым, представляли собой нечто единое и продуманное; освещая с демократических позиций разные стороны петербургского быта (его «физиологию»), они как нельзя лучше отвечали задачам издания.

И характерно, что «крики озлобленья», какими реакционная печать встретила новый альманах Некрасова, были направлены против его содержания в целом. Но при этом «Северная пчела» сразу же выделила из состава альманаха наиболее значительные и острые его материалы. Особенным нападкам подверглись статьи Белинского (их было четыре!) и произведения Некрасова, тем более что его имя было обозначено на обложке книги. Булгаринская газета попыталась высмеять самый факт выступления Некрасова в качестве редактора: «Никого не удивило бы, если б сборник статей русских литераторов издан был под редакциею Греча, Булгарина, Полевого или другого известного писателя... но поистине удивительно, что г. Некрасов объявляет себя направителем дарования литераторов русских!..» («Северная пчела», 1845, 17 октября, № 234.)

Резко отзываясь о «Петербургских углах» и сатире «Чиновник», газета называла Некрасова «питомцем но-

---

ших художников того времени: В. Тимма, Е. Коврыгина, Р. Жуковского, гравера Е. Бернадского.

ФИЗІОЛОГІЯ

ПЕТЕРБУРГА,

составленная

ИЗЪ ТРУДОВЪ РУССКИХЪ ЛИТЕРАТОРОВЪ,

подъ редакціею

Н. Некрасова.

(Съ политипажами.)

Часть 2.

САНКТПЕТЕРБУРГЪ.

ИЗДАНІЕ КНИГОПРОДАВЦА А. ИВАНОВА.

1844

вейшей школы, образованной г. Гоголем, школы, которая стыдится чувствительного, патетического, предпочитая сцены грязные, черные...». Некрасова обвиняли в том, что он рисует отвратительные картины и в них будто бы видит «торжество искусства». Правда, «Северная пчела» вынуждена была признать, что лица, изображенные Некрасовым в «Петербургских углах» — алчная хозяйка, забулдыга-дворовый, пьяная баба и прочие, — существуют в действительности, но, во-первых, это «неизбежные исключения в низшем слое человеческого общества», а во-вторых, — «должно ли рисовать подробно их жалкую жизнь, и особенно рисовать так, как рисует г. Некрасов...?» (Там же, № 236.)

Подверглась разносу в «Северной пчеле» и статья Белинского «Петербург и Москва». А со вступительной статьей того же автора полемизировал в журнале «Москвитянин» К. Аксаков.

Все эти выпады имели целью опорочить в глазах читающей публики альманах, встреченный ею с огромным интересом. Противникам натуральной школы с неотразимой убедительностью отвечал Белинский. Еще в майском номере «Отечественных записок» (1845) он напечатал рецензию на первую часть «Физиологии Петербурга», где дал краткую оценку помещенных в ней материалов и привел большие выдержки из них. С особенной похвалой он отозвался о Некрасове. «Петербургские углы» г. Некрасова, — писал критик, — отличаются необыкновенною наблюдательностью и необыкновенным мастерством изложения. Это живая картина особого мира жизни, который не всем известен, но тем не менее существует, — картина, проникнутая мыслью».

Через три месяца, в августовском номере «Отечественных записок», Белинский вновь вернулся к «Физиологии Петербурга»; это был отклик на вторую часть альманаха. Прошло время, устоялась репутация нового издания, высказались его противники, и критик мог теперь еще более уверенно противопоставить им свою точку зрения: «...Это едва ли не лучший из всех альманахов, которые когда-либо издавались, — потому едва ли не лучший, что, во-первых, в нем есть статьи прекрасные и нет статей плохих, а, во-вторых, все статьи, из которых он состоит, образуют собой нечто целое, несмотря на то, что они писаны разными лицами».

По мнению Белинского, очерки «Петербургский дворник» и «Петербургские углы» могли бы украсить собою любое издание, а «Петербургские шарманщики» не испортили бы никакого издания. Критик снова дал отповедь «Северной пчеле». Высмеяв претензии булгаринской газеты на «аристократизм», Белинский язвительно заметил, что «истинный аристократ не презирает в искусстве и литературе изображения людей низших сословий и вообще так называемой низкой природы, — чему доказательством картинные галереи вельмож, наполненные, между прочим, и картинами фламандской школы».

Некрасовскую сатиру «Чиновник» Белинский также решительно взял под защиту; почти полностью приведя

ее в своей рецензии, он заявил, что «эта пьеса — одно из лучших произведений русской литературы 1845 года».

Успех «Физиологии Петербурга» (озлобление во враждебном лагере также было признаком успеха) побудил Некрасова продолжать свои издательские труды. Он задумал периодически выпускать юмористический сборник «Зубоскал» и начал было собирать для него материалы; в «Отечественных записках» уже появилось объявление о новом издании, где читателям обещали «совершенно невинный, простодушный, беззаботный, ребяческий смех над всем, над всем». Но цензура не оценила этих невинных намерений и запретила сборник.

Упорный и находчивый, Некрасов использовал собранные материалы и приготовил вместо «Зубоскала» новый альманах. Он вышел в конце марта 1846 года под названием «Первое апреля». В подзаголовке пояснялось: «Комический иллюстрированный альманах, составленный из рассказов в стихах и прозе, достопримечательных писем, куплетов, пародий, анекдотов и пуфов». Но в книге были не только пародии и шутки — между ними было запрятано, например, такое стихотворение, как «Перед дождем» (о нем говорилось выше), полное глубокого смысла и, казалось бы, не вполне уместное в «комическом иллюстрированном альманахе».

Бросается в глаза полемическая направленность нового некрасовского издания. Если «Физиология Петербурга» открывала перед читателем новые стороны жизни и привлекала его внимание к социальным вопросам, то участники сборника «Первое апреля» высмеивали и вышучивали ретроградов, противников всего нового в литературе. Сатира некрасовского издания поддерживала натуральную школу, она осуждала тех, с кем давно уже вел неустанную борьбу Белинский. Осмеянию здесь подверглись и сторонники «официальной народности» (С. П. Шевырев и М. П. Погодин) и славянофилы (К. С. Аксаков).

Шевыреву Некрасов посвятил маленький сатирический рассказ «Пушкин и ящерицы», где фигурирует «профессор словесности, ...человек весьма ограниченный, презираемый своими слушателями, но очень много о себе думающий». Современники, вероятно, без особого труда угадывали, в кого метил автор. Неблаговидные поступки

Погодина Некрасов разоблачил в «анекдоте», озаглавленном «Как один господин приобрел себе за бесценок дом в полтораста тысяч».

Наконец весьма язвительная заметка «Славянофил» была направлена против одного из главных представителей этого течения — Константина Аксакова. Он имел обыкновение одеваться в «исконно русские» одежды, и Некрасов использовал эту его слабость, тем самым как бы отплатив Аксакову за его нападки на «Физиологию Петербурга» в «Москвитянине». В заметке говорилось:

«Один славянофил, то есть человек, видящий национальность в охабнях, мурмолках, лаптях и редьке и думающий, что, одеваясь в европейскую одежду, нельзя в то же время остаться русским, нарядился в красную шелковую рубаху с косым воротом, в сапоги с кисточками, в терлик и мурмолку и пошел в таком наряде показывать себя по городу. На повороте из одной улицы в другую обогнал он двух баб и услышал следующий разговор. «Вона! Вона! Гляди-ко, матка! — сказала одна из них, осмотрев его с диким любопытством, — глядь-ка, как нарядился! Должно быть, настранец какой-нибудь!».

В небольшой и, казалось бы, непритязательной заметке («анекдоте») Некрасов точно указал уязвимые стороны лидеров славянофильства — их оторванность от народа, чисто внешнее представление о национальных особенностях. Тем самым Некрасов поддержал борьбу Белинского против славянофилов.

Особенно досталось в альманахе Булгарину. Некрасов напечатал здесь эпиграмму «Он у нас осьмое чудо», в которой, между прочим, были такие строки:

...Он с французом — за француза,
С поляком — он сам поляк,
Он с татарином — татарин,
Он с евреем — сам еврей,
Он с лакеем — важный барин,
С важным барином — лакей.
Кто же он? . . . .

. . . .

Что же скрывается за этими точками? Позднейшее предание расшифровывало их по-разному. Сохранилось несколько вариантов окончания эпиграммы. В архиве Пушкинского дома есть экземпляр сборника «Первое апреля», на полях которого историк литературы П. А. Еф-

ремов (очевидно, со слов современников) записал такой, например, вариант:

Кто же он? Подлец Булгарин
Венедиктович Фаддей.

После выхода альманаха «Первое апреля» Нестор Кукольник напечатал в своем журнале «Иллюстрация» злую рецензию, в которой назвал альманах «книгой для лакейских». Белинский же немедленно откликнулся на появление альманаха рецензией в «Отечественных записках», где полностью привел некрасовские рассказы о Шевыреве и Погодине, анекдот о славянофиле, процитировал эпиграмму на Булгарина.

Этот прием рецензента не остался незамеченным. Вскоре после выхода апрельской книжки журнала председатель Московского цензурного комитета Голохвастов с возмущением писал «по начальству»: «Журнал постарался напечатать в 4000 своих экземплярах выдержки из этого альманаха и среди прочих пасквиль на Шевырева, пасквиль на Погодина и оскорбительного содержания стихи на Булгарина».

* * *

Одновременно с «Первым апреля» Некрасов, невзирая на цензурные гонения, при участии Белинского деятельно готовил другой альманах, на этот раз большой и серьезный; он получил скромное название «Петербургский сборник». Некрасов возлагал на него большие надежды. Он решил привлечь к делу лучших тогдашних литераторов.

Заручившись обещаниями нескольких авторов и даже получив часть рукописей, Некрасов начал размышлять о том, как лучше всего преодолеть цензурные трудности. Эта сторона дела требовала немало усилий — терпения, настойчивости.

Некрасов решил обратиться за помощью к профессору А. В. Никитенко. 7 июня 1845 года он отправил ему следующее письмо: «Милостивый государь Александр Васильевич! К 1846 году я собираю альманах, в котором примут участие Панаев, Белинский, А. Майков, Тургенев, Огарев и другие. Вы ко мне добры, и это дает мне смелость просить Вас взять на себя цензуру этого альманаха. К тем статьям, которые уже у Вас, препровождаю поэму Тургенева «Помещик» и роман г. Достоевского «Бедные люди» (роман — чрезвычайно замечательный,

как Вы увидите, прочитав эту рукопись). Покорнейше Вас прошу просмотреть эти рукописи (хоть к сентябрю месяцу, ради бога!) и отдать Белинскому...»

Такую просьбу — взять на себя цензуру будущего альманаха — Некрасов, надо думать, не случайно обратил к профессору Петербургского университета, доктору философии и литератору Никитенко: он отлично знал, что тот пользуется авторитетом в цензурном ведомстве и в то же время имеет репутацию человека либеральных взглядов, трезвого и осмотрительного.

Не ограничившись этим, дальновидный Некрасов решил привлечь Никитенко к прямому участию в сборнике: предложил ему поместить в альманахе статью учено-литературного характера, и Никитенко заинтересовался таким предложением.

Некрасов продолжал собирать рукописи. Он приготовил для альманаха несколько своих стихотворений, заручился согласием Белинского дать большую статью о современной литературе, разослал письма многим писателям, приглашая их выступить на страницах сборника. Вот отрывки из немногих сохранившихся писем Некрасова этого времени:

Н. Х. Кетчеру (в Москву): «...Скажи ему [Герцену], чтоб он привез или прислал статью «Ум хорошо, а два лучше», адресуя на Белинского, и поскорей кончал другую начатую статью».

Ему же: «Кетчер, здравствуй!.. Пришли, пожалуйста, стихотворения Огарева, какие у тебя есть, — я напечатаю лучшее, посоветовавшись с Белинским; да только пришли тотчас по получении этого письма».

В. Ф. Одоевскому: «...Если повесть Ваша готова, то потрудитесь прислать ее с сим подателем или известить меня, когда за ней явиться».

Тогда же, в разгар подготовки сборника, Некрасов отправился в Москву; из Москвы он ездил к Герцену, в подмосковное имение Соколово, где договорился с ним относительно статьи для сборника. Участием Герцена Некрасов особенно дорожил.

Для нового издания был приобретен роман молодого автора, никому еще не известного и не напечатавшего ни строчки. Опубликование этого романа Некрасов справедливо считал своей заслугой, ибо вместе с ним в литературу вошел новый большой писатель. Речь идет о Федоре Достоевском и о «Бедных людях».

Вот как это случилось.

Однажды Григорович, зная о подготовке альманаха, принес Некрасову рукопись от своего знакомого, который не имел литературных связей и не знал, что делать с только что законченным романом. Решили прочесть несколько страниц «на пробу», но увлеклись и, не отрываясь, просидели всю ночь, пока не прочли всю рукопись.

«Читал я, — вспоминает Григорович. — На последней странице, когда старик Девушкин прощается с Варенькой, я не мог больше владеть собой и начал всхлипывать; я украдкой взглянул на Некрасова: по лицу у него также текли слезы. Я стал горячо убеждать его в том, что хорошего дела никогда не надо откладывать, что следует сейчас же отправиться к Достоевскому, несмотря на позднее время (было около четырех часов утра)...»

Некрасов быстро оделся, и они отправились. Стояла белая петербургская ночь, было светло как днем, и Достоевский, недавно вернувшийся от одного из своих друзей, еще не спал. Тем не менее столь поздний звонок удивил его. А когда Григорович и вовсе незнакомый ему Некрасов вдруг бросились его обнимать, чуть ли не плача, тогда Достоевский смутился, побледнел и долго не мог ответить ни слова на то, что говорил ему Некрасов.

«Они пробыли у меня тогда с полчаса, — рассказывает Достоевский в «Дневнике писателя», — в полчаса мы бог знает сколько переговорили, с полуслова понимая друг друга, с восклицаниями, торопясь: говорили о поэзии, и о правде, и о тогдашнем положении, разумеется, и о Гоголе, цитируя из «Ревизора» и из «Мертвых душ», но главное — о Белинском».

— Я ему сегодня же снесу вашу повесть, и вы увидите, — восторженно говорил Некрасов, тряся счастливого автора обеими руками за плечи, — вот вы познакомитесь, увидите, какая это душа, какой человек!

Они ушли, сказав: «Ну теперь спите, а завтра к нам». «Точно я мог заснуть после них!» — добавляет Достоевский.

Через несколько часов Некрасов уже шел к Белинскому с «Бедными людьми» в руках.

— Новый Гоголь явился! — закричал он, входя в кабинет.

— У вас Гоголи-то как грибы растут, — строго ответил Белинский, беря рукопись.

Когда вечером Некрасов снова зашел к Белинскому, тот встретил его в большом волнении и сказал:

— Приведите, приведите его скорее!

* * *

В самом начале 1846 года «Петербургский сборник» вышел из печати. Новый некрасовский альманах явно продолжал традиции «Физиологии Петербурга». И в то же время он показывал, что натуральная школа вовсе не сводится только к «физиологическому очерку», что она находится в движении, в развитии. С выходом нового альманаха выяснилось, что гоголевская школа пополнилась новыми именами, новыми деятелями; они обогатили литературу новыми жанрами, и оказалось, что физиологический очерк был лишь первым этапом в развитии натуральной школы.

Содержание «Петербургского сборника» отличалось большим разнообразием. Книгу открывал роман Достоевского «Бедные люди» — блестящий дебют молодого автора («Так еще никто не начинал из русских писателей», — заметил Белинский). Затем следовали рассказ в стихах Тургенева «Помещик» в сопровождении превосходных рисунков А. Агина и большая публицистическая статья Герцена (Искандера) «Капризы и раздумье», в которой автор критиковал «частную жизнь» и лживую мораль современного общества. Потом читателю предлагались очерковые заметки Панаева «Парижские увеселения», украшенные иллюстрациями из французских изданий. Видное место заняла в сборнике трагедия Шекспира «Макбет» в переводе А. И. Кронеберга, этот перевод Белинский назвал классическим, достойным подлинника.

Вслед за повестью В. Ф. Одоевского «Мартингал» и поэмой А. Н. Майкова «Машенька» шла повесть Тургенева «Три портрета», а за ней — статья Никитенко «О характере народности в древнем и новейшем искусстве», положительно оцененная Белинским. Обширный раздел поэзии был представлен переводами Тургенева из Байрона и Гёте, двумя стихотворениями Майкова, четырьмя стихотворениями Некрасова («В дороге», «Пьяница», «Отрадно видеть...», «Колыбельная песня») и, наконец, стихотворением В. А. Соллогуба «Мой autographe». Сборник заключала статья Белинского «Мысли и заметки о русской литературе».

ПЕТЕРБУРГСКІЙ

СБОРНИКЪ,

ИЗДАННЫЙ

Н. НЕКРАСОВЫМЪ.

НѢКОТОРЫЯ СТАТЬИ ИЛЛЮСТРИРОВАНЫ.

В. Г. БѢЛИНСКІЙ.	Н. А. НЕКРАСОВЪ.
Ѳ. М. ДОСТОЕВСКІЙ.	А. В. НИКИТЕНКО
ИСКАНДЕРЪ	КН. В. Ѳ. ОДОЕВСКІЙ.
А. Н. КРОНЕБЕРГЪ.	И. И. ПАНАЕВЪ.
А. Н. МАЙКОВЪ.	ГР. В. А. СОЛЛОГУБЪ.

И. С. ТУРГЕНЕВЪ.

САНКТПЕТЕРБУРГЪ

ВЪ ТИПОГРАФІИ ЭДУАРДА ПРАЦА

=

1846

Несмотря на то, что Некрасову удалось склонить Никитенко в свою пользу, книга все-таки с трудом проходила через цензуру. Оказалось, что Никитенко не счел возможным взять на себя единоличное решение вопроса о судьбе книги, и ее подписали к выпуску в свет (12 января 1846 года) еще два цензора — редкий случай в цензурной практике! Общими усилиями они сократили многие материалы. Немало строк было вычеркнуто из тургеневского «Помещика», из поэмы Майкова «Машенька». В стихотворении Некрасова «Отрадно видеть...» вместо строк

...Что ты, подлец, меня гнетущий,
Сам лижешь руки подлецу, —

появились две строки точек, почти обессмысливших это сильное стихотворение.

Некрасовская «Колыбельная песня» вызвала возмущенные отклики в печати. В журнале «Современник», который издавал тогда П. А. Плетнев, Некрасов прочитал статью самого издателя, раздраженно восклицавшего: «Мы желали бы знать, для кого все это печатается! Ужели есть жалкие читатели, которым понравится собрание столь грязных исчадий праздности?» Плетневу вторил Шевырев в «Москвитянине», Шевыреву — Булгарин в «Северной пчеле».

Но на этом дело не кончилось: «предосудительность» содержания «Колыбельной песни» привлекла к себе внимание правительства. Не прошло и месяца после выхода альманаха, как граф А. Ф. Орлов, начальник Третьего отделения, обратился к министру народного просвещения со специальным письмом, в котором говорилось: «В изданном г. Некрасовым «Петербургском сборнике», на стр. 510 напечатано стихотворение под заглавием «Колыбельная песня». Долгом себе поставляю обратить просвещенное внимание Вашего Высокопревосходительства на это стихотворение, полагая, со своей стороны, что сочинения подобного рода, по предосудительному содержанию своему, не должны бы одобряться к печатанию...»

Министр просвещения для начала распорядился объявить выговор цензору, разрешившему к печати «Колыбельную песню».

В мемуарной литературе есть сведения, что в это же время Некрасова вызвал к себе генерал-лейтенант Л. В. Дубельт, управляющий Третьим отделением, и грубо накричал на него: как он смеет в своих стихах нападать на чиновников и дворян?

В читательских кругах некрасовский сборник был встречен с большим интересом. В книжных лавках его расхватывали. Он поступил в продажу 21 января, а в конце месяца Белинский сообщал Герцену, что за несколько дней — с 21 по 25 января — было продано больше двухсот экземпляров. Эта цифра по тому времени может считаться исключительной. По словам А. Я. Панаевой, Некрасов высказывал сожаление, что «струсил» и не напечатал на полторы тысячи экземпляров больше.

В одном из писем Герцену Белинский (6 февраля 1846 года) подвел итог этому читательскому спросу на альманах: «Только три книги на Руси шли так страшно: «Мертвые души», «Тарантас» и «Петербургский сбор-

ник». В статье, посвященной альманаху, критик отдал ему должное и прежде всего разобрал роман «Бедные люди». Он показал, какой страшный мир нищеты, несчастий, страданий, унижений нарисован в этом романе, какой душевной болью пронизаны его страницы.

Художественное направление, с которым Белинский связывал свои надежды на будущее русской литературы, развивалось и крепло, к нему примыкали все новые имена, и в этом был залог его жизненности и внутренней силы. Вот почему критик был так взволнован появлением Достоевского; прочитав его первую повесть, он писал: «Честь и слава молодому поэту, муза которого любит людей на чердаках и в подвалах и говорит о них обитателям раззолоченных палат: «Ведь это тоже люди, ваши братья!»

О музе Некрасова можно было бы сказать теми же словами, и Белинский не прошел мимо четырех его стихотворений, опубликованных в «Петербургском сборнике». Как уже говорилось, он указал, что они проникнуты мыслью и что в них много дельного и современного. Это и было высшей похвалой в устах Белинского. Если стихи Некрасова заслужили такую оценку, значит, они отвечали самым высоким требованиям, какие предъявлял критик к современной поэзии.

VIII

«ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ ЗАПИСКИ» МЕНЯЮТ КВАРТИРУ

Выход «Петербургского сборника» укрепил репутацию не только натуральной школы, но и самого Некрасова — как поэта и как отличного редактора; окрыленный успехом, он начал думать о новых, более крупных издательских начинаниях, прежде всего о возможности организовать журнал. Время тяжелой нужды осталось для Некрасова позади, и друзья радовались, что, освободившись от мелкой поденщины, он сможет наконец приняться за большую работу.

Благополучие его настолько возросло, что он мог теперь даже помогать друзьям, и едва ли не первую такую помощь он решил оказать постоянно нуждавшемуся Белинскому.

Здоровье Белинского было сильно расстроено, и он мечтал о поездке в Одессу и в Крым, куда звал его Михаил Семенович Щепкин, приглашенный на гастроли по южным городам России. В этом путешествии Белинский надеялся отдохнуть и отвлечься от изнурительного ежедневного труда. Восторгаясь перспективой сделать четыре тысячи верст на лошадях (!), он писал Герцену (6 апреля 1846 года): «Дорога, воздух, климат, лень, законная праздность, беззаботность, новые предметы, и все это с таким спутником, как Михаил Семенович, — да я от одной мысли об этом чувствую себя здоровее».

Однако такая поездка, рассчитанная на все лето, требовала денег, а достать их было негде. За свою подвижническую работу в журнале Краевского Белинский получал жалкую плату, едва позволявшую сводить концы с концами. А ведь уезжая надолго, надо было обеспечить семью, куда-то отправить ее на лето.

И тут на выручку пришел Некрасов. Это было после того, как разошелся «Петербургский сборник». В его автобиографии по этому поводу сказано: «Сборник дал мне чистых 2000 рублей. Я был тогда молод, деньги отдал Белинскому на поездку в Малороссию со Щепкиным».

В той же автобиографии, рассказывая о своих литературных заработках того времени, Некрасов вспоминал, что с 1844 года дела его заметно начали поправляться. «Я без особого затруднения до 700 рублей ассигнациями выручал в месяц, в то время как Белинский, связанный по условию с Краевским, работая больше, получал 450 рублей в месяц».

Летом 1844 года Некрасов уже считал возможным нанимать дачу, судя по всему, недорогую; он поселился в деревне близ Петербурга и даже зазывал к себе в гости литераторов. Так, приглашая В. Р. Зотова участвовать в одном из своих изданий, Некрасов писал ему 19 июля: «Если у Вас есть охота и время, не завернете ли ко мне на дачу — я живу там, куда ходит спасский дилижанс — в самой деревне, близ Муринской заставы, дом крестьянина Ермолая Иванова, № 1».

Григорович, также приглашенный в гости, отметил, что эта «дача» была не более чем простая изба, отдаваемая внаем огородником.

С удивительной быстротой Некрасов к середине 40-х годов уже занял свое место в кружке молодых и талантливых петербургских писателей (кстати, «старых» в этом кружке и не было, только Панаеву и Гончарову перевалило за тридцать). Ему же всего только двадцать пять лет. Давно ли, кажется, он, голодный и бездомный, мечтал о литературных знакомствах и ходил со своими детскими стихами к Николаю Полевому, нынешнему союзнику Булгарина! Давно ли скромный Федор Кони был в его глазах главным представителем журналистики и словесности! А теперь его близкими друзьями стали и Панаев, и сам Белинский, и с Герценом он свел короткое знакомство, погостив у него под Москвой.

С конца 1845 года Некрасов стал часто бывать у Панаевых, где встречал радушный прием. С первого же знакомства он был очарован хозяйкой дома. Двадцатишестилетняя Авдотья Яковлевна, изящная, черноволосая, гладко причесанная (какой мы знаем ее по известному акварельному портрету), с румянцем на смуглых щеках, и в самом деле слыла одной из первых красавиц в Петербурге. Многие из бывавших в ее доме литераторов были тайно или явно к ней неравнодушны. Достоевский влюбился в нее сразу и не на шутку. И нет ничего удивительного, что та же участь постигла Некрасова (хотя она довольно долго не замечала его чувства).

В следующем году он поселился вместе с Панаевыми в большой квартире на Фонтанке, между Аничковым и Семеновским мостами, в доме княгини Урусовой. Некрасову в этой квартире принадлежали две комнаты. Вспоминая то время, современники рассказывают, что он ходил теперь щеголем, и квартира его была обставлена не без изящества.

В доме Панаевых по субботам собирались литераторы — разговаривать, спорить, играть в преферанс. С кем только не встречался в эти дни Некрасов! Здесь постоянно бывал Белинский, в простом, поношенном сюртуке, худой, ссутулившийся, уже с признаками начинавшейся болезни; пристрастившись одно время к картам, он, садясь за зеленый стол, как бы в оправдание себе говорил,

что игра служит отдыхом для его головы. Некрасов был всегдашним его партнером.

Часто, но недолго бывал Достоевский, которого привели Некрасов и Григорович. Известно даже, когда именно это произошло — 16 ноября 1845 года сам Достоевский сообщал брату: «Вчера я в первый раз был у Панаева и, кажется, влюбился в жену его. Она умна и хорошенькая, вдобавок любезна и пряма донельзя». Панаевой же в это первое знакомство Достоевский запомнился как худощавый, белокурый, с болезненным цветом лица, с тревожными серыми глазами; она сразу заметила, что это очень нервный и впечатлительный молодой человек.

Гостили у Панаевых и москвичи — приезжал Василий Петрович Боткин; в октябре 1846 года две недели прожил Герцен, писавший жене о хозяйке дома: «Она мила и добра до невозможности»; Тургенев, снимавший дачу в Парголове, тоже останавливался у Панаевых. Словом, здесь уже тогда складывалось то знаменитое «литературное подворье», о котором рассказывает в своих воспоминаниях сама Авдотья Яковлевна. «Ее гостиная или, вернее, столовая — двадцать лет была русским Олимпом», — замечает К. И. Чуковский.

* * *

После выхода некрасовских альманахов стало ясно, что их инициатор и издатель прочно связал свою судьбу с отечественной журналистикой. Условия русской жизни этого времени в известной мере благоприятствовали ее развитию, общественное движение поднималось на новый этап — в России складывалась революционно-демократическая идеология, она вытесняла идеологию дворянской революционности. Начинался кризис феодально-крепостнической системы, что предсказывало близость серьезных сдвигов и перемен во всех областях жизни и прежде всего выдвижение на арену культуры широких кругов разночинно-демократической интеллигенции. Начинался отмеченный В. И. Лениным исторический процесс «...полного вытеснения дворян разночинцами в нашем освободительном движении...» [1]. И центральной фигурой этого процесса, его вдохновителем и теоретиком явился Виссарион Белинский.

---

[1] В. И. Ленин, Полн. собр. соч., т. 25, стр. 94.

В новых условиях переломной эпохи с большой остротой вставали вопросы дальнейшего развития страны, путей формирования национальной культуры; решать их в ближайшем будущем предстояло в основном уже не дворянам, а тем, кто шел им на смену, — детям провинциальных лекарей, городских и сельских священников, мелкопоместных дворян, отказавшихся от своего дворянства.

Именно им суждено было выработать новое мировоззрение, определявшееся их близостью к народу, сочувствием его нуждам, и прежде всего — враждой к крепостному праву и всем его порождениям.

Так начиналось большое идеологическое движение, выявлявшее себя в ожесточенной борьбе, связанное с поисками правильной революционной теории и в своем дальнейшем развитии породившее мощный расцвет русской науки, литературы и искусства. С этим движением неразрывно связана и деятельность Некрасова.

Ему пришлось пройти трудный путь, прежде чем он стал тем певцом народа, каким навсегда вошел в его память. Но в том, что он стал им, была своя закономерность. Его природные задатки могли бы вылиться в «Мечты и звуки», в посредственные стихи, каких много. Но он выступил в такое время, когда русская демократия набирала силы, когда обществу нужен был деятель и поэт большого гражданского мужества, страстной преданности народному идеалу. Само время призвало Некрасова, и он понимал это, когда говорил: «Время вывело меня на широкую дорогу».

Лучшим русским журналом преднекрасовской поры были «Отечественные записки». Период расцвета этого журнала начинается с января 1839 года, когда его начал издавать Андрей Александрович Краевский. Как сказано в одном из стихотворений Некрасова,

В ту пору
Пришла охота прожектеру,
Который барышей желал,
Обширный основать журнал...

Но какими бы целями ни руководствовался прожектер Краевский, несомненно, смотревший на издание журнала как на коммерческое предприятие, ему нельзя отказать в том, что он умел учитывать потребности вре-

мени. Он прекрасно понимал, что новый журнал только тогда добьется успеха, если будет отвечать интересам общества. Исходя из этого, он стремился собрать вокруг журнала лучшие литературные силы.

По приглашению Краевского руководить критикой в «Отечественных записках» взялся Белинский. Переехав в связи с этим из Москвы в Петербург, он с конца 1839 года взял в свои руки критический отдел журнала и вел его около семи лет; именно в эти годы он напечатал здесь важнейшие свои работы и тем самым создал журналу Краевского и популярность и «направление».

Однако союз великого критика и дельца-издателя не мог быть органическим и прочным. К середине 40-х годов в панаевско-некрасовском кружке уже знали, что Белинский тяготится своим положением в журнале и разногласиями с Краевским. Было известно, что издатель всячески пытается ограничить свободу действий своего сотрудника, без стеснений нагружает его мелкой черновой работой. По словам самого Белинского, Краевский перестал замечать, что исключительно ему он обязан «духом и жизнью» журнала. «Он смотрит на меня не как на душу своего журнала, а как на работящего вола, которого трудно заменить».

Отношения с Краевским постепенно обострялись, и наконец Белинский заявил: «Я твердо решился оставить «Отечественные записки» и их благородного, бескорыстного владельца. Это желание давно уже было моею idée fixe...» Немного позже он объявил об этом и самому Краевскому, добавив, что с 1 апреля 1846 года считает себя свободным. Краевский не удерживал критика, ибо давно уже с тревогой присматривался к тому направлению, которое он придавал журналу. Считая Белинского человеком беспокойным и опасным, он не раз пытался трусливо смягчать и приглаживать резкие суждения в его статьях.

К этому времени уже явно ощущалась потребность в новом журнале, который отразил бы назревание демократических стремлений в обществе и явился органом нового литературного направления — натуральной школы. Острее всех такую потребность в журнале, который мог бы стать трибуной для Белинского, чувствовал Некрасов; он подходил к столь важному вопросу, по словам Анненкова, «с практической точки зрения». Что значат эти слова?

Некрасов, как никто другой, понимал: Белинский без журнала существовать не может — ни по складу своей натуры бойца, ни по причинам материальным («страшно оставить жену и дочь без куска хлеба»). И если он настойчиво убеждал Белинского бросить «Андрюшку», то, значит, у него уже были планы, которыми он делился с критиком, рисуя перед ним заманчивую перспективу — работать в будущем своем журнале. Только этим можно объяснить, что в письмах Белинского не раз выражена твердая надежда: вскоре его друзья в Петербурге создадут новый журнал, где он будет «полным редактором». Так, 14 января 1846 года он пишет Герцену: «О новом журнале в Питере подумывают многие, имея меня в виду...» А 6 апреля он уже говорит об этом как о деле почти решенном, развивая попутно такую мысль:

«Жизнь — премудреная вещь; иногда перемена квартиры освежает человека нравственно. Поверь мне, что все мы в новом журнале будем те же, да не те...»

Как видно, будущий свой журнал, задуманный в то время, когда заметно оживилось журнальное дело вообще, был постоянной темой разговоров среди друзей Белинского. И нет сомнений, что главная инициатива здесь принадлежала Некрасову. Никто другой из окружения Белинского не отважился бы взяться за столь сложное и смелое предприятие — основать ежемесячный толстый журнал, при этом не имея ни денег, ни необходимого количества сотрудников, да еще в условиях разнообразных цензурных ограничений.

Преимущества Некрасова перед другими участниками кружка подтверждают современники. И. И. Панаев прямо указывает, что Белинский ни в одном из своих приятелей «не находил практического элемента и, преувеличивая его в Некрасове, смотрел на него с каким-то особенным уважением». Сам Некрасов отметил эту свою особую роль в позднейших воспоминаниях:

— Один я между идеалистами был практик, и, когда мы заводили журнал, идеалисты это прямо мне говорили и возлагали на меня как бы миссию создать журнал.

Роль Некрасова была особенно велика не только потому, что он был «практический человек», но, как позднее отметил один из современников, он был «не того предпринимательского склада, который тогда господствовал нераздельно»; русской журналистике «нужен был талантливый человек, понимающий ее задачи, широко на

них смотревший, строящий успех журнала не на эксплуатации сотрудников, а на идеях и талантах» (А. С. Суворин).

Вторым практиком среди «идеалистов» оказался Иван Иванович Панаев. Вместе с Некрасовым обдумывал он планы организации своего журнала, потребность в котором стала для всех такой очевидной. Однако даже и практики долго не могли решить одной задачи — чтобы начать задуманное предприятие, нужны были деньги. Половину необходимой суммы (25 тысяч рублей) брался внести Панаев. Но оставалась другая половина...

Вот тут-то они и вспомнили о человеке, который мог бы помочь делу. Осенью 1845 года в Петербурге несколько недель провел «степной помещик» Григорий Михайлович Толстой, только что вернувшийся из Парижа, где он жил подолгу. Панаев, перед этим встречавшийся с ним за границей, разумеется, ввел его в свой кружок, познакомил с Белинским, Некрасовым, Достоевским.

Григорий Михайлович был незаурядный тридцатипятилетний человек редкой образованности, обаятельной наружности. Но главная привлекательность Толстого была в том, что, живя во французской столице, он вращался в кругах революционных эмигрантов, был другом Бакунина, который считал его своим единомышленником, был знаком с Карлом Марксом и Фридрихом Энгельсом. И не просто знаком — Марксу случалось обсуждать с ним политические вопросы, он бывал в парижской квартире Толстого, вел с ним переписку. По слухам, русский барин обещал Марксу, вернувшись на родину, освободить своих крепостных. «Мой дорогой друг» — так в письмах обращался Григорий Толстой к Марксу.

Некрасов и Панаев имели основания рассматривать Григория Толстого как человека своего круга; считали его «как бы одним из заочных членов кружка Белинского, другом Бакунина и прославленных европейских демократов, человеком передовых убеждений» [1]. Все это и позволяло Некрасову обратиться именно к Толстому за содействием, а может быть, и привлечь его в качестве одного из основателей будущего радикального журнала.

Как бы то ни было, они решили немедля собираться в дальний путь — к Толстому. Тем более, что, уезжая из

---

[1] К. Чуковский, Григорий Толстой и Некрасов, в кн.: «Люди и книги». М., 1958, стр. 24.

Петербурга, он пригласил к себе на лето в деревню, в Казанскую губернию, и Панаева с женой, и Некрасова, соблазняя его дивной охотой на дупелей в окрестностях своего имения Ново-Спасское.

Это было весной 1846 года. Панаевы выехали в Москву одни, немного раньше, а Некрасов решил сопровождать Белинского, которого в Москве ждал Щепкин, чтобы оттуда пуститься в «южное» путешествие. Перед отъездом из столицы Белинский осуществил давно решенный уход из «Отечественных записок» и разрыв с Краевским. 26 апреля Белинский и Некрасов в почтовой карете («мальпост») выехали из столицы, и можно не сомневаться, что по дороге они успели поговорить о будущем журнале. Ведь Белинский не мог не знать, куда и зачем едет его спутник. Через день — к вечеру 28 апреля — они добрались до места.

До середины мая время в Москве пролетело незаметно. Перед отъездом Белинского на юг москвичи дали в его честь большой обед, где присутствовали и Некрасов с Панаевыми. А затем, простившись с Белинским, Некрасов и его спутники отправились из Москвы в сторону Казани.

По тем временам это было нелегкое и длительное путешествие. Ехали в тарантасе. Надо было переправляться через реки на паромах, на станциях подолгу ждать лошадей, в больших городах запасаться едой. Об этой поездке сохранился один рассказ, почти анекдот: проезжая через город Спасск (Казанской губернии), Некрасов в самом центре, на городской площади, представлявшей собой огромное болото, вздумал... поохотиться — и убил дупеля. Вероятно, именно этот случай он позднее увековечил в поэме «Несчастные», где есть такие строки:

...площадь велика:
Кругом не видно ей границы,
И, слышно, осенью на ней
Чудак, заезжий из столицы,
Успешно ищет дупелей.

Григорий Михайлович Толстой оказался радушным и щедрым хозяином. Гости жили долго и пользовались полной свободой: Некрасов охотился, Панаев совершал дальние прогулки, Авдотья Яковлевна ездила верхом и удила рыбу. В доме было много книг и журналов. Сам Толстой был занят весь день хозяйством, лечением и об-

разованием деревенских детишек, устройством разных нововведений. Вот только освободить своих мужичков ему все как-то не удавалось. Впрочем, и без того его деятельность вызывала негодование соседних помещиков-крепостников.

По вечерам, за ужином, на террасе, выходящей в сад, собирались гости и хозяева, начинались увлекательные беседы. В один из таких летних вечеров Некрасов заговорил о будущем журнале, и его мысль была встречена Толстым с полным сочувствием. Он изъявил готовность материально поддержать это начинание. Договорились о размерах и сроках взноса и решили немедля приступить к хлопотам. Окрыленный и полный надежд Некрасов отправился в обратный путь.

Он очень спешил в Петербург. И все-таки, добравшись до Москвы, свернул в сторону, чтобы еще раз навестить Герцена, опять жившего на той же «превеликолепной даче» в Соколове, что и в прошлом году. Некрасову казалось необходимым не только посвятить Герцена в свои планы, но и наладить контакты с московскими литераторами. Многих из них он надеялся встретить в Соколове. И действительно, здесь собрался весь московский кружок, приехали Н. П. Огарев, Т. Н. Грановский с женой, Е. Ф. Корш. Судя по всему, Герцен с большим сочувствием встретил новость — сообщение о журнале. Его не остановила мысль о необходимости расстаться с «Отечественными записками» Краевского. Наталья Александровна, жена Александра Ивановича, решила всерьез помочь будущему редактору и предложила ему из своих средств пять тысяч рублей взаймы, на организацию дела.

В этот второй приезд в Соколово[1] Некрасову пришлось присутствовать при известных спорах Герцена и Огарева с Грановским о социализме и материализме — спорах, столь ярко запечатленных в четвертой части «Былого и дум»; к этому же времени, к лету 1846 года, относится стихотворение «Я за то глубоко презираю себя...», к которому Некрасов в конце жизни сделал такое примечание: «Написано во время гощения у Герцена. Может быть, навеяно тогдашними разговорами».

---

[1] О второй поездке Некрасова к Герцену в период подготовки издания «Современника» до недавнего времени ничего не было известно. Этот факт установлен М. Блинчевской («Вопросы литературы», 1971, № 8, стр. 253—256).

Организовать новый журнал в то время было невозможно; когда-то Николай I по такому же поводу наложил резолюцию: «И без того много». Резолюция продолжала действовать. Оставался только один выход: купить один из существовавших журналов. Но который из них — «Сын отечества», «Маяк», «Финский вестник», «Современник»? До осени Некрасов и Панаев, по выражению Белинского, метались, отыскивая журнал. Они «толкались во все двери», пока, наконец, перед ними не «отверзлись» двери «Современника», принадлежавшего ректору и профессору Петербургского университета, поэту и критику П. А. Плетневу. На нем и остановились. Оказалось, что Плетнев согласен немедленно передать молодым литераторам свое право на издание журнала. Разумеется, небезвозмездно: он потребовал четыре тысячи в год, но в конце концов согласился уступить. Кроме того, по уговору он получал добавочное вознаграждение в зависимости от числа подписчиков.

* * *

Когда-то, в 1836 году, «Современник» был основан Пушкиным; поэт успел выпустить всего четыре книги. Здесь печатались Гоголь, Жуковский, Тютчев, Кольцов, Баратынский, не говоря уже о самом издателе. Своим зорким глазом Пушкин заметил (и собирался привлечь к работе в журнале) тогда еще молодого критика Виссариона Белинского. Белинский знал об этом и с гордостью повторял, что несколько приветливых слов, сказанных о нем Пушкиным, всегда составляли лучшее утешение его жизни.

После смерти великого поэта журнал перешел к его другу Плетневу. Но Плетнев иначе смотрел на дело и пытался придать журналу «нейтральный» характер, уберечь его от злобы дня, от литературной полемики. Результаты этих усилий были налицо — журнал «глухо и неслышно тянул свое существование», растеряв почти всех подписчиков: в 1846 году их было ровно 233 (в это же время «Отечественные записки» имели до четырех тысяч подписчиков). Бесцветность плетневского издания вызывала общее недоумение. Гоголь в 1843 году спрашивал самого Плетнева: «Объясните мне, зачем и для чего издает Плетнев свой журнал? Что хочет он сказать им?.. Тощее содержание его тоненьких книжек, неживой, без-

участный, вялый и неопределенный слог его суждений обо всем современном задавал только загадку решать: зачем он назван «Современником»?»

Все это объясняет, почему Плетнев с готовностью отказался от издания, которое он завел в тупик. Понятно и то ликование, каким встретили весть о приобретении «Современника» в кружке Белинского и Некрасова. Какие перспективы открывались перед теми, кто жаждал деятельности, труда, кто нуждался в печатном органе для выражения своих идей и взглядов! «Журнал не запачканный, ...и носящий такое удивительное имя!..» — писал Панаев московским друзьям, приглашая их сотрудничать в обновленном и расширенном «Современнике»; «журнал этот с 1847 года столько же мой, сколько и ваш...» На этот призыв в первую очередь откликнулись Герцен, недавно отбывший две политические ссылки, и Тургенев, уже приступивший к этому времени к работе над циклом «Записок охотника». Оба они с первых же дней стали активно поддерживать новый журнал.

Затем начались поиски редактора. Панаев и Некрасов считались лицами неблагонадежными. Пришлось опять обратиться к Никитенко как человеку, с точки зрения властей вполне подходящему для этой роли. За ее исполнение ему положили восемь тысяч рублей в год, и он согласился стать редактором «Современника». Одновременно организаторы журнала принялись за добывание материалов для первых номеров, и тут выручил Белинский: Некрасов уговорил его передать будущему журналу собранные им материалы для давно задуманного альманаха «Левиафан».

Оставалось еще обеспечить необходимое количество подписчиков, и для этой цели Некрасов решил сделать журналу самую широкую рекламу. Специальные афиши на огромном зеленом листе были распространены по городу. Объявления были помещены в журналах и газетах, в частности в «Северной пчеле». По этому поводу литературные противники злоязычили и даже глумились над издателями, уподобляя их торговцам с апраксина двора, которые беззастенчиво расхваливают свой товар. Даже Панаев находил столь широкую кампанию чрезмерной и дорогостоящей, но Белинский, по словам Панаевой, возражал ему:

— Нам с вами нечего учить Некрасова... мы младенцы в коммерческом расчете. Сумели ли бы мы с вами

устроить такой кредит в типографии и с бумажным фабрикантом, как он? Нам на рубль не дали бы кредиту...

Объявление о подписке на «Современник» на 1847 год, написанное, вероятно, Некрасовым, начиналось так:

«Современник», основанный А. С. Пушкиным, а впоследствии с высочайшего соизволения перешедший в распоряжение П. А. Плетнева, с 1847 года подвергается *совершенному преобразованию.* Редакция «Современника»... переходит к профессору С.-Петербургского университета *А. В. Никитенко.* Издание же сего журнала, по взаимному согласию и условию с прежним издателем и редактором, приняли на себя *И. И. Панаев* и *Н. А. Некрасов...*

...Получив согласие на участие в «Современнике» многих известных русских ученых и литераторов, редактор и издатели в то же время нашли нужным значительно увеличить объем журнала. «Современник» с 1847 года будет издаваться ежемесячно книжками от 20 до 25 печатных листов в большую осьмушку... Книжки будут выходить *аккуратно 1-го числа каждого месяца* и печататься на хорошей бумаге в одной из лучших петербургских типографий».

Затем, переходя к программе нового журнала, авторы объявления старались намекнуть на его современное и прогрессивное направление:

«Все, могущее интересовать публику и соответствующее программе, направлению и достоинству журнала, будет постоянно иметь место на страницах «Современника». Главная заботливость редакции обращена будет на то, чтобы журнал наполнялся произведениями преимущественно русских ученых и литераторов, — произведениями, достоинством и направлением своим вполне соответствующими успехам и потребностям *современного* образования... Мелкая, личная и никаких ученых и литературных вопросов не решающая полемика вовсе не будет иметь места в «Современнике».

В тексте перечислялись имена тех ученых и литераторов, которые с 1847 года будут принимать участие в журнале. Стоимость подписки определялась в пятнадцать рублей серебром в год.

Объявление выглядело солидно и должно было заинтересовать читателей. Не ограничиваясь публикациями в газетах, Некрасов рассылал «цветные» объявления в разные города, особенно если там у него были знакомые.

Сохранилось, например, письмо его к Н. М. Щепкину (сыну актера), служившему в Воронеже, в котором издатель «Современника» просил его о содействии:

«...Воронеж, говорят, богатый город и многолюдный: там, вероятно, есть люди, выписывающие журналы: если можно, да распространятся же между ними прилагаемые объявления. Русь-матушка велика: скоро ли дойдет до нее, что «Отечественные записки» переменили квартиру и, приодевшись и приумывшись, хотят явиться к ней под именем «Современника»...» (26 октября 1846 года).

Последние слова многозначительны: Некрасов указывает здесь на преемственную связь между двумя журналами и намекает, что после «перемены квартиры» весьма популярный до тех пор журнал Краевского можно уже не выписывать...

Среди забот этой осени немалое место занимала денежная сторона дела. Оплата романов, повестей и стихов, гонорары сотрудникам, расчеты с Плетневым и Никитенко, множество других расходов — на все это быстро ушли деньги, внесенные Панаевым. И тут Некрасов понял, что других денег у него нет. Двадцать пять тысяч, обещанных Григорием Толстым, он не получил. А в одном из писем «степной помещик» спокойно уведомил Некрасова, что он приступает к хлебной торговле и все деньги употребил на закупку хлеба.

Негодованию Некрасова не было предела. Он написал Толстому письмо, объяснив ему, впрочем, очень сдержанно, в какое положение он поставил издателей будущего журнала. По тону этого письма можно понять, что Некрасова тревожило не только отсутствие денег, на которые он имел основания рассчитывать, но, быть может, еще больше — самый факт непостоянства, необстоятельности, обнаруженных человеком солидным и уважаемым:

«Вы, казалось, так хорошо понимали важность в этом деле своевременного получения денег на журнал, Вы так ручались за себя, и Ваши уверения казались мне так дельными и несомненными, что я скорее боялся не получить денег от Панаева, чем от Вас...» (февраль 1847 года).

А денег все равно не было. Правда, в конце концов дело кое-как уладилось. Пришлось наделать долгов, пять тысяч прислала жена Герцена — Наталья Александровна, какую-то сумму внесла Авдотья Яковлевна. Но самый

СОВРЕМЕННИКЪ

ЛИТЕРАТУРНЫЙ ЖУРНАЛЪ

издаваемый съ 1847 года И. Панаевымъ и Н. Некрасовымъ подъ редакцiею А. Никитенко

ТОМЪ I

САНКТПЕТЕРБУРГЪ

въ типографiи Эдуарда Праца

1847

поступок Григория Толстого Некрасов запомнил надолго. И, странное дело, с годами он стал относиться к нему все более снисходительно. Объяснение этому нашел К. И. Чуковский. В работе «Григорий Толстой и Некрасов» он доказал, что Некрасов разглядел в облике Толстого своего рода знамение времени, порождение условий русской действительности.

Оказывается, создавая образ богатого помещика Григория Данкова в романе «Три страны света», Некрасов имел в виду не кого-нибудь, а именно Толстого: он придал своему герою портретное сходство с казанским по-

мещиком, повторил главные черты его биографии и указал его отличительные свойства — жажда деятельности без ясной цели, благие порывы и неумение применять их на практике. Словом, Некрасов в своем Данкове дал ранний набросок того общественно-психологического типа, который позднее стал известен под именем «лишнего человека».

Тема разрыва между словом и делом, невозможность осуществления самых лучших замыслов и стремлений, разные вариации этой темы — от сочувствия тому, кто обречен на вынужденное бездействие, до обличения либерального позерства и краснобайства — все это заняло большое место в поэзии Некрасова (образ Агарина в поэме «Саша», лирика). И можно думать, что у реальных истоков этой темы стоит фигура Григория Толстого.

Наконец после многих трудов и хлопот первую книжку нового «Современника» в нарядной светло-зеленой обложке принесли из типографии. 1 января 1847 года было праздничным днем в редакции. Очевидцы вспоминают, что Белинский смотрел на книжку журнала с таким умилением, с каким смотрит отец на своего первенца, только что явившегося на свет.

Выход первого номера был отмечен торжественным обедом с участием всех сотрудников. С той поры это стало традицией: каждый месяц по выходе очередного номера журнала Некрасов и Панаев устраивали обеды, на которые приглашались писатели, близкие к журналу, все сотрудники.

Первый номер отличался необычайным богатством содержания. Одни только имена авторов должны были напоминать читателю, что «Отечественные записки» действительно «переменили квартиру» и название. Здесь были помещены «Хорь и Калиныч» Тургенева, «Роман в девяти письмах» Достоевского, «Тройка» Некрасова, стихи Огарева и Тургенева, повесть «Родственники» Панаева; в отделе публицистическом и научном — «Из записок артиста» Щепкина, историческое исследование К. Д. Кавелина «Взгляд на юридический быт древней России», направленное против славянофилов, критический очерк переводчика А. И. Кронеберга «Последние романы Жорж Санд», статья Никитенко «О современном направлении русской литературы», а также «Письмо из Парижа» Анненкова. В качестве бесплатного приложения к № 1 подписчикам были разосланы отдельное издание

романа Герцена «Кто виноват?» (хорошая «пилюля» Краевскому!) и роман Жорж Санд «Лукреция Флориани» в переводе того же Кронеберга.

Критический отдел журнала украшали три рецензии Белинского и его статья «Взгляд на русскую литературу 1846 года». В этой статье, носившей открыто программный характер, идейный руководитель журнала твердой рукой определял его литературную политику. Статья была проникнута заботой о необходимости направить русскую литературу по пути реализма, сделать ее подлинным органом общественного самосознания. «Если бы нас спросили, — писал Белинский, — в чем состоит отличительный характер современной русской литературы, мы отвечали бы: в более и более тесном сближении с жизнью, с действительностью, в большей и большей близости к зрелости и возмужалости...»

IX

БУДНИ «СОВРЕМЕННИКА»

Некрасов был прав, когда не слушал тех, кто пророчил провал новому журналу. А пророков было немало: литературные ретрограды взывали к «тени Пушкина» и сокрушались по поводу того, что основанный им журнал теперь станет «орудием щелкоперов»; скептики уверяли, что он не выдержит конкуренции со старыми журналами, обладающими устоявшейся репутацией. Однако вопреки всем предсказаниям успех нового издания был блистательный. В первый же год набралось до двух тысяч подписчиков, а на следующий год их было уже больше трех тысяч. 4 января 1847 года редактор журнала Никитенко записал в своем дневнике: «Вышел первого числа первый номер «Современника» под новой редакцией. Он произвел хорошее впечатление. Отовсюду слышу благоприятные отзывы его тону и направлению».

Тем не менее недоброжелатели не унимались. Они

распускали слух о несостоятельности издателей, о недолговечности журнала, о том, что Белинский «исписался». Возникли трудности и посерьезнее: выяснилось, что московская группа литераторов, на которых рассчитывал «Современник», не желает покидать «Отечественные записки», несмотря на обещания, данные Некрасову, несмотря на дружеские отношения с Белинским.

Конечно, немалую роль сыграли здесь старания Краевского. Обеспокоенный неизбежным уменьшением подписки на свой журнал, он начал принимать энергичные меры. Он не стеснялся даже в официальных кругах намекать на неблагонадежность нынешних руководителей «Современника», от которых он будто бы освободился как от людей «беспокойных» и «опасных». Затем Некрасов узнал о его поездке в Москву, где Краевский вел переговоры со своими авторами-сотрудниками. Затем он печатно уверял читателей, что сотрудники у него остались прежними, не считаясь с тем, что в «Современник» уже перешли Белинский, Герцен, Некрасов, Панаев (это и обеспечило первый успех журналу).

Получилось, что москвичи Боткин, Грановский, Кавелин, Галахов и другие, согласившись работать на Краевского, сильно подвели «Современник» и тех, кто с жаром начал работать в новом журнале. Но в этом не было ничего удивительного: во-первых, в либерально-западнических кругах предпочитали вероятную умеренность «Отечественных записок» уже известным и пугающим «крайностям» Белинского; во-вторых, в поведении москвичей сказалась та половинчатость, которая свойственна всяким либералам. Эту черту московского кружка тогда же хорошо подметил близкий к нему П. М. Щепкин (один из сыновей артиста). В феврале 1847 года он писал: «Конечно, это люди хорошие, имеют прекрасные убеждения, красноречиво высказывают их, да не всегда поступают согласно этим убеждениям».

Белинский и Некрасов были не на шутку огорчены и раздосадованы этими обстоятельствами. «Я еще понемногу креплюсь, — писал по этому поводу Некрасов, — но Белинский впал в совершенное уныние». И в самом деле — он отправлял в Москву письмо за письмом, полные негодования. Он жаловался Анненкову: «...наши московские друзья-враги теперь торжественно оправдали Краевского и выставили лжецом «Современник». А москвичи оправдывались как могли, но — посылали свои статьи

Краевскому. Грановский прямо сказал — если у нас выходят вместо одного — два хороших журнала, то он готов помогать обоим. Что касается до нас, мы думаем иначе»,— писал Белинский в Москву, отвечая «всем зараз». «...Если «Отечественные записки» доселе имеют направление, и еще хорошее, это потому, что они еще не успели простыть от жаркой топки, — вы знаете, кем сделанной...» Но надолго этого не хватит, заявлял Белинский.

В другом письме того же времени (конец 1847 года) Белинский еще откровеннее говорит о себе и, что особенно важно, о своем положении в некрасовском журнале, объясняя старому другу Боткину, насколько дорого для него благополучие и процветание «Современника». «...Помню, наши московские друзья-враги дали нам свои имена и труды, сколько по желанию работать соединенно в одном журнале ....столько же и по желанию дать средства к существованию некоему Белинскому». Как же они поступают теперь? Понимают ли они, какие преимущества получил критик в журнале Некрасова? Кажется, он, Белинский, не так много успел сделать для «Современника» в текущем году, но уже забрал вперед свои восемь тысяч (по уговору с Некрасовым). Поездка за границу тоже не лишит его платы. На будущий год он получит двенадцать тысяч. Кажется, есть разница в его теперешнем и прежнем положении? Но эта разница не сводится только к деньгам. Вследствие договоренности с Некрасовым его участие в журнале больше «нравственное», нежели «деятельное». Не Некрасов говорит ему, что он должен делать, а он уведомляет Некрасова о том, что он считает нужным делать. Все эти условия особенно важны для человека опасно больного и измученного. Итог: «Современник» — вся моя надежда, без него я погиб в буквальном, а не в переносном значении этого слова. А между тем мои московские друзья действуют так, как будто решились погубить меня, но не вдруг и не прямо, а помаленьку и косвенным путем, из сострадания к Краевскому».

Но даже эти слова Белинского не произвели особого впечатления на «друзей-врагов». Во всяком случае, они не лишили Краевского своей благосклонности (хотя печатались и в «Современнике»). При этом они прямо говорили о своих разногласиях с Белинским. Уже прочитав его гневные письма с их, казалось бы, неотразимой аргументацией, Боткин писал Анненкову: «Я далеко не

разделяю отвращения Белинского к «Отечественным запискам». А другой участник московского кружка — Кавелин позднее вспоминал: «Любя Белинского безмерно, ...я написал, что поддерживать его журнал был бы рад радостью, но не журнал Некрасова...»

При всех своих дружеских связях с Белинским Боткин и другие либеральные «западники» не могли, да и не хотели скрыть неодобрительного отношения к резко демократическим тенденциям нового журнала, к плебейскому облику самого Некрасова, к революционным убеждениям Белинского.

При этом суть дела заключалась не в личных симпатиях и антипатиях и не в изворотливости Краевского, а в глубоких социальных противоречиях, уже в те годы обозначившихся в русской действительности. Идеологическим выражением этих противоречий было нарастание разногласий, а позднее и прямой вражды между двумя лагерями — нарождавшейся революционной демократией и либерализмом. Однако в 40-е годы до окончательного разрыва было еще далеко.

* * *

Уже первые годы нового «Современника» дали русской литературе немало первоклассных имен и произведений. Конечно, издатели журнала не могли не испытывать удовлетворения по этому поводу. В самом деле: кроме того, что названо выше (в связи с первым номером), в журнале были помещены «Сорока-воровка», «Из записок доктора Крупова», «Письма из «Avenue Marigny» и другие вещи Герцена, «Обыкновенная история» Гончарова, имевшая «успех неслыханный» (выражение Белинского), «Антон Горемыка» Григоровича, рассказы из «Записок охотника» Тургенева (в том числе «Бурмистр»), «Полинька Сакс» Дружинина, стихи Некрасова («Псовая охота», «Еду ли ночью по улице темной», «Нравственный человек»). В отделе критики появились несколько важнейших статей Белинского. Публицистика была представлена превосходной, остро злободневной статьей друга Герцена и Огарева Н. М. Сатина — «Ирландия», «Письмами об Испании» Боткина. Все эти материалы должны были в первые же годы определить репутацию журнала и упрочить интерес к нему читателей.

Но это—оглавление журнала, раскрытое перед каждым

читателем. А что стояло за ним? В каких трудах, спорах, конфликтах, связях и отношениях рождалась каждая книжка «Современника»? Какой груз принял на свои плечи Некрасов, его деятельный организатор и редактор?

Письма Некрасова этой поры позволяют представить себе, какое множество разнообразной журнальной работы выпало на его долю: добывание материала — прозы и стихов, переговоры и переписка с авторами, чтение рукописей и корректур, отношения с ответственным редактором, объяснения с цензорами, восстановление смысла в тексте, исполосованном красными чернилами, не говоря уже о гонорарных расчетах и делах типографских. А ведь он еще должен был писать! И он писал стихи (правда, в первые годы очень мало), рецензии, фельетоны.

Особенно много душевных сил отнимала необходимость изыскивать средства борьбы с цензурой, возраставшая год от году. Изнурительна была самая мысль о постоянном и пристальном внимании властей, рождавшая ощущение шаткости почвы под ногами, а такое ощущение было тогда, по словам Некрасова, чуть ли не у всех, кто причастен к журналистике.

Все это уже к концу первого года издания «Современника» довело здоровье Некрасова до серьезного расстройства. Глядя на его изможденное и усталое лицо, Белинский не раз строго говорил ему: «Что вы с собой делаете, Некрасов? Берегитесь, иначе с вами будет то же, что со мной».

Позднее Некрасов слышал от общих друзей, что Белинский, тогда уже сам больной, был убежден в его близкой смерти.

Постепенно у Некрасова сложилась репутация превосходного редактора. Но тогда, у истоков «Современника», его опыт был еще невелик, а трудности — огромны. Однажды ему пришлось поссориться с Достоевским, который отдал свои повести Краевскому и не отрекся печатно от «Отечественных записок»; эта ссора была неприятна и той и другой стороне. В другой раз произошла размолвка с Белинским из-за повести Григоровича «Деревня». Повесть не понравилась Некрасову, он возвратил ее автору, а тот недолго думая отправился в «Отечественные записки». Белинский, наоборот, нашел в повести большие достоинства — очень немного было в те годы книг, рисующих темноту и горе крепостной де-

ревни; молодой автор обнаружил и наблюдательность, и знание жизни, хотя и не был свободен от некоторой сентиментальности.

Белинский написал о «Деревне» для «Современника», но Некрасов заявил, что не может допустить похвалы тому, что печатается у Краевского. Белинский остался при своем мнении и упрекнул Некрасова в «бестактности и заносчивости», поскольку тот настаивал на изменении отзыва о повести Григоровича (последний подробно рассказал об этом споре, который произошел на чаепитии у Тургенева). По-видимому, Некрасов признал свою неправоту; во всяком случае, когда история эта дошла до Москвы и встревожила Боткина, Белинский постарался его успокоить и заступиться за Некрасова: «Это случилось с ним в первый раз».

Надо сказать, что бывали случаи, когда оказывался прав Некрасов. Например, после спора о повести П. Кудрявцева «Сбоев» Белинский, сначала превозносивший ее, затем признал свою ошибку.

Не приходится удивляться, что всего через две недели после выхода первого номера «Современника» Некрасов писал: «Я изнемогаю — не под бременем труда, а под бременем разных страхов, которые нападают на меня при этом новом, многосложном и нелегком для меня деле» (Н. Х. Кетчеру; 13 января 1847 г.).

А тут еще возникли разногласия с Никитенко, который выступал в роли редактора и цензора. Уже со второго номера он начал запрещать некоторые статьи, присылаемые ему редакцией (например, фельетон Панаева, в котором был высмеян Нестор Кукольник, пользовавшийся расположением Никитенко), и, наоборот, предлагать статьи, которые редакцию не устраивали. «Мои издатели вознегодовали на меня, — записал Никитенко в дневнике 31 января 1847 года, — забывая, что... сами предоставили мне полную свободу в выборе статей и в сообщении журналу направления. Я только на этих условиях и мог согласиться подписывать под ним мое имя».

Разумеется, издатели меньше всего предполагали, что Никитенко будет сообщать их журналу «направление», и надеялись, что он не станет слишком вмешиваться в дела.

Однако сам Никитенко думал иначе, и уже 5 февраля в его дневнике появилась запись: «Я начинаю подумывать о том, чтобы отказаться от редакции «Современника»...

Мне слишком тяжело находиться в постоянной борьбе с издателями... Они, вероятно, рассчитывали найти во мне слепое орудие и хотели самостоятельно действовать под прикрытием моего имени. Я не могу на это согласиться».

Некрасову стоило немалых усилий улаживание отношений с редактором, который оказался и догадливее и строптивее, чем предполагалось. Но заменить его было решительно некем, и самая мысль об этом пугала издателей «Современника».

Еще сложнее оказались обстоятельства и отношения внутри самой редакции. Об этом свидетельствует, например, конфликт с Белинским, который он сам определил как «внутренний разрыв» с Некрасовым.

По выходе первых номеров журнала Белинский заявил, что он хотел бы войти в число пайщиков, с тем чтобы получать третью долю дохода наряду с двумя другими издателями. Белинский думал стать одним из равноправных «хозяев» журнала, поскольку он и задуман-то был во многом для него как необходимая трибуна после разрыва с Краевским. Однако здоровье критика в это время было уже до крайности расстроено, дни его были сочтены.

Некрасов опасался, что, включив Белинского в число пайщиков, он свяжет себя с его наследниками. Он не мог пойти на это, поскольку материальное положение журнала было очень неопределенно, ведь он начал издаваться на одолженные деньги. В этом главная причина того, что Некрасов (как и Панаев) не считал возможным приглашать его в качестве «пайщика». «Я на это не согласился, как мне было ни тяжело ему отказывать», — писал Некрасов позднее.

Белинского огорчил отказ, и он заметно охладел к Некрасову. В письме Тургеневу от 19 февраля 1847 года критик рассказал эту историю, прибавив, что очень любил Некрасова, а теперь ему досадно не за себя, а за него. Упомянул о «внутреннем разрыве». И закончил так: «Я и теперь высоко ценю Некрасова за его богатую натуру и даровитость; но тем не менее он в моих глазах — человек, у которого будет капитал, который будет богат, а я знаю, как это делается...»

Суровый приговор Белинского, судя по всему, был известен Некрасову. Во всяком случае, много лет спустя, прочитав это письмо, опубликованное тем, кому оно было адресовано, Некрасов сказал, что все это в еще более

прямом и резком виде он в свое время слышал от самого Белинского. И все-таки Некрасов считал, что поступил тогда правильно, тем более что материальные интересы критика не пострадали от того, что он не стал пайщиком.

Что же было дальше? Прошло немного времени после разговора с Некрасовым, и Белинский, объяснившись еще с Панаевым, заметно смягчился. «Подувшись на меня несколько дней, — вспоминал Некрасов, — он сам высказал мне... свое сожаление о последовавшем в нем внутреннем разрыве со мной». Он согласился, что роль пайщика была ему крайне невыгодна, так как издание в первые годы было убыточно. Кроме того, ему исправно выплачивались определенные суммы — в соответствии с условиями, на которых он начал работать в «Современнике», и даже сверх этих условий.

Словом, Белинский успокоился и вскоре написал Тургеневу: «Скажу Вам, что я почти переменил мое мнение насчет источника известных поступков Некрасова. Мне теперь кажется, что он действовал добросовестно...» Некрасов же судил об этом так: «Я не знаю, исчезло ли в его воззрении на меня впоследствии это п о ч т и, но отношения наши до самой его смерти были короткие и хорошие...»

Несомненно, это так и было; ведь и сам Белинский с удовлетворением отмечал (в ноябрьском письме Боткину, которое изложено выше) удобные для него материальные условия, свободу своих действий в редакции («могу делать, что хочу»), наконец, «нравственный характер» своего участия в журнале. «Современник» — вся моя надежда», — писал Белинский, зная, что он говорит о н е к р а с о в с к о м «Современнике».

При этом место и роль критика в редакции определялись, конечно, не только материальной стороной дела, но прежде всего фактическим участием в работе журнала, возможностью оказывать влияние на его характер и направление. В этом отношении ни в чем нельзя упрекнуть Некрасова или Панаева — они предоставили Белинскому возможность делать все, что было в его силах, и высоко ценили его участие, его мнение, хотя в отдельных случаях, конечно, могли и расходиться с ним в оценках (так было, например, в споре о цикле стихов Огарева «Монологи»: Некрасову хотелось их напечатать, но победа осталась за Белинским, который считал эти стихи пос-

ледней данью «гамлетовскому направлению», «набором общих мест»).

«Никто, кроме Белинского, не был хозяином содержания журнала...» — заверяет Некрасов. «...Мы всё делаем с общего согласия, и состав каждой книжки апробируется Белинским», — добавляет Панаев.

Все это так. Но благополучно разрешившийся конфликт с Белинским все же оставил некоторый осадок у всех, кто имел к нему касательство. В одном письме того же 1847 года Белинский признался: «Мне с ним не так тепло и легко, как было до этой истории». А в другой раз он обронил словечко неделикатность. Может быть, и в самом деле: тому, кто по сути был прав, следовало проявить чуть больше деликатности по отношению к такому человеку, как Белинский. Тем более, что всем хорошо было известно, как тяжело он болен! Справедливость требует напомнить, что всю свою последующую жизнь Некрасов благоговейно хранил память о Белинском. Образ его проходит через всю зрелую некрасовскую лирику.

Описанная история имела одно неприятное последствие: она дала повод недоброжелателям для разговоров и слухов, что Белинский, мол, уйдя от Краевского, снова «попался на удочку» со своей младенческой доверчивостью: что он был «очень искусно устранен» от журнала, который собственно для него и его именем создавался; что он «оказался наемником на жалованьи» (Кавелин) и т. д. В этих разговорах не было ни капли правды, но они на много лет вперед дали пищу врагам Некрасова для упреков в недобросовестности, в «литературном кулачестве», в стремлении к наживе, якобы главной цели его деятельности. Эти упреки в разной форме всю жизнь преследовали Некрасова.

* * *

Друзья огорчались, замечая, что, обремененный множеством забот по журналу, Некрасов почти перестал писать стихи и рецензии. Белинский опасался, как бы его деятельность не свелась к ведению счетов и держанию корректуры. Некрасов и сам понимал, что писать необходимо, знал, что поэтический отдел «Современника» довольно беден и нуждается именно в его стихах. Тем не менее он сердился, когда об этом напоминали, а неожи-

данная похвала его стихотворению, полученная от Тургенева, нагнала на него «страшную тоску». Он отвечал Ивану Сергеевичу в Париж: «...Я с каждым днем одуреваю более, реже и реже вспоминаю о том, что мне следует писать стихи, и таковых уж давно не пишу. Мне это подчас и больно, да делать нечего. Но, за исключением сего, живу изрядно, хотя работы много и поводов злиться еще больше...»

Так он писал 11 декабря 1847 года. В это время стихов действительно было написано мало, случалось, что по многу месяцев в журнале не появлялось ни строчки, но в конце концов они все-таки появлялись; и какие это были стихи! После «Родины», «Перед дождем», «В неведомой глуши», о которых мы уже говорили, в новом «Современнике» были напечатаны и другие шедевры ранней лирики поэта — «Тройка», «Псовая охота», «Нравственный человек», «Если мучимый страстью мятежной», «Еду ли ночью по улице темной». По-видимому, в 1848 году написано и стихотворение «Вчерашний день, часу в шестом».

Можно сказать, что эти несколько стихотворений содержали в себе все главные мотивы поэзии Некрасова, глубоко им выстраданные: беспросветная судьба деревенской девушки («Тройка»); страница крепостного быта — язвительно осмеянная помещичья охота с ее необузданным разгулом и жестокостью, сатирический портрет чудовищного лицемера и благонамеренного ханжи — «нравственного человека»; чисто некрасовская любовная исповедь с ее резко обнаженным чувством; характерные темы большого города — горе бедняков, трагическая участь женщины; и, наконец, первое обращение поэта к своей музе, первая поэтическая декларация — вот какой круг проблем охватывают эти несколько стихотворений. Программные для Некрасова, они были программными и для журнала, в котором появлялись (только последнее не было опубликовано). И понятно, что эти стихи имели шумный успех в кружке «Современника». Многие находили в некрасовских стихах поэтическое выражение своих мыслей и чувств.

Некрасов как поэт был особенно близок Белинскому. В его стихах критик впервые ощутил связь между прошлым и будущим, понял, что его поэзия, вобрав в себя главные элементы пушкинского периода, в то же время открывала новую эпоху русской лирики.

Еду ли ночью по улице темной,
Бури заслушаюсь в пасмурный день, —
Друг беззащитный, больной и бездомный,
Вдруг предо мной промелькнет твоя тень!
Сердце сожмется мучительной думой.
Рано судьба не взлюбила тебя:
Беден и зол был отец твой угрюмый,
За-муж пошла ты — другого любя.
Муж тебе выпал недобрый на долю:
С бешеным нравом, с тяжелой рукой;
Не покорилась — ушла ты на волю,
Да не на радость сошлась и со мной....

Автограф стихотворения «Еду ли ночью по улице темной».

В своих последних обзорах литературы за 1846-й и 1847-й годы, а также в письмах к друзьям Белинский установил, что важнейшей чертой прогрессивной литературы является сознательность творчества, которую отрицали эстеты, защитники «чистого искусства». Натуральная школа воспользовалась тем содержанием, которое открыл для нее Гоголь, и сумела внести в литературу социальную мысль как сознательную тенденцию. Критик особенно ценил произведения, в которых художественность органично сливается с передовой мыслью.

С таким критерием подходил Белинский и к поэзии Некрасова в «Современнике». Имея в виду именно те его стихи, о которых мы только что говорили, он заметил в одном из писем (7 декабря 1847 года): «...Его теперешние стихотворения тем выше, что он, при своем замечательном таланте, внес в них и мысль сознательную, и лучшую часть самого себя». Под эту точную характеристику прежде всего подходит стихотворение «Еду ли ночью...», тематически связанное с более ранним «Когда из мрака заблужденья». Этот драматический рассказ о двух столичных бедняках, о ребенке, умершем от голода, о том, как поступила *она:*

...Ты ушла молчаливо,
Принарядившись, как будто к венцу,
И через час принесла торопливо
Гробик ребенку и ужин отцу, —

воздействовал самой безыскусственностью повествования, правдивостью и неожиданностью сюжета, в большой мере основанного на впечатлениях бездомной юности автора, наконец, безысходной мрачностью заключительных строк — о беззащитности женщины, о ее роковой судьбе, о бесполезных проклятьях...

Несомненно, на слушателей производил впечатление и самый стих, певучий и несколько заунывный, которым написана эта маленькая поэма:

Еду ли ночью по улице темной,
Бури заслушаюсь в пасмурный день...

Излюбленный некрасовский размер — трехсложный дактиль — отмечен удивительной долготой ударяемых гласных звуков; в «чисто народной протяжности» этого размера видят своеобразие и особое обаяние лирики Некрасова.

Один из современников рассказывает: когда Некрасов в первый раз прочитал в кружке Белинского только что написанное стихотворение, все были так взволнованы, что со слезами кинулись обнимать смущенного поэта.

Совсем иначе были встречены эти стихи во враждебном лагере. Охранители, как всегда, испуганные реальностью нарисованной картины, нашли ее слишком мрачной, даже безнравственной.

Вот для наглядности несколько разных мнений.

Из письма Тургенева: «Скажите от меня Некрасову, что его стихотворение в 9-й книжке меня совершенно с ума свело; денно и нощно твержу я это удивительное произведение — и уже наизусть выучил».

Из высказываний Боткина: «...Такая реальность, как, например, в твоем стихотворении «Еду ли ночью...», претит всякому, у кого развито эстетическое понимание поэзии» (в передаче Панаевой).

Из рецензии Б. Алмазова («Москвитянин»): в стихотворении «выражаются ненормальные, уродливые явления жизни, которых должно избегать в поэзии».

Из рапорта цензора Е. Волкова: «Нельзя без содрогания и отвращения читать этой ужасной повести! В ней так много безнравственного... Жаль, что муза г. Некрасова одна из самых мрачных и что он видит все в черном цвете... Как будто уже нет более светлой стороны?»

Многие советовали Некрасову обратиться к «более светлой стороне» — не только враги, но и тогдашние друзья. Например, Боткин говорил ему (по словам Панаевой): «Брось воспевать любовь ямщиков, огородников и всю деревенщину. Это фальшь, которая режет ухо».

Некрасов не слушал этих советов: его муза была мрачной не потому, что он видел все в черном цвете, а потому, что она служила народу: «Я лиру посвятил народу моему». Но жизнь народа была печальна и безрадостна.

В таких условиях нелегко жилось некрасовской музе, беспокойной, страдающей, гонимой, но в то же время сильной, вобравшей в себя самую душу народа. И когда поэт захотел впервые запечатлеть в слове черты своей музы, то есть образно осознать сущность своей поэзии, то ему представилась не богиня с лирой в руках и не парящая фея, — перед ним возник образ подлинно трагический при всей своей высокой жизненной простоте и реальности:

Вчерашний день, часу в шестом,
Зашел я на Сенную;
Там били женщину кнутом,
Крестьянку молодую.

Ни звука из ее груди,
Лишь бич свистал играя...
И Музе я сказал: «Гляди!
Сестра твоя родная!»

Всего восемь строк. Но вряд ли можно было бы сильнее и лаконичнее передать существо некрасовской поэзии. Конечно, эти строки не были напечатаны при жизни Некрасова. По его словам, он набросал их в 1848 году для себя, не предназначая для печати. Он понимал, что напечатать их невозможно, тем более в конце 40-х годов, когда цензура отличалась особой свирепостью. Но спустя четверть века, обнаружив полустершийся карандашный набросок в старых бумагах, Некрасов с трудом его разобрал, а затем записал для одной дамы, прибавив: «Извините, если эти стихи не совсем идут к вашему изящному альбому».

Так, по иронии судьбы, постоянно немилостивой к поэту, хозяйка альбома сделалась первой и чуть ли не единственной обладательницей одной из жемчужин его лири-

ки. Читатели узнали эти стихи гораздо позднее. Но знаменательно другое: прошло тридцать лет, много утекло воды, и много было всего написано за эти годы. Умирающий Некрасов диктовал свои последние стихи (писать он уже не мог). Самое последнее, что продиктовал он за несколько дней до смерти, было стихотворение, как бы подводившее черту всему и обращенное к музе, — «О Муза! я у двери гроба!». Вот его заключительные строки:

Не русский — взглянет без любви
На эту бледную, в крови,
Кнутом иссеченную Музу...

Почти с уверенностью можно сказать, что в это время он не вспоминал давних стихов «Вчерашний день...». Но так прочно жило в сознании поэта его представление о своей многострадальной Музе, что тот же образ снова возник перед ним, когда он окидывал всю жизнь последним взглядом.

* * *

Вокруг некрасовского «Современника» собрались лучшие силы тогдашней литературы. И уже в те годы многим было ясно: они собрались в сознательном единении, сближенные общим пониманием задач журнала, призвания литератора, сходством художественных вкусов. Такое единство (при несомненных индивидуальных различиях) могло сложиться только на основе каких-то общих политических стремлений. Так оно и было: деятелей «Современника» объединяла ненависть к крепостному праву и всем его порождениям, отрицание самодержавного режима.

Под руководством Белинского «Современник» сознательно занял антикрепостнические позиции во всех своих разделах (разумеется, в тех границах, какие были возможны) и прежде всего в разделе «Словесность». В повестях Герцена были резко поставлены важнейшие вопросы русской жизни, показаны трагические судьбы людей из народа. Тургенев, давший Аннибалову клятву «бороться до конца» и «никогда не примириться» с крепостным правом, из номера в номер печатал в «Современнике» «Записки охотника». И. Гончаров, Д. Григорович, И. Па-

наев, Е. Гребенка и другие прозаики натуральной школы также вносили свой вклад в общее дело журнала.

Редакция, то есть прежде всего сам Некрасов, проявляла заботу о том, чтобы все материалы и все отделы «Современника» были связаны единой мыслью. Когда Боткин, предлагая напечатать «нейтральные» стихи, доказывал Белинскому, что стихи не обязаны выражать «дух журнала», Белинский тут же отвечал, что в таком случае и журнал не обязан печатать стихов. А вот стихи Некрасова полностью выражали «дух журнала» и поддерживали его антикрепостническую направленность, как и статьи Белинского, и многие другие материалы отделов «Смесь» (полемика, фельетоны), публицистики, в этом последнем отделе помещались, в частности, статьи об экономической невыгодности крепостного труда, о необходимости развивать промышленность и торговлю, об угнетении негров в Америке. А в статье Н. Сатина «Ирландия» говорилось следующее: «...Нужно изменить права и законодательство, организацию политическую, административную, судебную и религиозную, нужно изменить условия собственности и промышленности, отношения богатого и бедного... Словом, необходим коренной переворот...» И хотя говорилось это об Ирландии, но внимательный читатель не мог не догадаться, что, по сути дела, эти суждения об отсталости и подавленности народа маленькой страны были вполне справедливы и по отношению к крепостной России.

Уже в первые годы «Современника» складывалась одна из примечательных особенностей русской подцензурной печати: передовые литераторы, публицисты, поэты, ученые вынуждены были искать путей общения с читателем, опираясь на непрямой способ выражения мыслей. Проклиная эту печальную необходимость, требующую огромной затраты сил, они разрабатывали язык намеков и иносказаний, который принято называть эзоповым языком. Это относится и к Некрасову: под давлением цензуры он часто вынужден был говорить не в полный голос и не так, как ему хотелось.

В мае 1847 года Белинский по настоянию докторов и друзей выехал за границу. Все знали, что положение его безнадежно, но врачи надеялись, что перемена обстановки и какие-то целебные воды на немецком курорте Зальцбрунн могут облегчить его состояние. Так и получилось.

Он ненадолго почувствовал себя бодрее и после Зальцбрунна смог попутешествовать по Германии и пожить в Париже. Его постоянным спутником был Анненков, хорошо знавший Европу.

В Зальцбрунне Белинский, как известно, получил письмо от Гоголя и тогда же написал ему свой знаменитый ответ. Свободный от цензурных стеснений, он дал волю чувству негодования по поводу реакционной книги «Выбранные места из переписки с друзьями». Когда чуть позже, в Париже, сидя у Герцена, только что покинувшего Россию, он в кругу друзей прочитал вслух этот ответ, Герцен, улучив минуту, сказал Анненкову: «Это — гениальная вещь, да это, кажется, и завещание его».

Действительно, письмо к Гоголю явилось как бы политическим завещанием Белинского. По существу своему оно было обращено ко всей молодой России; для нее, как и для Белинского, было священно имя Гоголя — художника-гуманиста и сатирика-обличителя, но она негодовала, узнав, что великий писатель взял на себя роль проповедника кнута, защитника крепостничества.

Письмо Белинского разошлось по всей стране во множестве списков, потому что в нем прозвучал набатный призыв к уничтожению крепостного права, и было прямо сказано, что Россия представляет собой ужасное зрелище страны, в которой люди торгуют людьми. Именно в этом автор письма видел один из важнейших современных национальных вопросов. Он утверждал, что русские крестьяне сильно возбуждены, «спят и видят освобождение».

В. И. Ленин указывал, что в письме Белинского к Гоголю выразилось «настроение крепостных крестьян против крепостного права» [1]. Но мы знаем, что письмо это явилось концентрированным и открытым выражением идей Белинского, тех самых идей, которые проводил под его руководством подцензурный «Современник». Поэтому ленинская характеристика относится ко многим выступлениям журнала, в частности, к стихам Некрасова: в них, как и в пламенной публицистике Белинского, с большой силой выразился протест закабаленного крестьянства против векового помещичьего гнета.

---

[1] В. И. Ленин, Полн. собр. соч., т. 19, стр. 169.

X

«С ЗАМКОМ НА ГУБАХ»

В начале 1848 года самые разные круги русского общества были взволнованы слухами о революционных событиях в Западной Европе, о февральской революции во Франции. «Известие об этом произвело в Петербурге потрясающее впечатление», — рассказывает современник: в кофейнях собиралась публика, люди вырывали друг у друга иностранные газеты, новости читали вслух, и толпа плотно окружала таких чтецов.

Взволновался Париж беспокойный,
Наступили февральские дни,
Сам ты знаешь, читатель достойный,
Как у нас отразились они... —

вспоминал Некрасов в поэме «Недавнее время». Тревогой была охвачена не только столица. Известно, что сведения о происходящих в Европе политических бурях и переворотах быстро распространялись в провинции, особенно в пограничных уездах, примыкавших к границам революционной Европы (прусской, австрийской). «...Теперь все тамошние жители — крестьянин и помещик — только и заняты рассуждениями о том, что делается за границей» — так сообщал по начальству виленский генерал-губернатор 25 марта 1848 года. И тут же вынужден был добавить интересную подробность: «К сожалению, ни в одном классе жителей события эти не произвели того впечатления, которое бы соответствовало чувству верноподданнической преданности» [1].

Официальные и добровольные агенты информировали правительство о разных случаях проявления сочувствия французской революции даже в среде ремесленников, купцов, военных. Тосты за мятежную Францию провозглашали то учитель гимназии, то студент, то либеральный помещик. Из Костромы поступило донесение: отставной по-

[1] Цит. по книге А. С. Нифонтова, Россия в 1848 году. М., 1949, стр. 106.

ручик Рославлев, близко стоящий к «низшим» сословиям, — «между разговорами выхвалял поступки прочих держав против своих законных государей, ...прибавя к тому, что скоро, может, и у нас будет такой же переворот, как и в прочих державах» [1].

Волнения затронули также крепостную деревню. Под прямым воздействием событий на Западе усиливалось брожение среди крестьян, причем не только в пограничных районах. В одном из документов, сохранившихся в архивах Третьего отделения, говорилось: «Со времени событий в Западной Европе толки относительно освобождения крестьян из крепостного состояния снова быстро распространяются в Смоленской губернии, и в особенности они сильны в уездах, лежащих к западу» [2].

С весны 1848 года в столице началась холера, и среди темных людей ходила молва, будто это дело рук каких-то неведомых преступников, отравляющих воду. С попавшими под подозрение толпа чинила расправу тут же, на улице.

Невский опустел. В летнюю жару вся аристократия покинула зараженный город, а простой народ, среди которого более всего свирепствовала холера, уносившая сотни людей каждый день, волновался, внушая тревогу перепуганным властям.

В этих условиях тайная полиция — Третье отделение и его руководители, служившие верной опорой трона, усилили свою деятельность.

Интересно, что весной 1848 года жандармов особенно тревожило поведение фабричных рабочих. Сохранилась примечательная записка Л. В. Дубельта, который 11 марта распорядился вызвать в Третье отделение владельца одного из крупнейших петербургских заводов господина Бердта и «обратить его внимание на рабочих, которые, читая газеты, рассуждают о французской революции» [3]. Тогда же журналам и газетам было запрещено писать о «рабочих людях» во Франции и других государствах, где происходят политические беспорядки.

В это неспокойное время, в пору начинавшейся политической реакции под самым носом у жандармов в столи-

---

[1] Цит. по книге П. А. Федосова, Революционное движение в России во второй четверти XIX века. М., 1958, стр. 247.

[2] Цит. по книге А. С. Нифонтова, Россия в 1848 году. М., 1949, стр. 110.

[3] Там же, стр. 114.

це действовал кружок Петрашевского; молодые люди разных званий, собираясь вместе, говорили о преступности крепостного права, о равенстве людей, о раскрепощении женщины, о свободной литературе, о счастливом будущем для всех народов — в духе социально-утопических теорий. Говорили они и о необходимости организации тайного общества.

В пятницу 15 апреля 1849 года петрашевцы собрались, чтобы познакомиться с письмом Белинского к Гоголю, и это письмо, прочитанное вслух Федором Достоевским, произвело в кружке всеобщий восторг, а многих привело чуть ли не в исступление. Здесь нельзя не заметить прямой духовной связи между петрашевцами и кружком Белинского — Некрасова: у тех и у других было одно евангелие — письмо к Гоголю, одни стремления — ненависть к деспотизму, мечта о свободе, прежде всего о свободе для крестьянства.

Падение феодальных монархий в странах Европы было воспринято николаевским правительством как грозное предупреждение. 14 марта 1848 года, когда революционные события из Парижа уже перекинулись в Германию и Австрию, был опубликован «высочайший манифест»: Николай I резко осуждал европейские смуты и беспорядки, «грозящие ниспровержением законных властей и всякого общественного устройства», предупреждал, что «не зная пределов, дерзость угрожает в безумии своем и нашей богом вверенной России». Тут же он выражал уверенность, что «всякий верноподданный наш ответит радостно на призыв своего государя, что древний наш возглас: за веру, царя и отечество и ныне предукажет нам путь к победе».

Перед этим Николай I объявил частичную мобилизацию русской армии, готовя ее к заграничным походам, чтобы «если обстоятельства востребуют, противупоставить надежный оплот пагубному разливу безначалия». Царские манифесты и приказы печатались в газетах, читались в церквах, комментировались священниками в проповедях с амвона. Николай принимал депутации дворян, призывая их сплотиться вокруг царского престола и сообщая инструкции, как обращаться с крепостными, особенно с дворовыми, при которых нельзя говорить ничего «лишнего» («Я вас прошу быть крайне осторожными в отношении с ними»). Он принимал и служителей церкви, епископов; изложив

им сложившуюся политическую обстановку, царь сказал: «Все это от безверия, и потому я желаю, чтобы вы, господа, как пастыри, старались всеми силами об утверждении в сердцах веры. Что же меня касается, — прибавил он, сделав широкое движение рукой, — то я не позволю безверию распространяться в России, иначе оно и сюда проникнет».

Сумерки политической реакции начали сгущаться, и вскоре «темная семилетняя ночь пала на Россию» (Герцен). Она длилась долго, до самой смерти самодержца, и в летописях русской культуры получила название «мрачного семилетия» (1848—1855). Это было время, о котором с ужасом и удивлением говорили многие современники. Начались преследования просвещения и науки. Ходили упорные слухи о закрытии университетов. Множество людей разных состояний оказались в тюрьмах и в ссылке. Сам граф Уваров, министр народного просвещения, ведавший цензурой, был обвинен в либерализме и едва удержался на своем посту. Цензоров, даже самых старательных, сажали на гауптвахту по личному указанию царя за ничтожные или мнимые упущения.

Выразительную картину этого времени набросал в своих воспоминаниях Анненков: «...В октябре 1848 года состояние Петербурга представляется необычайным: страх правительства перед революцией, террор внутри, преследование печати, усиление полиции, подозрительность, репрессивные меры без нужды и без границ... На сцену выступает Бутурлин с ненавистью к слову, мысли и свободе, проповедью безграничного послушания, молчания, дисциплины... Терроризация достигла и провинции...»

В особенно трудном положении оказалась литература, которая не могла не только развиваться, но даже просто существовать в условиях постоянных преследований и разнообразных ограничений. Не случайно Некрасов в эти годы почти не печатался — он не хотел писать стихов пресных, нейтральных, таких, какие можно было печатать. Зато в изобилии появлялись ура-патриотические стихи Ф. Глинки («На смуты запада»), Н. Кукольника («Сила России»), П. Вяземского («Святая Русь»), В. Жуковского, рисовавшего образ России-утеса, о ко-

торый разбиваются бушующие волны мятежей и смут («Утес среди бурного моря»).

Проза тоже выдыхалась, ибо ей запретили касаться вопросов острых и насущных. Зато Булгарин в «Северной пчеле» воспевал «преданность и любовь» народа к царю и отечеству, уверяя, что «горестные события на Западе благоприятно отразились на святой Руси», — они вызвали общее чувство негодования русского народа, сплотили его вокруг трона.

«Современник» в эти годы не имел возможности хотя бы обиняком говорить о положении крестьянства, о крепостном праве. Журналам нельзя было даже упоминать о европейских событиях. Специальное распоряжение резко сокращало переводы из иностранной литературы, а на французскую был объявлен прямой запрет, что непосредственно ударило по некрасовскому журналу: пришлось отказаться от печатания «Манон Леско» аббата Прево и прервать на середине новый роман Жорж Санд «Леоне Леони»: редакции ничего не оставалось, как предложить читателям вместо второй части романа краткое изложение ее содержания.

Журналистика и литература в таких условиях сделались делом не только трудным, но и опасным. «Надо было взвешивать каждое слово, говоря даже о травосеянии и коннозаводстве... Слово «прогресс» было строго запрещено, а «вольный дух» признан за преступление даже на кухне», — вспоминает один из современников. «Ужас овладел всеми мыслящими и пишущими. Тайные доносы и шпионство еще более усложняли дело. Стали опасаться за каждый день свой, думая, что он может оказаться последним...» — добавляет к этому второй.

Положение, в котором находилась тогда русская литература, с афористической точностью определил Герцен: «Наша литература от 1848-го до 1855-го походила на то лицо в Моцартовой «Волшебной флейте», которое поет с замком на губах».

Всё это понимали даже люди вполне умеренные. Например, А. В. Никитенко, человек трезво мыслящий, высказал немало горьких слов о тогдашнем положении гонимой русской мысли. Он даже счел нужным прибегнуть к легкой зашифровке, когда писал об этом в своем дневнике: «События на Западе вызвали страшный переполох на Сандвичевых островах. Варварство торжествует там свою дикую победу над умом человеческим, который начал мыс-

лить, над образованием, которое начало оперяться... Произвол, облеченный властью, в апогее: никогда еще не почитали его столь законным, как ныне... На Сандвичевых островах всякое поползновение мыслить, всякий благородный порыв... клеймятся и обрекаются гонению и гибели» (запись 2 декабря 1848 года.)

* * *

Светлой ночью 23 апреля 1849 года Панаевы, возвращаясь из гостей, гуляли по петербургским улицам вместе с Николаем Александровичем Спешневым. Это был молодой помещик, аристократ, убежденный социалист и один из виднейших участников кружка петрашевцев, один из тех, кто выдвинул мысль о создании тайного общества. Находясь в самом веселом настроении духа, оживленно разговаривая, Спешнев проводил Панаевых до дому, пообещал на днях прийти к ним обедать и отправился домой. А дома уже ждала полиция: он был схвачен и отвезен в Петропавловскую крепость.

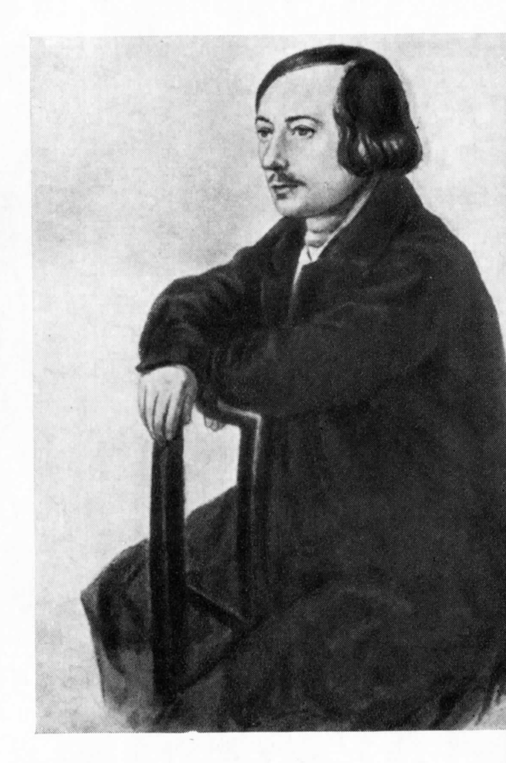
На другой день выяснилось, что в минувшую ночь тайная полиция арестовала всех главных участников кружка. Так началась одна из самых крупных акций николаевской политики репрессий — разгром кружка петрашевцев.

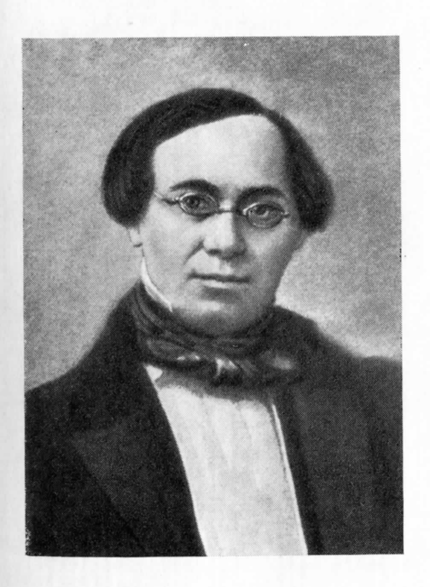
Это событие, по выражению Некрасова, «как гром» поразило всех. Уныние и тревога воцарились в редакции «Современника». Все сотрудники и даже Некрасов опустили головы. Прежние оживленные разговоры и споры прекратились, гости перестали собираться на обеды и ужины. «Все говорили тихим голосом, передавая тревожные известия об участи заключенных молодых литераторов...» — вспоминает Панаева.

В эти дни студент Чернышевский сделал в своем дневнике гневную запись: он объявлял достойными виселицы главных вдохновителей реакции — Орлова, Дубельта, Бутурлина и других царских сатрапов.

Прошло восемь долгих месяцев. Процесс петрашевцев наконец закончился, и на Семеновской площади в Петербурге была разыграна комедия казни. По указанию императора осужденным, среди которых были Петрашевский, Достоевский, Плещеев, Дуров, Спешнев, Ханыков, прочитали смертный приговор; им завязали глаза, затем щелкнули затворы. Но тут внезапно прискакал флигель-

Николай Алексеевич Некрасов. Художник М. Захаров. 1847.





Федор Алексеевич Кони.

Некрасов и Панаев у постели больного Белинского. Картина А. А. Наумова. 1884.



Иван Иванович Панаев.



Авдотья Яковлевна Панаева. Акварель 50-х годов.

Петербург. Невский проспект. Середина XIX века.



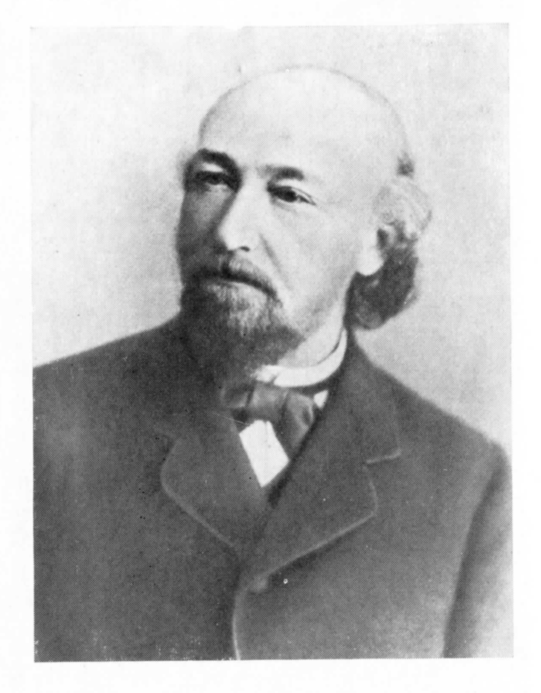
Алексей Сергеевич Некрасов — отец поэта. Фотография 50-х годов.

«Музыкантская» в имении Грешнево.

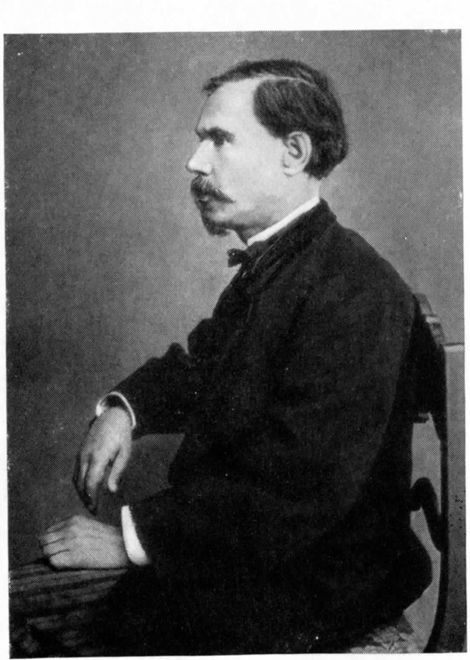
Николай Алексеевич Некрасов. Литография.



Дом Г. М. Толстого в казанском имении Новоспасское.



Федор Алексеевич Некрасов — брат поэта.



Константин Алексеевич Некрасов — брат поэта.



Николай Алексеевич Некрасов. Фотография 1861 года.



Анна Алексеевна Некрасова (Буткевич) и Генрих Станислазович Буткевич. Фото 50-х годов.



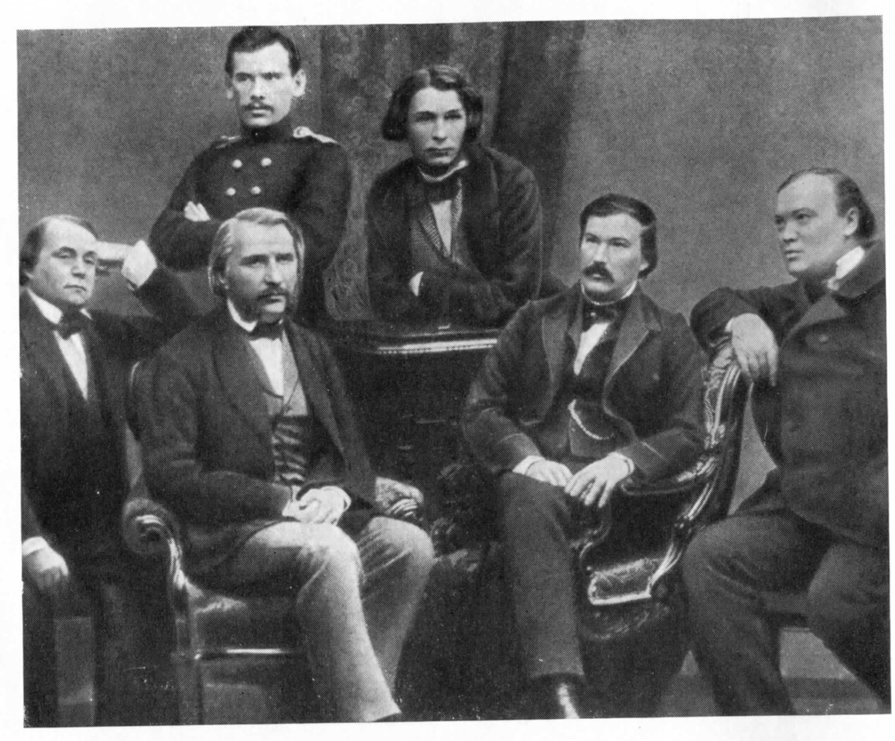
Николай Алексеевич Некрасов. Фотография 60-х годов.



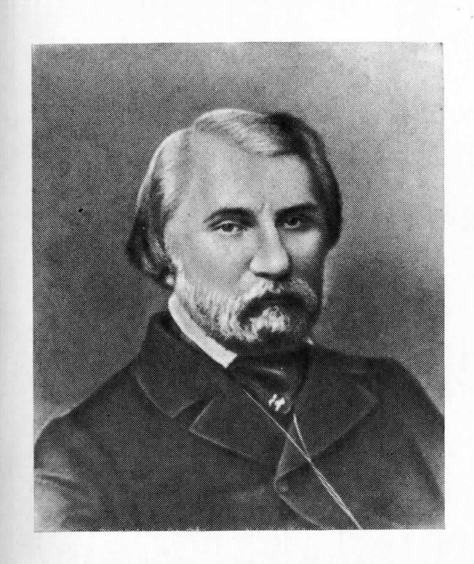
Некрасов в Риме. На прогулке А. А. Фет, его сестра Н. А. Шеншина, Н. А. Некрасов. С венком — П. М. Ковалевский. Шарж А. Ф. Чернышева.



Петергофская дача. Рисунок Д. В. Григоровича. 27 июля 1858 года.



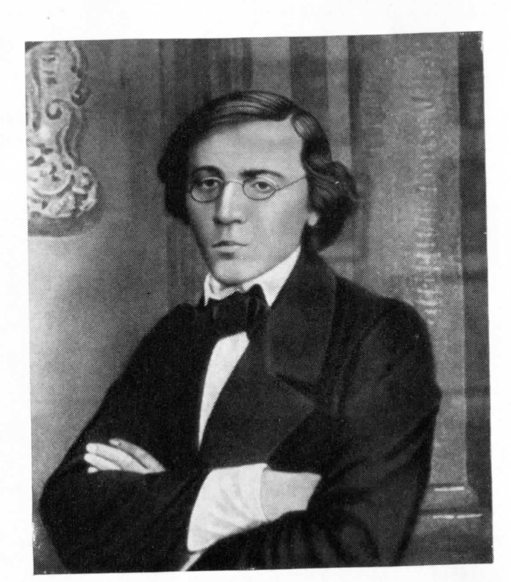
Кружок «Современника». Сидят: в первом ряду И. А. Гончаров, И. С. Тургенев, А. В. Дружинин, А. Н. Островский. Стоят: Л. Н. Толстой, Д. В. Григорович. Фотография С. Л. Левицкого. 1856.



Иван Сергеевич Тургенев. Фотография.



Александр Васильевич Дружинин. Фотография 1856 года с дарственной надписью В. П. Боткину.



Николай Гаврилович Чернышевский. Фотография 1859 года.



Николай Александрович Добролюбов. Фотография 1861 года.



Дом на Литейном проспекте, где помещалась редакция «Современника».



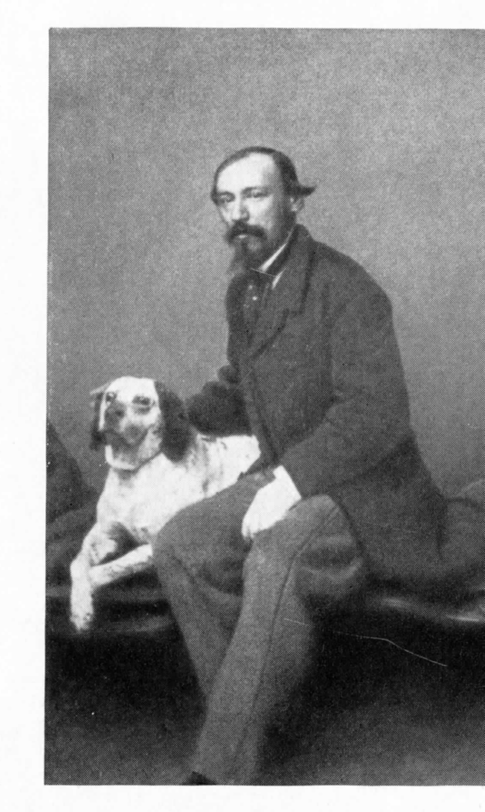
Михаил Ларионович Михайлов в сибирской тюрьме. Нелегальная литография. 1862.

Николай Васильевич Шелгунов. Фотография.



Владимир Александрович Обручев.

Николай Алексеевич Некрасов. Фотография.



Бывшее здание министерства государственных имуществ в Петербурге («парадный подъезд»).





Николай Алексеевич Некрасов. Литография Бореля по фото Деньера. 1865.

адъютант с бумагой, казнь остановили. Было объявлено, что всемилостивейший монарх дарует преступникам жизнь и назначает им разные сроки каторги и ссылки. Петрашевскому — вечную каторгу.

Второй в России политический процесс (после декабристов), имевший прямой целью подавление революционных сил в стране, произвел самое тягостное впечатление на русское общество. Некрасов, всю жизнь помнивший «Петрашевского дело», много лет спустя писал:

Молодежь оно сильно пугнуло,
Поседели иные с тех пор,
И декабрьским террором пахнуло
На людей, переживших террор.

* * *

Обстановка политической реакции поставила некрасовский «Современник» перед лицом тяжелых испытаний. Но это же время оказалось самым подходящим для мракобесов, доносчиков, лжепатриотов. Булгарин словно только и ждал сигнала, чтобы с новой силой наброситься на ненавистные ему журналы, возобновить свои наветы на «Отечественные записки» и «Современник».

Подоспело удобное время,
И в комиссию мрачный донос
На погибшее блудное племя
В три приема доносчик принес, —

вспоминал позднее Некрасов в одной из своих сатир («в три приема», так как донос был слишком велик). Булгарин теперь не называл его иначе, как «отчаянным коммунистом», вопиющим «в пользу революции». Даже Никитенко, только потому, что тот был номинально связан с «Современником», Булгарин характеризовал как опаснейшего человека, подрывающего государственный порядок.

Белинский не упоминался в булгаринских наветах, тем не менее в начале 1848 года критика, уже не встававшего с постели, начали вызывать в Третье отделение. Некрасов и Панаев однажды сидели у больного, когда при них жандарм принес повестку — вызов к генералу Дубельту. Это необычайно взволновало Белинского. Оказывается, «хозяин русской литературы» (так величали Дубельта чиновники-жандармы) желал лично «познакомиться» с известным критиком. Посланный, когда ему

сказали, что Белинский болен, заглянул в комнату, чтобы убедиться в этом. Некрасов вспоминал, что после этого поступило распоряжение дважды в день сообщать о состоянии умирающего.

Белинский скончался 26 мая 1848 года. Друзьям было совершенно ясно, и они говорили об этом, что он умер вовремя, ибо участь его была предрешена. Если чтение письма к Гоголю было одним из главных пунктов обвинения, по которому петрашевцев приговаривали «к смертной казни расстрелянием», то какой же кары заслуживал сам автор письма?

Позднее, в поэме «В. Г. Белинский» Некрасов в нескольких строчках запечатлел обстоятельства последних месяцев жизни критика:

Настала грустная пора,
И честный сеятель добра
Как враг отчизны был отмечен;
За ним следили, и тюрьму
Враги пророчили ему...
Но тут услужливо могила
Ему объятья растворила:
Замучен жизнью трудовой
И постоянной нищетой,
Он умер... Помянуть печатно
Его не смели...

Имя Белинского надолго сделалось запретным. Несколько скупых строк в отделе «Смесь» («Современник», 1848, № 6) — это все, чем Некрасову удалось почтить память учителя. Лишь много позже он создал в своих стихах его незабываемый образ.

Попытки Булгарина и других рептильных литераторов очернить «Современник» в глазах правительства сделали свое дело. Был создан специальный комитет во главе с князем А. С. Меньшиковым. Первое время его деятельность была незаметна и казалась таинственной, но вскоре выяснилось, что он учрежден по царскому повелению для изучения современной литературы и, как говорит Никитенко, «для выработки мер обуздания ее на будущее время».

Результаты обследования «Современника» были неутешительны. Комитет нашел, что журнал в некоторых своих материалах проповедует учение коммунизма и даже революцию (имелись в виду некоторые статьи Белинского и Герцена). Никитенко был вызван в Третье отделение. Ему сделали внушение и по высочайшему

повелению заставили дать подписку в том, что впредь направление журнала будет «совершенно согласно с видами правительства». После этого перепуганный Никитенко решил отказаться от трудной и опасной работы для «Современника». С апреля 1848-го редактором был временно утвержден Иван Иванович Панаев.

Цензурные преследования «Современника» усиливались. Внезапно был запрещен уже пропущенный цензурой «Иллюстрированный альманах», обещанный в качестве премии годовым подписчикам журнала. Некрасов потратил много сил на подготовку альманаха, по типу и по содержанию напоминавшего «Петербургский сборник». В нем были помещены произведения Достоевского, Панаева, Дружинина, Гребенки, Даля, автобиографический роман Панаевой «Семейство Тальниковых», многочисленные иллюстрации и карикатуры лучших художников. Большая, интересная книга уже вышла из печати, но была уничтожена, никто толком даже не знал почему. Подписчики, конечно, сочли себя обманутыми.

Кроме «меньшиковского» комитета для «высшего» надзора за литературой и цензурой был учрежден секретный, так называемый комитет «2 апреля» под председательством известного мракобеса Д. П. Бутурлина. Это был тот самый

Палач науки Бутурлин,
Который, не жалея груди,
Беснуясь, повторял одно:
«Закройте университеты,
И будет зло пресечено!..»
(О муж бессмертный! не воспеты
Еще никем твои слова,
Но твердо помнит их молва!..)

Эти стихи Некрасов писал, когда «мрачное семилетие» было уже позади (хотя напечатать их все равно было невозможно); но тогда, в 1848 году, Бутурлин был облечен полномочиями диктатора. И Некрасову скоро пришлось познакомиться с деятельностью бутурлинского комитета.

Ходили упорные слухи о предстоящем запрещении «Современника». Николай I лично утвердил заключение комитета о неблагонамеренном направлении журнала и приказал сделать редакторам строгое внушение. В эти дни они, по словам Панаевой, каждую минуту ждали ночного посещения жандармов. Оказалось, что, помимо недовольства общим направлением журнала, гнев бутур-

линского комитета и самого царя вызвала незначительная на первый взгляд рецензия на учебник истории С. Смарагдова, напечатанная в «Современнике» (1849, № 10); в ней отыскались несколько слов, истолкованных как намек на немыслимую суровость цензурного режима. В действительности так оно и было. Эти слова, написанные, вероятно, Некрасовым, не имели никакого отношения к учебнику, но конечно, не случайно попали в текст рецензии: редакция, запрятав их в самое незаметное место, надеялась, что только внимательный читатель обнаружит то, что как раз для него и предназначалось.

Однако комитет тоже читал внимательно. Да и как было не заметить такие слова: «Вы хотите новых романов, хотите ученых статей, хотите умных рецензий и критик? Но подумали ли вы хотя раз о положении вашей литературы, вашей журналистики?.. Кто нынче пишет? Нынче решительно век книгоненавидения». Дальше говорилось, что «в самом воздухе» появилось нечто, «развивающее в писателях новый недуг, угрожающий гибелью литературе, журналистике, типографиям, книгопечатанию». И наконец, отмечалось, что все это стало особенно заметно с появлением эпидемии холеры.

Последние слова были понятны тем, кто знал, что случаи холеры в Петербурге были обнаружены почти одновременно с учреждением бутурлинского комитета «2 апреля». Таким образом, деятельность комитета в рецензии «Современника» прямо связывалась с угрозой гибели литературы и «недугом книгоненавидения». Этот смелый намек и был обнаружен комитетом.

Редакторы были вызваны сначала в министерство народного просвещения, где узнали, что «тайная их мысль не осталась сокрытой от правительства»; согласно решению комитета, утвержденного царем, им объявили «строжайший выговор» со внушением: «Если бы и впредь еще они отважились на что-нибудь подобное, то будут неминуемо подвергнуты примерному взысканию».

Панаев и Некрасов расписались в прочтении «высочайшего повеления». Тогда же они получили приглашение явиться к шефу жандармов графу Орлову. Настроение их не было особенно радужным, когда они в 10 часов утра переступали порог известного здания у Цепного моста. Они были готовы ко всему. Может быть, им объявят запрещение издавать журнал? Может быть, даже арестуют?

Гнъ шефъ жандармовъ имеетъ неблагоприятныя сведения на счетъ образа мыслей редактора „Современника" Гна Некрасова.

Должно наблюдать за нимъ.

Л. Дубельтъ

31 окт: 1849.

Записка управляющего Третьим отделением генерал-лейтенанта Л. В. Дубельта.

Однако они отделались довольно легко. Вернувшись домой, Панаев и Некрасов рассказывали, что граф Орлов предупредил их: если журнал будет держаться прежнего направления, то им несдобровать. И прибавил:

— Будьте осторожны, господа, тогда я уже ничего не буду в состоянии для вас сделать.

Так запомнила этот эпизод Панаева. Вполне вероятно, что Орлов, прикинувшись доброжелателем, в самом деле сказал нечто подобное, во всяком случае, позднее Некрасов подтвердил это в поэме «Недавнее время», где речь Орлова изложена так:

...Завираетесь вы, господа!
За опасное дело беретесь...

...Только знайте: еще попадетесь,
Я не в силах вас буду спасти!..

Но доброжелательность эта, конечно, была мнимая, дипломатическая. Едва проводив своих посетителей, Орлов тут же распорядился установить секретное наблюдение за квартирой Панаевых и Некрасова, за редакцией «Современника». В воспоминаниях Авдотьи Яковлевны сохранился подробный рассказ о том, как шестнадцатилетний мальчик, сирота, живший у нее в доме, однажды был застигнут за исполнением осведомительских функций; он признался, что «какие-то личности» припугнули его и заставили каждый день сообщать обо всем, что делается в доме. Те же несложные обязанности выполнял и дворник того дома, где помещалась редакция; об этом догадывались и старались вести себя осторожнее.

Вести журнал в такое время, в таких обстоятельствах было трудно, почти немыслимо. Отъезд за границу Герцена, ничем не вознаградимая потеря Белинского, пристальное и бдительное внимание не только органов цензуры, но и властей, вплоть до самого царя, — все это создавало впечатление безнадежности; у многих литераторов опускались руки. И если журнал еще продолжал существовать, то только по одной причине: благодаря огромной энергии, инициативе и твердой воле Некрасова.

Один из знавших его в ту пору людей вспоминает, что он оставался бодрым и неутомимым работником даже в то время, когда его ближайшие сотрудники впадали в бессильное уныние под бременем усилившейся реакции.



XI

ЕГО «ВТОРАЯ МУЗА»

В личной жизни Некрасова произошли к этому времени большие перемены. Давнее чувство его к Авдотье Яковлевне Панаевой окрепло и углубилось. Правда, оно не сразу встретило отклик с ее стороны. Прошло несколько лет, в течение которых он вел «долгую

борьбу с самим собою», а она, по позднейшему свидетельству Чернышевского, «не решалась бросить мужа». Наконец (считают, что это произошло в 1848-м, но более вероятно, что в 1847 году), подталкиваемая обстоятельствами своей неудачливой семейной жизни, она решилась на это.

Счастливый день! Его я отличаю
В семье обыкновенных дней;
С него я жизнь мою считаю
И праздную его в душе моей!

Отношения с Панаевой стали темой множества лирических стихов Некрасова — они-то и позволяют нам теперь проследить хотя бы в общих чертах историю этой любви, занявшей столь важное место в жизни поэта. Других данных почти нет в распоряжении биографа. Были, конечно, письма, но они не сохранились. «Плачь, горько плачь! Их не напишешь вновь...» — воскликнул он (стихотворение «Письма»), когда узнал, что она в порыве отчаяния однажды уничтожила их переписку.

Да ведь и стихи — источник не вполне надежный. Не всегда можно лирический дневник поэта перевести на язык фактов, то есть извлечь точные биографические данные из поэзии души человеческой. Отношения двух людей, став предметом поэзии, делаются общим достоянием и надолго переживают свое время, а конкретные факты отступают и забываются. Понимая это, Некрасов считал возможным печатать в журналах и включать в сборники лирические стихи, о которых мы говорим, — это значит, что он сам видел в них не просто стихотворные обращения к определенной женщине, а придавал им гораздо более широкий литературно-общественный смысл.

Так понимали дело и читатели, а вслед за ними исполнители и слушатели этих некрасовских стихов. Интересно, что многие из них были положены на музыку и превратились в популярные романсы и песни еще при жизни поэта. Например, стихотворению «Прости! Не помни дней паденья», обращенному к Панаевой, дали в разное время музыкальное истолкование около сорока русских композиторов, в том числе Римский-Корсаков и Чайковский. Композиторы писали свою музыку к этому стихотворению, вовсе не заботясь о том, кому оно посвящено и по какому конкретному поводу написано (первый романс написан Ц. Кюи в 1859 году) [1]. А ведь это стихо-

[1] Г. К. Иванов, Русская поэзия в отечественной музыке, вып. 1. М., 1966, стр. 245—246.

творение, несомненно, носит узколичный характер, и сложилось оно в те дни, когда *он*, в чем-то провинившийся, просит *ее* забыть плохое и помнить только хорошее. Это наглядный пример того, как личное, интимное, в лирической поэзии становится общечеловеческим, то есть интересным и нужным для всех.

Перечитывая внимательно некрасовский лирический дневник, можно понять многое.

Авдотья Яковлевна была на год старше Некрасова. Она родилась в Петербурге, в семье актера Я. Г. Брянского. Детские годы ее прошли в тяжелой атмосфере семейного деспотизма, мелких преследований, недоброжелательства со стороны матери, тоже актрисы. Впоследствии в одном письме Панаева назвала свое детство «варварским», а юность — «унизительной». И она воспользовалась первым же случаем, чтобы вырваться из родительского дома: этот случай предстал перед нею в образе блестящего молодого помещика и столичного литератора Ивана Панаева, который предложил ей руку и сердце.

Сначала все шло хорошо, молодые съездили в Москву и в казанское имение Панаевых, побывали в Париже, где Авдотья Яковлевна блеснула своей красотой. Но вскоре обнаружилось, что он совсем не создан для семейной жизни и не может расстаться с холостяцкими привычками. Всегда модно одетый, тщательно причесанный, похожий на парижанина, он был своим человеком на маскарадах, в модных гостиных, любил возить приятелей к петербургским «камелиям» и дамам полусвета, кутил и пил с гусарами. С годами домашний очаг все больше отступал на второй план. И не удивительно, что молодая жена вскоре начала чувствовать себя заброшенной, одинокой и, в сущности, почти свободной от семейных уз.

Разумеется, было не только это. Панаев, прославившийся своим светским легкомыслием, был в то же время человеком добрым, отзывчивым, а в литературе — талантливым и вполне серьезным. Современники говорят о его «детской душе», искренности, бескорыстии и полном отсутствии самомнения. К тому же он был одним из видных писателей натуральной школы. Лучшие очерки, повести и романы Панаева примыкают к гоголевскому направлению. Его литературные взгляды и вкусы складывались под прямым воздействием Белинского. И кроме того, ему

принадлежало видное место в редакции «Современника», где он был правой рукой Некрасова (особенно в первые годы; позднее его роль стала менее значительной). Здесь-то и развернулся его талант писателя-журналиста: регулярные фельетоны и обозрения, очерки о петербургских нравах, литературная публицистика и полемика, острые пародии Нового поэта (псевдоним Панаева) — он писал очень много, и труды его способствовали успеху журнала, формированию его облика, его демократического направления.

После смерти Панаева (он умер в пятидесятилетнем возрасте, в 1862 году) такой сурово взыскательный литератор, как Чернышевский, дал высокую оценку его деятельности, указал на связь ее с традициями Белинского. Чернышевский знал, конечно, какая репутация сложилась у Панаева еще в молодые годы, и, может быть, поэтому счел нужным отметить: «...он смотрел на дело, которому посвятил свою жизнь, серьезнее, чем многие думают, и постоянно работал над собой, стараясь о собственном совершенствовании».

К молодым годам Панаева относится возникновение «литературного подворья», о котором уже говорилось раньше. В его доме с начала 40-х годов собирались все лучшие литераторы столицы. И причиной тому были, конечно, не только общительность и жизнелюбие хозяина, но также гостеприимство и обаяние хозяйки. В ее жизни, в ее развитии сыграли немалую роль знакомство и дружба с такими людьми, как Белинский, Герцен, Тургенев, Грановский. Несомненно, она впитала многие их идеи, усвоила передовые взгляды того времени. Из ставшей теперь знаменитой книги воспоминаний Авдотьи Яковлевны мы узнаем о ее резко отрицательном отношении к крепостничеству. Стоит перечитать хотя бы те страницы, где она с ужасом описывает картину раздела имения, доставшегося по наследству родственникам ее мужа; она сама присутствовала при душераздирающих сценах, когда разлучались семьи, детей отрывали от родителей...

Авдотья Яковлевна рано начала размышлять о бесправном положении женщины в обществе, о проблемах брака. Вскоре она начала пробовать свои силы в качестве беллетриста и решилась приняться за большое сочинение — написала повесть «Семейство Тальниковых». Она воспроизвела в ней те стороны жизни, какие лучше всего знала по воспоминаниям собственного детства —

уродливое воспитание детей в дворянской среде, картины косного быта, жестокое притеснение слабых...

В кругу «Современника» с большим сочувствием отнеслись к работе начинающей писательницы. Некрасов, вероятно принимавший некоторое участие в создании повести, написал к ней предисловие и решил поместить ее в «Иллюстрированном альманахе». Но секретный комитет немедленно запретил книгу; как позднее выяснилось, прежде всего из-за повести Панаевой. Бутурлин лично наложил резолюцию: «Не позволяю за безнравственность и подрыв родительской власти».

После этого Авдотья Яковлевна уже могла считаться полноправным участником «Современника». Она продолжала писать, регулярно печатала рассказы (под псевдонимом Н. Станицкий), вместе с Панаевым с первого же номера вела отдел мод, который делался с выдумкой, включал небольшие фельетоны, зарисовки. Вскоре она стала помогать Некрасову в работе по журналу — читала корректуры, принимала авторов, участвовала во всей жизни кружка, не говоря уже о том, что на ней лежали все хозяйственные заботы, приемы, постоянные редакционные обеды и чаепития.

* * *

Союз Некрасова и Панаевой, длившийся около шестнадцати лет, в лучшие его годы был освящен любовью, дружбой, взаимопониманием. Как говорит К. И. Чуковский, это был союз «труженический». В постоянном общении с Авдотьей Яковлевной Некрасов все больше убеждался, что в их судьбе много сходного, начиная с безрадостного детства.

...Не так же ль в юные года
И над тобою тяготели
Забота, скорбь и нищета?

Ты под своим родимым кровом
Врагов озлобленных нашла
И в отчуждении суровом
Печально детство провела.

Подобная тема не могла случайно возникнуть в стихах Некрасова, ведь то же самое он мог бы сказать и о своем детстве. С другой стороны, Авдотье Яковлевне не мог не импонировать молодой литератор и поэт, хоть и не очень

видный собой, но резко выделявшийся в ее кругу не только своим дарованием, — он был во всем разночинец, прошедший суровую школу, труженик, человек, полный энергии, к тому же равнодушный к авторитетам и начиненный отрицанием.

Важную роль в развитии их отношений сыграла близость духовных интересов, общее понимание смысла литературы. Об этом говорится в стихах, написанных спустя много лет после того, как они расстались:

Все, чем мы в жизни дорожили,
Что было лучшего у нас,
Мы на один алтарь сложили,
И этот пламень не угас!

Лучшее время их отношений отмечено полной гармонией чувства и благотворным влиянием Авдотьи Яковлевны; ее любовь, по мнению современника, составила «самые светлые страницы в мрачной жизни нашего поэта». К этой поре относятся стихи, в которых Некрасов назвал ее своей «второю музой» — кажется, не придумать более высокого титула, каким поэт мог бы увенчать свою подругу (стихотворение «Зачем насмешливо ревнуешь», начало 50-х годов).

И все же их общий жизненный путь не назовешь гладким, а отношения идиллическими — наоборот, тот же лирический дневник свидетельствует: они знали горечь тяжелых размолвок, противоречий, расставаний, предельно мучительных для обоих. С годами эта мучительность возрастала.

Причин для этого было много, и со временем они все усложнялись. Одна из них — трудный характер Некрасова. Известно, что на него порой нападала тоска, злоба, ипохондрия, жажда одиночества. Часто это вызывалось ревностью, но еще чаще — его болезненным состоянием. Об этом говорят в один голос мемуаристы, включая Панаеву. Обстоятельства трудной жизни доводили его до того, что «...он по двое суток лежал у себя в кабинете в страшной хандре, твердя в нервном раздражении, что ему все опротивело в жизни, а главное, он сам себе противен». Один из знакомых Некрасова радовался, застав его «в кротком расположении духа». Письма поэта пестрят такими заявлениями: «хандра допекает», «состояние духа подлейшее». В стихах он признавался ей:

Ни смех, ни говор твой веселый
Не прогоняли темных дум:

Они бесили мой тяжелый,
Больной и раздраженный ум.

В иных случаях давала себя знать известная ложность положения Авдотьи Яковлевны: оставаясь формально женой Панаева, она стала гражданской (то есть невенчанной) женой Некрасова. К чести ее надо сказать, что она умно и мужественно преодолевала неловкость — по тогдашним понятиям — этой ситуации, пренебрегая предрассудками и мнением общества. Более того, она собственным примером как бы пыталась разрешить один из больных вопросов того времени — о праве женщины на независимость и свободу чувства. Этот вопрос возникал тогда и в печати, и в литературе (особенно в 50—60-е годы), но едва ли не впервые он был остро поставлен в лирике Некрасова.

Вот стихи, на которые обычно не обращают внимания:

Когда горит в твоей крови
Огонь действительной любви,
Когда ты сознаешь глубоко
Свои разумные права,
Верь: не убьет тебя молва
Своею клеветой жестокой!
Постыдных, ненавистных уз
Отринь насильственное бремя
И заключи — пока есть время —
Свободный по сердцу союз!..

Кажется, здесь полностью запечатлена та самая ситуация, о которой мы только что говорили. Похоже, что именно так, такими словами он внушал ей свои взгляды на брак и семейные отношения, укрепляя ее веру в свое моральное право следовать влечению сердца.

Правда, стихи эти включены в текст романа «Три страны света», и «автором» их является Каютин, герой романа. Может быть, поэтому их не принято относить к «панаевскому циклу»? Но ведь стихи написаны в том самом 1848 году, когда тема «ненавистных уз» была особенно острой для влюбленного Некрасова. Да и роман свой они писали вместе, вдвоем (об этом будет рассказано дальше); следовательно, Авдотья Яковлевна не могла их не заметить — ведь они затрагивали тему столь же острую и для нее.

Можно даже предположить, что стихи «Когда горит в твоей крови» соавторы не без умысла запрятали (с примечанием: «для любопытных») в одну из частей огромного романа, где они были не так заметны. По существу

же стихи оказались в тексте третьей главы совсем не обязательными: серьезность их вовсе не гармонировала с почти фарсовой обстановкой, в которой Каютин декламирует стихи, спасаясь от нежностей взбалмошной помещицы, только что вышедшей замуж за еле живого старика. Напечатать же стихи отдельно было вряд ли возможно — они с чрезмерной прямотой обнажали положение вещей, сложившееся в панаевском доме.

Однако спустя много лет, когда ситуация утратила былую остроту, Некрасов извлек эти стихи из романа и приготовил их для печати — для сборника 1856 года. Это лучше всего подтверждает, что Некрасов придавал им самостоятельное значение. Ведь далеко не все ранние стихи он собирался воскресить и переиздать в задуманном сборнике.

Теперь вспомним, кто такой Каютин. Это не случайное лицо в романе, а главный положительный персонаж, и его биография кое в чем совпадает с биографией самого Некрасова. И вот ему-то он счел нужным неожиданно приписать стихи на жизненно важную для себя тему. При этом нигде в романе нет ни слова о каких-либо литературных склонностях Каютина.

Интересно также отношение цензуры к этим стихам: они появились в «Современнике» (в составе романа) в искаженном виде, с заменой слова «насильственное» (на «бесплодно-тягостное») и пропуском слова «свободный». Вот как это выглядело:

И заключи — пока есть время —
. . . . по сердцу союз!..

В стихах усмотрели отрицание законного, освященного церковью, брака да еще призыв к замене его свободным союзом. Таким образом, с точки зрения цензуры, стихи оказались не такими уж нелепыми и далеко не безобидными.

* * *

Во многих других стихах, посвященных Панаевой, можно проследить разные этапы их отношений, которым еще предстояли многие серьезные испытания. Ощутимы в них и все оттенки чувств поэта или, лучше сказать, лирического героя. Прав исследователь, который отметил: если эти стихи рассматривать в совокупности, то они «об-

разуют как бы целую поэму, в которой нашли свое отражение различные моменты в тех длительных, подчас надрывающе мучительных отношениях, которые связали героя с его избранницей»[1]. Слова-эпитеты «мятежный», «ревнивый», «тревожный» встречаются в них слишком часто: «Если мучимый страстью мятежной, Позабылся ревнивый твой друг...»; или: «Да, наша жизнь текла мятежно. Полна тревог, полна утрат...»

Вот он сетует на ее холодность и плачет над ее «рассчитанно суровым, коротким и сухим письмом»; вот ликует, что она «единым словом» вернула его душе «и прежний мир, и прежнюю любовь»; вот убеждает ее продлить «остаток чувства», и это одно из лучших его стихотворений:

Я не люблю иронии твоей.
Оставь ее отжившим и нежившим,
А нам с тобой, так горячо любившим,
Еще остаток чувства сохранившим, —
Нам рано предаваться ей!

В стихотворном письме к уехавшей возлюбленной он требует признания — тоскует ли она так же, как он; в этих стихах особенно привлекает их особая пушкинская интонация, пушкинская стилистика:

А ты?.. Ты так же ли печали предана?
И так же ли в одни воспоминанья
Средь добровольного изгнанья
Твоя душа погружена?

В другой раз, в «черный день», он пишет мрачную элегию по поводу смерти их первого ребенка: «Поражена потерей невозвратной, Душа моя уныла и слаба», и здесь же рисует скорбный образ потрясенной горем матери (возможно, к этому же событию относятся слова Некрасова в письме от 16 марта 1848 года: «...Я теперь в большом горе»). Наконец, в стихотворении «Давно — отвергнутый тобою» рассказывается, как после размолвки он «с убитою душою» бродит по берегам, заглядывая в манящую глубину речных волн. Это стихотворение понрави-

---

[1] В. Евгеньев-Максимов, Жизнь и деятельность Н. А. Некрасова, т. 2. М.—Л., 1950, стр. 272.

лось Тургеневу; получив его от автора, он ответил: «Стихи твои... просто пушкински хороши — я их тотчас на память выучил».

Стихотворение это позднее взволновало Чернышевского. В письме к Некрасову (от 5 ноября 1856 года) он высоко отозвался о его лирике; назвав «Давно — отвергнутый тобою» среди лучших стихотворений Некрасова 40-х годов («Когда из мрака заблужденья», «Я посетил твое кладбище» и др.), он прибавил: они «буквально заставляют меня рыдать».

Почему же эти «пьесы без тенденции» производили такое впечатление на Чернышевского?

Отвечая на этот вопрос, мы не можем согласиться с мнением только что упомянутого исследователя. Ему казалось, что Чернышевский столь близко принимал к сердцу некрасовские стихи «без тенденции» по той причине, что находился в это время в состоянии «крайнего расстройства, крайнего морального угнетения», вызванного опасением за жизнь тяжело заболевшей жены; в содержании стихов он будто бы находил много «аналогичного своим переживаниям»[1]. Как только мы примем это соображение, так немедленно придем к странному выводу: если бы не болезнь Ольги Сократовны, то, может быть, Чернышевскому и не пришлись бы по душе некрасовские стихи.

Суть дела, конечно, в другом. Восприятие поэзии Некрасова революционно-демократическими критиками, и прежде всего Чернышевским и Добролюбовым, было необычайно целостно. Некрасов был дорог им как социальный поэт, поэт мысли и действия, как «поэт сердца», лирик, нашедший новые слова для выражения лучших человеческих чувств. Чернышевский приветствовал эту поэзию «новых людей», которые несли с собой новую мораль и новый взгляд на любовь и счастье. Хваля Некрасова за его лирику, он писал ему: «Не думайте, что я увлекаюсь в этом суждении Вашею тенденциею, — тенденция может быть хороша, а талант слаб, я это знаю не хуже других... Лично на меня Ваши пьесы без тенденции производят сильнейшее впечатление, нежели пьесы с тенденциею...»

---

[1] В. Евгеньев-Максимов, Жизнь и деятельность Н. А. Некрасова, т. 2. М.—Л., 1950, стр. 278.

Из слов Чернышевского ясно, что он не вообще предпочитает стихи «без тенденции», а именно некрасовские лирические стихи. В устах революционера это лучшая похвала поэту, это означает, что ему удалось даже в стихах, лишенных прямого политического содержания, выразить психологию «новых людей», к которым принадлежал Чернышевский. Вот отчего ему была так близка эта «поэзия сердца» — лирика новых чувств, она заставляла его «рыдать», ибо выражала его собственное мироощущение. Речь шла о новом отношении к женщине, об уважении ее нравственных прав, о свежести чувства, о признании равенства между любящими.

Разумеется, мы говорим здесь не только о «панаевских» стихах — ведь их лишь условно можно выделить из общего потока некрасовской лирики.

О чем бы ни говорил поэт, лирический герой его интимных стихов — это труженик, демократ, который видит в любимой женщине друга, союзника; она разделяет его идеалы, на нее можно опереться в жизненной борьбе. Она помогает герою сохранить «святыню убеждений» и нравственную чистоту даже в самых трудных обстоятельствах.

...С тобой настоящее горе
Я разумно и кротко сношу...

Реалистическое начало некрасовской лирики — стремление правдиво передать сложный процесс душевной жизни и конкретность переживания, оттолкнуться от традиционной эгоистической и ханжеской морали — определяет ее особенности — свободное владение прозаизированным стихом, его огромными изобразительными возможностями; напряженный драматизм лирической исповеди, свежесть и яркую образность живого народного языка.

В то же время лирика Некрасова прочно связана с классической традицией русской поэзии, она унаследовала пушкинскую ясность выражения мысли и эмоции. Это отмечали уже современники. Не случайно, конечно, Тургенев вспоминал Пушкина в своих суждениях о стихах Некрасова того времени («пушкински хороши», «пушкинская фактура»).

Некрасову суждено было открыть новую главу в истории русской лирической поэзии.

XII

«ВМЕСТЕ С ОДНИМ СОТРУДНИКОМ...»

Погруженный в журнальную работу, Некрасов в конце 40-х годов, в это трудное для «Современника» время, почти не печатал стихов. Он жаловался Панаевой:

— Чувствуешь потребность писать стихи, но знаешь заранее, что никогда их не дозволят напечатать. Это такое состояние, как если бы у человека отрезали язык и... и он лишился возможности говорить.

Тогда ему пришла мысль о прозе, о большом романе, который позволил бы погрузиться в пространные описания, в изображение чувств и характеров. К прозе толкала его и прямая журнальная необходимость: как ни изобретателен был Некрасов, сколько ни тратил он энергии для добывания литературных материалов, сколько ни ходил в публичную библиотеку, чтобы просмотреть новые книги и написать несколько рецензий, все-таки нередко получалось так, что решительно нечего было печатать. Особенно в отделе словесности.

Цензура продолжала свирепствовать. Порой красный карандаш безжалостно перечеркивал давно приготовленные стихи и прозу, на которые редакция возлагала все свои надежды. Панаева рассказывает, что в 1848 году ни одна из шести повестей, назначенных для «Современника», не была разрешена к печати, так что для ближайшей книжки просто нечего было набирать. Запрещалась даже переводная беллетристика, особенно французская.

И вот однажды, доведенный до отчаяния цензурными преследованиями, Некрасов предложил Панаевой написать вместе с ним большое сочинение — роман, которым можно было бы из номера в номер заполнять журнальные страницы. Авдотья Яковлевна, уже накопившая к тому времени некоторый литературный опыт, охотно согласилась, и вскоре работа закипела.

Это был первый случай в русской литературе, когда роман писался вдвоем. Не все одобряли это даже в кругу

«Современника»; Боткин, например, усматривал здесь нечто унизительное для литературы. Но соавторы не обращали на это внимания и ставили под своим сочинением две подписи — Н. Некрасов и Н. Станицкий.

Сообща был разработан сюжет и план будущего романа, распределены главы, кому какую писать. Авдотья Яковлевна написала пролог — о подкинутом в барский дом ребенке, Николай Алексеевич начал сюжетную линию главой из столь хорошо знакомой ему жизни петербургских «низов», затем пошли главы, написанные совместно, потом по очереди...

При чтении «Трех стран света» принадлежность отдельных глав (или частей) тому или другому автору угадывается довольно легко. Некрасовский текст заметно отличается своими литературными достоинствами (в ряде случаев весьма высокими), реалистической манерой, психологической достоверностью; текст Панаевой порой грешит мелодраматизмом, склонностью к псевдоромантическим приемам изображения чувств и разного рода «ужасов». К этому, впрочем, в известной мере предрасполагал и самый материал, разработка которого выпала на долю Панаевой, и понятное стремление подогреть интерес не слишком разборчивого читателя тех времен, сделать обширный роман с продолжением как можно занимательней и эффектней. Но, как бы то ни было, языковая неоднородность и разностильность романа бросаются в глаза.

Стилистические приметы, помогающие определить авторов разных глав романа, дополняются свидетельством первого биографа Некрасова А. М. Скабичевского, который на основании разговоров с престарелой уже Панаевой указывал, что ее перу принадлежит все, что касается «интриги и вообще любовной части романа», а Некрасов взял на себя «детальную аксессуарную часть, комические сцены, черты современной жизни и описание путешествий Каютина».

Страницы, написанные Некрасовым (а их, по-видимому, около половины), составляют наиболее сильную часть романа. Некрасов вложил в него немало труда. Приходится удивляться, откуда у него, занятого постоянной работой по журналу, доставало времени для ежедневного писания романа? На этот вопрос позднее ответил сам Некрасов:

— Я, бывало, запрусь, засвечу огни и пишу, пишу. Мне случалось писать без отдыха более суток. Времени

не замечаешь; никуда ни ногой, огни горят, не знаешь, день ли, ночь ли...

По словам Панаевой, он прочел массу книг, чтобы описать путешествия своих героев по родной стране, изучил сочинения русских путешественников — исследователей Сибири, Камчатки, Севера, Поволжья.

Первоначально Некрасов относился к начатому роману полушутя, даже почти иронически, о чем счел нужным предупредить, например, Тургенева. 12 сентября 1848 года он писал ему в Париж: «...Я пустился в легкую беллетристику и произвел, вместе с одним сотрудником, — роман в восемь частей и 60 печатных листов». Когда же в конце 1848 года первые части «Трех стран света» появились в журнале, он в следующем письме (17 декабря) добавил к этому: «Если увидите мой роман, не судите его строго: он писан с тем и так, чтоб было что́ печатать в журнале, — вот единственная причина, породившая его на свет».

Тут и опасение, что роман может не понравиться Тургеневу, первому авторитету в области прозы, тут и авторская скромность, и прямой намек на цензурные притеснения. Но не такой человек был Некрасов, чтобы тратить столько сил и времени, в частности, на борьбу с цензурой, постоянно придиравшейся к новому сочинению [1], ради одной только цели — заполнить опустошенные той же цензурой страницы журнала. И вряд ли можно сомневаться, что по мере углубления в работу Некрасов относился к ней все более серьезно.

Он соблюдал старательно требования и приемы авантюрно-приключенческого жанра; своему соавтору он поручил заботу о развитии любовно-романтической линии, впрочем, вполне необходимой в композиции романа; сам же от главы к главе усиливал его социально-критическую тенденцию. Именно он написал выразительные, в духе натуральной школы страницы, рисующие контрасты бедности и богатства, губительную власть денег, жалкое про-

[1] Цензура, прежде чем разрешить к печати первые главы романа, потребовала от соавторов письменного заверения в том, что содержание последующих, еще не написанных глав будет вполне благонадежно. Сохранился документ, в котором Некрасов и Панаева обещают, что роман «будет производить впечатление светлое и отрадное»; «все лучшие качества человека: добродетель, мужество, великодушие, покорность своему жребию будут представлены в лучшем свете и увенчаются счастливой развязкой...».

зябание городской нищеты, паразитизм помещичьего сословия. Но и это еще не все: он создал второй и наиболее значительный план романа, показал разные слои общества и, может быть, впервые открыл для русского читателя картины народного быта — трудовую жизнь русских рек, волжских пристаней, астраханских промыслов, северных экспедиций.

Описывая странствия Каютина, объехавшего «три страны света» в поисках своего счастья и заработка, нужного для будущей семейной жизни, Некрасов как бы хотел напомнить, что не только помещики-крепостники и чиновники-взяточники населяют Россию: на обширных ее просторах, на далеких окраинах кипит жизнь, там поднимается Россия промышленная, добывающая, строящая, открывающая новые торговые пути; там живут и трудятся люди деятельные и мужественные — охотники, промышленники, мореходы, лоцманы; там в борьбе с суровой природой, часто в условиях смертельной опасности выковывается «дух предприимчивости, отваги и удали».

Многие некрасовские страницы романа звучат как гимн в честь талантливого и смелого русского человека — только его свободный труд может одолеть силы природы, покорить моря, леса и недра земные, в которых «скрываются неисчислимые источники богатства, неразработанные, нетронутые». Это относится ко многим людям из народа, с которыми встречается Каютин во время своих скитаний, но прежде всего — к мореходу Антипу Хребтову; могучий характер этого человека, отважного и мудрого, готового пожертвовать жизнью для спасения товарища, способного выйти один на один против огромного медведя, олицетворяет в романе лучшие черты народа.

Это и есть одна из больших тем «Трех стран света», тема народа, крестьянства, важная для понимания некрасовского творчества конца 40-х годов, на пороге зрелости. Ни в одном другом раннем произведении Некрасов не определил с такой прямотой своего отношения к крестьянству, как в этом романе. В главе «Записки Каютина» он устами этого интеллигента и разночинца, вступившего в тесное общение с народной средой, выразил, несомненно, собственные размышления по этому поводу:

«В моих странствованиях, несчастьях и трудах одна была у меня отрада, без которой, может быть, я не вынес бы своей тяжелой роли... Познакомился и породнился я

с русским крестьянином... среди моря, где равно каждому не раз грозила смерть, в снежных степях, где отогревали мы друг друга рукопашной борьбой, а подчас и дыханьем, в сырой и тесной избе, где, голодные и холодные, жались мы друг к другу...

Труден доступ к его сердцу. Он суров, неразговорчив, неохотно обнаруживает свое чувство... Сердце его открывается не всякому и не вдруг... Будь прост и добр, а главное — будь искренен, прячь подальше чувство собственного превосходства, ...не показывай, что ты стараешься под него подладиться, — и тогда только можешь ждать его искренности...

И тогда увидишь ты, что в нем есть душа, чувство, энергия, и что, главное, в нем много иронии, иронии дельной и меткой...

Я много люблю русского крестьянина, потому что хорошо его знаю. И кто, подобно многим нашим юношам, после обычной «жажды дел» впал в апатию и сидит сложа руки, кого тревожат скептические мысли, ...тому советую я, подобно мне, прокатиться по раздольному нашему царству, побывать среди всяких людей, посмотреть всяких див...»

Далее Каютин выражал надежду: если скептики столкнутся с народом, они устыдятся своего бездействия и скептицизма, откинут лень и отдадут свои силы делу «процветания русского народа».

Конечно, эти суждения не были случайностью: в них выражено то отношение к народу, которое сложилось к тому времени у Некрасова; оно не было окончательным, поскольку преклонение перед народным характером еще не соединилось здесь с мыслью об освобождении крестьянства от векового гнета; однако остается бесспорным факт: безоговорочное признание нравственной силы народа решительно прояснило общественную позицию Некрасова. К тому же эта чисто некрасовская тема прозвучала со страниц «Современника» в такое время, когда в условиях «мрачного семилетия» поощрялась только легкая беллетристика.

«Три страны света» — второй роман, написанный спустя пять лет после ненапечатанного романа о Тростникове. О том, насколько вырос Некрасов как прозаик за эти годы, насколько углубилось его понимание действительности, можно судить, сравнив роль автобиографического начала в том и другом сочинениях. В первом случае оно

преобладает настолько, что роман о Тростникове доныне служит материалом для биографов поэта, их первая забота при анализе романа — отделить художественный вымысел от биографической основы, от действительных фактов, рисующих бедствия и приключения молодого человека, литератора, без гроша в кармане приехавшего из провинции в столицу.

Совсем не то в «Трех странах света». Если и есть автобиографические черты в облике Каютина, то они не играют существенной роли в проблематике романа. Внимание автора привлекают многообразие жизни, ее реальные картины; изображая человека, он интересуется прежде всего социальными связями и материальными отношениями. Это сказалось не только в народных сценах, но еще больше в трезвой и точной характеристике разных общественных слоев — вырождающихся аристократов, либеральных дворян, помещиков-крепостников, провинциальных купцов, чиновников, мелких и крупных дельцов, хищников буржуазного типа (образ Кирпичова). Всем им противостоят люди из «низов» общества — бедные труженики, городские нищие, крепостные крестьяне...

Глава «Деревенская скука», один из лучших образцов некрасовской прозы[1], дает наглядное представление о крепостнических нравах: обнаружив незаурядное мастерство диалога, автор показывает, сколь изощренными могут быть издевательства скучающего помещика над его слугой — крестьянским мальчиком.

Еще большую социальную зоркость проявил Некрасов, рисуя типы либерального дворянства. Такова характерная фигура гуманного барина Тульчинова, изображенного не без иронии; таков едва ли не первый в русской литературе образ помещика-либерала, в котором уловлена примечательная черта времени. В романе его зовут Григорий Матвеевич Данков.

[1] Тогда же (1848) Некрасов переделал эту главу в пьесу. Под названием «Осенняя скука» он опубликовал ее в 1856 году, а поставлена она была лишь в 1902 году в Александринском театре, где прошла с большим успехом. Театральная критика того времени с удивлением отмечала, что в «бессюжетном» построении, в характерах пьесы, в искусстве воссоздания атмосферы затхлого поместного быта автор намного опередил свое время. В «Осенней скуке» увидели «зачатки чеховской манеры». «Казалось, она написана только вчера, — писал театральный деятель П. П. Гнедич. — Весь Чехов со всеми его «настроениями» был здесь. Все ухищрения и детали постановки Московского Художественного театра были предвосхищены Некрасовым».

Мы уже знаем, что несколькими годами раньше, в пору организации «Современника», ему пришлось столкнуться с помещиком Григорием Толстым, недавно вернувшимся из Парижа. Подобно реальному Толстому, помещик Данков одушевлен мыслью о необходимости трудиться, приносить пользу обществу. Он любит произносить громкие слова и, кажется, верит в них. Когда он «энергически ударял кулаками по столу и заводил речь о той же жажде благородной деятельности, которая кипит в его груди, нельзя было не сочувствовать, не верить каждому его слову, нельзя было не сознаться, что он призван действовать и сделать много хорошего...» Совсем как Григорий Толстой, в свое время посуливший деньги на издание журнала и обещавший позаботиться о свободе для своих крестьян.

Но время шло, Толстой не присылал денег Некрасову и не освобождал крепостных. А Данков, к удивлению оказавшегося в его усадьбе Каютина, точно так же не торопился приводить в исполнение свои остроумные планы, о которых говорил с таким жаром...

Каютин вскоре понял, что размеренная и спокойная жизнь уютной усадьбы с отличными винами, охотой, книгами, жизнь, в которую он сам ненадолго погрузился, вовсе не располагает к труду и тем более к реформам. Правда, интеллигентность и совесть иногда подсказывают мысль о безнравственности и несправедливости этой праздной жизни и довольства. Тогда-то и рождается то, что Некрасов позднее обозначил выражением «благие порывы», — недаром оно стало крылатым. Но «благим порывам» не суждено превратиться в действия, стать реальным делом, принести пользу людям.

И то, что Некрасов именно в этом сумел обнаружить не просто свойство одного человека, а характерную черту дворянской интеллигенции определенного времени, есть его великая заслуга. Ведь тема обличения либерализма, начатая в романе «Три страны света», нашла развитие не только в творчестве самого Некрасова (от Данкова один шаг до Агарина, героя поэмы «Саша»), но была продолжена литературой середины века (образ Рудина у Тургенева), была поддержана и углублена в критике Добролюбова и Чернышевского.

Исследователи считают, что, несмотря на свои художественные недостатки, роман «Три страны света» (кстати, трижды при жизни Некрасова выходивший отдельным

изданием) и в некоторых других отношениях не прошел бесследно для русской литературы. Сам заметно впитавший в себя влияние Гоголя (оно ощутимо в диалогах, жанровых сценах, лирических отступлениях), роман в ряде образов и мотивов предварил некоторые мотивы произведений Гончарова («обломовщина»), Островского (купеческие нравы). Немалое значение имела его общая антикрепостническая направленность.

* * *

Соавторы почувствовали большое облегчение, когда довели до конца сюжет огромного романа, продолжавшего печататься и в первых пяти номерах журнала за 1849 год. Каютин, как и следовало ожидать, вернулся из своих странствий разбогатевший и возмужавший; не без труда разыскал он свою Полиньку, ради которой скитался, пережившую за это время немало горестей и злоключений, и роман, таким образом, закончился вполне благополучно, как и было обещано цензуре.

— Боже, как стало легко жить! — заметила Авдотья Яковлевна.

Но прошло немного времени, и Некрасов сказал, что надо приниматься за новый большой роман. Он уже придумал для него и тему и заглавие — «Мертвое озеро». Они занялись составлением плана, распределением труда между собой. Получилось так, что доля участия Некрасова в этом произведении оказалась гораздо меньшей, чем в предыдущем [1]. А. Скабичевский, много лет спустя беседовавший с Панаевой, пришел к выводу, что Некрасов является автором всего двух-трех глав «Мертвого озера»; роман «почти всецело принадлежит перу г-жи Панаевой», — писал А. Скабичевский, по-видимому, несколько преуменьшая роль Некрасова в этом предприятии.

Но Скабичевский сообщает также, что Некрасову принадлежит самый сюжет романа, который он разработал вместе с Панаевой. Это очень важное указание. Мы вправе предположить, что, намечая канву будущего сочинения, Некрасов исходил прежде всего из возможностей

[1] Это подтверждается таким объективным показателем, как подписи авторов в журнале: во время публикации «Трех стран света» в оглавлении каждого номера на первом месте стояло имя Некрасова; когда печаталось «Мертвое озеро», подпись выглядела так: Н. Н. Станицкий и Н. А. Некрасов.

своего соавтора. Именно поэтому он выбрал такую близкую ей тему, как судьба женщины, изображение ее горькой доли. Панаева, как автор «Семейства Тальниковых», была вполне подготовлена к тому, чтобы описать бедственное и бесправное положение провинциальных актрис, бедных гувернанток, забитых воспитанниц — всех, кто зависит от сильных, богатых и жестоких. Тема эта ее всегда привлекала.

Некрасов дал возможность своему соавтору воспроизвести такие стороны жизни, которые были ей больше всего знакомы; потому-то в романе почти нет деревни, крестьянства, но зато подробно показаны актерская среда, быт кулис, театральные нравы, с детства хорошо известные Авдотье Яковлевне, да и самому Некрасову.

В одном из вариантов стихотворения «Памяти Асенковой» мы читаем:

Увы, увы, не от актрис
Актрисе ждать пощады.
Младые грации кулис,
Прелестны вы — с эстрады...

Эта тема разработана и в «Мертвом озере», в главах, рисующих судьбу молодой актрисы Ани Любской, которую ненавидит и преследует провинциальная примадонна.

И не удивительно, что эти главы относятся к числу лучших страниц романа: в них неизбежные и сложно закрученные любовные истории («легкая беллетристика»!) развиваются на фоне театрального быта, обрисованного со знанием дела и с большой правдивостью (это отмечала и современная критика, например, А. Григорьев, в целом относившийся к роману неодобрительно).

Как и предыдущий роман, «Мертвое озеро», появившееся в журнале в 1851 году, пронизано демократической тенденцией, многие его страницы отмечены реалистической манерой письма в духе требований натуральной школы. Не только «женский вопрос» придает несомненную актуальность роману; как и для всей некрасовской прозы, для него характерны столкновение «низов» и «верхов» общества, стремление показать острые противоречия между сильными и слабыми, «хозяевами жизни» и их жертвами; одновременно указать на нравственное вырождение всемогущих аристократов и благородство беззащитных бедняков. Мысль об этом, не всегда обнаженная, лежит в основе романа и составляет его сильную сторону.

Что же касается слабых сторон, то в «Мертвом озере» их гораздо больше, чем в «Трех странах света», — очевидное подтверждение того, что Некрасов как соавтор был на этот раз куда менее активен. Литературного дарования Панаевой не везде хватило на то, чтобы с необходимой глубиной реализовать замысел, предложенный Некрасовым. Налет мелодраматизма, недостаток художественной убедительности, обычные для Панаевой, очень заметны и в этом последнем их совместном сочинении.

XIII

ДЕЛА И ДНИ

Не удивительно, что Некрасов мало принимал участия в «Мертвом озере», — слишком много у него было забот и хлопот по журналу. Конечно, только его энергия, работоспособность и находчивость спасли «Современник», то есть помогли выдержать все испытания «мрачного семилетия».

Некрасов знал, что журнальный корабль не может плыть сам по себе. Он требует неустанного труда, самоотвержения. Вот почему письма Панаевой конца 40-х годов пестрят такими выражениями: «Некрасов работает как вол», «Некрасов одурел от работы». В 1850 году: «Работает, пьет и играет в карты». А его письма в это время полны жалоб на хандру, усталость, болезни («лихорадка... трясет меня каждый вечер... глазная болезнь...») и еще больше — на огромную перегруженность. «Невероятное, поистине обременительное и для крепкого человека количество работы», — так пишет он Тургеневу в Париж. И поясняет: чтобы составить одну только первую книжку журнала на 1850 год, он «прочел до 800 писаных листов разных статей, прочел 60-т корректурных листов (из коих пошло в дело только 35-ть), два раза переделывал один роман (не мой), ...переделывал еще несколько статей в корректурах, наконец написал полсотни писем, был каждый день, кроме лихорадки, болен еще злостью, разлитием желчи и проч.» (9 января 1850 года).

Полсотни писем! Что за письма писал Некрасов? Перелистывая их теперь, мы видим, какие усилия применял редактор «Современника», чтобы собрать вокруг него все живые силы — лучших прозаиков, поэтов, переводчиков, публицистов, крупных ученых; каким талантом организатора надо было обладать, чтобы в условиях политического гнета и постоянных запретов делать ежемесячный журнал и содержательным и разнообразным.

Вот несколько отрывков из этих писем (1848—1852):

«Когда мы можем рассчитывать на получение Вашей второй статьи? Хорошо бы скорее», — напоминает Некрасов писателю и путешественнику Егору Петровичу Ковалевскому.

«Что касается до вопроса — нужны ли нам Ваши статьи [1], то, кажется, нечего отвечать Вам на него. Очень нужны...» — убеждает он чем-то недовольного Тургенева.

«Любезный Сатин!... Жду от Вас разбора книги Вернадского» (напоминание о рецензии на книгу экономиста И. В. Вернадского).

«Любезный Тургенев!.. Будьте друг, сжальтесь над «Современником» и пришлите нам еще Вашей работы, да побольше, а мы всегдашние Ваши плательщики».

Через месяц:

«Любезный Тургенев... Ради бога, поторопитесь с комедией и вышлите ее на первую книжку — этим по гроб обяжете, а если уж нельзя, то не позднее второй. Крайне нужно!»

Через два года:

«Любезный Иван Сергеевич!.. Решаюсь напомнить Вам о «Современнике»... Верите ли, что на XI книжку у нас нет ни строки, ничего — ибо даже уже и «Мертвое озеро» иссякло».

«Любезнейший Григорович!.. Повесть «Приемыш» с радостью возьму, и очень желаю также взять Ваш роман, который Вы теперь пишете».

Через год:

«Любезнейший Дмитрий Васильевич!.. Я не упрекаю Вас... только необходимость заставляет меня быть настойчивым и просить Вас: 1-е) ради бога, поскорее и наверное напишите большую повесть обещанную и 2-е) покуда для 11-ой книжки пришлите хоть маленькую...»

---

[1] В ту пору статьями называли почти все журнальные материалы, в том числе повести и рассказы.

«Милостивый государь. Читая Ваши прекрасные статьи в «Библиотеке для чтения», я давно желал просить Вас принять участие в нашем журнале... Нам необходима статья, и эту необходимость как нельзя лучше можете исполнить Вы, если захотите...» (публицисту В. Д. Яковлеву, автору «Писем из Италии»).

«Милостивый государь Александр Николаевич... Я желаю, чтоб Вы продолжали разбор ученых (преимущественно исторических) книг и чтоб взяли на себя, по примеру прежних лет, написать *обозрение русской исторической* литературы за 1851 год» (историку и фольклористу А. Н. Афанасьеву).

Так, напоминая, доказывая, иногда требуя, чаще умоляя и упрашивая, Некрасов добивался почти невозможного.

Редактор «Современника» весь в заботах о том, чтобы сделать свое издание как можно более интересным. Он находит и поощряет молодых писателей (М. В. Авдееву в Нижний Новгород: «Я с большим удовольствием прочел Вашу повесть. В ней много хорошего, и Вы имеете несомненный талант. Повесть Ваша будет напечатана не позже как в 9-й книжке...»); придумывает темы критических статей и поручает их, казалось бы, неожиданным авторам (поэту А. Н. Майкову: «А вот Вам работа, коли хотите. Возьмитесь-ка написать о каком-нибудь поэте — Бенедиктове, Баратынском, Языкове, Дельвиге... выбирайте любого»); хлопочет о появлении в журнале статей историка С. М. Соловьева и обращается в Главное управление цензуры с протестом против запрещения статей по русской истории (письмо Соловьеву с сообщением об этом).

Он пишет письма в Симбирск, Ярославль, Одессу, где живут разные литераторы. Он привлекает к участию в журнале молодого композитора, будущего музыкального критика А. Н. Серова, и тот публикует в «Современнике» (1851) цикл статей о спектаклях итальянской оперы в Петербурге и о петербургских концертах. Приглашая Серова, до тех пор еще не выступавшего в печати, Некрасов проявил большую редакторскую проницательность. Можно сказать, что именно он благословил на трудный путь одного из крупнейших русских музыкальных критиков.

Статьи Серова в «Современнике» заметно отличались от обычных журнальных фельетонов на музыкальные темы прежде всего своим профессиональным уровнем.

Он впервые поднял вопрос о принципах и задачах музыкальной критики, указал на ее отсталость по сравнению с критикой литературной (несомненно, подразумевалась деятельность Белинского). Он вступился за оперу Глинки «Иван Сусанин», подвергавшуюся грубым нападкам на страницах булгаринской «Северной пчелы», и показал себя приверженцем реалистической эстетики.

В письмах Некрасова то и дело появляется тема цензуры, извечная тема отечественной словесности. Редактор неблагонадежного журнала постоянно пишет письма цензору А. Л. Крылову, который задерживает выход очередного номера. «Ради бога, почтеннейший Александр Лукич, войдите в наше положение; уверяю Вас честью, что это будет для «Современника» сущее бедствие...» (2 августа 1850 года.). Он обращается к его «доброму сердцу», ссылается даже на «законность» своей просьбы — прочесть роман, который добрейший Александр Лукич почему-то упорно не хочет читать.

Иногда Некрасов просто посылает к цензору своих авторов («советую Вам... побывать у него и поторговаться»), заранее предвидя, что та или иная статья будет искалечена или вовсе запрещена. В других случаях он начинает «прикармливать» цензора (эта практика была усовершенствована «Современником» впоследствии). Тогда его ближайший помощник по журналу, литератор и критик Гаевский получал записки такого содержания: «Будьте добры, Виктор Павлович, привезите Крылова в Парголово[1], взяв коляску... Я накупил отличных вин и фруктов, — во всяком случае верно то, что можем поесть и выпить отменно» (лето 1850 года).

И еще сохранилась записочка, в которой Виктора Павловича приглашают на обед с оговоркой, что среди гостей будет все тот же Александр Лукич, «коего мы так привыкли уважать» (!).

Заботясь о журнале, отдавая ему все силы, Некрасов тем самым заботился о русской литературе. Он хорошо понимал это. Он умел находить и открывать.

Летом 1852 года в редакцию пришел с Кавказа тол-

---

[1] Некрасов жил на даче в Парголове летом 1850 года.

стый пакет от неизвестного лица. Не очень разборчивая, хотя и перебеленная писарем, рукопись была подписана буквами Л. Н. Ознакомившись с нею, Некрасов тут же написал ответ в станицу Старогладковскую: «Милостивый государь! Я прочел Вашу рукопись («Детство»). Она имеет в себе настолько интереса, что я ее напечатаю... Прошу Вас прислать мне продолжение. И роман Ваш, и талант меня заинтересовали. Еще я посоветовал бы Вам не прикрываться буквами, а начать печататься прямо с своей фамилией, если только Вы не случайный гость в литературе» (август 1852 года).

Так началась писательская жизнь двадцатичетырехлетнего кавказского офицера графа Льва Николаевича Толстого. Некрасов был первым, кто указал на его талант и одобрил его «направление» — в ту пору, когда тот еще мучительно сомневался в своем призвании. Получив еще несколько писем от редактора «Современника», Толстой заметил в своем дневнике, что эти письма поднимают его дух и поощряют к продолжению занятий.

В течение нескольких лет, пока кавказский офицер становился постоянным автором «Современника», Некрасов поддерживал с ним переписку и был его единственным литературным советчиком. 2 сентября 1855 года он писал Толстому: «...Может быть, Вам предстоит широкое поприще. Вы начинаете так, что заставляете самых осмотрительных людей заноситься в надеждах очень далеко».

Несколько раньше Некрасов задумал напечатать в журнале цикл критических статей под общим названием «Русские второстепенные поэты». Его цель была в том, чтобы привлечь внимание к отечественной поэзии и доказать, что даже в эпоху всеобщего равнодушия к стихам существуют поэтические таланты, не замеченные или забытые читающей публикой.

Первую статью Некрасов написал сам (1850). Он обнаружил в пушкинском «Современнике» 30-х годов стихи Ф. И. Тютчева, подписанные буквами Ф. Т. Увидев, что они несут на себе «печать истинного и прекрасного таланта, ...исполненного мысли и неподдельного чувства», Некрасов дал им самую высокую оценку, а некоторые смело поставил в один ряд с пушкинскими стихами. Несмотря на заглавие, он решительно отнес «талант г. Ф. Т-ва» к первоклассным поэтическим талантам.

А позднее сам жалел (и говорил об этом сестре), что

напрасно назвал статью «Второстепенные...» — талант, как брильянт, не может быть второстепенным, вся разница в величине, — сетовал сам на себя Некрасов.

В текст своей статьи Некрасов включил двадцать четыре лучших тютчевских стихотворения и, кроме того, дал читателям библиографическую справку — указал, в каких номерах старого «Современника» помещены впервые эти стихи, с тех пор не перепечатывавшиеся.

Таким образом, Некрасов воскресил забытые, но прекрасные строки и вернул отечественной литературе одного из ее великих лириков. Заслуга немалая.

Среди трудов и забот Некрасов, как «отчаянный театрал», не забывал своего любимого Александринского театра, где когда-то ставились его водевили.

14 октября 1849 года он сидел в креслах Александринки и смотрел спектакль, выходящий, по его словам, из ряда обыкновенных: это был бенефис одного из любимцев московской и петербургской публики — Михаила Семеновича Щепкина, который был добрым знакомым Некрасова. А давали в этот вечер новую комедию — «Холостяк» Тургенева, автора, к которому Некрасов также не мог быть равнодушен. И потому всего через две недели, в ноябрьской книжке журнала уже появился некрасовский отзыв об этом спектакле.

Рецензент не забыл представить Тургенева как сотрудника «Современника», автора «Записок охотника», в которых резко определился его талант. Он поговорил о нем и как о драматурге, указал недостатки пьесы и спектакля. Но еще интереснее в его отзыве были мысли о русской комедии, которой все еще недоставало в театральном репертуаре. Некрасов отмечает несомненный интерес к ней и публики, и самих актеров. В партере и коридорах после окончания пьесы можно было слышать жаркие толки о новом спектакле, споры, каких, по мнению рецензента, не услышишь после десятка самых эффектных французских водевилей.

Актерам тоже давно приелись пустопорожние фарсы, и потому они серьезно и с уважением отнеслись к тургеневской комедии. И вот вывод: «Явись настоящая русская комедия — и не увидишь, как полетят со сцены, чтобы уже никогда не возвратиться, жалкие переделки и подражания, бесцветные и безличные, натянутые фарсы и т. п.».

Так ратовал Некрасов за создание отечественного репертуара.

И еще есть заслуга у Некрасова-журналиста. В поисках публицистических жанров, которые могли бы заменить литературную критику, почти исчезнувшую в эти годы (по причине цензурных притеснений), он изобрел форму свободного очерка или фельетона, позволявшую коснуться разнообразных тем и вопросов. В том числе и таких, какие обсуждать в иной манере было бы трудно.

Такой регулярный фельетон — непринужденный разговор с читателем — он поручил вести из номера в номер беллетристу и критику Дружинину. Фельетон шел под рубрикой: «Письма Иногороднего подписчика в редакцию «Современника» о русской журналистике».

Александр Васильевич Дружинин начал свою деятельность в 1847 году, в «Современнике»; это был один из авторов, открытых Некрасовым. Он принес сюда свое первое сочинение — повесть «Полинька Сакс», написанную с мыслью о необходимости защитить право женщины на свободу чувства. Выдержанная в традициях натуральной школы, повесть сразу же привлекла внимание Некрасова и вызвала сочувственный отклик Белинского.

Вскоре Дружинин вошел в кружок «Современника» и стал одним из активных его сотрудников (до 1856 года), разделяя многие заботы Некрасова и Панаева. Тогда же, представляя нового сотрудника Тургеневу, Некрасов писал ему в Париж: «Дружинин малый очень милый... всё читает, за всем следит и умно говорит. Росту он высокого, тощ, рус и волосы редки, лицо продолговатое, не очень красивое, но приятное; глаза, как у поросенка» (12 сентября 1848 года).

Дружинину было в то время двадцать четыре года. Он печатал в журнале романы, повести, рецензии, переводы. Ему (наряду с А. И. Кронебергом) принадлежали основные материалы по иностранной (главным образом, английской и французской) литературе, которой он усердно занимался, — статьи о Шекспире, Шеридане, серия очерков «Письма Иногороднего подписчика об английской литературе и журналистике» (1853), цикл статей о Дж. Краббе, с поэзией которого Дружинин познакомил Некрасова; заинтересовавшись творчеством этого «поэта бедных», Некрасов собирался перевести его стихи. В одном из писем он отметил: «Дружинина статья о Краббе

очень хороша, а сам Крабб — прелесть!» (4 октября 1855 года).

Вот почему впоследствии, вспоминая раннюю деятельность Дружинина, Некрасов имел основания сказать: он был «одним из ревностных наших товарищей и помощников, — в эпоху особенно трудную для журналистики...».

Фельетоны Дружинина выручали потускневший критический отдел журнала, подобно тому, как отдел словесности выручали «Три страны света» и «Мертвое озеро». Конечно, в этих фельетонах с их хлесткой манерой было немало балагурства, легко объяснимого особенностями эпохи, «трудной для журналистики», но было в них и другое — осуждение Шевырева и прочих реакционеров, выпады против литературной «аристократии», меткие оценки литературных новинок и т. д. Словом, нельзя не поверить самому Некрасову, отметившему в своем некрологе (Дружинин умер в 1864 году) «блеск, живость, занимательность тогдашних фельетонов Дружинина, которые во всей журналистике того времени одни только носили на себе печать жизни...».

В то же время справедливо мнение, что годы беспросветной реакции постепенно развратили талантливого литератора, убили в нем прежнюю жажду протеста, с которой он вступил на журнальное поприще. «Мало-помалу он полюбил свою роль светского балагура, занимающего досужих читателей легкой, невинной салонной беседой, — писал К. И. Чуковский. — ...Скоро он свыкся с цензурной неволей и довольно удачно приспособился к ней». В своих «Письмах» он стал касаться преимущественно безобидных тем, которые не могли вызвать придирок цензуры. А чуть позднее он оказался в том лагере, который резко противостоял «Современнику» и его деятелям.

Накануне 60-х годов Дружинин стал одним из самых активных противников революционно-демократической критики, яростным апологетом теории искусства, отрешенного от жизни. Некрасов не раз выступал против этих взглядов, но, даже отказавшись от сотрудничества с Дружининым, продолжал ценить его деятельность тех лет, когда они много и дружно (по выражению Некрасова) вместе работали для «Современника».

* * *

Редакция «Современника» уже с первых дней его существования стала своего рода литературным клубом, где

собирались не только ближайшие сотрудники, но и другие литераторы, так или иначе тяготевшие к журналу. Много способствовали этому известные обеды, которые устраивали Некрасов и Панаев. Здесь обсуждались планы очередных номеров, передавались литературные новости, здесь принимали гостей — чаще всего москвичей, приезжавших в столицу.

Письма и деловые записки Некрасова, рассылавшиеся обычно по утрам с лакеем, буквально пестрят такими приглашениями:

«Вы не забыли, что обедаете у меня?»

«Не придете ли завтра (в пятницу) ко мне обедать? Будут Тургенев, Толстой [А. К.] и некоторые другие. Пожалуйста».

«...Не будете ли так милы, не пожалуете ли к нам в воскресенье обедать?»

«Приходите в воскресенье обедать — мне нужно поговорить с Вами о деле...»

Некоторые обеды в редакции приобрели особую известность. Например, 13 декабря 1853 года, когда в Петербург в первый раз после ссылки приехал Тургенев (он провел полтора года безвыездно в своем Спасском), в его честь был устроен большой обед; Некрасов произнес на обеде экспромт, в котором были такие шутливые строки:

...Он был когда-то много хуже,
Но я упреков не терплю,
И в этом боязливом муже
Я все решительно люблю.

Люблю его характер слабый,
Когда, повесив длинный нос,
Причудливой капризной бабой
Бранит холеру и понос [1],

И похвалу его большую
Всему, что ты ни напиши,
И эту голову седую
При моложавости души.

Нередко в дружеском кругу, иногда где-нибудь на даче, занимались коллективным сочинением разных разностей, чаще всего фельетонов, иногда рецензий, даже стихов. Например, летом 1850 года в Парголове у Некрасова частым гостем был Дружинин. Вместе они писали для журнала веселое и непритязательное обозрение под на-

[1] Тургенев панически боялся холеры, что видно из его писем.

Серёжа?

Не пожалуете ли
обедать сегодня
к 4-м часам!
Нужно поговорить
о многом
Некрасов

Записка Некрасова с приглашением на обед.

званием «Сентиментальное путешествие Ивана Чернокнижникова по петербургским дачам», где описывались похождения неких светских бездельников: руководствуясь газетными объявлениями, они искали по дачам гувернанток, попутчиков для поездки за границу и т. д. Позднее Некрасов писал фельетон с Василием Петровичем Боткиным («Заметки о журналах»), причем так увлекся этой формой журнальной работы, что однажды пожаловался ему: «Я хотел было написать [фельетон] на сентябрьскую книжку, да одному как-то скучно и неповадно» (1 сентября 1855 года). Случалось ему писать шутливые стихи и вместе с Тургеневым.

Бывали и такие обеды и встречи, на которых, по словам А. Н. Пыпина (в книге «Н. А. Некрасов», 1905), рассказывались анекдоты, шла «незатейливая приятельская болтовня, какая издавна господствовала в холостой компании тогдашнего барского сословия, — а эта компания была и холостая, и барская. Нередко она попадала на темы совсем скользкие». И тогда беседа окрашивалась довольно крупной «аттической солью». Особенно усердствовал в этом отношении литератор и библиограф (позднее крупный чиновник) М. Н. Лонгинов, не отставал и Дружинин. Побывав однажды, в конце 1852 года, в этом кружке, А. В. Никитенко записал в дневнике: «Обедал

у Панаева и не скажу, чтобы остался доволен проведенным там временем». После обеда, отмечает с возмущением Никитенко, завели самые скоромные разговоры и читали стихи.

Занятия этого рода Дружинин называл «чернокнижием»; они приобрели некоторую известность в Петербурге. «Пародии, послания, поэмы и всевозможные литературные шалости составили, наконец, в нашем кругу целую рукописную литературу», — рассказывал об этом времени Лонгинов.

Неутомимый сочинитель этих посланий и особенно поэм из скромности не поясняет, что это были за шалости. Пытаясь обелить своих сотоварищей по «чернокнижию», он говорит о дружеских беседах, посвященных «любимым предметам», о молодости собеседников, которая способствовала тому, что даже «мрачное настоящее» не могло вытеснить из этих бесед шуток и веселья.

Все это так, и можно даже понять либеральничавшего в те годы Лонгинова, когда он пытается установить связь между разгулом политической реакции (после европейских революций 1848 года) и стремлением молодых литераторов отрешиться от серьезных вопросов, от «мрачного настоящего», погрузиться в атмосферу кутежей и острых ощущений («уныние овладело всею пишущею братьею...» — писал сам Лонгинов). Однако некоторые из собеседников уже тогда ощущали, что во всем этом веселье проглядывало нечто искусственное (Григорович). И нетрудно заметить, что не на всех участников кружка реакция оказывала одинаково тлетворное влияние. В то время, как одни из них сочиняли куплеты и поэмы, явно не рассчитанные на цензуру («Пишу стихи я не для дам...» — Лонгинов), другие искали совсем иных путей для выражения своего недовольства «мрачным настоящим», по иным причинам старались обойти цензуру, вступали в борьбу с ней. Известно, что Некрасов именно в это время создал немало социально значительных произведений. Конечно, в первые годы наступившей реакции (1848—1852) в его лирике не было (и не могло быть) острых политических проблем, не было деревенской тематики, в ней явно преобладали любовные мотивы (стихи «панаевского» цикла). Но вспомним, сколько раз жаловался поэт на невозможность писать то, что хочется! И даже в это время им написаны, например, сцены «На улице» с их бесхитростно правдивыми зарисовками городской жизни; поэта при-

влекают здесь не блеск и шум больших проспектов, не нарядные толпы гуляющих — перед ним голодный воришка, укравший калач и схваченный городовым; солдат с детским гробом под мышкой; Ванька-извозчик со своей ободранной клячей... И в последней строке — невеселый итог его наблюдений: «Мерещится мне всюду драма».

В это же время была задумана и начата (1852) поэма «Саша», написаны стихи, в которых Некрасов стремился осмыслить сущность своей поэзии, назначение художественного творчества вообще («Блажен незлобивый поэт», «Муза») — на пороге нового расцвета своего реалистического таланта.

Нельзя сказать, что Некрасов, связанный дружбой и бытовыми отношениями с участниками кружка, был вовсе чужд их барственно-эпикурейских занятий. Он мог даже принять участие в коллективном изготовлении неких куплетов (например, известное «Послание к Лонгинову», конец июля 1854 года), но как далеко отсюда до «черно-книжных» увлечений его тогдашних приятелей!

Как же случилось, что этим увлечениям с такой легкостью поддались участники кружка «Современника», люди, знавшие и помнившие Белинского? Думается, в этом сказалось отсутствие твердых убеждений у части кружка, определенная неустойчивость, которая в атмосфере реакции привела их к ослаблению общественных интересов, а в дальнейшем — к полному отречению от заветов Белинского (Лонгинов сделался крайним реакционером, Дружинин — характерной фигурой дворянского либерализма и т. д.).

Некрасов вблизи наблюдал этот процесс и, конечно, понимал, к чему ведет подобная эволюция; не потому ли чуть позже, в поэме «Белинский» (1855), создавая образ великого критика, человека непреклонных убеждений, он в одном из вариантов не пожалел резкого слова и написал так:

Его соратники смирялись
И в подлецов преображались.

Правда, эти строки не вошли в более позднюю редакцию текста, возможно, сам автор нашел их чрезмерно суровыми. Но как бы то ни было, они были написаны; и важны они тем, что позволяют судить, в каком направлении двигалась мысль поэта, когда он, оглядывая недавнее прошлое, думал о Белинском и его «соратниках».

* * *

Тот же Лонгинов, который с 1851 года был завсегдатаем петербургского Английского собрания (клуба), уговаривал Некрасова и Панаева вступить в его члены. Сделать это было не так просто: клуб представлял собой фешенебельное и весьма чопорное учреждение со своим особым уставом и ограниченным числом членов (с 1852 года четыреста человек). Основанный иностранными торговыми и деловыми людьми еще в 1770 году, в начале царствования Екатерины, этот клуб вскоре «обрусел» и перестал соответствовать своему названию; он жил, как сказано в очерке истории клуба, «исключительно русской жизнью» [1]. Членами клуба в свое время были Пушкин и Крылов.

В 50-х годах Английское собрание помещалось на набережной Мойки, на углу Демидовского переулка. На клубные обеды, карточные и бильярдные турниры съезжалась петербургская знать. Некрасов к ней, естественно, не принадлежал. Каждый день до глубокой ночи здесь шла большая игра.

Авдотья Яковлевна пыталась возражать против намерения Некрасова вступить в члены клуба, она опасалась, что при своей давней, как он сам считал, наследственной страсти к карточной игре Некрасов может в нее втянуться. К тому же через Тургенева, бывавшего на клубных обедах, знаменитых стерляжьей ухой, дошел слух, что кое-кто там уже подсмеивался над простоватыми манерами Некрасова. Однако Некрасов не обращал на это внимания и уверял Авдотью Яковлевну, что игра успокаивает раздраженные нервы.

Как бы то ни было, но Некрасов и Панаев баллотировались в члены клуба и в 1854 году после усердных хлопот Лонгинова были приняты. С этого времени Английское собрание заняло заметное место в жизни Некрасова. Много лет (вернее, зим) подряд провел он за его зелеными столами. Позднее, в поэме «Недавнее время» (1871), набрасывая сатирическую картину клубной жизни 50-х годов, Некрасов с ироническим пафосом восклицал:

Где ты, время ухи знаменитой?
Где ты, время безумной игры?

---

[1] Столетие С.-Петербургского английского собрания. Спб., 1870, стр. 25.

Карты были характерной особенностью того времени, почти неотъемлемой чертой светского и чиновничьего быта, больших и малых гостиных. В карты играли генералы и бюрократы, купцы и министры, степные помещики и литераторы. В клубах и салонах в один вечер проигрывали (или выигрывали) целые состояния. Из рук в руки переходили и полуразоренные деревушки, и большие имения с тысячами крепостных душ.

Из рассказов мемуаристов можно заключить: Некрасов в залах Английского собрания представлял собой фигуру весьма необычную. Клубные завсегдатаи скоро заметили, что он отлично играет во все игры, обладает редкой сдержанностью и часто выигрывает. Огромная сила воли и самообладание не покидали его даже в самый разгар карточных баталий; по отзыву современника, он умел взвешивать «с хладнокровием математического расчета все шансы выигрышей и проигрышей» и умел вовремя прекратить игру. Потому, вероятно, ему и везло. Кроме того, он сам говорил тому же современнику — А. М. Скабичевскому, что привык следовать определенной системе, которую объяснил приблизительно в таких словах:

— Самое большое зло в игре — проиграть хоть один грош, которого вам жалко, который предназначен вами по вашему бюджету для иного употребления... Если вы хотите быть хозяином игры и ни на одну минуту не потерять хладнокровия, необходимо иметь особые картежные деньги и вести игру не иначе, как в пределах этой суммы.

Как видно, в его игре не было азарта. Но были в ней иные особенности. Рассказывают, что в отличие от других игроков его увлекала не столько задача выиграть кучу денег, сколько самый процесс борьбы со слепой фортуной, желание обуздать ее. А. Ф. Кони в своих воспоминаниях со слов самого Некрасова передает, что его влекло «на эту рискованную борьбу между счастьем и опытом, увлечением и выдержкой, запальчивостью и хладнокровием, где главную роль играет не выигрыш, не приобретение, а своеобразное сознание своего превосходства и упоение победы...». Другой современник — Ипполит Панаев (двоюродный брат Ивана Ивановича), много лет заведовавший конторой «Современника» и потому близко знавший Некрасова, утверждает: игра была для него «скорее средство развлечения и отвлечения от тягостных дум, чем страсть».

Интерес к картам Некрасов готов был считать своей наследственной «слабостью». Эта тема нередко встречается в его стихах:

...Но первые шаги не в нашей власти!
Отец мой был охотник и игрок.
И от него в наследство эти страсти
Я получил...

А одному из своих собеседников он сказал по этому поводу так: «Может быть, даже я унаследовал эту слабость в крови. Дед мой был картежник, он проиграл 10 тысяч (душ или десятин — не помню) в карты; отец также был картежник. Но денег я никогда не любил...» Иногда, особенно в более поздние годы, когда ему случалось играть подолгу, запоем, не только в клубе, но и дома, его охватывало недовольство, сожаление о потраченном времени, о бессонных ночах, проведенных за ломберным столом. Беспощадный к себе, он говорил об этом с обычной прямотой и резкостью. «Я веду гнусную жизнь, которая мешает мне даже поддерживать переписку с людьми для меня дорогими и любезными», — так писал он Льву Николаевичу Толстому в 1858 году.

Конечно, деньги были нужны Некрасову — редактору журнала, бюджет которого далеко не всегда позволял сводить концы с концами. «Карточные» доходы не раз пополняли кассу «Современника»; это позволяло гораздо свободнее, чем прежде, оплачивать труд авторов, помогать сотрудникам и их семьям, поддерживать начинающих писателей — ведь Некрасову случалось даже отправлять кое-кого из них за границу за свой счет!

Тот же Ипполит Панаев свидетельствует, что на личные средства редактора «Современника» поддерживалось «много неимущих людей, много развилось талантов, много бедняков сделалось людьми». Известно также немало случаев, когда людям, так или иначе близким к журналу, регулярно выплачивалось нечто вроде пенсии (например, матери умершего Панаева, малолетним братьям Добролюбова, жене и детям сосланного Чернышевского и т. д.).

Понятно, что расходы разного рода были огромны. А кроме того, надо было поддерживать родных, братьев, даже отца, надо было обеспечить собственное благополучие, этого требовало и видное положение Некрасова в обществе, и сложившийся уже образ жизни. У него не было крепостных деревень, приносивших доходы многим дру-

гим писателям. «...Я не только никогда не владел крепостными, — не без гордости заметил он однажды, — но, будучи наследником своих отцов, имевших родовые поместья, не был ни одного дня даже владельцем клочка родовой земли».

Деньги были — в силу обстоятельств времени — одной из постоянных тем творчества Некрасова. И все же, по собственному признанию, он денег никогда не любил и не раз заявлял об этом. В самом конце жизни, уже смертельно больной, диктуя разным лицам воспоминания о своей молодости, Некрасов счел нужным специально коснуться этой темы (в разговоре с С. Н. Кривенко). Он захотел решительно опровергнуть мнение Тургенева — тот где-то сказал, будто Некрасов «любит деньгу».

— Натура у меня была скорее широкая, чем склонная к скряжничеству, — говорил Некрасов, — хотя Тургенев и мог подумать, что я человек скупой. Проголодав несколько лет и чуть не отправившись к праотцам, я почувствовал какую-то не то боязнь, не то уважение к деньгам. Я берег каждый грош... Тургенев же был богатый помещик. Получая значительный и определенный доход, он мог разбрасывать и разбрасывал деньги направо и налево. Нередко случалось, что, получив деньги из деревни, он их спустит в два-три дня и приходит ко мне просить денег на обед. Для обеда я никогда не отказывал, а больше не давал...

Среди партнеров Некрасова в клубе встречались разные люди, но любой из них был неизмеримо богаче, чем он, поэтому ему не казалось зазорным обыграть какого-нибудь сибирского помещика-крепостника или петербургского сановника. Он не без удовольствия отмечал эти свои успехи, вспоминая тех, с кем судьба сталкивала его за зеленым столом. Например, в автобиографических набросках мы читаем: «Великая моя благодарность графу Александру Владимировичу Адлербергу. Он много проиграл мне денег в карты...», или: «...Скажу еще об Абазе. Этот симпатичный человек проиграл мне больше миллиона франков, по его счету, а по моему счету, так и больше»[1].

Позднее все эти сановники пригодились Некрасову-

---

[1] А. В. Адлерберг — государственный деятель, генерал-адъютант, личный друг Александра II. А. А. Абаза — также государственный деятель, близкий ко двору, сторонник реформ 60-х годов. Франк в то время составлял четвертую часть рубля.

сатирику, знакомство с ними помогло ему сделать выразительные зарисовки клубной жизни. С помощью язвительной насмешки, иронии, анекдота он запечатлел многие типические явления тех лет, вызывавшие его негодование. Вспомним хотя бы услышанные в залах клуба споры крепостников и либералов:

Крепостник, находя незаконной,
Откровенно реформу бранил,
А в ответ якобинец салонный
Говорил, говорил, говорил...

Некоторые приятели-литераторы иронизировали, будто Некрасов, став членом клуба, ведет теперь разговоры о литературе только с высокопоставленными картежниками. В действительности дело обстояло совсем не так. Судя по всему, он как раз старался избегать этих разговоров, не желая, чтобы люди, глубоко чуждые ему внутренне, касались святой для него темы, его высокого призвания. Да большинство этих людей и не знали, что имеют дело с большим поэтом, известным уже не только у себя на родине. Вот почему оказался возможным один анекдотический случай, о котором рассказал сам Некрасов.

Однажды его постоянный клубный партнер А. И. Сабуров, видный сановник, директор императорских театров, когда-то знавший Пушкина, обратился к нему с просьбой «поправить» написанные им стишки, что-то на тему о розе, предназначенные, конечно, для дамы. Некрасов очень удивился:

— Да разве вы, Андрей Иванович, знаете, что я пишу стихи?

И Андрей Иванович чистосердечно признался: недавно в Париже, бывая в аристократических домах, он слышал там разговоры, что лучший поэт теперь в Европе — Некрасов. Узнав эту новость, он дал себе слово, воротившись в Россию, почитать его стихи. А происходило это, видимо, уже в конце 50-х годов.

Известно, что реальные впечатления часто находили непосредственный отклик в стихах Некрасова. Жизнь аристократического клуба, фигуры его постоянных посетителей — сановных бюрократов, миллионеров, министров-казнокрадов, которых он не мог бы встретить ни в каком другом месте, дали ему огромный материал для

размышлений о тех, кто составлял верхушку общества и чьи сатирические портреты он создал впоследствии.

Можно даже сказать, что наблюдения над «великими мира сего» на близком расстоянии укрепили, усилили сатирическое начало, издавна присущее поэзии Некрасова. Об этом свидетельствуют и постепенно созревавший (с конца 50-х годов) обширный замысел цикла сатир об Английском клубе, и отдельные части этого цикла — поэма «Газетная», где речь идет о газетной комнате (читальне) клуба и ее посетителях, и поэма «Недавнее время», написанная в связи с торжеством по случаю столетия Английского клуба (1870) и содержащая острое обличение его праздной, паразитической жизни.

XIV

ЛЮБОВЬ-НЕНАВИСТЬ

В начале 1852 года в Москве после долгих страданий, нравственных и физических, умер Николай Васильевич Гоголь. Весть об этом поразила, взволновала многих. Его чтили как первого русского писателя, как главу новой школы, к которой примкнули все живые силы тогдашней литературы, и прежде всего — кружок «Современника», от него вели свою родословную едва ли не все лучшие писатели XIX века.

На другой же день после похорон Гоголя Аксаковы писали в Петербург Тургеневу: «Какое тяжкое чувство сиротства овладело всеми, для которых в Гоголе заключалась вся надежда, все утешение, единственная светлая точка в России». Грановский же, говорится далее в письме, сказал Аксаковым: «Ну, кажется, теперь больше хоронить некого». Тургенев в те же дни писал из Петербурга в Париж Полине Виардо: «Случилось великое горе. В Москве умер Гоголь... Вам трудно представить себе всю огромность этой потери... Нет русского сердца, которое не обливалось бы кровью в этот миг. Для нас он был не только писателем: он нам открыл нас самих. Для нас он был в известном смысле продолжателем Петра Ве-

ликого... Надо быть русским, чтобы это почувствовать...»

Гоголь умер 21 февраля. Петербургские его почитатели узнали об этом 25-го, в день похорон писателя. И в этот же день Некрасов написал стихи «Блажен незлобивый поэт», навеянные мыслями о судьбе великого сатирика. Он успел включить эти сорок строк в уже готовую к выходу книжку «Современника». Имени Гоголя в стихах не было. Все произошло так быстро, что цензор Крылов не успел даже подумать, по какому поводу они написаны, и подписал журнал к печати.

Взволнованный событиями Тургенев признавался, что под влиянием только что прочитанного стихотворения Некрасова ему захотелось громко сказать о значении Гоголя, о великой горечи утраты. И он написал прочувствованную статью-некролог, в которой говорилось: «...Да, он умер, этот человек, которого мы теперь имеем право, горькое право, данное нам смертью, назвать великим; человек, который своим именем означил эпоху в истории нашей литературы, человек, которым мы гордимся, как одной из слав наших!»

Статья эта, отданная в «Петербургские ведомости», вызвала негодование цензурного комитета; ее тон нашли неприличным, а слово «великий» вызвало особое недовольство. Руководители комитета удивлялись «дерзости» автора, который вздумал в столь возвышенных выражениях говорить о «лакейском писателе»!

Тургеневу дали понять, что имя Гоголя вообще упоминать не велено. «Неужели это так пройдет!» — восклицал он в письме к Боткину и тут же поручил ему похлопотать, нельзя ли напечатать некролог в Москве.

Благодаря стараниям друзей тургеневское «Письмо из Петербурга», прославлявшее Гоголя, 13 марта было опубликовано в газете «Московские ведомости» (за подписью Т......в). Власти переполошились. Управляющий Третьим отделением Дубельт и шеф жандармов Орлов представили Николаю II свои проекты репрессий против автора. Царь нашел их недостаточными и начертал: «Полагаю, этого мало, за явное ослушание посадить его на месяц под арест и выслать на жительство на родину под присмотр». 16 апреля автор «Записок охотника» был взят под стражу.

Стихотворение «Блажен незлобивый поэт» основано на мысли Гоголя, выраженной в седьмой главе «Мертвых душ», в «отступлении», где говорится о разных судьбах двух писателей: о счастливой судьбе того, кто «упоительным куревом» окуривает людские очи, льстит им, скрывая темные стороны жизни, и о печальной участи того, кто дерзнет сказать жестокую правду, кто вызовет наружу всю «страшную, потрясающую тину мелочей, опутавших нашу жизнь».

Мысль Гоголя была близка Некрасову, она совпадала с его собственными размышлениями о судьбе сатирика в обществе.

Вслед за Гоголем он делит свою сатиру на две части, одна из них рисует «незлобивого поэта», в ком мало «желчи» и много «чувства», другая — «обличителя толпы», преследующего порок. Некрасов достиг особой остроты в построении этой антитезы. Очевидно, что первый тип поэта глубоко чужд самому Некрасову; это приверженец «спокойного», то есть убаюкивающего искусства, далекого от жизни, от ее бурь и тревог. Он любит «беспечность и покой», сторонится всего, что может нарушить его безмятежно-идиллическое состояние. Он равнодушен к людским горестям и откровенно эгоистичен.

Ему сочувствие в толпе,
Как ропот волн, ласкает ухо.

«Толпа» здесь — это, конечно, не народ, а скорее та «чернь», о которой говорил еще Пушкин, «чернь», духовно отгородившаяся от народа, предавшая его. В программном некрасовском стихотворении сибариту и эстету, живущему «без печали и гнева», противопоставлен «благородный гений» обличителя той же «толпы». Перечитаем эти стихи:

Питая ненавистью грудь,
Уста вооружив сатирой,
Проходит он тернистый путь
С своей карающею лирой.

Его преследуют хулы:
Он ловит звуки одобренья
Не в сладком ропоте хвалы,
А в диких криках озлобленья.

И веря и не веря вновь
Мечте высокого призванья,
Он проповедует любовь
Враждебным словом отрицанья...

...Со всех сторон его клянут
И, только труп его увидя,
Как много сделал он, поймут,
И как любил он — ненавидя!

Здесь смысловой центр стихотворения. Здесь Некрасов дал двуединую формулу «любовь-ненависть», которая в предельно сжатом виде заключила в себе одну из главных нравственных проблем, стоявших перед русскими передовыми деятелями в эпоху борьбы против крепостничества и самодержавия. В ту пору они могли действенно выразить свою любовь к России, к ее народу только «враждебным словом отрицанья». Истинно любить закабаленный народ — это значило питать ненависть к его поработителям, жить печалью и гневом. Иного выбора не было, и Некрасов это хорошо понимал. Он часто возвращался к этой мысли, составлявшей его убеждение. Например, он писал Л. Толстому 22 июля 1856 года: «...И когда мы начнем больше злиться, тогда будем лучше, — т. е. больше будем любить — любить не себя, а свою родину...».

Потому-то некрасовская формула, имевшая определенный политический смысл, и не устраивала дворянских либералов — они немедленно ее заметили и против нее восстали. Они еще могли бы примириться с первой ее частью, ведь им случалось (и нередко) говорить о любви к «бедному брату». Но вот вторая часть — ненависть — была им решительно не по вкусу.

Дружинин, искажая мысль Некрасова, стал печатно потешаться над ней: «При всем нашем добросовестном старании мы с вами ни разу не попробовали любить ненавидя или ненавидеть любя. Этих двух крайностей мы с вами никогда не соглашали». А Боткин, прочитав другое стихотворение Некрасова — «Замолкни, муза мести и печали», которое завершалось, в сущности, той же мыслью:

То сердце не научится любить,
Которое устало ненавидеть, —

очень огорчился и письменно уверял Некрасова, что он клевещет на себя (если говорит о себе)...

Между тем формула Некрасова приобрела широкое хождение именно благодаря точному и поэтическому выражению глубокой и злободневной мысли. В стихах самого Некрасова она стала своеобразным рефреном, он

звучит в лучших его вещах, в том числе в программном стихотворении «Поэт и гражданин»:

Клянусь, я честно ненавидел,
Клянусь, я искренно любил!

В сознании современников идея «любви-ненависти», владевшая умами лучших людей России, связывалась в еще большей степени, чем с Гоголем, с Белинским; потому-то и Герцен, вспоминая Белинского в «Былом и думах», говорил, что автор «Письма к Гоголю» был полон «святого негодования», «полон своей мучительной «злой» любви к России».

Сам Герцен не раз пользовался этой формулой, когда определял, например, сущность поэзии Лермонтова («Нужно было уметь ненавидеть из любви») или когда писал о своем отношении к революционному Западу: «...я любил его всею ненавистью к николаевскому самовластью и петербургским порядкам». Впрочем, не обязательно считать эту формулу чисто некрасовской: выражая реальный конфликт эпохи, она стала общей характерной чертой революционной публицистики.

Немало сделал для ее разъяснения Чернышевский. Его «Очерки гоголевского периода русской литературы» начали печататься в «Современнике» спустя три года после появления стихотворения «Блажен незлобивый поэт». В это время еще действовал запрет на имя Гоголя. Но, заговорив в своих очерках о великом сатирике, то есть нарушив запрет, Чернышевский впервые расшифровал некрасовские стихи. Разъясняя их смысл, он писал: «...Никогда «незлобивый поэт» не может иметь таких страстных почитателей, как тот, кто, подобно Гоголю, «питая грудь ненавистью» ко всему низкому, пошлому и пагубному, «враждебным словом отрицанья» против всего гнусного «проповедует любовь» к добру и правде».

Чернышевский добавил к этому: «Кто гладит по шерсти всех и всё, тот, кроме себя, не любит никого и ничего; кем довольны все, тот не делает ничего доброго, потому что добро невозможно без оскорбления зла». Вот еще один вариант той же формулы, как расшифровал ее Чернышевский, опираясь на некрасовские стихи.

Приняв поэтическую антитезу Некрасова, он повторил его слова о любви и ненависти, ибо ненависть его к самовластью была горяча и последовательна; она бы-

ла неразрывно связана с его великой любовью к России. Много позднее это оценил В. И. Ленин, указавший, что суровые и гневные обличения Чернышевского («...нация рабов, сверху донизу — все рабы») были выражением «...настоящей любви к родине, любви, тоскующей вследствие отсутствия революционности в массах великорусского населения»[1].

* * *

В некрасовском образе поэта-обличителя, вооруженного «карающей лирой», конечно, не следует видеть прямое изображение Гоголя. Да, этот образ создан с мыслью о Гоголе, посвящен его памяти, однако в стихотворении запечатлена участь всякого борца за правду и справедливость, смело идущего наперекор «толпе», которая встречает его «дикими криками озлобленья». Он не только обличитель зла, но и проповедник высоких идеалов («он проповедует любовь...»), почти пророк — образ традиционный для русской литературы. Он сродни лермонтовскому пророку, созданному десятилетием раньше, — в него та же «толпа» «бросала бешено каменья», когда он проходил свой тернистый путь.

Стихотворение «Блажен незлобивый поэт» явилось одним из манифестов борьбы за реалистическую и сатирическую поэзию, за право искусства обличать пороки и язвы общества, то есть в конечном счете — за расцвет гоголевской школы. Некрасов впервые на языке поэзии с такой силой определил пафос новой школы; он резко противопоставил два литературных направления и нанес чувствительный удар защитникам «чистой эстетики», в ту пору еще близким к редакции «Современника». В борьбе за правильное понимание Гоголя он шел вслед за Белинским.

На языке прозы он также не раз выражал свое преклонение перед автором «Мертвых душ» — и в письмах, и в критических статьях. В его сознании образ Гоголя неизменно сливался с представлением о тернистом пути поэта-сатирика. Вот пример. Прошло три года после смерти Гоголя, и Некрасов, посылая Тургеневу в Спасское второй том «Мертвых душ», отмечает главную заслугу Гоголя: «...писал не то, что могло бы более нравиться, и даже не то, что было легче для его таланта,

---

[1] В. И. Ленин, Полн. собр. соч., т. 26, стр. 107.

а добивался писать то, что считал полезнейшим для своего отечества. И погиб в этой борьбе...» (12 августа 1855 года). Это и есть тернистый путь — на языке прозы.

Вскоре Некрасов снова пишет о Гоголе. В середине 50-х годов он вел в «Современнике» ежемесячное обозрение под названием «Заметки о журналах». В одном из таких обозрений (за октябрь 1855 года) он вступил в полемику с А. Ф. Писемским, который опубликовал в «Отечественных записках» статью о втором томе «Мертвых душ». Писемский, по мнению критика, сузил значение Гоголя, ибо почти вовсе отказал ему в лиризме. В этом споре Некрасов обнаружил тонкое понимание природы гоголевского творчества, соотношения в нем сатирического и лирического начал.

«Ах, г. Писемский! — восклицал Некрасов. — Да в самом Иване Иваныче и Иване Никифорыче, в мокрых галках, сидящих на заборе, есть поэзия, лиризм. Это-то и есть настоящая, великая сила Гоголя. Все неотразимое влияние его творений заключается в лиризме, имеющем такой простой, родственно слитый с самыми обыкновенными явлениями жизни — с прозой — характер, и притом такой русский характер!»

Дальше Некрасов доказывал, что без лиризма Гоголь не был бы великим сатириком-обличителем. В этом важнейшем вопросе Некрасов сумел опереться на авторитет Белинского. Он воспользовался тем, что Писемский упомянул «горячего, с тонким чутьем критика» (имя Белинского было еще запрещено в печати), который открыл в Гоголе «социально-сатирическое значение», и ответил на это: «Критик, о котором говорит г. Писемский, выше всего ценил в Гоголе Гоголя-поэта, Гоголя-художника, ибо хорошо понимал, что без этого Гоголь не имел бы и того значения, которое г. Писемский называет социально-сатирическим».

Возвеличивая Гоголя, Некрасов в то же время отдавал должное великому наследию Пушкина. В своих суждениях о нем он был далек от «эстетической критики», пытавшейся выдать Пушкина за певца радостей жизни и выразителя «чистой художественности». В отличие от многих своих современников Некрасов сумел понять роль Пушкина как народного поэта, преобразователя отечественной литературы. Он писал о «великом значении Пушкина в истории развития русского общества», видел в нем «гордость и славу своего отечества».

Некрасов вставал горой на защиту Пушкина, когда пигмеи, вроде Кс. Полевого, сотрудника «Северной пчелы», пытались развенчать поэта, возводили на него всевозможные напраслины. Обращаясь к молодому поколению, Некрасов восклицал: «...не слушайте ни г. П., ни подобных ему. Читайте сочинения Пушкина с той же любовью, с той же верою, как читали прежде... Поучайтесь примером великого поэта любить искусство, правду и родину, и если бог дал вам талант, *идите по следам Пушкина,* стараясь сравняться с ним если не успехами, то бескорыстным рвением, по мере сил и способностей, к просвещению, благу и славе отечества!»

Особая заслуга Некрасова была в том, что он решительно отверг провозглашенное Дружининым противопоставление Пушкина — Гоголю. Он возвысился до целостного понимания народности русской литературы и рассматривал творчество лучших писателей — своих современников как продолжение и развитие традиций великих предшественников. Некрасовское осознание роли Пушкина оказалось историчнее и глубже взглядов Чернышевского и Добролюбова, — они, как известно, не смогли противопоставить «эстетической критике», пытавшейся сделать Пушкина своим знаменем, справедливую оценку великого поэта.

Однажды Герцен, ненавидевший Николая I, заметил, что этот монарх к концу своего царствования добился того, что заставил всю Россию замолчать, но он не мог заставить ее говорить так, как ему хотелось. Эти слова относятся и к передовой журналистике, и к лучшим писателям: они замолчали, чтобы не говорить того, что от них требовалось в те трудные годы.

Молчание это было, впрочем, относительным. Некрасов и в это время не сложил оружия; он искал различных путей для обхода цензуры, а в письменном столе своем хранил — до лучших дней — немало стихов на темы важные и острые.

В это время поэт особенно интенсивно размышлял о сущности своего творчества. Вслед за стихами, навеянными образом Гоголя-сатирика, он в том же 1852 году создал одну из главных своих поэтических деклараций — стихотворение «Муза», в котором стремился определить ее особые, неповторимые черты.

Один из современников не без иронии заметил, что такие понятия, как «муза», «лира», свойственные эстетике старомодного романтизма, вовсе не идут к земной, современной и угловато плебейской поэзии Некрасова. Однако у него было свое отношение к этим понятиям. С «музой» он обращался по-земному просто, иногда шутливо («Муза моя поджала хвост...» — из письма), иногда добродушно («Что же скажешь ты, Муза моя?»), иногда с легкой укоризной («Муза! Ты отступаешь от плана!»), порой патетически восклицал: «Муза! С надеждой приветствуй свободу!», или: «О Муза! Я у двери гроба!» Собираясь писать о театре, он без церемоний приглашает ее с собой:

Муза! Нынче спектакль бенефисный,
Нам в театре пора побывать.

В предчувствии смерти, подводя итоги угасающей жизни, он просит: «Угомонись, моя муза задорная» и именно ей признается в своей «необъятно-безмерной» любви к народу.

Многие поэты (и не только романтики) вели традиционные беседы с музой. Но вряд ли найдется еще поэт, у которого обращение к музе было бы столь излюбленным и постоянным, как у Некрасова: поэт искал новых возможностей общения с аудиторией, и муза становилась для него посредницей в разговоре с читателем («Меж мной и честными сердцами...»).

Образ музы то сливался в поэтическом сознании Некрасова с образом родины, то заключал в себе самоопределение («муза мести и печали»), то представал в виде «породистой русской крестьянки», то в нем угадывались черты любимой женщины, иногда матери, чаще же всего она являлась в терновом венце или «иссеченная кнутом», или в качестве «печальной спутницы печальных бедняков...»

Самое многообразие этих трансформаций указывает на то, что поэт дорожил возможностью в наиболее прямой форме открывать свою душу, обнажать движущие начала своего творчества или просто и откровенно говорить о нем с читателем.

Особенности некрасовской «музы» были замечены современниками. Так, Дружинин, один из главных представителей «эстетической» критики, дал выразительную характеристику демократичности этой музы, хотя и не

удержался от колких намеков («небрежный убор», «грубость манер»), вполне отвечавших его отрицательному отношению к народным основам некрасовской поэзии. В статье о «Стихотворениях» Некрасова (1856), оставшейся неопубликованной, Дружинин писал: его муза «сама отдается читателю с первой минуты, без притворства и ужимок, простая и откровенная, гордая и печальная, светлая и сухая в одно время — искренняя до жестокости, прямодушная до наивности. Она не румянится, готовясь выйти к публике, даже не приводит в порядок своего небрежного убора, и очень часто, смешивая благородные чувства с грубостью манер, нравится самою своей неизысканностью».

Теперь вернемся к стихотворению «Муза». Как обрисовал в нем поэт сущность своего творчества? Он говорит: «Муза» никогда не пела ему сладкогласных песен, не учила «волшебной гармонии». Он помнит пушкинскую музу: качая колыбель поэта, она «меж пелён оставила свирель»; но не такова его, некрасовская, муза: «она в пеленках у меня свирели не забыла». Поэтическое и чуть торжественное «пелён» превращается в обыкновенные «пелёнки». Он явно отталкивается от светлой и гармоничной романтической музы молодого Пушкина; вот какой образ рисуется взамен:

В убогой хижине, пред дымною лучиной,
Согбенная трудом, убитая кручиной,
Она певала мне — и полон был тоской
И вечной жалобой напев ее простой.

В ее «скорбном стоне» слышатся «проклятья, жалобы, бессильные угрозы», этой музе уже не до пленительных напевов:

Предавшись дикому и мрачному веселью,
Играла бешено моею колыбелью,
Кричала: «мщение!» — и буйным языком
На головы врагов звала господень гром!

Надо вдуматься в эти слова, сопоставить их со словами о людских страданиях и проклятиях, о слезах и горе; надо перечитать и предпоследние строки стихотворения «Муза», где стоят четыре прописные буквы:

Чрез бездны темные Насилия и Зла,
Труда и Голода она меня вела [1]... —

[1] В более ранних вариантах вместо «насилия» стояло «отчаянья», вместо «голода» — «терпения». Это показывает, что, работая над текстом, автор усиливал его политическое звучание.

и тогда мы поймем, что в этих стихах многое сказано о себе, о своей поэзии, прежней и будущей. Поэт стремился резко и с разных сторон обрисовать черты своей музы, своего призвания. Может быть, эта резкость и не позволила некоторым друзьям понять его стихи-декларации (Тургенев отозвался о них сдержанно, начисто отверг последнюю строфу, но похвалил первую — напоминает «пушкинскую фактуру»). Что же касается недругов...

Поэт Аполлон Николаевич Майков в эти годы еще не относился к числу прямых недругов. Он поддерживал отношения с Некрасовым, печатался в «Современнике», не отказывался от приглашений на обеды. Еще не так давно он был отчасти близок к петрашевцам, а некоторые его поэмы 40-х годов хранят следы влияния натуральной школы. И тем не менее он давно уже вынашивал идею «чистого искусства», отрешенного от житейских волнений.

Когда некрасовская «Муза» появилась в «Современнике» (1854), именно Майков, прочитав ее с «невольным сердца содроганьем», тут же написал стихотворный ответ автору. Чем же был недоволен Майков? Он убеждал Некрасова отказаться от мятежных настроений, обратить «усталый взор к природе», рисовал успокоительные картины мирной сельской жизни; пользуясь все той же некрасовской формулой, он упрекал поэта в том, что, «полюбивши ненавидеть», тот будто бы «везде искал одних врагов». Майков восклицал:

Нет, ты дитя больное века!
Пловец без цели, без звезды!
И жаль мне, жаль мне человека
В поэте злобы и вражды!

Знал или не знал Некрасов декларацию Майкова, опровергавшую его «Музу», неизвестно, в печати она не появилась. Однако известно, что сам он ценил Майкова как талантливого поэта и не раз с похвалой отзывался о его лирике. Но вот с началом Крымской войны Майков стал писать урапатриотические стихи, а затем, забыв о своей приверженности к «чистому искусству», воспел Николая I (стихотворение «Коляска»), то есть сделался вполне тенденциозным поэтом. Это «новое направление» музы Майкова вызвало насмешки-эпиграммы и пародии в адрес «петербургского Аполлона».

Некрасов счел нужным указать на то, что поэт вступил на скользкий путь, несовместимый с подлинным служением искусству. В «Заметках о журналах» за март 1856 года он писал: «Мы всегда любили поэтический талант г. Майкова, всегда ценили его и верили в него, верили даже тогда, когда талант этот несколько удалился от истинных условий творчества, не допускающих ничего преднамеренного, заданного...» И еще: «...Одно время поэт начинал внушать опасение, чтоб талант его, принявший направление ему несвойственное, не остановился в своем развитии...» [1]

Эти деликатные определения — «несколько удалился», «начинал внушать опасение» — нельзя не считать данью цензуре, которой не следовало знать, что речь идет о предметах очень опасных — о критике верноподданнических настроений в стихах Майкова. Во всяком случае, в упомянутом выше коллективном «Послании к Лонгинову» (конец июля 1854 года), сочиненном Некрасовым вместе с Дружининым и Тургеневым, определения были куда менее деликатны, — там прямо говорилось: «А Майков Аполлон, поэт с гнилой улыбкой, вконец оподлился — конечно, не ошибкой...»

Эти неприятные слова каким-то образом дошли до Майкова, о чем стало известно от него самого: в одном альбоме оскорбленный поэт записал (в январе 1855 года) ответные стихи, в которых были такие строки:

...Они не судьи дел моих.
Пусть нас грядущее рассудит,
И жду его спокойно я...

Грядущее, как известно, решило вопрос не в пользу автора этих строк. В столкновении двух «муз» нашла выражение начинавшаяся борьба двух мировоззрений, двух направлений в общественном и умственном движении.

---

[1] В рецензии Чернышевского на сборник стихов Майкова «1854» («Современник», 1855, № 3) также содержался определенный намек на то, что «новое направление» Майкова, вызванное «требованиями современности», принесет «ущерб его таланту». В рецензии принимал некоторое участие Некрасов; во всяком случае, Чернышевский засвидетельствовал, что «первые строки статьи писаны Некрасовым», а сам Майков считал даже, что им написана полностью вся статья.

●»»«««●»»«««●

XV

В РОДНЫХ МЕСТАХ

А теперь заглянем в Грешнево. Что же делалось в эти годы в доме Алексея Сергеевича Некрасова?

На первый взгляд здесь все было по-прежнему. Только скромный и постаревший одноэтажный дом стал еще меньше походить на помещичью усадьбу. Он был невелик, всего четыре комнаты; правда, его украшали большая терраса с правой стороны и палисадник, отделявший дом от дороги. За домом начинался сад, справа располагались службы — господская кухня, баня. На одной линии с домом (вдоль дороги, по которой мчались тройки, шли люди, гнали арестантов) стояло длинное здание — людская, где жили дворовые, затем каретная мастерская (одно время изготовлялись кареты на продажу); по ту сторону двора (за людской) были конюшня, сарай, колодезь.

Убранство внутри дома было далеко от роскоши, главными украшениями служили рога и другие охотничьи трофеи, и потому легко поверить, что жилище Алексея Сергеевича больше напоминало дом зажиточного крестьянина, чем барские хоромы (наблюдение одного из грешневских старожилов).

Сам хозяин был под стать своему жилью. И однообразием своего костюма (дочь Анна вспоминает, что он постоянно, зимой и летом, бывал облачен в красную фланелевую куртку; в ней он изображен и на фотографии), и простотой быта, и грубостью нрава, и отсутствием культурных интересов он ничем не отличался от массы среднерусского мелкопоместного дворянства.

Вечерами Алексей Сергеевич, велев заложить тарантас или санки, ездил иногда в город, в Дворянский клуб, где любил играть в карты. А днем его огромную прямую фигуру можно было видеть и в поле (он приглядывал за работами), и на базаре в Ярославле; особенно в тех рядах, где торговали старым железом, — он издалека возвышался над толпой, занятый покупкой разного железного хлама для своей кузницы...

Принято считать, что смерть матери (1841) примирила отца со старшим сыном. В известной мере это так, но примирение в первые годы было очень относительным, — отчуждение не исчезло, противоречия не стерлись. Ведь недаром же после той осени, которую двадцатилетний петербургский литератор провел в Грешневе, оплакивая мать, умершую перед самым его приездом, работая над пьесами и увлекаясь охотой на зайцев, недаром он целых четыре года не появлялся в родных местах.

Правда, после отъезда в столицу сын начал писать в Грешнево, но — «если б ты знала, каких страданий и усилий над собою стоят мне письма к дражайшему нашему родителю, которых, впрочем, с самого отъезда я написал только три!». Так писал Некрасов в 1844 году сестре Анне в Ярославль.

Когда же спустя год после этого письма он все-таки появился в Грешневе, то застал здесь немало перемен:

И наконец вошел я в старый дом,
В нем новый пол и новые порядки...

Новые порядки завела Аграфена Федоровна, именно она теперь командовала в доме. Алексей Сергеевич как будто стал потише. Он заметно подобрел к сыну, который, по его мнению, уже выбился в люди. Может быть, он испытывал неловкость, понимая, что это произошло без его помощи и участия.

Другие дети тоже успели покинуть неуютный родительский кров. Старшую дочь Елизавету, любимую сестру Николая, Алексей Сергеевич выдал замуж за пожилого военного в отставке С. Г. Звягина, жившего в Ярославле. Но не прошло и года, как она заболела и умерла (1842). Было ей около двадцати двух лет. Пораженный известием о ее смерти, Некрасов писал сестре Анне: «Жалею и буду жалеть вечно — зачем вы не известили меня о болезни сестры?» А в стихотворении «Родина», написанном под впечатлением второй поездки в Грешнево (1845), Некрасов целую строфу посвятил умершей сестре. Он сравнил ее судьбу с судьбой матери:

И ты, делившая с страдалицей безгласной
И горе и позор судьбы ее ужасной,
Тебя уж также нет, сестра души моей...

Он дал, кроме того, свое объяснение ее печальной участи:

Из дома крепостных любовниц и псарей
Гонимая стыдом, ты жребий свой вручила
Тому, которого не знала, не любила...

За обжигающей реальностью этих строк угадываются неприкрашенные подробности грешневского быта. Конечно, Некрасов знал о стремлении сестры любой ценой вырваться из отцовского дома.

Такое же стремление привело и вторую дочь Алексея Сергеевича Анну к решению покинуть Грешнево. Ей еще не было и двадцати лет, когда она поступила гувернанткой в пансион госпожи Буткевич в Ярославле. Сообщая об этом старшему брату, Анна писала, что отец отказал ей в малейшей помощи (как прежде Николаю), но, правда, предлагал остаться в Грешневе. Брат одобрил ее уход из дому и устройство в пансион. И прибавил: «Если это неизбежно, то дай бог, чтоб ты нашла себе место у добрых и честных людей».

Через два года Анна Алексеевна вышла замуж за Генриха Станиславовича Буткевича (вероятно, сына хозяйки пансиона), и таким образом ее судьба устроилась. Муж Анны Алексеевны участвовал в Севастопольской кампании, был тяжело ранен, потерял ногу. Вышел в отставку в чине подполковника. Вероятно, к этому времени, то есть ко второй половине 50-х годов, и относится семейная фотография, где тридцатипятилетняя Анна Алексеевна стоит рядом с пожилым военным, грудь которого украшена боевыми крестами.

На протяжении многих лет Анна Алексеевна оставалась близким и преданным другом своего брата, пользовалась его постоянным расположением; в поздние годы ей пришлось играть особенно большую роль в его жизни, а затем стать распорядительницей его литературного наследия.

Не застал Некрасов в Грешневе (во второй приезд) и среднего брата, двадцатилетнего Константина: он в это время уже служил в егерском полку на Кавказе, где пробыл около восьми лет. Это о нем в 1842 году Некрасов с беспокойством писал той же Анне: «Этого бедного мальчика бросили на произвол судьбы — не мудрено, что из него ничего не выйдет».

Так и оказалось. Константин обладал всеми признаками неудачника, не знал, чем себя занять, и, по собственному выражению (в письме), «поклонялся Багусу». Отец не называл его иначе как чудаком и, видимо, был

не прочь от него избавиться. Потому-то и попал он на Кавказ, где его преследовали всякие напасти — он часто болел, бедствовал и наконец в 1850 году попросился в отставку. Не имея денег ни на жизнь, ни на обратный путь, он собирался даже поступить в линейные казаки, то есть остаться навсегда вдали от дома. Он молил отца о «вспомоществовании», но тот молчал или присылал гроши. Тогда он стал направлять те же просьбы брату в Петербург. «...Вышли хотя целковых сто пятьдесят на проезд, иначе должен буду итти пешком с мешком, но как я на Кавказе от изнурительных походов лишился совершенно ног, то шествие это будет весьма печальное и долгое», — писал он, пытаясь приправить просьбу шуткой. «Ради бога, не лиши пособия», — плакался он в другом письме. И позднее, уже вернувшись домой: «Мне стыдно и грешно просить тебя, любезный брат, о помощи, зная, как тяжело добываешь ты деньги, но прости меня, ради бога, и помоги, как можешь...»

И брат помогал, посылал. Видимо, он любил Константина и, во всяком случае, очень его жалел. В этом неудачнике он не мог не видеть жертвы отцовского деспотизма, не мог не заметить в нем и некоторых привлекательных черт. Даже в тех немногих письмах, что дошли до нас, сквозят его несомненная честность, прямота, особый юмор. Незаурядность его натуры нашла выражение в необычном стиле этих писем, а также в его стихах.

Да, он писал стихи и не только писал, но даже печатал их в ярославской газете! Вот, например, первые строчки стихотворения, где автор говорит о своих кавказских скитаниях:

В краю чужом, печальный, одинокий,
Заброшенный судьбой по воле провиденья,
Я, затаив тоску в душе моей глубоко,
В уединении ищу отрады и спасенья... [1]

За всем этим угадывается трагедия человека, задавленного средой и обстоятельствами. И невольно думается: ведь такова была бы участь и старшего брата, если бы не его ум, талант и упорство...

Константин Некрасов умел ценить брата, причем в его восторженных словах о нем вовсе нет вполне обычной в

[1] «Ярославские губернские ведомости», 1858, № 47, 22 ноября.

таких случаях зависти к чужим успехам: «...Не все же так счастливы и умны, как ты, брат Николай, не все, подобно тебе, могут проложить себе завидную дорогу одаренным от бога гением». И в том же письме (1857), перечислив свои попытки и неудачи, упомянув о жалкой бедности, закрывающей перед ним все пути, он рассказывал брату:

«Итак, надежды быть порядочным, полезным человеком лопнули, а жить под деспотическим правлением отца мне надоело, слушать оскорбительные для сердца укоризны (из-за какого-нибудь рубля, данного на табак) тоже; надо было искать случая вырваться из этой муки, и я нашел! Отец уехал в Москву, а я женился на молоденькой девушке, душа и карман у которой чисты как хрусталь... Отец страшно сердится на меня и, как слышно, написал духовное завещание, по которому все отказал вам (с чем и поздравляю), — все это ничуть меня не испугало, я знал родительскую душу, и на имение его никогда не рассчитывал».

Есть и еще в этом письме, обращенном к братьям Николаю и Федору, колоритные строки, покоряющие своим простодушием: «Сделайте милость, не удивляйтесь и не сердитесь, что я женился на мещанке, поверьте, что она гораздо умнее этих светских вертячек, у которых головы напичканы непотребными романами... Да, наконец, сравните вы образ одичалой, угрюмой жизни моей с уставами модницы барышни, привыкшей ко всевозможным наслаждениям; ну мне ли, степняку, возиться с этими воздушными метеорами, мне ли постигать силу души их, не бывши ни разу в обществе... Богатых невест на мою долю не оказалось да хоть бы и нашлись, так какая дура согласится иметь мужа дикаря с кавказскими привычками...»

А затем следовал рассказ о том, как отец, вернувшись из Москвы, пришел в ярость, узнав о женитьбе сына, и тут же выгнал молодоженов из дому, проводив их «серо-пегой бранью». «После чего занавес опустился и представление кончилось довольно неудачно», — добавляет автор письма не без горькой усмешки.

О том, что было дальше, мы узнаем из следующего письма Константина к «любезному брату Николаю» — через несколько месяцев. Оказывается, в результате «не очень усладительных» бесед с неудачливым сыном отец определил ему... двенадцать рублей в месяц на содержа-

ние, посоветовав при этом вместо чаю пить воду. Конечно, это была месть за неосмотрительную женитьбу без родительского согласия. А в Петербург в это же время Алексей Сергеевич написал так: «Любезнейший сын и друг Николай... подумай, что нам делать с нашим чудаком, который живет теперь с женою на квартире, почти без куска хлеба».

Интересно, что скаредность Алексея Сергеевича по отношению к сыну имела не только морально-педагогическое, но еще и экономическое обоснование. Об этом мы узнаем также из писем Константина. «Скоро всем придется по миру ходить», — повторял отец при каждом разговоре о деньгах, имея в виду всеобщее оскудение поместного хозяйства. Видимо, слухи о начинавшемся движении вокруг крестьянского вопроса не на шутку тревожили Алексея Сергеевича; во всяком случае, его сын подтверждает это, хотя и в довольно причудливых выражениях: «Политические перевороты в государстве, где мечется мысль об улучшении быта крестьян, охватили кругом родителя...» — сообщал он старшему брату, обращаясь за поддержкой к его «доброму сердцу».

Мытарствам Константина пришел конец только после того, как брат Николай купил неподалеку от Ярославля имение Карабиху; здесь он построил для него небольшой дом (сохранился доныне), где Константин Алексеевич жил вместе с женой Ольгой Федотовной. Она умерла в 1868 году, а он в 1884 году. До самой смерти брат продолжал поддерживать его материально. Константин Алексеевич вместе с Анной Алексеевной был возле брата во время его предсмертной болезни.

Младшему сыну Алексея Сергеевича — Федору было около восемнадцати лет, когда его столичный брат побывал в родных местах. Федор производил впечатление человека неглупого, практического, серьезного. Занимался он хозяйственными делами, кажется, главным образом присматривал за собаками и, насколько известно, в конфликты с отцом не вступал. Брат еще прежде решил, что Федора следует освободить от этих его занятий. Пусть едет в Петербург, там хоть чему-нибудь научится.

И действительно, несколько позже Федор переехал в Петербург и долго был возле брата. В 1850 году он даже некоторое время управлял хозяйственной частью конторы «Современника»; Некрасов писал об этом 9 января Тургеневу: «...Приехал сюда мой брат, он малый дель-

ный, вступил теперь в управление нашей конторой и обнаруживает себя в хорошем свете».

Практицизм Федора Алексеевича особенно пригодился впоследствии, когда брат сделал его управляющим Карабихой, то есть фактическим ее хозяином.

* * *

От поездки Некрасова в Грешнево 1845 года не сохранилось документальных данных. Но несомненно, что она относится к августу — сентябрю: известно, что до конца июля он был в Москве, а с начала октября — в Петербурге. Да и время охоты падает на осенние месяцы. А охотился он много, ибо что же другое можно было делать в Грешневе как не охотиться?

Алексей Сергеевич радовался, когда ему удавалось увлечь сына в свои охотничьи выезды на лошадях, с борзыми и гончими, а тот не любил эти шумные и многолюдные затеи, хотя, по словам сестры, был хорошим наездником и отлично стрелял с лошади. Изредка он все-таки соглашался, чтобы не спорить с отцом. Однажды на охоте и произошел случай, о котором рассказывает Анна Алексеевна:

«...В одной из таких поездок кто-то из охотников... сделал большую ошибку, вследствие которой собака упустила зверя. Отец вышел из себя, в порыве гнева наскочил на виноватого и отдул его арапником. Брат, не говоря ни слова, поворотил лошадь и ускакал домой, вскоре воротился и отец, не в духе и сердитый. Объяснений никаких не последовало, но брат стал избегать отца, — уходил с ружьем и собакой и пропадал по нескольку дней, охотясь за дичью со своим сверстником Кузьмою Орловским... Отец, видимо, скучал — на охоту не ездил. Однажды, когда брат вернулся, отец послал меня непременно уговорить его, чтобы пришел обедать. Обед прошел довольно натянуто, но затем подано было шампанское, за которым и последовало объяснение. Отец горячился, оправдывался, что без драки с этими «скотами» совсем нельзя, что тогда хоть всю охоту распускай, но тем не менее дал слово, что при брате никогда драться не будет, и сдержал его».

Сохранился и еще рассказ, записанный со слов одного из грешневских крестьян, Сергея Полянина, подтверждающий глубину расхождений между отцом и сыном. Полянин запомнил, что они вели горячие споры по

вопросу об освобождении крестьян. Николай Алексеевич доказывал, что нельзя держать людей в неволе, а Алексей Сергеевич спорил с ним и очень сердился. После одной из таких ссор Некрасов-сын уехал и много лет не писал отцу.

Рассказ этот вполне правдоподобен, тем более что после второго приезда Некрасов действительно очень долго не бывал в Грешневе, он приехал, кажется, только в 1853 году.

Переписка же возобновилась несколько раньше. На этот раз Алексей Сергеевич был весьма активен; расположение и уважение его к сыну даже заочно возрастали год от году, конечно, не без некоторой зависимости от его литературных и материальных успехов, а также укрепления связей в обществе, в которых отец до удивления свободно разбирался: в его письмах то и дело мелькают имена чиновных лиц, к которым надлежало обращаться с отцовскими просьбами.

А когда Николай Алексеевич стал в летние месяцы приезжать в Грешнево охотиться, старик всякий раз встречал его как нельзя более гостеприимно. Он высылал лошадей в Ярославль, поднимал суматоху в доме, готовил ружья и всякое охотничье снаряжение...

Рассказывая об этом, Анна Алексеевна добавляет, что в таких случаях отец бывал весел и даже шутил с дворовыми мальчиками, которые под его руководством занимались чисткой и смазкой оружия.

В искренности побуждений, которыми руководился при этом Алексей Сергеевич, можно не сомневаться. Так же, как в искренности некоторых его признаний, обращенных к сыну. Видимо, старость и одиночество делали свое дело. Однажды, после какого-то неизвестного нам случая, когда из Петербурга пришло письмо с выражением неудовольствия отцу, Алексей Сергеевич заговорил в ответ языком, прежде вовсе ему несвойственным: «...прости меня и за то, что ты нашел дурного в моих письмах. Я писал к сыну, которого люблю более всего в свете, не думая, что мои бредни тебя потревожат! Прости меня, и не отнимай лучшего удовольствия получать твои письма, которые я перечитываю по 10 раз...» [1]

Еще больше он забеспокоился, когда узнал из письма

[1] Письма А. С. Некрасова цитируются по изданию «Архив села Карабихи» (М., 1916) с исправлением грамматических ошибок.

сына о его серьезной болезни, обострившейся весной 1853 года: у него заболело горло, начал пропадать голос: он отнесся к этому небрежно и почти не лечился. К тому же врачи, да еще самые лучшие, долго не могли определить характер заболевания и назначали не те лекарства, какие следовало. Мы узнаем об этом от самого Некрасова. «...Что со мной делают лекаря! — писал он Тургеневу 18 августа 1855 года. — Вообрази только себе, что горло у меня болит уже два года, что в течение этого времени это несчастное горло рассматривали по нескольку раз доктора: Пирогов, Экк, Шипулинский, Иноземцев с десятью своими помощниками...», «...чего же они смотрели два года...»

В результате болезнь прогрессировала, и к концу года обнаружилось поражение гортани с полной потерей голоса и кашлем. Вот по этому-то поводу Алексей Сергеевич и писал: «... болезнь твоя тронула меня до глубины души... Что могу сказать в утешение, одна надежда на святое провидение. Неужели оно тебя оставит и лишит меня на старости последнего утешения... Я все готов отдать сейчас для помощи тебе по первому слову...» (29 января 1854 года).

Еще раньше Алексей Сергеевич вспомнил, что у него во Владимирской губернии есть «деревнишка», совсем забытая, но удобная для охотничьих целей. И он вдруг надумал передать ее старшему сыну. Весной 1853 года тот отправился в сельцо Алешунино в надежде на хорошую охоту. И в самом деле, там обнаружилась дичи бездна. Поездка эта не прошла бесследно и для писательской работы Некрасова.

В письмах Алексея Сергеевича к сыну середины 50-х годов все чаще встречаются жалобы на старость, болезни и скуку: «Прошло время жить весело, на долю мою осталось уединение...», или: «Охотиться я уже не в состоянии...» И вот неожиданно Алексей Сергеевич нашел себе развлечение: сумел организовать духовой оркестр из крепостных музыкантов. С чего все это началось, мы не знаем, но уже в январе 1857 года он спешит обрадовать сына: «...Вообрази себе, что у нас теперь девять человек музыкантов, которых обучает довольно знающий музыку отставной унтер-офицер, инструменты из Парижа, *Сакса*, изобретенные для французской гвардии».

Последнее обстоятельство, должно быть, особенно льстило самолюбию скучающего помещика, не пожалевшего денег, чтобы выписать заграничные инструменты.

Однако денег не хватало — ведь и музыкантов и унтера надо было как-то содержать и оплачивать. Под музыкантскую был отведен специальный кирпичный флигель[1] рядом с некрасовским домом. И вот Алексею Сергеевичу пришла счастливая мысль — извлечь практическую пользу из своей затеи. Тогда в «Ярославских губернских ведомостях» (1859, № 3) появилось такое объявление:

«Хор музыкантов, из девяти человек, отпускается как в г. Ярославль, так и другие города и селения. Желающие нанять музыкантов на свадьбу и вечера за сходную цену могут обращаться к помещику Некрасову, живущему в Ярославле, в Вознесенском приходе, в доме купца Хманова. Помещик, отставной майор *Алексей Некрасов*».

Стареющий Алексей Сергеевич буквально заваливал сына своими просьбами и поручениями. Ему нужны были то модная «боярская шапка», то сигары слабые, то памятная книжка для знакомого, то советы врачей, которые лечат сына, то подписка на экономический журнал, то ходатайство в каком-то из департаментов сената. Встречается и просьба купить легкое ружье: «Пусть оно висит у меня перед глазами и напоминает, что и я когда-то был Охотник и порядочный Стрелок».

Надо сказать, что Николай Алексеевич внимательно и корректно исполнял просьбы отца. Тем более, что здоровье отца одно время действительно внушало опасения. Поездка в Москву (воспользовавшись которой успел жениться Константин), лечение у известного доктора Иноземцева не принесли особых результатов. По возвращении домой Алексей Сергеевич решил, что пришло время писать завещание, и даже советовался по этому поводу с сыном Николаем — кому что назначить. Под влиянием ярославских врачей Алексей Сергеевич начал обдумывать поездку за границу для лечения (в письмах его к сыну часто упоминается Карльзбад). В это время в «Ярослав-

---

[1] Он сохранился до нашего времени. Это единственная постройка, уцелевшая от усадьбы А. С. Некрасова. До революции в этом «скромном здании» помещалась чайная «Раздолье» А. С. Титова, купившего у Федора Алексеевича все грешневское имение (75 десятин земли). Теперь здесь библиотека и Народный музей имени Н. А. Некрасова.

ских губернских ведомостях» (1859, 16 апреля) появилось еще одно и, кажется, уже последнее объявление:

«Отъезжает за границу отставной майор Алексей Сергеев Некрасов, при нем дворовые люди Ефим Алексеев, Сергей Семенов и ярославская мещанка вдова Аграфена Федорова».

Однако отъезд за границу по каким-то причинам не состоялся (не исключено, что объявление было дано из тщеславных соображений), а через некоторое время Алексей Сергеевич примерно с той же свитой отправился на кавказские Минеральные Воды. Из письма его к сыну от 25 июля 1859 года мы узнаем, что он лечился в Пятигорске, затем переехал в Кисловодск, где пил по десять стаканов нарзана в день, любовался природой и удивлялся изобилию в тамошних местах серых фазанов и куропаток — «хоть палкой бей».

К возвращению Алексея Сергеевича в родные края весьма недовольный им сын Константин приготовил ему оригинальный сюрприз: он сочинил сатиру в стихах на отца и его спутницу и, недолго думая, напечатал ее в той же ярославской газете (1859, № 31). Подписался инициалами К. Н. Вот отрывок из этих стихов:

Здорово, друг! Из-за границы?
Да как же ты помолодел!
Знать, минеральной там водицы
Довольно ты преодолел...
И посмотри, твоя Гетера
Как хорошеет и цветет:
Повалит, право, гренадера,
А Фомку за пояс заткнет.

Похоже, что вопрос «из-за границы?» был не лишен ехидства, ведь стихотворец отлично знал, откуда приехал помолодевший путешественник. Как он сам реагировал на сатиру — неизвестно. Может быть, не заметил ее, а может быть, не узнал себя? Тем не менее весь эпизод дополняет представление о довольно своеобразной личности Константина Некрасова.

Последние годы жизни Алексей Сергеевич провел в болезнях, в жалобах на одиночество и в посильном сопротивлении времени — наступающей новой эпохе. Он явно начал сдавать позиции, первым показателем явилось

уменьшение знаменитой охоты. С болью в сердце писал он сыну: «Гончих осталось лучших английских четыре и прежних наших семнадцать, лошадей, считая и трех жеребят, тринадцать...» (1861).

Второй показатель — укрощение духа. Было время, Алексей Сергеевич заканчивал свои письма к сыновьям так: «Домашняя сволочь бьет челом до земли». Теперь он выражается уже тихо и деликатно: «Груша [то есть Аграфена] и все домашние наши тебе усердно кланяются...» От прежней его суровости и даже жестокости по отношению к детям не осталось и следа, он скучает и по-стариковски требует от них внимания: «...О детях не имею никакого сведения, тоскую и горюю, что все дети меня забыли» (1861).

И вдобавок ко всему самые неприятные слухи подтвердились: в предпоследний год его жизни было отменено крепостное право. Тут Алексей Сергеевич понял, что почва уходит у него из-под ног, и начал делать отчаянные попытки сохранить прежние порядки в своем имении. Для этого приходилось изобретать новые способы выжимания доходов из вчерашних крепостных. Он сумел уговорить крестьян подписать документ («уставную грамоту»), согласно которому им пришлось бы платить своему недавнему владельцу незаконный и непосильный для них оброк. Это вызвало недовольство, а могло вызвать и волнения среди крестьян. Условия, предложенные Некрасовым, настолько противоречили их реальным возможностям и даже положению 19 февраля, что в это дело вынужден был вмешаться мировой посредник, потребовавший от помещика снижения оброка, то есть соответствующего исправления документа. Помещик, естественно, оказал сопротивление, оттягивал решение вопроса, писал жалобы на действия мирового посредника. А тот прямо записал в одном документе, что ему удалось сохранить «порядок» в имении Некрасова только благодаря решительным мерам, принятым в споре с помещиком.

Вскоре после этой истории, не дождавшись ее конца, Алексей Сергеевич умер (30 ноября 1862 года). Вот почему Некрасов-сын имел все основания сказать, что отец его сошел в могилу, «не выдержав освобождения».

До последнего часа грешневский помещик Некрасов оставался верен себе. Поэт Некрасов понимал это, и тем

не менее в конце жизни он испытал потребность несколько смягчить свои неизменно суровые отзывы об отце. Более того, он считал это делом своей совести. Почему?

Возможно, он не хотел, чтобы будущие читатели судили об отце только на основании его поэтических обличений. Кроме того, оглядывая прошедшие годы, он, видимо, ощутил чрезмерность груза, возложенного им на плечи отца. В свое время он рисовал в стихах картины грешневского быта, а в силу законов искусства получилось так, что фигура отца стала как бы воплощением всех пороков крепостничества.

Это показалось ему несправедливым по отношению к Алексею Сергеевичу. И тогда умирающий Некрасов продиктовал сестре такие слова: «В произведениях моей ранней молодости встречаются стихи, в которых я желчно и резко отзывался о моем отце. Это было несправедливо, вытекало из юношеского сознания, что отец мой крепостник, а я либеральный поэт. Но чем же другим мог быть тогда мой отец? — я побивал не крепостное право, а его лично...»

Однако к этим словам Некрасов сделал очень важное добавление. Он сказал: «Иное дело личные черты моего отца, его характер, его семейные отношения, тут я очень рано сознал свое право и не отказываюсь ни от чего, что мною напечатано в этом отношении».

В пору зрелости, в 50-е годы, Некрасов как поэт и журналист вел борьбу против крепостничества, действуя не менее, а гораздо более активно, чем в предыдущем десятилетии, когда написаны «Родина», «Псовая охота» и др. Однако ему ни разу не случалось затронуть отца или обратиться к грешневской тематике. Нельзя же объяснить это улучшением отношений с отцом! Скорее всего это можно объяснить тем, что кругозор поэта к этому времени необычайно расширился, он перерос грешневскую тематику. А тогда, в 40-е годы, он «побивал» крепостное право через сравнительно узкий круг явлений, знакомых ему с детства, и прежде всего перед ним был образ грешневского помещика. Видимо, такого рода мысли посещали Некрасова в конце жизни.

Но, как бы то ни было, грешневские впечатления

сыграли немалую роль в развитии поэта, в становлении его антикрепостнической лирики.

Связи Некрасова с родными местами ослабели после покупки имения Карабиха, куда он стал ездить на летние месяцы. Алексей Сергеевич в последние годы жил больше в Ярославле, в доме, который он купил на Сенной площади. Здесь он и умер (похоронен в фамильном склепе в селе Абакумцеве, в трех верстах от Грешнева)[1]. А грешневская усадьба, покинутая обитателями, все больше приходила в запустение. Старый дом много лет простоял в развалинах. Наконец в один тихий и ясный день и они были уничтожены внезапным пожаром. Некрасов, «мимоездом» побывавший на пепелище в конце 60-х годов, узнал от крестьян, что дом сгорел днем, в безветренную погоду, так что липы, посаженные его матерью в шести шагах от балкона, едва только закоптились.

— Ведра воды не было вылито, — сказала ему одна баба.

— Воля божья, — ответил на его вопрос о пожаре местный крестьянин не без добродушной улыбки.

Еще при жизни поэта родовая вотчина его предков — «гнездо отцов» — исчезла с лица земли. Только остатки некогда обширного сада еще сохранялись некоторое время. «Куда как глухо там теперь стало, не верится, что в 20 верстах губернский город Ярославль, а в 40 — Кострома», — удивлялся Некрасов. И, вспомнив об этом за несколько месяцев до смерти, он продиктовал брату Константину такие знаменательные слова: «Зато грешневцы теперь сравнительно процветают, пользуясь даже яблоками покинутого сада... Кушайте их на здоровье, беловолосые ребятишки, бегайте в нем сколько душе угодно...»

Так изменились времена.

---

[1] После смерти Алексея Сергеевича Аграфена Федоровна получила (согласно его завещанию) некоторую сумму денег и вышла замуж за мелкого ярославского чиновника. Дальнейшая судьба ее была печальна: потеряв мужа, она впала в нищету, побиралась, ослепла; умерла в одной из некрасовских деревень — Гогулине (сведения сообщены А. Г. Полотебновым в статье «Грешнево и Некрасов». Ярославский край, сб. 1. Ярославль, 1928).

XVI

ОТ ПРОЗЫ К СТИХАМ

Некрасов обычно охотился в лесах трех смежных губерний — Ярославской, Костромской, Владимирской. Но из писем его можно узнать много подробностей еще и об охоте в Новгородской губернии, где он также любил похаживать с ружьем, приезжая сюда ненадолго из Петербурга. Сестра Анна Алексеевна писала, что охота была для него не только забавой, но и «средством знакомства с народом». После общения с крестьянами, наслушавшись их разговоров, он уверял ее, что самый талантливый процент из русского народа отделяется в охотники. И почти всегда привозил из своих странствий запас для будущих произведений.

Осенью 1852 года он часто охотился по линии только что построенной Николаевской железной дороги — первой в России.

«...Эта дорога как будто нарочно пролегает через такие места, которые нужны только охотникам и более никому: благословенные моховички с жидким ельником, подгнивающим при самом рождении, идут на целые сотни верст — и тут-то раздолье белым куропаткам!» Так писал он Тургеневу, тоже страстному ружейному охотнику и знатоку природы, отбывавшему в это время ссылку в Спасском. Некрасов знал, чем лучше всего развлечь своего друга, и потому посылал ему обстоятельные отчеты о своих скитаниях по лесам и болотам.

В письмах Некрасова появляются тоже своего рода «записки охотника». Он делает лаконичные зарисовки природы, сообщает о своих трофеях: «В три мои поездки туда убил я поболее сотни белых и серых куропаток и глухарей, не считая зайцев...»; записывает «новое словечко», услышанное в Новгородской губернии, которое ему очень понравилось: пàморха. «Знаешь ли ты, что это такое? Это мелкий-мелкий, нерешительный дождь, сеющий как сквозь сито и бывающий летом. Он зовется *пàморхой* в отличие от *изморози,* идущей в пору более холодную».

Он рассказывает об унылой и бедной стороне, невероятно дикой, куда еще не проникло изобретение пороха, где неласково встречают людей с ружьем и охотятся на уток особым способом: «Мужик идет по болоту и, завидев молодую утку, старается упасть на нее брюхом, что иногда и удается ему. Не думай, что я шучу. Я это сам видел».

И сколько таких наблюдений выпадает на долю охотника! Чего стоит одна только встреча с бабой, собиравшей в лесу гнилые масляники! Усталые и голодные охотники, потерявшие дорогу, спросили, как пройти в ближайшую деревню Борки, и получили вот какой ответ:

Скинь портки,
Так и дойдешь в Борки, —

и больше ничего нельзя было добиться от этой бабы, глядевшей на господ с ружьями, как заметил Некрасов, «с невероятным озлобленьем» (21 октября 1952 года).

Так он описывал в письме к Тургеневу свои охотничьи приключения. И тут же не забывал напомнить, что пришло время прислать для «Современника» статью о книге С. Т. Аксакова «Записки ружейного охотника» (Тургенев прислал, и статья вскоре была напечатана).

Спустя год Некрасов опять пишет «охотничье» письмо и опять в Спасское, автору «Записок охотника»: «Живу я с конца апреля [1853] в маленьком именьишке моего отца, которое он передал мне, близ города Мурома; деревенской жизнью не тягощусь...» Охота в окрестностях сельца Алешунино оказалась очень недурна: «В мае месяце убито мною 163 штуки красной дичи, в том числе дупелей, бекасов, вальдшнепов и гаршнепов 91 штука».

Пожив в заброшенной деревне, набравшись новых впечатлений в общении с крестьянством и с природой, Некрасов вскоре задумал роман на живую современную тему. В сохранившихся главах этого незаконченного романа (он озаглавлен «Тонкий человек») легко заметить сочетание двух линий, двух жизненных пластов: городского, столичного, и поместного, деревенского. Отсюда образы двух молодых дворян, задумавших совершить путешествие во Владимирскую губернию, картины природы, охоты, крестьянского труда, образы крепостных.

«Тонкий человек» — одно из тех произведений, которые показывают, что Некрасов был одаренным проза-

иком, хотя его возможности в этой области не развернулись до конца. Он сам относил этот незавершенный роман к лучшим своим сочинениям в прозе (наряду с «Петербургскими углами»), считая его достойным «возобновления» когда-нибудь для будущих читателей.

Тростников, как бы представляющий в романе автора, едет вместе со своим приятелем Грачовым, богатым петербургским барином, в его имение на берегу Оки, недалеко от Мурома. Несомненно, в описании этой поездки, весеннего разлива рек, не раз преграждавшего путь двум друзьям, в изображении усадьбы Грачова, затопленных деревень и тамошних крестьян, никогда не видевших своего барина, отразились впечатления Некрасова от его пребывания в «именьишке» Алешунино ранней весной и летом 1853 года. Это подтверждают и подлинные географические названия, сохраненные в тексте, и описания природы Владимирской губернии, и реальные биографические штрихи (в частности, в романе описана любимая охотничья собака Некрасова по кличке Раппо).

Но не так уж важны источники повествования и споры о том, какое конкретное лицо имел в виду автор, рисуя образ Грачова. Гораздо важнее, что он не пощадил Грачова и обошелся с ним довольно сурово. Он тщательно и подробно нарисовал портрет «тонкого человека», дворянского интеллигента с его жалобами на скуку и разочарование, с его мнимым отвращением к той жизни, которую он ведет, с его громкими словами о необходимости переменить эту жизнь, отказавшись от друзей, женщин, карт, оперы, и уехать навсегда в деревню, чего он никогда не сделает. Он рассказал и о тщеславии своего героя, и о его самодовольстве; ничего по-настоящему не зная, он был «знаток решительно во всем: в женщинах, в музыке, в лошадях, в литературе, в астрономии, в политике». Он указал, наконец, едва ли не главную черту, в которой люди этого типа находят удовлетворение своему самолюбию: «...Я человек необыкновенно тонкий», — думает наш друг Грачов...»

Но полнее всего образ мыслей и характер «тонкого человека» раскрываются в его отношении к народу, к мужику, о котором у него свои понятия. Вот одна сцена из некрасовского романа: молодой ямщик, стараясь помочь путникам, которых задержало половодье, решается верхом на лошади пуститься вплавь по затопленному лесу.

«— Воротись, сумасшедший!—строго крикнул Тростников.

— Оставь его, душа моя, — сказал Грачов, — нам же лучше, он поторопит мужиков.

— А как потонет?

— Ну, вот, потонет!

— Или простуду схватит: теперь не лето.

— Вот еще! Да разве они когда простужаются? О чем вздумал беспокоиться! Право, ты шутник.

И он расхохотался.

Пусть не подумает читатель, — продолжает автор, — что герой наш имел злое сердце; нет, он был добр, и не было щедрее его человека, когда дело шло о том, чтоб вознаградить труд мужика... Но только он держался такого мнения, что мужик одарен железным здоровьем, что он не должен знать ни усталости, ни болезней и что нет такого труда, который непозволительно было бы взвалить на плечи русского мужика...»

В соответствии с этим разъяснением автора находятся и другие суждения Грачова — об отсутствии чувства природы у крестьянина, о его равнодушии к жизненному благополучию, о том, что жителям затопленной деревни, среди которых есть и дети и больные, даже полезно жить почти под открытым небом, в жалких шалашах, потому что в это время они дышат воздухом, а вода очищает и промывает их жилища.

Словом, писатель нашел возможность с разных сторон представить читателю либерального помещика Грачова; в сущности, его следует рассматривать как одну из ранних разновидностей того социального типа, разоблачение которого в дальнейшем станет предметом некрасовской сатиры. Фигура Грачова занимает свое место где-то посередине между помещиком Данковым, бегло обрисованным в «Трех странах света», и Агариным из поэмы «Саша», создававшейся в те же годы, что и «Тонкий человек».

В романе есть примечательное место, где упомянуты «петербургские приятели» двух путешественников. Их зовут Ильмéнев, Горновский, Лодкин. Нетрудно догадаться, что подразумеваются Тургенев, Грановский, Боткин. На их авторитет ссылается Грачов в спорах с Тростниковым о крестьянах, но тот отзывается о столичных приятелях с явной иронией.

Автор же добавляет от себя: «...их приятели были, точно, люди или, вернее сказать, говоруны умные, блистательно образованные и начитанные, и Тростников сам уважал их мнение не менее Грачова, однако ж он остался при своих мыслях о предмете спора...» Эти слова характерны для отношения Некрасова к тем из либеральных литераторов, кто был связан с ним работой в «Современнике»: среди них были люди, мнение которых он уважал, постоянно им интересовался.

Ценное свидетельство об этом оставил П. В. Анненков; по его словам, Некрасов «обладал такой широтой разумения, что понимал истинные основы чужих мыслей и мнений, хотя бы и не разделял их» (из письма к А. А. Буткевич, 1879).

Так определяется в романе общественная позиция автора. Характерно, что Тростников, говорящий от его имени, во всем противоположен Грачову, особенно же в отношении к крестьянству. Он любуется мужеством и силой ямщиков, верит в возвышенные чувства простого крестьянина, хотя не может не замечать его темноты и неразвитости. Он с негодованием слушает рассуждения Грачова на эти темы. Картины крестьянского труда сливаются в сознании автора — Тростникова — с картинами природы, ее весеннего цветения: «Молодо-зелено, куда ни кинь глазами...»

Как раз на этих страницах некрасовской прозы в рассказе о половодье впервые появляются те беспомощные зайцы, застрявшие на окруженных водою островках, каких наблюдал, конечно, сам Некрасов во время весеннего путешествия на лодке. А спустя много лет он рассказал о них в знаменитых теперь стихах, посвященных русским детям («Дедушка Мазай и зайцы»).

Все это написано с любовью к природе, с поэтическим воодушевлением и — местами — в ясно ощутимой гоголевской стилистической манере, — она видна в рассуждениях о пестроте весеннего поля, еще не тронутого сохой земледельца, в замечаниях о меткости народного слова-прозвища, в развернутых сравнениях.

Если в предыдущем прозаическом сочинении Некрасова — романе «Три страны света» — мы встречали еще декларативные признания в любви к мужику, то в «Тонком человеке» даны подробные зарисовки сельской жизни, с симпатией обрисованы люди крепостной деревни, опоэтизирован их труд, показаны их быт и от-

ношения к помещикам, впрочем, пока еще довольно идиллические.

Первые четыре главы «Тонкого человека» Некрасов напечатал в январском номере «Современника» за 1855 год (последнюю из них составляет драматическая сцена «За стеной», которая справедливо считается лучшим произведением Некрасова в этом жанре). Остальные главы незавершенного романа были разысканы и опубликованы К. И. Чуковским только в 1928 году.

Почему Некрасов оставил незаконченным роман, значительная часть которого уже была написана? Вряд ли можно предполагать, что одной из причин была болезнь автора, усиление которой относится примерно ко времени поездки в Алешунино. Ведь болезнь не помешала же его работе над «Сашей» и другими произведениями!

Гораздо важнее, что в середине 50-х годов Некрасова неудержимо тянуло к стихам, форме, более ему свойственной, в которой ему легче, естественнее было выражать свои мысли и чувства. Не говоря уже о том, что какое-нибудь «опасное» стихотворение можно было озаглавить «Из Ларры» и выдать за перевод с испанского.

Некрасову принадлежат важные замечания о стихах и прозе. В одной из рецензий 1854 года[1] он судил об этом так: «...различие между стихами и прозой не есть только внешнее: оно обусловливается самым содержанием литературного произведения». Кроме того, дело прозы — анализ действительности, способность передать оттенки мысли, все изгибы психологического развития характеров; а поэт «одним образом, одним словом, иногда одним счастливым звуком достигает той же цели, как бы улавливает жизнь в самых ее внутренних движениях; без этого... дара напрасно станет писатель пригонять рифму к рифме и строчку к строчке...»

Тяга к стихам заметно усилилась у Некрасова к концу «мрачного семилетия». Если в августе 1853 года Грановский, встретивший больного поэта в Москве, свидетельствовал, что он пишет мало стихов («не до стихов мне, говорит он»), то всего через несколько месяцев,

[1] Рецензия на «Повесть в стихах» Н. Д. Хвощинской включена в «Полное собрание сочинений и писем» Некрасова (т. 9, 1950, стр. 670—673) с оговоркой; однако принадлежность ее Некрасову нам кажется несомненной.

в ноябрьском письме к Тургеневу, Некрасов говорит уже совсем другое. По-прежнему жалуясь на болезнь горла и крайнюю раздражительность нервов, он сообщает своему другу: «...и вдобавок — стихи одолели — т. е. чуть ничего не болит и на душе спокойно, приходит муза и выворачивает все вверх дном...»

И не прошло и года после этого признания, как, бродя с ружьем вместе с Тургеневым в лесах вокруг Спасского, он прочел ему новые стихи. Мы узнаем об этом из очередного письма к Ивану Сергеевичу: «Помнишь, на охоте как-то *прошептал* я тебе начало рассказа в стихах — оно тебе понравилось; весной нынче в Ярославле я этот рассказ написал...»

Прошептал, потому что почти не было голоса, из-за болезни; рассказ в стихах — поэма «Саша». Весна 1855 года в Ярославле — время поэтического взлета, когда было уже явно не до «плоской прозы»: «Весной нынче я столько писал стихов, как никогда, и, признаюсь, в первый раз в жизни сказал спасибо судьбе за эту способность: она меня выручила в самое горькое и трудное время» (из письма Тургеневу 30 июня 1855 года).

Почему это время было таким трудным?

Несчастья в самом деле преследовали Некрасова. В апреле заболел и умер его маленький сын Иван, и эта смерть потрясла и Авдотью Яковлевну («Потеря моего сына меня слегка свихнула с ума», — писала она) и его, о чем с большой силой рассказано в стихотворении «Поражена потерей невозвратной». Кроме того, болезнь самого Николая Алексеевича прогрессировала настолько, что он уже терял надежду на выздоровление. «Я болен — и безнадежно», — писал он Л. Н. Толстому в январе того же 1855 года, а 30 июня жаловался Тургеневу на «медленное умирание». И вот в такое время он не только не перестал писать, но писал, как никогда, много стихов, и это даже «выручило» его, помогло преодолеть горести.

Была и объективная причина для усиленного писания стихов: после смерти Николая I их стало относительно легче печатать. У «Современника» появился новый цензор — В. Н. Бекетов, обнаруживший некоторую заинтересованность в литературе и даже либеральные тенденции. Правда, злые языки утверждали, что относительная смелость его объяснялась тем, что он находился в родстве со всемогущим графом Мусиным-Пушкиным,

возглавлявшим цензурное ведомство. Как бы то ни было, но Бекетов заметно отличался от других цензоров, в редакции быстро ощутили известное послабление. «Присылай, если что-нибудь есть, в «Современник», — просил Панаев Тургенева. — Теперь — скажу по секрету — у меня цензор отличный, умный и благородный. Это может оживить журнал». А сотрудник редакции Елисей Колбасин в своих воспоминаниях уверял даже, что новый цензор неоднократно сам уговаривал Некрасова «вернуться к своей замолкнувшей музе» и что эти просьбы будто бы оказали влияние на ее «производительность».

Разумеется, Некрасов вряд ли нуждался в таких уговорах. Стихи его гораздо чаще стали появляться в журнале. И не потому, конечно, что их поощрял Бекетов, а потому, что шел к концу период «мрачного семилетия» (этим же, конечно, объясняется и само появление благородного цензора!). Приближались большие перемены в русской жизни, повеяло свежим ветром.

* * *

Среди стихов этого времени главное место занимает поэма «Саша», оттеснившая работу над прозой и в то же время связанная с этой прозой многими нитями. И образ главного героя, и некоторые сюжетные мотивы сближают «Сашу» с «Тонким человеком», подтверждая, что оба произведения, писавшиеся в одно время, питались во многом одинаковыми жизненными впечатлениями.

Разоблачив барство и никчемность Грачовых, Некрасов, видимо, ощутил потребность создать более определенный или, может быть, более характерный для времени тип «современного героя». Так возник Агарин. Противопоставить ему он счел нужным уже не дворянина с демократическими убеждениями (образ Тростникова), характер, сложившийся еще в предыдущем десятилетии и во многом близкий самому Некрасову, а иной общественный тип, только народившийся, но уже подмеченный зорким взглядом художника. Новое поколение людей, едва разбуженное временем, уже заявило о своей жажде реальной деятельности и о решимости согласовать слово с делом.

Так была задумана Саша — один из светлых женских образов русской литературы. И не случайно, конечно, поэт сделал носителем положительных идеалов именно

девушку. Так уж повелось с пушкинской Татьяны, что русские писатели в XIX веке обычно женскими устами произносили свой суд над нерешительными или не находящими себе занятия мужчинами (в этом была своя закономерность, отразившая исторический факт — появление женщины в общественном движении).

Сопоставление неоконченного романа и поэмы еще раз подтверждает, что Некрасов все-таки не был рожден прозаиком. Рассказать о сложной и нежной Сашиной душе, о ее печалях и тревогах, о ее близости к природе, к родным полям и лугам ему было легче в стихах, в поэме. Но материал прозы еще тяготел над ним, и это легко заметить, сравнив два сочинения.

И «Тонкий человек» и «Саша» насыщены картинами природы. Видно, что одно время года, одни и те же пейзажи стояли перед взором художника. Весенний разлив, занявший столько места в неоконченном романе, появился и в поэме:

Красное солнце растопит снега,
Реки покинут свои берега, —

Чуждые волны кругом разливая,
Будет и дерзок, и полон до края

Жалкий овраг...

В романе читаем: «Выехав из оврага, ... они круто поднялись на высокий бугор, и глазам их открылась вся низменная... местность. Это были почти сплошь поемные луга, ...уже зеленевшие теперь первыми побегами молодой травы». В поэме:

...Но уже зреет на ниве поемной,
Что оросил он волною заемной,

Пышная жатва...

Интересно сравнить и картины крестьянского труда, запечатленные как в прозе, так и в стихах, и мысли об отношении крестьянина к земле, иногда совпадающие почти дословно. В романе: «Крестьянин видит перед собой поля, ...облитые его потом и кровью, ...видит и бессознательно любит их...» (слова Тростникова в передаче Грачова). И еще: «Равно любит мужичок каждую свою полосу... Вот уже начал он трудное свое дело... Поля усе-

яны работающими крестьянами — одни пашут, другие уже начали сеять яровое». В поэме:

Вот по распаханной, черной поляне,
Землю взрывая, бредут поселяне —

Саша в них видит довольных судьбой
Мирных хранителей жизни простой:

Знает она, что недаром с любовью
Землю польют они потом и кровью...

Весело видеть семью поселян,
В землю бросающих горсти семян...

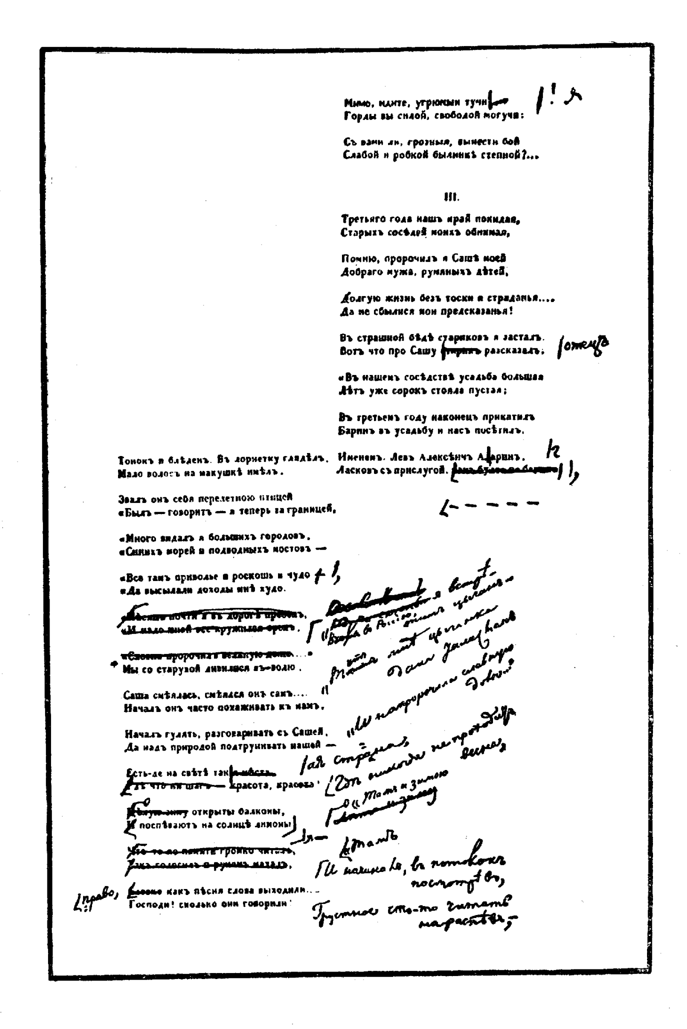
Разумеется, дело не в отдельных словесных совпадениях, а в единстве жизненного материала и мысли. Эти сопоставления позволяют ощутить, как важен был для поэта переход к стихам, — в них он легко добивался того, чего не мог достичь в прозе (лиризма, большей емкости образов).

Вот пример. В некрасовском романе крестьяне сеют яровое, бросают зерна в землю, — перед нами картина полевых работ, и только. Но та же тема сева в финале поэмы приобретает значение художественной аллегории. Мы не знаем, как сложится судьба Саши (ведь действительность еще не давала материала для ее изображения), но заключительные строки указывают на будущую «пышную жатву» на «ниве поемной»:

В добрую почву упало зерно —
Пышным плодом отродится оно!

Конечно, не о земле и не о зерне, а о славной судьбе Саши говорят эти мажорные строки, о будущем ее развитии, а может быть, и о будущей деятельности.

Нынешние же занятия Саши пока еще более чем скромны: «Бедные все ей приятели-други: Кормит, ласкает и лечит недуги». Да и чем же еще могла бы она заняться в деревне в свои восемнадцать-девятнадцать лет, одна, живя с не понимающими ее родителями (кстати, здесь уже намечен ранний конфликт между «отцами» и «детьми»). Нет необходимости, хотя это иногда делают, преждевременно причислять Сашу к числу женщин, «идущих в революцию» или занимающихся «общественной деятельностью». Сила Саши ведь не в том, что она пишет письма под диктовку мужичков или лечит травами окрестных баб. Для этого довольно иметь доброе сердце.



Мимо, идите, угрюмыя тучи —
Горды вы силой, свободой могучи:

Съ вами ли, грозныя, вынести бой
Слабой и робкой былинкѣ степной?..

III.

Третьяго года нашъ край покидая,
Старыхъ сосѣдей моихъ обнимая,

Помню, пророчилъ я Сашѣ моей
Добраго мужа, румяныхъ дѣтей,

Долгую жизнь безъ тоски и страданья....
Да не сбылися мои предсказанья!

Въ страшной бѣдѣ стариковъ я засталъ.
Вотъ что про Сашу ~~старикъ~~ разсказалъ:

«Въ нашемъ сосѣдствѣ усадьба большая
Лѣтъ уже сорокъ стояла пустая;

Въ третьемъ году наконецъ прикатилъ
Баринъ въ усадьбу и насъ посѣтилъ.

Имененъ. Левъ Алексѣичъ Агаринъ.
Ласковъ съ прислугой.

Тонокъ и блѣденъ. Въ лорнетку глядѣлъ,
Мало волосъ на макушкѣ имѣлъ.

Звалъ онъ себя перелетною птицей
«Былъ — говоритъ — а теперь за границей,

«Много видалъ я большихъ городовъ,
«Синихъ морей и подводныхъ мостовъ —

«Все тамъ приволье и роскошь и чудо
«Да высылали доходы мнѣ худо.

~~«Мѣсяцъ почти я въ дорогѣ пробылъ,~~
~~«И надо мной все кружилися орлы.~~

~~«Словно пророчилъ веселую долю...~~»
Мы со старухой дивилися въ-волю.

Саша смѣялась, смѣялся онъ самъ....
Началъ онъ часто похаживать къ намъ,

Началъ гулять, разговаривать съ Сашей,
Да надъ природой подтрунивать нашей —

Есть-де на свѣтѣ так~~ія мѣста~~
~~Гдѣ что ни шагъ~~ — красота, красота!

~~Круглую зиму~~ открыты балконы,
И поспѣваютъ на солнцѣ лимоны.

~~Что-то по памяти громко читалъ,~~
~~Такъ голосомъ и руками махалъ.~~

~~Словно~~ какъ пѣсни слова выходили...
Господи! сколько они говорили!

Корректура поэмы «Саша» с правкой автора.

Новизна и значение образа Саши в другом: Саша привлекает своей устремленностью ко всему светлому, жаждой знания, любовью к труду, к природе, нравственной цельностью, скрытыми возможностями ее натуры. В ней пробудилось сознание, и она постоянно «думает думу», «книжки читает, украдкою плачет». Можно заключить,

что это сильный характер, что Саша готовит себя к какой-то еще ей самой неясной деятельности на благо народа.

И еще можно сказать, что из таких, как Саша, формировалось поколение «новых людей» — женщины — шестидесятницы и семидесятницы. Одни из них походили на Елену, героиню романа Тургенева «Накануне», другие больше напоминали Веру Павловну (в романе «Что делать?» Чернышевского). Девушки, подобные Саше, отправлялись в города, поступали на курсы, открывали мастерские, шли в учителя и акушерки, возвращались в деревню. Они горели одним бескорыстным желанием — отдать свои силы народу. Такое будущее ждало, вероятно, и Сашу — этот ранний прообраз «новых людей», увиденных поэтом в исторической перспективе.

В поэме «Саша», как ни в одном из предыдущих произведений Некрасова, мощно звучит лирическая тема и торжествует светлое начало, связанное с образом главной героини. Этому способствует финал поэмы, где само потрясение, испытанное Сашей, раскрывается как благотворное и необходимое: «...благодатна всякая буря душе молодой — зреет и крепнет душа под грозой». Этому способствует и вводная глава поэмы, в которой преобладают мотивы, тесно сплетенные с обращением к природе. У Некрасова так бывало всегда. Переполненный злобой и гневом, оглушенный жизненным шумом, он только в близости к природе, в ее «врачующем просторе» находил хотя бы временное успокоение. «Природа — спасибо ей — действует еще на меня благодетельно — и телом я бодрее и на душе легче, возвращаешься домой успокоенный...» — так писал он в 1857 году Л. Н. Толстому. А в стихах, особенно более поздних, это один из постоянных мотивов. Вот стихотворение «Надрывается сердце от му́ки»:

Мать-природа! иду к тебе снова
Со всегдашним желаньем моим —
Заглуши эту музыку злобы!
Чтоб душа ощутила покой...

Так и в первой главе «Саши». Вид знакомых нив, сладкий шум леса, долгая песня пахаря заставляют умолкнуть «озлобленный ум» поэта и пролить «накипев-

шие слезы». Растроганный мирными и грустными картинами, он восклицает: «Злобою сердце питаться устало — Много в ней правды, да радости мало...»

Эти «примирительные» мотивы были радостно встречены в тех литературных кругах, где не одобряли критического пафоса некрасовской поэзии. Не обратив внимания на общую социальную тенденцию поэмы, ее на основании первой главы восприняли как разрыв Некрасова с его обличительной, гражданской музой. Боткин поспешил заверить Некрасова, что в Москве поэма больше чем понравилась — «об ней отзываются с восторгом». Аполлон Григорьев в большой статье о Некрасове, напечатанной в журнале «Время», дал высокую оценку его творчеству; в поэме «Саша» он особенно выделил картины природы: «Тут все пахнет и черноземом, и скошенным сеном; ...тут все живет, от березы до муравья или зайца, и самый склад речи веет народным духом». Отметив с удовлетворением, что «сердце поэта перестало питаться злобою», критик, однако, ни слова не сказал о тех главах поэмы, где если не со «злобой», то с достаточной прямотой и суровостью сказано о «современном герое».

По-иному оценили замысел «Саши» и сущность ее героя критики-демократы. Добролюбов в статье «Что такое обломовщина?» отнес Агарина к числу «лишних людей», отмеченных печатью обломовщины; Чернышевский увидел в этом образе обличение дворянского либерализма.

Бесспорно, герой поэмы заслуживает осуждения. Он рыщет по свету в поисках «исполинского дела», хотя — «ленив и на дело не годен». Он лишен твердости в поступках, самостоятельности в мыслях и с легкостью меняет свои убеждения:

Что ему книга последняя скажет,
То на душе его сверху и ляжет...

Сам на душе ничего не имеет,
Что вчера сжал, то сегодня и сеет...

Такая характеристика «современного героя» никак не свидетельствовала о «примирительном» настроении автора. Не свидетельствуют об этом и сказавшиеся в поэме любовь поэта к свободе и чувство горечи по поводу долготерпения русского народа:

В ком не воспитано чувство свободы,
Тот не займет его; нужны не годы —

Нужны столетья, и кровь, и борьба,
Чтоб человека создать из раба.

Можно ли все это принять за отказ от обличения и отрицания? Нет, цензура недаром неохотно пропускала «Сашу» в печать.

По вопросу о «злобе» и «примирении», о любви и ненависти в поэзии Некрасова высказал свое мнение и Л. Н. Толстой. В письме к Некрасову из Ясной Поляны от 2 июля 1856 года он прямо заявил, что не одобряет всеобщего увлечения «отрицательным» направлением Некрасова, но зато ценит его последние стихи, то есть, по всей вероятности, «Сашу». «...человек желчный, злой, — утверждал Толстой, — не в нормальном положении... Поэтому ваши стихи мне нравятся, в них грусть, то есть любовь, а не злоба, то есть ненависть. А злобы в путном человеке никогда нет, и в вас меньше, чем в ком другом. Напустить на себя можно, можно притвориться картавым, и взять даже эту привычку. Когда это нравится так. А злоба ужасно у нас нравится».

Некрасов решительно не принял предположение, будто желчь и злость в его стихах напускные, нечто вроде угождения модному поветрию. Он подробно разъяснил это в ответном письме Толстому, пытаясь развеять благодушное «яснополянское» настроение писателя, к тому же находившегося в это время под прямым влиянием Дружинина и его представлений о том, что в литературе должны выражаться только «добрые» и радостные чувства.

«Вам теперь хорошо в деревне, — писал Некрасов, — и Вы не понимаете, зачем злиться; Вы говорите, что отношения к действительности должны быть здоровые, но забываете, что здоровые отношения могут быть только к здоровой действительности. Гнусно притворяться злым, но я стал бы на колени перед человеком, который лопнул бы от искренней злости — у нас ли мало к ней поводов? И когда мы начнем больше злиться, тогда будем лучше, — то есть больше будем любить — любить не себя, а свою родину» (22 июля 1856 года).

Эти слова полны высокого патриотизма. И не так уж существенно, за что именно похвалил Толстой Некрасова — за «Сашу» или за другие стихи, прочитанные им в первых книжках «Современника» 1856 года. Важно, что Некрасов, ни слова не говоря о стихах, отклонил похвалы за «незлобивость», не согласился с рассуждениями о вре-

де «ненависти» и постарался убедить Толстого в своей правоте.

Он слишком высоко ценил автора «Севастопольских рассказов» и потому через месяц снова писал ему о своем понимании задач литературы и роли писателя в России. Эта роль не может сводиться к проповеди одной только «всеобщей любви», как казалось тогда Толстому. Некрасов горячо внушал ему свои взгляды, потому что прозорливо угадывал в нем «великую надежду русской литературы». Для литературы, писал он Толстому, «Вы уже много сделали и... еще более сделаете, когда поймете, что в нашем отечестве роль писателя — есть прежде всего роль учителя и, по возможности, заступника за безгласных и приниженных» (22 августа 1856 года).

* * *

В письме к Толстому Некрасов высказал свои выношенные и выстраданные убеждения. Он сам ощущал себя заступником «за безгласных и приниженных», в этом видел призвание литератора. Он помнил уроки Белинского, образ которого всегда стоял перед его глазами. Еще за год до письма Толстому Некрасов напечатал в «Современнике» стихотворение «Русскому писателю», где выразил те же мысли.

В разных произведениях этих лет Некрасов настойчиво возвращался к теме, которую считал особенно важной — о роли литературы в воспитании общества, в пробуждении народного сознания, в решении насущных общественных вопросов. Потому-то, осуществляя на практике свое представление о гражданской миссии писателя, он сумел коснуться едва ли не всех сторон тогдашней жизни, бестрепетной рукой вскрывая ее язвы. Вряд ли можно назвать другого русского писателя середины века, который делал бы это с такой широтой взгляда и художественной смелостью.

Множество стихов написано им в 1853—1855 годах, в последние годы николаевской реакции (разумеется, далеко не все эти стихи можно было тогда же напечатать). Деревенские впечатления этих лет, может быть, те самые, что легли в основу «Тонкого человека», породили безотрадные картины крестьянской жизни в таких стихах, как «Отрывки из путевых записок графа Гаранского», «В деревне» (плач одинокой старухи, потерявшей

сына-кормильца), «Забытая деревня», «Несжатая полоса» с ее щемящим настроением — «грустную думу наводит она».

Впрочем, «Несжатая полоса» не просто сельская картина и рассказ о больном пахаре. Стихотворение это, несомненно, имеет аллегорический характер.

Написано оно в те дни, когда поэта посещали сомнения в своих силах, в своих стихах («Но не льщусь, чтоб в памяти народной уцелело что-нибудь из них...»), когда его преследовали мысли о тяжелой болезни (это нашло отражение в трех «Последних элегиях», относящихся к 1853—1855 годам, и во многих других стихах). В «Несжатой полосе» на вопросы «колосьев» —

Ветер несет им печальный ответ:
— Вашему пахарю моченьки нет.

Знал, для чего и пахал он и сеял,
Да не по силам работу затеял.

Плохо бедняге — не ест и не пьет,
Червь ему сердце больное сосет...

...Очи потускли и голос пропал,
Что заунывную песню певал...

«Да не по силам работу затеял»! Ведь эта мысль повторяется и в тех некрасовских стихах, где речь идет заведомо о себе. Например, в «Последних элегиях»: «Я, как путник безрассудный, ...Не соразмерив сил с дорогой трудной...»

Другие же некрасовские стихи о деревне лишены субъективной окраски, характерной для «Несжатой полосы». Острым сарказмом проникнута сатира, облаченная в форму «путевых записок» некоего графа Гаранского. Примечательна сама фигура этого аристократа-космополита, путешествующего по русской земле, вовсе ему незнакомой. Эта социальная черта — оторванность от родины, характерная для части либерального барства, постоянно привлекала внимание Некрасова. Вспомним, как еще в «Тонком человеке» Тростников горячо упрекал Грачова:

«— Что ты знаешь о своем имении? ...Ты больше знаешь о Париже, чем о своем Грачове».

Примерно тогда же из чужих краев явился в родные

места Лев Алексеич Агарин, герой «Саши». «Звал он себя перелетною птицей: «Был, — говорит, — я теперь за границей...» Поэт не забывает отметить, что во время прогулок с Сашей он «над природой подтрунивал нашей».

И вот граф Гаранский. Примерно тогда же он посетил забытое отечество и начал знакомиться с ним из окна своей кареты. В отличие от других «русских иностранцев» он остался доволен «громадностью» здешней природы, ее просторами; что же касается человеческих отношений, то тут он оказался очень далек от всякой реальности. Этим и воспользовался Некрасов: глазами графа он решил показать рабский труд угнетенных крестьян, поскольку знатному путешественнику он казался всего лишь излишним трудолюбием:

...Я видеть их привык
В работах полевых чуть не по суткам целым.
Не только мужики здесь преданы труду,
Но даже дети их, беременные бабы —
Все терпят общую, по их словам, «страду»,
И грустно видеть, как иные бледны, слабы!
...Но должно б вразумлять корыстных мужиков,
Что изнурительно излишество в работе.

И дальше граф Гаранский делает совершенно невероятное предположение, ему кажется, будто те фигуры в немецкой одежде, что бродят с нагайками в руках между работающими в поле, поставлены для того, чтобы удерживать мужиков от вредного для их здоровья усердия к труду...

Правда, у самого графа тоже имеется немец-управитель; но, проезжая через собственные владения и почти не задержавшись в своей явно «забытой деревне», граф из окна той же кареты успел заметить, что управитель выглядел между мужиков как «отец и покровитель». «Чего же им еще?!» — восклицает граф.

Но даже эта едва прикрытая ирония не так испугала цензуру, как те рассказы крестьян, что со всех сторон слышит Гаранский, — про помещиков-лиходеев и управителей-грабителей, про дикие нравы крепостников-феодалов. Не случайно, конечно, стихотворение при жизни Некрасова ни разу не было напечатано полностью, а рассказ ямщика о расправе крестьян с помещиком

(«Да сделали из барина-то тесто») увидел свет только в советское время.

В журнале Некрасов и не пытался напечатать своего «Гаранского». А разрешив эти стихи уже во время ослабления цензурного террора (для сборника 1856 года), чиновники сильно их искалечили, но все-таки не запретили вовсе. Видимо, сыграла свою роль хитроумная концовка стихотворения: в заключительных словах Гаранский как бы от лица «хороших» помещиков открыто обличает помещиков грубых и жестоких (с оговоркой: если они есть), считая, что они бросают тень на все сословие, и даже призывает на помощь сатиру:

...А если точно есть
Любители кнута, поборники тиранства,
Которые, забыв гуманность, долг и честь,
Пятнают родину и русское дворянство —
Чего же медлишь ты, сатиры грозной бич?..

Конечно, Гаранский говорит это от лица либеральных бар, над которыми смеется Некрасов. И призывы его к сатире — это одна видимость, пустые слова, ибо сатира, которой требует Гаранский, не идет дальше обличения «дурных» помещиков.

Язвительная ирония некрасовских строк, видимо, не дошла до цензоров, принявших стихи всерьез; кто-то из них даже отметил, что автор стихотворения «имел благую цель при сочинении этих отрывков», хотя и не достиг этой цели.

Крестьянскую тему этого времени в лирике Некрасова увенчивает «Забытая деревня». Самая ситуация, изображенная в ней, характерна для предреформенной поры, когда помещики, живущие в столицах или гулявшие за границей, забывали начисто о своих наследственных владениях, перекладывали все хозяйственные и прочие заботы на плечи управляющих (часто немецкого происхождения) и с этого времени интересовались только регулярностью получения доходов.

И деревня порой годами ждала неведомого барина (его смутно помнили разве только глубокие старики), надеясь, что он-то уж, наверное, решит все больные вопросы, уладит все споры и конфликты: «Вот приедет барин...»

Еще в «Тонком человеке» мы встретили «забытую деревню» Грачово, куда почти случайно, впервые в жизни заехал ее владелец. Затем видели графа Гаранского, прочно забывшего свою деревню и буквально промелькнувшего перед мужиками. Все эти зарисовки приняли характер глубокого обобщения в стихотворении «Забытая деревня», написанном 2 октября 1855 года. В нем всего тридцать строк, но они отличаются удивительной емкостью. Перед нами три эпизода, три сцены, и в каждой свои действующие лица, своя жизненная ситуация. В них запечатлены те случаи деревенской жизни, когда, по убеждению крестьян, никто, кроме барина, помочь не может. «Вот приедет барин!» — повторяют хором...

Но идут годы, а «барина все нету...». Уже все переменилось в деревне, кто постарел, кто умер, кто угодил в солдаты, — «барин все не едет!».

Наконец однажды середи дороги
Шестернею цугом показались дроги:
На дрогах высоких гроб стоит дубовый,
А в гробу-то барин, а за гробом — новый.
Старого отпели, новый слезы вытер,
Сел в свою карету — и уехал в Питер.

Рассказ поэта об этой простой, казалось бы, истории имел большой общественный резонанс. Цензор, разрешивший к печати «Забытую деревню», был отстранен от должности. Стихотворение, считавшееся запретным, ходило по рукам в списках, хранение и распространение их преследовалось. Оказывается, многие современники восприняли эти стихи как памфлет на тогдашнюю Россию, как аллегорическое изображение смены двух царей: место недавно умершего Николая I занял Александр II, но ничего не изменилось в забытой богом стране; и старый и новый правители одинаково равнодушны к нуждам народа.

Возможность такого толкования некрасовских стихов, хотя и с опозданием, заметили и власти. После появления их в печати (1856) один из цензурных чиновников сообщал об этом, впрочем, довольно осторожно, в рапорте министру просвещения: «Видимая цель этого стихотворения — показать публике, что помещики наши не вникают вовсе в нужды крестьян своих, даже не знают оных, и вообще не пекутся о благосостоянии крестьян.

Некоторые же из читателей под словами «забытая деревня» понимают совсем другое. ...Они видят здесь то, чего вовсе, кажется, нет, — какой-то тайный намек на Россию...»

Неизвестно, действительно ли поэт имел в виду такой «намек на Россию». Но вполне возможно, что имел, ибо не раз прибегал к созданию аллегорических стихотворений. Если же рассматривать «Забытую деревню» более узко, в тех пределах, какие намечены ее сюжетом, то и тогда политическая острота стихотворения остается несомненной. Мысль о том, что крестьянам нечего надеяться на доброго барина, что барин не заступник и для веры в него нет почвы, конечно, была весьма острой и актуальной.

Любопытно, что враждебные Некрасову «Отечественные записки» Краевского, где критический отдел вел либеральный литератор С. С. Дудышкин, попытались нейтрализовать общественный пафос и актуальность «Забытой деревни». В большой статье о Некрасове (1861) Дудышкин пытался доказать, что его стихи, казалось бы, навеянные русской жизнью, на самом деле созданы под влиянием иностранной поэзии. Что имелось в виду?

Среди произведений английского поэта Крабба, о котором тогда писал в «Современнике» Дружинин, была поэма «Приходские списки»; в одной из ее глав описывались похороны знатной дамы в ее запущенном замке, где при жизни она не бывала. Подстрочный перевод этого отрывка Дружинин включил в свою статью, и Некрасов его, конечно, знал. Однако ни по конкретному содержанию, ни тем более по социальной остроте его «Забытая деревня» не имела ничего общего с английской поэмой. И, несмотря на это, версия Дудышкина, подкреплявшая его утверждение, будто Некрасов не знает русской жизни и потому обращается к иностранным источникам, оказалась долговечной и дожила до наших дней. Но недавно была доказана ее полная несостоятельность и установлено, что статья «Отечественных записок» — один из документов той борьбы, которая развертывалась вокруг творчества Некрасова [1].

---

[1] См.: Ю. Д. Левин, Некрасов и английский поэт Крабб, «Некрасовский сборник», II, М.—Л., 1956.

XVII

«ВНИМАЯ УЖАСАМ ВОЙНЫ...»

Несколько лет подряд Некрасов жил на даче между Ораниенбаумом и Петергофом, на берегу моря. Вместе с Авдотьей Яковлевной и Панаевым они снимали красивый швейцарский домик, увитый зеленью и цветами, стоявший посреди громадного парка, который пересекала тенистая липовая аллея. Здесь бывало немало гостей, приезжали обедать и гулять литераторы, в том числе Тургенев, Григорович, Дружинин, сотрудники редакции, просто знакомые, друзья и родственники. Здесь Авдотья Яковлевна впервые познакомилась с Добролюбовым. Позднее она принимала на даче Александра Дюма, который остался очень доволен гостеприимством и красотой хозяйки дома.

Однажды — это было утром 14 июня 1854 года — около Кронштадта появилась целая эскадра военных кораблей; они вошли в Балтийское море и пытались атаковать кронштадтскую крепость. Это были суда англо-французской коалиции, еще в марте объявившей войну России и теперь готовившей высадку морского десанта. До этого (в апреле) союзники уже бомбардировали Одессу. Так начинался новый и главный этап так называемой восточной войны, в центре которой оказалась тяжелая оборона Крымского полуострова, многомесячная героическая защита Севастополя.

В то утро, по сообщениям петербургских газет, «в исходе десятого часа неприятель стал на якорь между Толбухиным маяком и Красною горкой». Корабли были хорошо видны с берега, видели их и из окон швейцарского домика, где в этот день были гости, и среди них — Тургенев. В домике задрожали стекла, когда из кронштадтской крепости, как вспоминает Авдотья Яковлевна, началась страшная канонада. В это же время по шоссе в Ораниенбаум скакала конница, шла артиллерия, пехо-

та, тянулись обозы. Промчался в коляске сам Николай Павлович в сопровождении нескольких генералов.

Некрасов, Авдотья Яковлевна, Иван Иванович вместе с гостями в самом тревожном настроении поехали днем на Красную горку, чтобы лучше увидеть неприятельские корабли. А по возвращении домой Некрасов тут же набросал такие строки:

Великих зрелищ, мировых судеб
Поставлены мы зрителями ныне:
Исконные, кровавые враги,
Соединясь, идут против России;
Пожар войны полмира обхватил,
И заревом зловещим осветились
Деяния держав миролюбивых...
...медленно и глухо
К нам двинулись громады кораблей,
Хвастливо предрекая нашу гибель,
И наконец приблизились — стоят
Пред укрепленной русскою твердыней...
И ныне в урне роковой лежат
Два жребия...

Эти безрифменные стихи (они встречаются в лирике Некрасова в редчайших случаях) появились в ближайшем номере «Современника» без подписи автора и с эпиграфом из пушкинских «Клеветников России»: «Вы грозны на словах — попробуйте на деле!» Самый выбор эпиграфа, позднее снятого автором, отражал и чувство гнева, охватившего тогда всех, и надежду на близкую победу русского оружия.

Однако война оказалась нелегкой.

Часто бывавший на петергофской даче Д. А. Милютин, позднее ставший военным министром, на вопрос Авдотьи Яковлевны, готовы ли мы к войне, откровенно отвечал, что уже в первые дни военных действий неминуемо обнаружатся недостатки решительно во всем — нет запасов селитры, медицинская часть в самом плачевном состоянии, хирургических инструментов мало, и они плохи, интендантство в таком жалком виде, что войско вскоре останется без сапог и шинелей, солдаты будут погибать не столько от войны, сколько от болезней.

Действительность превзошла самые мрачные из этих предсказаний. И Некрасов, конечно, не напрасно снял эпиграф из Пушкина при переиздании своего стихотворения. Позднее, в лирической поэме «Тишина» он с боль-

шой силой передал трагическую атмосферу Крымской войны.

Силы противников были слишком неравны. С первых же дней дала себя знать военно-техническая отсталость русской армии: кремневые ружья у пехоты, малоподвижная артиллерия старого образца и парусные корабли на море, конечно, не могли успешно противостоять новейшему вооружению противника — его дальнобойным винтовкам, маневренным орудиям и винтовым пароходам, отлично вооруженным. По словам Ф. Энгельса, Крымскую войну «характеризовала именно безнадежная борьба нации с примитивными формами производства против наций с современным производством» [1].

И не удивительно, что царское правительство терпело поражение за поражением, а страна несла огромные человеческие и материальные жертвы. Южные степи, которые должны были, по замыслу Николая I, стать могилой для неприятеля, в действительности стали могилой для русских армий — их отправляли к побережью Черного моря, не считаясь с тем, что в трудном пути они теряли свою боевую силу. Последняя из посланных армий, наспех сколоченная, кое-как вооруженная, потеряла в походе около двух третей своего состава: целые батальоны погибали от морозов и метелей.

В Петербурге в самых разных кругах — в литературных, в студенческих — с болью и горечью говорили об очевидных причинах военных неудач: о бездарности высшего командования, о негодном вооружении, о невероятном грабительстве, которым занимались должностные лица, наживаясь за счет солдат. В столице устраивались лотереи и балы в пользу защитников отечества, за них служили торжественные молебны в церквах. А в это время в Севастополе в подвалах, в смраде и сырости жали тяжело раненные и мертвые, больные и умирающие, лишенные помощи и лекарств; к их ранам прикладывали сено вместо корпии, которой остро недоставало.

«В Малороссии ходят солдаты-нищие, собирая подаяние — не для себя, а для раненых, которые не имеют ни крепкого белья, ни свежей пищи. А между тем генералы Бутович и Холецкий присылают, например, из Севастополя по 40 000 руб. серебром в банк!..» — сообщал студент Главного педагогического института Добролюбов

---

[1] К. Маркс и Ф. Энгельс, Соч., 2-е изд., т. 38, стр. 398.

в подпольной рукописной газете «Слухи», которую он выпускал в стенах института.

Примерно в это же время Некрасов сделал в одной из своих бумаг такую заметку: «Генерал Ковалев, привезший из Крыма фортепьяно, завернутое в корпию».

Вероятно, это была запись для памяти, заготовка для какого-то будущего сочинения. Спустя много лет эта запись откликнулась (правда, без имени генерала) в поэме «Недавнее время», где, вспоминая военную бурю, бушевавшую в Крыму, Некрасов со всей силой презрения отозвался о тех,

Кто нагрел свои гнусные руки,
У солдат убавляя паек,
Кто, внимая предсмертные муки,
Прятал русскую корпию впрок
И потом продавал англичанам, —
Всех и мелких, и крупных воров,
Отдыхающих с полным карманом,
Не забудем во веки веков!

Неслыханный героизм и самоотверженность проявили защитники осажденного Севастополя. В труднейших условиях почти год они удерживали черноморскую крепость, нанося при этом огромный урон противнику. В поэме «Тишина» Некрасов воспел мужество Севастополя — «твердыни, избранной славой»:

Три царства перед ней стояло,
Перед одной... таких громов
Еще и небо не метало
С нерукотворных облаков!

Для лучших людей того времени вся севастопольская эпопея была свидетельством могучих сил, таящихся в народе, они понимали, что закрепощенный народ прославил себя севастопольской обороной, и ждали больших перемен в жизни страны.

Л. Толстой, сам участник событий, в разгар военных действий записал в своем дневнике 2 ноября 1854 года: «Велика моральная сила русского народа. Много политических истин выйдет наружу и разовьется в нынешние трудные для России минуты. Чувство пылкой любви к отечеству, восставшее и вылившееся из несчастной России, оставит надолго следы в ней». Толстой считал, что «Россия или должна пасть, или совершенно преобразоваться». Так думали и многие другие современники.

Некрасов преклонялся перед подвигом русского солдата. А под солдатской шинелью он видел обыкновенного крестьянина, оторванного от земли и дома. В стихах и в публицистической прозе он постоянно обращался к теме Крымской войны. В своем журнале он напечатал множество материалов, рисующих ход военных действий, подробности отдельных операций, патриотический дух солдат и матросов. В одном номере журнала появился присланный Толстым рассказ его севастопольского приятеля, участника боев Аркадия Дмитриевича Столыпина, «Ночная вылазка в Севастополе», в другом — интересные очерки поэта и переводчика Николая Васильевича Берга, служившего при главном штабе армии, — «Из крымских заметок».

Еще до этого Некрасов обратил внимание на «замечательную статью» того же Берга («Десять дней в Севастополе»), помещенную в «Москвитянине». В одном из своих журнальных обозрений (за июль 1855 года) Некрасов подробно изложил эту «статью», рассказал о том, как ее автор побывал в бараках, где рядами лежали раненые русские и французские солдаты в ожидании тяжелых операций. Он выписал и выделил курсивом слова, сказанные Бергу одним из врачей: «Вы сходите на перевязочный пункт, в город... там Пирогов, когда он делает операцию, надо стать на колени».

Некрасов воспользовался этими словами, чтобы отдать должное великому хирургу на страницах «Современника»: «Выписываем эти слова, чтобы присоединить к ним наше удивление к благородной, самоотверженной и столь благодетельной деятельности г. Пирогова, — деятельности, которая составит одну из прекраснейших страниц в истории настоящих событий... Это подвиг не только медика, но и человека... Пройдет война, и эти матросы, солдаты, женщины и дети разнесут имя Пирогова по всем концам России...»

Появился в журнале и необычный для тех времен материал — рассказ рядового «Восемь месяцев в плену у французов» в литературной записи одесского литератора Н. П. Сокальского. Рекомендуя рассказ читателям, Некрасов писал: «Автор — лицо новое: это *армейский солдат,* уроженец Владимирской губернии, города Шуи, Таторский. Под Альмой ему двумя пулями пробило руку, он попал в плен, был в Константинополе, был в Тулоне, потом возвращен уже без руки в Одессу... Рассказ его

представляет несомненные признаки наблюдательности и юмора — словом, таланта... Даровита русская земля!»

Каким образом записанные под диктовку впечатления солдата попали в редакцию «Современника»?

Однажды к Некрасову пришел незнакомый юноша с тетрадкой солдатских рассказов; оказалось, что их записал его брат со слов раненых, беспрестанно привозимых в Одессу. «В числе этих рассказов один оказался удивительный... Солдат... должно быть человек с большим талантом — наблюдательность, юмор, меткость — бездна *русского*. Я в восторге», — восклицал Некрасов в письме к Тургеневу от 17 сентября 1855 года.

Однако не все разделяли этот восторг. Когда номер «Современника» вышел в свет, некоторые журналы были шокированы поступком редактора, решившегося опубликовать материалы, записанные со слов простого солдата. Тем более что Некрасов поместил рассказ рядового Павла Таторского на видном месте, в разделе «Словесность», рядом с одним из своих стихотворений («В больнице»).

Журнал «Библиотека для чтения» в ближайшем же номере использовал все эти факты, чтобы выступить с нападками на «Современник». Высмеяв сначала некрасовские стихи («поэт посещает больного сочинителя и потом воспевает свой благородный поступок»), анонимный обозреватель «Библиотеки» затем писал: «Непосредственно за больничною поэзиею г. Некрасова следует не повесть, не рассказ *сочинителя* — нет, следует импровизированный рассказ *рядового*, следовательно, вещь нелитературная, не имеющая никакого притязания на изящную словесность...»

Некрасов с возмущением процитировал эти выпады в своем полемическом журнальном обозрении, — он хотел показать, до чего дошло «критическое растление» в тех журналах, в которых «уважение к истине никогда не было первенствующим началом».

Столь различны были журнальные вкусы и мнения: «Библиотека» презрительно отозвалась о том самом рассказе, в котором Некрасов увидел признаки большого таланта, свидетельство даровитости «русской земли».

«Я в восторге!..» Весь Некрасов сказался в этом стремлении привлечь на страницы журнала «бывалого человека», живого свидетеля событий, устами которого заговорила бы сама правда, сама жизнь. Материалы такого рода, по мысли редактора «Современника», должны

были противостоять всякой фальши и ходульности, они поддерживали давно начатую им борьбу против ложной народности и подделок под правду. Именно об этом он однажды писал, обращаясь к писателю, плохо знающему жизнь: «...какими прибаутками ни приправляйте рассказ старого служивого, как остроумно ни коверкайте слова, рассказ такой все-таки не будет настоящим солдатским рассказом, если вы никогда не слыхали солдатских рассказов...»

В следующем, 1856 году, когда война была позади, Некрасов продолжал из номера в номер печатать в «Современнике» записанные тем же Сокальским в Одессе рассказы рядовых солдат и матросов. Так появились очерки и воспоминания очевидцев — «Госпиталь в Константинополе», «Жизнь на севастопольской батарее» (рассказ матроса), «Синопское сражение» и т. д. Немало суровой правды было в этих непритязательных рассказах. И потому-то военные очерки и рассказы «Современника», по выражению Панаева (в письме к Толстому), с жадностью читала вся Россия.

* * *

Правда, которой жаждал Некрасов, была не только в солдатских рассказах. Над всеми «батальными» материалами, добытыми для «Современника» его редактором, возвышались недосягаемой вершиной севастопольские рассказы Льва Толстого. Как известно, в качестве артиллерийского офицера он находился тогда в самом пекле событий, участвовал в боевых действиях.

Едва только получив из Крыма рассказ «Севастополь в мае», Некрасов спешил поделиться с Тургеневым (18 августа 1855 года): «Толстой прислал статью о Севастополе — но эта статья исполнена такой трезвой и глубокой правды, что нечего и думать ее печатать...» И в самом деле: то, что Некрасов считал «трезвой правдой», цензура определила как «насмешку над нашими храбрыми офицерами, храбрыми защитниками Севастополя». Рассказ был запрещен. Только после больших сокращений, в изуродованном виде, «исправленный» лично главным цензором — Мусиным-Пушкиным, он появился в «Современнике» (под названием «Ночь весною 1855 года в Севастополе»). Конечно, после этого редакция сочла необходимым снять подпись автора.

Крайне расстроенный этой историей Некрасов назвал цензурную операцию над рассказом Толстого «возмутительным безобразием», которое испортило ему «последнюю кровь». «До сей поры не могу думать об этом без тоски и бешенства», — писал он в Севастополь Толстому 2 сентября 1855 года (переписка шла через военных курьеров, постоянно ездивших из осажденного города в столицу; «скакали бешено курьеры», говорится об этом в «Тишине»).

И снова, в этом же письме, Некрасов определил главную черту толстовского дарования как стремление к глубокой и трезвой правде; он прибавил: «Это именно то, что нужно теперь русскому обществу: правда — правда, которой со смертию Гоголя так мало осталось в русской литературе... Эта правда в том виде, в каком вносите Вы ее в нашу литературу, есть нечто у нас совершенно новое...»

Некрасов безошибочно почувствовал новизну толстовского реализма. Не только в письмах, но и на страницах журнала он усердно разъяснял значение писателя, открытого «Современником». Он считал, что литература доныне ничего не сказала о солдате, кроме пошлости; поэтому особая заслуга Толстого была в том, что он ввел читателя в неизвестный ему до сих пор мир солдатской жизни, представил типы русских солдат и тем самым дал ключ к уразумению военного быта. Некрасов рекомендовал читателям рассказ «Рубка леса», а один из севастопольских рассказов Толстого характеризовал как «просто, верно и картинно передающий до мельчайших подробностей жизнь в осажденном городе» (только год спустя первый анализ творчества Толстого дал в «Современнике» Чернышевский).

В другом случае Некрасов, отметив в своем обзоре, что с Толстым теперь связываются «лучшие надежды русской литературы», остановился на особенно взволновавшем его рассказе «Севастополь в августе 1855 года». Он упомянул о его художественных недостатках (некоторая небрежность изложения, отсутствие строгого плана), но указал и на его «первоклассные достоинства»: наблюдательность, глубокое проникновение в сущность вещей и характеров и главная черта толстовского таланта — «строгая, ни перед чем не отступающая правда».

Особо остановился критик на фигуре молодого офицера Володи Козельцева. Он увидел проявление поэти-

ческого такта, доступного только художнику, в самой мысли — провести ощущения последних дней Севастополя сквозь призму молодой, благородной души, не успевшей еще «засориться дрянью жизни». Прекрасно написал об этом Некрасов: «Володе Козельцеву суждено долго жить в русской литературе, может быть, столько же, сколько суждено жить памяти о великих, печальных и грозных днях севастопольской осады. И сколько слез будет пролито и уже льется теперь над бедным Володею! Бедные, бедные старушки, затерянные в неведомых уголках обширной Руси, несчастные матери героев, погибших в славной обороне! вот как пали ваши милые дети...»

И в этом же номере «Современника» (1856, № 2) он напечатал стихи на тему о великом материнском горе, стихи, навеянные скорее всего толстовскими картинами севастопольской трагедии:

Внимая ужасам войны,
При каждой новой жертве боя
Мне жаль не друга, не жены,
Мне жаль не самого героя...
Увы! утешится жена,
И друга лучший друг забудет;
Но где-то есть душа одна —
Она до гроба помнить будет!
Средь лицемерных наших дел
И всякой пошлости и прозы
Одни я в мире подсмотрел
Святые, искренние слезы —
То слезы бедных матерей!
Им не забыть своих детей,
Погибших на кровавой ниве,
Как не поднять плакучей иве
Своих поникнувших ветвей...

О чем бы ни писал он теперь в стихах или в прозе — мысль его неизменно обращалась туда, к далекому Крыму, где грохотала война.

Казалось бы, сюжет поэмы «Саша» очень далек от военной тематики. Но поэма писалась в разгар событий, и это наложило свою печать на некоторые ее образы. Вот картина беспощадного истребления леса (кто не помнит стихов «Плакала Саша, как лес вырубали...»). И тут же целая вереница ассоциаций и сравнений, вызванных неотвязной мыслью о войне и ее жертвах. Эти сравнения перемежают рассказ о гибели старого леса, и постепенно вместо поверженных сосен и дубов перед нами воз-

никает поле только что отшумевшей кровавой битвы, усеянное павшими:

Трупы деревьев недвижно лежали;
Сучья ломались, скрипели, трещали,

Жалобно листья шумели кругом.
Так после битвы, во мраке ночном

Раненый стонет, зовет, проклинает.
Ветер над полем кровавым летает —

Праздно лежащим оружьем звенит,
Волосы мертвых бойцов шевелит!

В октябре 1855 года в Москве умер Тимофей Николаевич Грановский, крупный ученый, историк, профессор Московского университета; его деятельность и его личность высоко чтили и Некрасов, и весь кружок «Современника». Свой рассказ о Грановском на страницах журнала Некрасов начал так: «Читатель, в то время как Россия оплакивает столько героев, со славою погибающих за отечество на войне, ей приходится оплакать еще потерю скорбную и, может быть, незаменимую...»

Летом 1855 года Некрасов лечился в Москве. Он жил в Петровском парке вместе с Боткиным на даче, которую снимал Василий Петрович («перед нами лес и рожь»). На досуге они читали вместе «Илиаду» в переводе Гнедича. Могучие строки производили большое впечатление на Некрасова. В его сознании осада Трои греками невольно связывалась с героической эпопеей Севастополя. И он пришел к мысли, что величию севастопольской эпопеи во всей литературе соответствует только одна эта книга — «Илиада», хотя она и принадлежит к тем далеким временам, когда боги еще принимали участие в делах смертных...

«...Теперь, когда внимание всех трепетно приковано к театру войны, — писал тогда же Некрасов в одной рецензии, — когда каждая удача, каждая неудача отзываются во всех сердцах радостью или скорбию, в это великое время «Илиада», как полнейшее выражение героического настроения, читается с наслаждением и сочувствием невыразимым».

Он настолько был поглощен и взволнован военными событиями, что там же, на даче в Петровском парке, начал не шутя думать о поездке на театр военных дей-

ствий. «Ты над этим не смейся, — писал он 30 июня Тургеневу. — Это желание во мне сильно и серьезно — боюсь, не поздно ли уже будет? А что до здоровья, то ему ничто не помешает быть столько же гнусным в Севастополе, как оно гнусно здесь».

Но и в самом деле было уже поздно. Положение осажденной крепости становилось все тяжелее. Усиливались бомбардировки города. Союзники во время штурмов несли огромные потери, но и ряды защитников редели с каждым днем. Выбыли из строя Тотлебен, Истомин, Нахимов — главные организаторы обороны. Противнику удалось овладеть Малаховым курганом, центральным пунктом обороны, после чего защита Севастополя стала делом безнадежным. Русские войска 27 августа оставили город.

Свершилось! Рухнула твердыня,
Войска ушли... кругом пустыня,
Могилы... Люди в той стране
Еще не верят тишине...

Эти строки из поэмы «Тишина», одного из самых проникновенных произведений Некрасова. Прошло больше года после окончания войны, когда он вдали от родины (в Италии) начал писать эту поэму, задумав подвести поэтические итоги своим размышлениям минувших лет. В этих итогах отрадные чувства, вызванные встречей с родиной [1], с русской природой, сложно переплелись с воспоминаниями о том, что больше всего волновало его в недавние бурные годы, — здесь и картины народного подъема в начале войны («Русь поднялась со всех сторон»), и скорбный реквием поверженному Севастополю, и некоторые примиренческие настроения, и мысли о том, что же принесла народу, стране кровавая трагедия войны.

Несмотря на военное поражение самодержавного государства, поэт верил, что народ остался непобежден:

Народ-герой! в борьбе суровой
Ты не шатнулся до конца, —
Светлее твой венец терновый
Победоносного венца!

А что же означает «тишина», воцарившаяся над страной после войны? Конечно, в данном случае «тишина» — это всего лишь поэтический образ, контраст военным го-

---

[1] Первая глава поэмы написана по возвращении в Россию.

дам, условное обозначение времени, наступающего после грозы и бури. Но эта «тишина» несет с собой и предчувствие перемен. Заглядывая в завтрашний день своей родины, поэт говорит:

Над всею Русью тишина,
Но — не предшественница сна:
Ей солнце правды в очи блещет,
И думу думает она.

В этих немногих словах для него заключено было много надежд и ожиданий, порожденных временем, когда закончилась война и открывалась новая страница русской жизни.

XVIII

СТИХИ, КОТОРЫЕ ЖГУТСЯ

Наиболее трезвым и мыслящим людям России было ясно, что минувшая война, как яркий факел, вспыхнувший в ночной тьме, осветила весь уклад жизни крепостнической монархии и обнажила глубокие язвы, разъедавшие государственный организм. «...Нас расшевелила война, — писал Добролюбов в 1857 году, — заставивши убедиться в могуществе европейского образования и в наших слабостях. Мы как будто после сна очнулись...»

Во всех слоях общества начиналось брожение. Либерал Дружинин провозгласил конец «давящего кошмара». Славянофил Иван Аксаков заговорил о «гнилости» правительственной системы. В русском обществе начинался подъем национального самосознания. Этот процесс, в котором нашли продолжение традиции движения декабристов, выразительно обрисовал Герцен: «До Крымской войны никто не подозревал внутренней работы России. За немыми устами предполагали немой ум и немое сердце, а между тем мысли, посеянные 14 декабря, зрели, разъедали грудь и подтачивали незаметно дубовые ворота

николаевского острога. Прежде чем кончилась эта работа, стены его треснули: их пробили ядра союзников».

Общественная жизнь страны развивалась с небывалой до тех пор стремительностью. Сознание демократических слоев общества получило могучий толчок и как бы наверстывало все, что было упущено за время мрачного царствования Николая I.

Для правящих кругов наступило время небывалого отрезвления. Само правительство неминуемо становилось перед необходимостью поворота на путь реформ, тем более что смерть Николая I в разгар Крымской войны (он умер 18 февраля 1855 года; некоторые современники считали, что царь покончил с собой) облегчала для его преемника возможность осуществления нового политического курса. Понимая это, Александр II уже в марте 1856 года, через несколько дней после официального заключения мира с англо-французской коалицией, публично заговорил об основном вопросе эпохи — отмене крепостного права. Он выступил перед предводителями московского дворянства и популярно разъяснил им, почему неизбежна реформа: лучше освободить крестьян сверху, нежели ждать, когда они сами освободят себя снизу.

Общественное оживление, наступившее после смерти Николая I, прежде всего дало себя знать в журналистике и литературе. Некрасов как редактор журнала и как поэт старался, не теряя времени, использовать все хотя бы относительные цензурные послабления. Сильное движение, начавшееся тогда в обществе, по свидетельству Чернышевского, «имело большое влияние на его поэтическую деятельность... оно раздвинуло внешние ограничения, ...дало ему возможность писать о том, о чем не дозволялось писать до той поры...».

Мартовская книжка «Современника» открывалась стихотворением А. Майкова «18 февраля 1855 года» — откликом на смерть «в бозе почившего» Николая I. Видимо, такой отклик считался необходимым (в других журналах и газетах были помещены пространные статьи и воспоминания о «незабвенном»). Но примечательно, что в этой же книжке, в этом же отделе «Словесность», Некрасов поспешил опубликовать свои давно написанные стихи, посвященные памяти Белинского.

В этом соседстве было что-то вызывающее. Некрасов не

мог бы сделать это месяцем раньше. Ведь при Николае I, который преследовал Белинского даже после его смерти, строжайше запрещалось упоминать опасное имя, и запрет этот еще продолжал действовать. Поэтому свои лирические стихи Некрасов вынужден был озаглавить «Памяти приятеля» (позднее он печатал их под названием «Памяти Белинского»). Но не так уж трудно было догадаться, кого имел в виду поэт, когда рисовал облик человека, идущего к своей высокой цели, «упорствуя, волнуясь и спеша»; когда он со скорбью говорил о печальной посмертной судьбе «запрещенного» деятеля:

Твой труд живет и долго не умрет,
А ты погиб, несчастлив и незнаем!
И с дерева неведомого плод,
Беспечные, беспечно мы вкушаем.

Так или иначе это были первые строки о Белинском в русской печати — после семилетнего молчания. Вслед за тем мысль Некрасова постоянно обращалась к памяти учителя. Тогда же, в середине 50-х годов, он, словно опасаясь упустить открывшуюся возможность, начал усердно пропагандировать в стихах идеи и взгляды Белинского, разрабатывать темы, навеянные образом великого критика.

Пусть в большинстве этих стихов даже не упоминается имя Белинского, — в них присутствует его образ, воспроизводятся его мысли. Это как бы части одного замысла, одного цикла. Внешним же подтверждением их внутреннего единства служит тот факт, что поэт свободно переносил отдельные строфы и строки из одной вещи в другую. Об этом особенно наглядно свидетельствуют некрасовские автографы — черновые варианты и наброски. Например, стихотворение «В больнице» было, вероятно, задумано как вступление к поэме «В. Г. Белинский». Слова Гражданина из известного диалога —

Будь гражданин! Служа искусству,
Для блага ближнего живи... —

первоначально входили в ту же поэму, затем в измененном виде оказались центральной мыслью стихотворения «Русскому писателю», и, наконец, в окончательной редакции вошли в состав диалога «Поэт и гражданин».

Так, от варианта к варианту поэт шлифовал свой

замысел, добиваясь наиболее полного и сильного его воплощения. Он придавал особое значение циклу, о котором идет речь.

Прежде всего этот цикл был связан с мыслями Некрасова о роли литературы для русского общества. Вслед за Белинским он понимал, что в стране, лишенной свободы, литература есть единственная отдушина и трибуна. Эти мысли он развивал не только в стихах, но и в критической прозе этого времени — в обзорных статьях «Заметки о журналах», которые он начал вести в «Современнике», как только ослабел цензурный гнет.

«Кто не знает и не повторяет, что русская литература с давних времен шла всегда впереди общества... Имена ее благородных тружеников, начиная с Кантемира и Ломоносова до недавних честных деятелей — славных и обойденных почему-либо славой, сошедших в могилу на наших глазах, — эти имена навсегда завоевали себе видное место в истории русского просвещения». Так писал он в первом из своих обзоров, подразумевая под «обойденными славой» прежде всего, конечно, Белинского. С удивлением вспоминал он здесь то совсем недавнее время, когда ученым-схоластам даже не приходил в голову «взгляд на литературу, как на самый могущественный проводник в общество идей образованности, просвещения, благородных чувств и понятий...».

Теперь же, утверждал автор обзора, это время позади. Литература все больше становится выражением жизни общества. И он с пафосом и убеждением восклицал: «Нет науки для науки, нет искусства для искусства, — все они существуют для общества, для облагорожения, для возвышения человека...»

Литература, таким образом, есть средство пропаганды передовых идей, воспитания и внутреннего освобождения человека. Так думал Белинский, так думал и Некрасов. Потому-то он и решил сделать Белинского центральным персонажем своего стихотворного цикла. Тем более что в конце концов речь шла не о литературе только, но прежде всего о формировании нравственного мира человека, о воспитании гражданина и борца. Весь этот комплекс и отразился в цикле некрасовских стихов, который составляют: монолог, обращенный к «русскому писателю», рассказ, который ведет «честный бедняк сочинитель» («В больнице»), прямая апология Белинского («В. Г. Белинский»), острая идейная полемика между Поэтом и

Гражданином, наконец, написанная немного позднее история жизни политического ссыльного («Несчастные»).

Поэма о Белинском справедливо считается первым наброском биографии критика. Правда, поэт не стремился к особой точности фактов, он дал поэтическое описание этапов его жизненного пути, связав их с картиной русской литературы послепушкинского времени. На этом фоне и возникает могучий образ трибуна, патриота и обличителя:

> И он пришел, плебей безвестный!..
> Не пощадил он ни льстецов,
> Ни подлецов, ни идиотов,
> Ни в маске жарких патриотов
> Благонамеренных воров! [1]

Разумеется, даже в новых условиях такие стихи не могли появиться в печати. Даже самая либеральная цензура не решилась бы пропустить это страстное возвеличение Белинского и его деятельности, тем более что речь о тех, к кому он был беспощаден, далеко вышла за пределы литературы.

В конце сентября 1855 года Тургенев прочитал в письме Некрасова такие строки: «Посылаю тебе мои стихи — хотя они и набраны, но вряд ли будут напечатаны... Тут есть дурные стихи — когда-нибудь поправлю их, а мне все-таки любопытно знать твое мнение об этой вещи».

Доработать поэму, то есть поправить «дурные стихи», без надежды ее напечатать Некрасов не собрался (спустя четыре года Герцен за границей опубликовал поэму в альманахе «Полярная звезда»). Но отрывок, задуманный как речь умирающего Белинского, как его завещание литературе, автор напечатал в «Современнике» под названием «Русскому писателю». Здесь в сжатых, упру-

---

[1] В одном из черновых набросков поэмы сохранился еще один неотработанный, но не менее энергичный вариант этой строфы:

> ...Плебей безвестный!
> Лицом к лицу с врагами стал —
> И слово смелое вещал...
> Гонитель лжи и лицемерья
> Срывал с ворон павлиньи перья.
> Он ненавидел подлецов,
> Индифферентов, идиотов...
> ...Он все клеймил, что было ложно,
> Рутинно, гнило и ничтожно...

гих строчках Некрасов высказал свои давние мысли о назначении писателя. Конечно, он говорил об этом, помня и о заветах Белинского, и о новом времени («пришла пора!»), когда деятельность писателя — духовного вождя и наставника народа — стала особенно нужной и важной:

Напрасно быть толпе угодней
Ты хочешь, поблажая ей —
Твое призванье благородней,
Писатель родины моей!

Ее ты знаешь: не угодник
Полезен ей. Пришла пора!
Ей нужен труженик-работник
На почве Мысли и Добра.

Утверждая миссию писателя-гражданина, Некрасов противопоставляет ему (как и прежде — в стихотворении «Блажен незлобивый поэт») писателя, который угождает «толпе», пытается завоевать признание поблажками, усыпляющей лестью. Он говорит, что родине нужен работник, проповедник Мысли и Добра (в одном из вариантов — Правды и Добра), а не угодник, то есть не льстец; в черновом наброске начала стихотворения об этом говорится еще прямее:

Не тщися быть толпе угодней,
То льстя, то поблажая ей...

Этот призыв был актуален в условиях, когда остро вставал вопрос о практической работе, о воспитании человека-деятеля [1]. Как всегда в переломные эпохи, общество тогда особенно нуждалось в суровой правде. Это понимали лучшие люди того времени. И примечательно, что еще до появления в печати стихотворения «Русскому писателю» студент Добролюбов набросал такие стихи:

...Не льстивый бард, не громкий лирик.
Не оды сладеньких певцов,
А вдохновенный злой сатирик,
Поток правдивых, горьких слов
Нужны России.

Эта перекличка двух современников, будущих друзей и единомышленников, глубоко знаменательна.

---

[1] Стихотворение было с раздражением встречено среди мнимых друзей поэта, иначе понимавших задачи искусства. Дружинин в своем (неизданном) дневнике кратко записал: «Плохие стихи к русскому писателю» (10 июня 1855 года).

Взгляды Белинского на роль литературы и назначение писателя легли в основу поэтического диалога «Поэт и гражданин». Он также порожден эпохой пробуждения и надежд:

Пора вставать! Ты знаешь сам,
Какое время наступило;
В ком чувство долга не остыло,
Кто сердцем неподкупно прям,
В ком дарованье, сила, меткость,
Тому теперь не должно спать... —

говорит Гражданин, обращаясь к Поэту. Он зовет его к деятельности, развертывает перед ним целую программу, и в основе этой программы мы угадываем хорошо памятные Некрасову заветы Белинского: писатель должен быть «гражданином, сыном своего общества и своей эпохи, усвоить себе его интересы, слить свои стремления с его стремлениями». А в образе Поэта нетрудно обнаружить какие-то черты самого автора. Ведь это его голос, его слова слышатся нам, например, в такой пламенной декларации:

Без отвращенья, без боязни
Я шел в тюрьму и к месту казни,
В суды, в больницы я входил.
Не повторю, что там я видел...
Клянусь, я честно ненавидел!
Клянусь, я искренно любил!

И все же вряд ли нужно спорить о том, кого имел в виду Некрасов, изображая двух участников своего диалога. Конечно, в одном из них есть приметы Белинского и даже Чернышевского, в другом — немало от самого автора. Но поиски прямых прототипов бесполезны хотя бы уж потому, что они почти всегда сужают обобщающий смысл образов, ограничивают масштаб произведения.

Несомненно одно: «Поэт и гражданин» есть один из великих манифестов русской поэзии, вобравший в себя и гражданственность лирики XVIII века, и суровый пафос рылеевских дум, и мятежные призывы Лермонтова. Но это манифест иного времени — кануна 60-х годов. И в нем прежде всего нашли свое место афористически точные, концентрированные до предела формулы революционно-политической лирики, ставшие крылатыми еще при жизни их автора:

Поэтом можешь ты не быть,
Но гражданином быть обязан.

Здесь же прозвучал и знаменитый лозунг-призыв, который с энтузиазмом приняли представители тех новых поколений, которые уже тогда готовили себя к будущей революции:

Иди в огонь за честь отчизны,
За убежденье, за любовь...

Величие некрасовского диалога в том, что это отнюдь не только литературный манифест — речь идет об острейших современных вопросах, о политической борьбе. И это тогда же почувствовали враги «Современника». Устами Гражданина Некрасов выражает сожаление о недостатке подлинного патриотизма в обществе («наперечет сердца благие, которым родина свята»); его же устами он снова судит «мудрецов», тех же агариных, которые бездействуют, твердя: «Неисправимо наше племя, мы даром гибнуть не хотим, мы ждем: авось поможет время...» Только на этот раз суд его над агариными еще строже, и он предупреждает Поэта:

Не верь сей логике презренной!
Страшись их участь разделить,
Богатых словом, делом бедных,
И не иди во стан безвредных,
Когда полезным можешь быть!

Наконец, устами того же персонажа он напоминает о том, что же такое настоящая гражданская доблесть. И делает это так:

Когда же... Но молчу. Хоть мало,
И среди нас судьба являла
Достойных граждан... Знаешь ты
Их участь?.. Преклони колени!..

Несомненно, здесь намек на декабристов, намек смелый и принципиально важный: это и попытка указать преемственную связь с передовым движением 20-х годов, и — самое главное — ссылка на исторический пример: были в нашей истории «достойные граждане». Становится ясно, кого именно увенчивает поэт этим званием, перед кем хочет преклонить колени.

Цикл стихов, освященных образом Белинского, отмеченных высокой публицистичностью, ораторской патетикой, осуществлялся в соответствии с велениями и требованиями времени. Было очевидно, особенно после Крым-

ской войны, что борьба со злом и неправдой, обличение темноты и пороков должны усилиться, подняться на какую-то новую ступень (так вскоре и случилось). Некрасов, снискавший себе репутацию отрицателя, остро ощущал, что обличение и сатира, к которой он был всегда склонен, должны опираться на известную позитивную программу, направляться осознанной целью. Это и привело его к необходимости внимательнее присмотреться к положительным сторонам действительности, углубиться в народную жизнь, найти в ней такие явления и характеры, изучение которых способствовало бы развитию демократической мысли. Говоря короче, отрицание следовало подкрепить утверждением.

Впоследствии, во второй половине своей деятельности, Некрасов полностью осуществил эту программу, создав широкие картины жизни крестьянской России, найдя именно в ней своих настоящих героев. Теперь же он только вступал на этот путь, и естественно, что образ Белинского возник перед ним как первое и наиболее яркое воплощение положительного идеала, как образ патриота и борца (стихи о Белинском открыли целую галерею некрасовских портретов русских революционных деятелей — Добролюбова, Чернышевского, Шевченко, Писарева). С этой же тенденцией, отразившей серьезные сдвиги в сознании общества, связаны и другие страницы творчества Некрасова середины 50-х годов — история русской девушки, выбивающейся из косной среды («Саша»), думы благородного бедняка-сочинителя («В больнице»), собирательный образ народа в «Тишине»; в этом же ряду надо рассматривать и картины солдатского героизма, зарисовки народной жизни в военных очерках и других материалах «Современника».

* * *

21 ноября 1855 года литературный Петербург впервые увидел Льва Толстого. Двадцатисемилетний офицер приехал из Севастополя, еще овеянный пороховым дымом. Прямо с железной дороги он явился к Тургеневу, жившему зимой в столице, и остановился у него. Толстой заявил, что хочет увидеть Некрасова, своего первого редактора и литературного советчика. Они встретились и провели целый день вместе, в разговорах. На другой день Толстой обедал у Некрасова в обществе Дружинина и

Егора Петровича Ковалевского, путешественника и писателя, также приехавшего из Севастополя.

И все были в восторге от обаятельного офицера, от его превосходных рассказов и здравого взгляда на вещи. «Милый, энергический, благородный юноша — сокол!.. а может быть, и — орел... Некрасив, но приятнейшее лицо, энергическое, и в то же время мягкость и благодушие: глядит, как гладит. Мне он очень полюбился», — признавался тогда же Некрасов Боткину.

Толстой стал часто бывать у Некрасова, который жил в эту зиму один, снимая квартиру в Малой Конюшенной, в известном доме Имзена [1]. Здесь Толстой впервые встретил множество литераторов, постоянно и шумно толпившихся вокруг больного Некрасова, не выходившего из дому: среди них он увидел Панаева, Гончарова, Григоровича, Боткина, Фета, Островского, Анненкова, братьев Жемчужниковых, Майкова... Все они собирались здесь в тесном кругу, чтобы читать друг другу свои стихи и прозу.

Толстой прочел здесь «Севастополь в августе», Гончаров — отрывки из «Обломова», Дружинин — свой перевод «Короля Лира» (в дневнике его 21 декабря 1855 года записано: «Вчера... прочел Тургеневу первые сцены моего перевода Лира. Дни за два я читал их Некрасову, который приветствовал их с восхищением»); чтение «Короля Лира», продолжавшееся и 4 января, вызвало жаркие споры о Шекспире с участием Толстого, который уже тогда высказал свои парадоксальные суждения о великом драматурге.

Другим писателям, бывавшим в ту зиму у Некрасова, тоже было чем похвалиться. Тургенев вручил «Современнику» рукопись только что законченного «Рудина» и читал ее Некрасову. Романист-путешественник Гончаров привез из кругосветного плавания путевые очерки «Фрегат «Паллада», и Некрасов сочувственно писал о них в журнале. Анненков завершил огромную работу над новым изданием сочинений Пушкина, о чем в кружке было много разговоров; Некрасов дал этой работе самую высокую оценку, в «Заметках о журналах» он определил ее как важную общественную заслугу, а первый том труда Анненкова (материалы для биографии поэта) он на-

---

[1] Ныне улица Софьи Перовской, д. 10.

звал «капитальной книгой, каких немного во всей русской литературе».

Печатались в это время в «Современнике» и пародии только что созданного несколькими соавторами Кузьмы Пруткова, и стихи Фета, — их художественная сила покоряла Некрасова; по поводу фетовской «Дианы» («Богини девственной округлые черты») он писал: «Всякая похвала немеет перед высокой поэзиею этого стихотворения, так освежительно действующего на душу».

Не забывал Некрасов и пьес Островского. Его участием в «Современнике» он очень дорожил. Рассматривая творчество «нашего, бесспорно, первого драматического писателя», он старался предостеречь его от славянофильских увлечений, сказавшихся в некоторых его пьесах, советовал ему «с наперед принятым воззрением не подступать к русской жизни». Некрасов в своих оценках предвосхитил позднейшие суждения Добролюбова, автора статей о «темном царстве».

Так, вокруг «Современника» усилиями его редактора, как в первые годы, собрался почти весь цвет русской литературы; эти талантливые, еще молодые литераторы, полные сил и энергии, уже тогда немало сделавшие для отечественной культуры, казалось, представляли собой довольно прочное единство, кружок, спаянный дружбой и творческими интересами. Некоторые из них до поры, до времени так и воспринимали свои шумные сборища. 18 декабря 1855 года Дружинин записал в своем (неизданном) дневнике: «Наконец наш литературный круг так сблизился, что мы все почти не проводим дня, не повидавшись... В пятницу обедали в Шахматном клубе... Вечер заключили у Некрасова».

«Было похоже, — писал по этому поводу К. И. Чуковский, — что смерть Николая, которую они встретили живейшею радостью, как начало светозарной эпохи, придала им новые силы для творчества, и вот теперь зимою 1855 года все они съехались в Питере отпраздновать удачное завершение своих новых трудов и теснее сплотиться для дальнейшей столь же радостной работы» [1].

Многим тогда казалось, что наступает время свободного расцвета литературы. Был упразднен негласный комитет по делам печати — порождение николаевского цар-

---

[1] К. Чуковский, Дружинин и Лев Толстой. В сб. «Люди и книги». М., 1958, стр. 82.

ствования, известный своей свирепостью. Появились новые журналы, не разрешавшиеся прежде, и новые литературные издания. Была объявлена амнистия политическим ссыльным.

В условиях общественного подъема началось некоторое оживление деятельности журналов, и тут же ясно обнаружилась тенденция к идейному размежеванию между ними; об этом, в частности, свидетельствовала возникшая в печати полемика по поводу литературной критики. Некрасов горячо ввязался в эту полемику. Он доказывал: прошло время, когда в журналах принято было бранить «чужих» и хвалить «своих», исходя из личных пристрастий, когда пускались в ход «фигуры умолчания» и «фигуры уклончивости», а критика опускалась до мелочных придирок и перечисления опечаток.

Он утверждал, что настало время для высокой принципиальности в критике, без которой она не сможет выполнить свое назначение перед литературой и обществом. В «Заметках о журналах» за ноябрь 1855 года Некрасов заявил о готовности «Современника» сделать все для того, чтобы «русская критика вышла на прямую дорогу».

* * *

В своих обзорах Некрасов постоянно отмечал оживление, наступившее в литературе. Так, оглядывая истекший литературный год (1855), он писал: «В литературе нашей давно не было года столь живого, богатого, благотворного по своим последствиям». Через месяц: «...Оживление русской литературы, о котором мы недавно говорили, продолжается. Лучшие современные таланты, как бы соревнуясь друг с другом, дарят публике произведения, которые обещают сделать нынешний год памятным в нашей литературе».

В атмосфере такого оживления Некрасов задумал выпустить сборник своих стихов, первый за пятнадцать лет работы (если не считать ранней книжки «Мечты и звуки»). Эта мысль пришла ему в голову, видимо, весной 1855 года; во всяком случае, Тургенев уже что-то знал об этом, когда 29 апреля, зазывая Некрасова погостить к себе в Спасское, писал ему: «Ты бы здесь приготовил собрание твоих стихотворений к печати, которое непременно надо издать зимой».

Летом 1855 года, живя в Москве, больной Некрасов

переписывал в особую тетрадь стихи для будущего сборника. В этой работе ему помогала Авдотья Яковлевна, приезжавшая из столицы после довольно длительной размолвки. Некрасов, по словам Боткина, был в это время «в тихом и ясном расположении духа. На вид он стал несколько свежее, но очень слаб».

Еще раньше Некрасов заключил соглашение с московским издателем К. Т. Солдатенковым об издании книги своих стихов; 7 июня он вручил ему тетрадь и получил аванс — тысячу пятьсот рублей. После этого дело по разным причинам тянулось еще довольно долго.

Прежде всего Некрасов не хотел торопиться, так как слишком серьезно относился к будущей книге. Он отобрал для нее всего семьдесят три стихотворения, стремясь представить лучшие и наиболее характерные вещи разных лет (1845—1856). Будущую книгу он рассматривал как итог своей поэтической работы. Кроме того, почти не веря в выздоровление, он считал, что книга может оказаться последним трудом его жизни. И конечно, не случайно в самом конце рукописи он поместил стихотворение, в котором восклицал:

Замолкни, Муза мести и печали!
Я сон чужой тревожить не хочу,
Довольно мы с тобою проклинали,
Один я умираю — и молчу.

Все это обязывало к особо тщательной работе над составлением сборника, над текстами, над композицией книги, и она действительно поражает своей строгой и логичной продуманностью.

Была и еще причина, вынуждавшая поэта не торопиться: он надеялся, что процесс ослабления цензурного гнета будет продолжаться, что завтра цензура, может быть, разрешит то, что запрещала вчера. Это было важно для Некрасова: он хотел включить в сборник не только прежние «опасные» стихи (в том числе «Колыбельную песню»!), но и свои последние, еще не видевшие света сочинения; он хотел предстать перед читателем, перед судом потомства таким, каков он есть, в подлинном виде, без ограничений и урезываний.

Переписав еще раз весь сборник, Некрасов отдал его в петербургскую цензуру; он выбрал для этого самый подходящий момент — дело было чуть ли не накануне ухода в отставку председателя цензурного комитета Мусина-Пушкина. Как и рассчитывал Некрасов, тот не стал

вникать в суть дела, а передал рукопись цензору Бекетову, своему родственнику. Тот, видимо, тоже не очень вникал, понадеявшись на шефа да на автора, который не раз кормил его отличными обедами, и подписал ее к печати. Было это 14 мая 1856 года.

Некрасов ликовал. «Чудеса! — писал он по этому поводу. — Генерал Пушкин на прощанье мои стихи без помарок велел сплошь племяннику подмахнуть. И тот подмахнул». Конечно, не догадываясь, что это обернется для него крупными неприятностями.

Но и этого Некрасову было мало. Отправив рукопись в Москву Солдатенкову, он начал обдумывать некое добавление к книге, которое осветило бы ее единой мыслью, прояснило бы ее замысел. Летом был написан диалог «Поэт и гражданин»; Некрасов решил открыть им свою книгу, сделать его как бы введением к ней. По-видимому, сборник был уже сверстан, когда издатель получил от автора это введение. Поэтому «Поэт и гражданин» был набран отдельно; для него был найден иной, более крупный шрифт; эти первые страницы книги пришлось пронумеровать римскими цифрами.

Все эти внешние обстоятельства удивительно кстати подчеркнули особое значение диалога как поэтической декларации. А уже вслед за нею шли четыре раздела сборника, вместившие лучшее из того, что создал к тому времени Некрасов: стихи о городской бедноте (в том числе «Извозчик», «На улице»), о крестьянстве («В дороге», «Влас», «В деревне», «Забытая деревня»), сатиры («Псовая охота», «Нравственный человек», «Секрет», «Прекрасная партия», «Колыбельная песня», «Филантроп», «Отрывки из путевых записок графа Гаранского»), поэма «Саша», стихи о назначении искусства («Муза», «Блажен незлобивый поэт»), лирика с автобиографическим оттенком («В неведомой глуши...», «Старые хоромы» [1]), лирика «панаевского» цикла и т. д.

Когда сборник «Стихотворения Н. Некрасова» вышел из печати (19 октября 1856 года), эти и другие стихи, впервые собранные вместе, произвели оглушительное впечатление на современников — как на друзей, так и на врагов. Это впечатление коротко и точно выразил в одном из писем Тургенев: «...А Некрасова стихотворения, собранные в один фокус, — жгутся».

---

[1] Первоначальное название стихотворения «Родина», предназначенное для цензуры.

XIX

НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК В «СОВРЕМЕННИКЕ»

Поздней осенью 1853 года к Ивану Ивановичу Панаеву пришел двадцатипятилетний саратовский учитель Чернышевский, недавно приехавший в столицу, и попросил какой-нибудь работы. Выяснилось, что он уже пишет маленькие рецензии для Краевского, но зарабатывает слишком мало. А приехал он из Саратова с женой, ищет квартиру, нужны деньги.

Панаев дал пришедшему несколько книг для разбора, и уже на другой день Николай Гаврилович принес свои рецензии. Они сидели и разговаривали, вспоминает Чернышевский, когда в комнату вошел мужчина, еще молодой, но как будто дряхлый, с опущенными плечами, в халате. «Я понял, что это Некрасов... Я тогда уже привык считать Некрасова великим поэтом и как поэта любить его. О том, что он человек больной, я не знал. Меня поразило его увидеть таким больным и хилым». Еще больше поразил и опечалил Чернышевского его голос, вернее слабый, еле слышный шепот.

Поговорив с Панаевым, Некрасов позвал гостя в свой кабинет, где тем же шепотом попросил его обращаться впредь прямо к нему. Затем Некрасов одобрил его рецензии и рассказал о делах журнала, упомянул о своей болезни («Могу ли я прожить долго?»), а в заключение объяснил, что Краевский — враг «Современнику» и что молодому литератору следует сделать выбор — между «Отечественными записками» и «Современником».

Чернышевский был, по его словам, покорен простотой и прямодушием Некрасова и сразу почувствовал к нему привязанность. С начала 1854 года его рецензии стали появляться в некрасовском журнале.

В первое время он был малозаметен в редакции, но довольно скоро старые сотрудники обнаружили, что его взгляды, его понимание литературы отличаются от тех, к каким они привыкли. Участники журнального круж-

ка тогда еще не подозревали, что среди них появился человек с вполне определившимся мировоззрением, что совсем недавно, в саратовской гимназии, он успел наговорить в классах «таких вещей, которые пахнут каторгой»; они не догадывались, что с его приходом открылась — пока еще незримо — новая страница в истории русской мысли и общественного движения в целом.

Один только Некрасов с его умением находить и определять людей почти сразу после нескольких бесед с новым сотрудником понял, что именно он будет его главной опорой и что с ним связано будущее журнала.

Та часть кружка, во главе которой стоял Дружинин, не замечала Чернышевского до тех пор, пока он не затронул прямо их интересы — не высказал громко своих взглядов на искусство. 10 мая 1855 года в актовом зале университета он защитил свою диссертацию «Об эстетических отношениях искусства к действительности». Эта новая эстетическая декларация вызвала тревогу и раздражение среди поклонников «чистого» искусства. Но чем больше они негодовали, тем яснее становилось Некрасову: Чернышевский был прав, начав борьбу против либерально-дворянских идеологов именно с вопросов эстетики: он хотел вырвать это оружие из рук людей, претендовавших на монополию в области искусства. Развивая идеи Белинского, он стремился поддержать гоголевское направление, подвергавшееся нападкам, восстановить в правах критику, разрушить принципы идеалистической эстетики.

Пусть многое было не только ново, но и спорно в суждениях Чернышевского об отношении искусства к жизни; но суть была в том, что он вел борьбу за демократическое, передовое искусство и воевал не только против Дружинина, но вообще против реакционных и антинародных течений в литературе. Он смело восстал против «рабского преклонения» перед авторитетами.

В этой борьбе Чернышевский опирался на поддержку Некрасова, а тот, в свою очередь, многому учился у своего молодого сотрудника, — Некрасов быстро оценил, как обширны его энциклопедические познания и какой твердостью отличаются его убеждения.

В отношениях с Чернышевским сказались некоторые особенности личности Некрасова. Он никогда не стеснялся учиться у того, кто знал больше, чем он, и всегда заявлял об этом открыто. В нем вовсе не было «мелкого

редакторского самолюбия, или, лучше сказать, амбиции, развитой сильно, до болезненности, у других редакторов и издателей, которых постоянно мучает опасение, как бы их не сочли только номинальными, фиктивными редакторами», как бы не подумали, что «им помогает, а может быть, даже и руководит ими обыкновенный смертный, простой сотрудник...» (из воспоминаний М. А. Антоновича).

Чуждый подобного самолюбия, Некрасов предоставлял своим соредакторам свободу действий и не подавал решающего голоса в тех вопросах, в каких считал себя некомпетентным. Зато если он верил человеку и сознавал в чем-то его превосходство, то всегда с открытой душой впитывал его мнения. Вот почему так велико было влияние Чернышевского, а потом и Добролюбова на мысль и поэзию Некрасова.

Члены кружка, еще не понимая подлинной роли Чернышевского в редакции, думали, что им нетрудно будет уговорить Некрасова отказаться от неприятного и чуждого им сотрудника. Боткин в апреле 1856 года совершенно серьезно советовал Некрасову заменить Чернышевского Аполлоном Григорьевым: «При твоем контроле Григорьев был бы кладом для журнала... Притом он во всем несравненно нам ближе Чернышевского. Переговори-ка об этом с Тургеневым...» Об этом же под влиянием Боткина хлопотал и сам Тургенев, он даже начал переговоры с Григорьевым, хотя Некрасов вовсе не собирался брать его в сотрудники; сам же Григорьев первым условием своей работы в журнале ставил «изгнание Чернышевского».

Еще раньше те же литераторы пытались хлопотать перед Некрасовым, чтобы он заменил Чернышевского Дружининым. Боткин во время совместного с Некрасовым житья в Москве, на даче в Петровском парке, убедил его перечитать статьи Дружинина о Пушкине; статьи Некрасову понравились: «Они достойны человека, о котором писаны; они были бы прекрасны и заметны даже в лучшую эпоху русской критики, чем теперешняя», — писал он Дружинину 6 августа 1855 года, явно обходя молчанием те мысли этого автора о Пушкине, с которыми, безусловно, не мог согласиться.

Вероятно, тогда же Боткин настоял и на приглаше-

нии критика к работе в журнале. И Некрасов написал: «Мне, Дружинин, весьма хочется возобновить Ваше постоянное участие в «Современнике», о чем поговорим, надеюсь, лично».

Однако прошло немногим больше месяца, и Некрасов, уже в Петербурге, вырвавшись из московской атмосферы «искренности, благодушия и любви», создавшейся вокруг Боткина, прочел иронические суждения Дружинина о последователях Гоголя с грубыми выпадами против Чернышевского; он тут же (16 сентября 1855 года) написал Боткину сердитую отповедь по этому поводу: «...Нахожу, что Дружинин просто врет и врет безнадежно, так что и говорить с ним о подобных вещах бесполезно... Дружинин поглядел бы прежде всего на себя. Что он произвел изрядного (в сфере *искусства*)? — «Полиньку Сакс», но она именно хороша потому, что в ней есть то, чего нет в дальнейших его повестях. И кабы Дружинин продолжал идти по этой дороге, так верно был бы ближе даже и к *искусству*, о котором он так хлопочет».

Эти суждения Некрасова примечательны. Он говорит здесь о социальной природе искусства; о том, что Дружинин, отойдя от завоеваний своей первой повести, то есть от общественно значимых вопросов, отошел дальше и от искусства. Заканчивая свою отповедь, Некрасов писал: «...Люби истину бескорыстно и страстно, больше всего и, между прочим, больше самого себя, и служи ей, тогда все выйдет ладно; станешь ли служить искусству — послужишь и обществу, и наоборот, станешь служить обществу — послужишь и искусству...»

Эти слова — один из заветов Некрасова молодым писателям разных времен и поколений. Вряд ли можно сомневаться, что подобные мысли рождались в разговорах с Чернышевским, в совместном обсуждении вопросов искусства. Чернышевский, прислушиваясь к мнениям Некрасова, развивал в своих статьях, в сущности, те же взгляды, особенно когда высмеивал «изящных эпикурейцев», прикрывающихся фразами о «чистом» искусстве, людей, лишенных интереса к тому, что совершается вокруг них «силою исторического движения»; а однажды, прямо намекая на односторонность и ограниченность теорий Дружинина, он саркастически заметил: «Пусть они продолжают быть, чем хотят: великого ничего не произведут они ни в каком случае». Дружинин не мог не заметить этих слов.

* * *

Пришло время, и Некрасов мало-помалу, при помощи тонкой политики вытеснил Дружинина из «Современника». А Дружинин для борьбы с чернышевщиной приобрел свою трибуну — сделался редактором «Библиотеки для чтения». О его уходе жалели почитатели. Толстой, который в то время, по выражению Тургенева, «объедался Дружининым» и под его прямым влиянием возненавидел Чернышевского, писал Некрасову (2 июля 1856 года): «Нет, вы сделали великую ошибку, что упустили Дружинина из вашего союза. Тогда бы можно было надеяться на критику в «Современнике», а теперь срам... Так и слышишь тоненький неприятный голосок, говорящий тупые неприятности...»

Устами Толстого здесь явно говорил Дружинин, примерно в то же время заносивший в свой дневник неприязненные и грубые отзывы о Чернышевском.

Некрасов был крайне огорчен суждениями Толстого, о чем тут же (22 июля) написал в Ясную Поляну: «...Особенно мне досадно, что Вы так браните Чернышевского. Нельзя, чтобы все люди были созданы на нашу колодку. И коли в человеке есть что-то хорошее, то во имя этого не надо спешить произносить ему приговор за то, что в нем дурно или кажется дурным. Не надо также забывать, что он очень молод, моложе всех нас, кроме Вас разве».

Некрасову и позднее не раз приходилось защищать Чернышевского в спорах с его противниками. Уже будучи за границей, он как-то писал Тургеневу о литературной позиции Толстого и, конечно, не мог не вспомнить о его несправедливом отношении к молодому сотруднику: «Больно видеть, что Толстой личное свое нерасположение к Чернышевскому, поддерживаемое Дружининым и Григоровичем, переносит на направление, которому сам доныне служил и которому служит всякий честный человек в России» (18 декабря 1856 года).

Из этого последнего замечания следует вывод: как нельзя, по мнению Некрасова, личное н е р а с п о л о ж е н и е к человеку переносить на «направление», так же точно он считал неправильным переносить на «направление» и личное р а с п о л о ж е н и е к тому или иному деятелю. Этим только и можно объяснить, что, уже принципиально разделяя в главном взгляды Чернышевского,

а позднее и Добролюбова, редактор «Современника» более или менее сохранял свои прежние отношения с группой либеральных сотрудников журнала.

В частности, давнее знакомство связывало его с Дружининым, что не помешало Некрасову в одном из писем к Тургеневу из-за границы (от 18 декабря 1856 года) резко и прямо отозваться о попытках Дружинина собрать разных писателей вокруг «Библиотеки» для борьбы против «Современника»: «Не знаю, как будет кушать публика г... со сливками, называемое дружининским направлением, но смрад от этого блюда скоро ударит и отгонит от журнала все живое...»

Некрасов был уверен, что после его отъезда за границу Дружинин постарается переманить в «Библиотеку» лучших сотрудников «Современника». И не ошибся. Дружинин начал действовать, и на первых порах, как ему казалось, весьма успешно. Он даже не скрывал своего удовлетворения по поводу отсутствия Некрасова, которого явно побаивался[1]. Во всяком случае, в его дневнике 18 декабря 1856 года появилась новая запись: «Наш литературный cénacle, вопреки всем ожиданиям, не потерпел нисколько от отъезда некоторых товарищей и отделения «Библиотеки» от «Современника». Боткин, Анненков, я и Толстой составляем зерно союза, к которому примыкают Панаев, Майковы, Писемский, Гончаров и т. д.» (не издано).

Можно подумать, что литературный кружок «Современника» попросту перекочевал в дружининскую «Библиотеку для чтения», а отъезд «некоторых товарищей», то есть Некрасова, способствовал укреплению нового «союза», к которому Дружинин на радостях причислил даже Панаева!

На деле это было далеко не так.

Правда, первые номера «Библиотеки», вышедшие под редакцией Дружинина, показывали, что он добился некоторых успехов. Но Некрасов был предусмотрителен и принял свои меры. Он понимал, что писатели, недоволь-

---

[1] В дневнике Дружинина есть перечень придуманных им шутливых прозвищ разным литераторам (или, может быть, «прозрачных» имен для задуманной пьесы?). Среди них любопытны такие: Тургенев-Слабосерд, Панаев-Фривол, Анненков-Себялюб, Некрасов-Крутон и т. д. Это прозвище Некрасова встречается и в письмах современников, близких к Дружинину (например, у Е. Колбасина).

ные деятельностью Чернышевского и его мнимой враждой к искусству (Тургенев упорно называл его книгу «поганой мертвечиной», и даже Боткин спорил с ним по этому поводу), могут поддаться на уговоры Дружинина. Он понимал также, что потерять их значило бы нанести тяжелый удар журналу. На это не могли пойти ни Некрасов, ни Чернышевский. Они готовы были отказаться от участия в журнале критиков-либералов (и фактически уже отказались), но оба были уверены, что Толстой, Тургенев, Островский и даже Григорович как художники не имели ничего общего с «дружининским направлением», с теорией «чистого» искусства.

С точки зрения Некрасова подлинный писатель-гражданин, свободный в своем творчестве от узких догм, не мог не принадлежать к «живому и честному» направлению в литературе, а органом этого направления был «Современник». Как Некрасов (в «Заметках о журналах»), так и Чернышевский в статьях и рецензиях, касаясь творчества Толстого и Тургенева, постоянно отмечали их внимание к народной жизни, чуткость к общественным вопросам. Еще в 1855 году Некрасов писал Толстому: «...не только готов, но и рад дать Вам полный простор в «Современнике», — вкусу и таланту Вашему верю больше, чем своему...» Чернышевский же в одном из писем заверял Некрасова: «...Но когда надобно защищать Григоровича, Островского, Толстого и Тургенева — я буду писать с возможною ядовитостью и беспощадностью...»

Словом, не желая рисковать благополучием «Современника», Некрасов придумал такой выход: задолго до отъезда за границу, в феврале 1856 года он предложил четырем избранникам договор, согласно которому они с 1857 года обязывались сотрудничать исключительно в «Современнике», а за это, кроме обычного полистного гонорара, получили бы право участвовать в дивидендах, то есть в общих доходах журнала.

14 февраля 1856 года этот вопрос обсуждался (видимо, впервые) на обеде у Некрасова, о чем мы узнаем из того же дневника Дружинина; в этот день он записал: «Генеральный обед у Некрасова. Пили здоровье Островского[1]. Потом Толстой и Григорович передали мне какой-то странный план о составлении журнальной ком-

[1] Островский тогда только что приехал в Петербург и впервые оказался в кругу «Современника».

пании исключительного сотрудничества в «Современнике»... В субботу обо всем этом будет говорено серьезнее, но я не вполне одобряю весь замысел» (не издано).

Толстой, Тургенев, Островский и Григорович согласились подписать это условие об «исключительном сотрудничестве». А на другой день после «генерального обеда» все они отправились к известному тогда фотографу С. Л. Левицкому, чтобы запечатлеть это событие на коллективном снимке. К ним присоединились Гончаров и Дружинин, Некрасова же на снимке не оказалось — видимо, по нездоровью он не мог выехать из дому.

Так появилась широко известная ныне групповая фотография, изображающая крупнейших писателей середины прошлого века.

Некрасов возлагал большие надежды на союз «Современника» с этими писателями. В октябрьском номере журнала за 1856 год было напечатано извещение, написанное Некрасовым и Чернышевским. В подготовке его активно участвовал Тургенев. В извещении говорилось: «...Но, оставаясь неизменным по своему направлению, сохраняя прежнюю редакцию и прежних сотрудников, «Современник» вошел с некоторыми из известнейших наших писателей в обязательное соглашение...» Объяснив цель соглашения и перечислив имена четырех его участников, авторы извещения писали: *«Все* новые *беллетристические произведения названных писателей ...начиная с 1857 года, будут появляться исключительно в «Современнике»*. Нет надобности говорить, что от того выиграют и читатели «Современника», и писатели, участвующие в договоре, и достоинство журнала».

Этот новый для журналистики метод привлечения писателей вызвал много волнений в литературном мире. Дружинин, естественно, не одобрял замысла Некрасова: но делать было нечего, и он тут же попытался использовать новую обстановку, складывавшуюся в «Современнике», в прежних своих целях. Он надеялся внушить участникам соглашения, что они теперь приобрели возможность решительно влиять на положение дел в журнале. «Для меня яснее дня то, что вы трое (Григоровича я не считаю, и Вы, вероятно, тоже) должны иметь контроль над журналом и быть его представителями... Не принимайтесь за дело круто и до времени терпите безобразие Чернышевского...» — так поучал Дружинин Толстого. Тогда же, но более осторожно он обратился и к

Тургеневу. «Неужели же вы не возьмете контроля в журнале?.. Положа руку на сердце, признайтесь, — неужели вы довольны Чернышевским и видите в нем критика, и не обоняете запаха отжившей мертвечины... С будущего года ответственность за это безобразие падет на вас...»

Старания Дружинина были напрасны. Толстой, глубоко чуждый хитросплетениям журнальной борьбы, еще раньше признался, что он раскаивается в «поспешном условии» с «Современником». А Тургенев, год тому назад негодовавший по поводу «мертвечины», теперь прочитал в журнале новую (шестую) главу работы Чернышевского «Очерки гоголевского периода русской литературы», где шла речь о Белинском, и круто изменил свое мнение об их авторе; он счел нужным сообщить об этом тому же Дружинину: «Я досадую на него за его сухость и черствый вкус ...но «мертвечины» я в нем не нахожу — напротив: я чувствую в нем струю живую, хотя и не ту, которую Вы желали бы встретить в критике». Закончил же он свой отзыв признанием совсем уж неожиданным для Дружинина: «,..Я почитаю Чернышевского полезным; время покажет, был ли я прав» (30 октября 1856 года).

Шестая глава «Очерков гоголевского периода» (они начали печататься в журнале с последней книжки 1855 года) вернулась из цензуры в редакцию исполосованная красными чернилами: цензор Бекетов по традиции вычеркнул из текста все, что касалось Белинского. Не было предела огорчению и негодованию Некрасова. Он тут же написал Бекетову: «Почтеннейший Владимир Николаевич. Ради бога, восстановите вымаранные Вами страницы о Белинском. Это слишком печальное действие, и я надеялся и надеюсь от врожденного Вам чувства справедливости, что Вы не будете гонителем беззащитного и долго поруганного покойника... Будьте друг, лучше запретите мою «Княгиню», запретите десять моих стихотворений кряду, даю честное слово: жаловаться не стану даже про себя» (29 марта 1856 года).

Горячая убежденность этих слов, множество доводов, приведенных в большом письме, возымели свое действие: перестаравшийся Бекетов частично восстановил вымаранные страницы. Таким образом, историческая роль Белинского для русской литературы была впервые освещена в «Современнике» усилиями его прямых наследников и продолжателей.

Больше года зеленую обложку «Современника» ежемесячно украшали имена четырех писателей, связавших себя с ним «обязательным соглашением». Однако скоро выяснилось, что участники соглашения вяло выполняли свои обязательства, присылали слишком мало материала, даже меньше, чем до «закабаления».

Некрасов и Панаев хлопотали, рассылали письма, умоляя о присылке материалов. Это почти не помогало. В печати стали появляться насмешки, например, в «Сыне отечества» журнал «Современник» был уподоблен тому любителю лошадей, который прячет на конюшне коней самых отменных пород, а выезжает на простых клячах.

Летом 1857 года Некрасов, вернувшись из-за границы, застал журнал в печальном состоянии. Тогда он написал одному из участников соглашения, что они «поставили себя перед публикой в комическое положение, а журнал в трагическое». Другому сообщил о «крайне комическом и вместе прискорбном состоянии» журнала. Третьего просил и жаловался: «...Бога ради, пришлите повесть Вашу... Это необходимо. Ни от кого из участников *ничего нет*... Нужно выпускать объявление о подписке на 1858 год. *С какими глазами?..*»

30 июля 1857 года Некрасов и Панаев сделали еще одну отчаянную попытку — разослали участникам бумагу, высказав в ней все красноречие, на какое были способны. Они указали на увеличение числа подписчиков и объяснили это тем, что публика узнала об исключительном участии в журнале четырех ее любимых писателей. «Между тем, — говорилось в бумаге, — деятельность г.г. участников до настоящего времени весьма мало оправдывала ожидания публики. Нарисовав мрачную картину «жалкого положения» журнала, особенно ввиду приближающейся подписки, авторы документа выразили надежду, что участники «с своей стороны позаботятся о поддержании журнала, с достоинством которого, кроме материальных выгод, связана их собственная добрая слава...».

Но все усилия были бесполезны, обе стороны скоро поняли, что сохранить соглашение не удастся. Некрасов принял решение официально его ликвидировать: в начале 1858 года участники получили от него документ о расторжении договора с предложением новых условий для сотрудничества. Однако эти новые условия уже никого ни к чему не обязывали.

В литературе по истории журналистики были наивные попытки истолковать самую идею «обязательного соглашения» чуть ли не как свидетельство капитуляции Некрасова перед журналами-конкурентами, или как известную уступку либерализму — привлечение писателей, числившихся в дружининском лагере. Этому нельзя не удивляться, если вспомнить, о каких именно писателях хлопотал Некрасов, стремясь приблизить их к «Современнику». Толстой являлся в его глазах носителем правды, в которой так нуждалось русское общество (хотя известно, что Некрасов осуждал реакционность некоторых высказываний молодого Толстого, видя в них «следы барского и офицерского влияния»); Тургенева он высоко ценил как писателя, внесшего подлинный вклад в отечественную литературу своими «Записками охотника» (они впервые появились в некрасовском журнале); Островского, автора пьес из народной жизни, Некрасов считал первым русским драматургом; наконец, Григорович, наименее яркий в этом созвездии, все-таки был автором «Антона Горемыки» и других повестей, сыгравших заметную роль в антикрепостническом движении умов.

Некрасов имел все основания надеяться, что будущие труды этих писателей послужат новому расцвету реализма и гражданственности в русской литературе. Вот почему он стремился объединить их вокруг «Современника». Вот почему «обязательное соглашение» было не уступкой либерализму, а, по сути дела, формой борьбы Некрасова за Толстого, Тургенева и других писателей-реалистов, методом, который свидетельствовал об инициативе, предприимчивости и широте взглядов Некрасова. А одной из задач этой борьбы, в которой его поддерживали Чернышевский и Панаев, было желание освободить писателей от влияния сторонников «чистого» искусства, противников гоголевского направления (прежде всего Дружинина) [1].

---

[1] Дружинин, в свою очередь, стремился активно влиять в определенном духе на крупнейших писателей своего времени, особенно на Толстого и Тургенева. Если критики-демократы, а также Некрасов поддерживали социальное и критическое начало как наиболее сильную сторону творчества Тургенева, то Дружинин развивал прямо противоположные взгляды: в большой статье о тургеневских «Повестях и рассказах» (1856), явно намекая на «Записки охотника», он писал: «Может быть, г. Тургенев даже во многом ослабил свой талант, жертвуя современности и практическим идеям эпохи».

Однако обострявшиеся социальные противоречия в стране, резкие разногласия между писателями по вопросу о предстоящей крестьянской реформе уже разводили их в разные стороны. Хотя Некрасов делал все, чтобы удержать любимых публикой писателей вокруг своего журнала, хотя этот журнал очень в них нуждался, но не в его силах было преодолеть историческую закономерность, а также противоречия литературного движения. Получилось так, что четыре писателя, издавна связанные с «Современником», теперь начали чувствовать себя в нем посторонними; он стал казаться им чужим, ибо в нем все более ярко сказывалось влияние политических идей и эстетических взглядов Чернышевского, самого Некрасова, а чуть позднее и Добролюбова.

Понимая все это, редактор проявил высокую принципиальность: заботясь о направлении журнала, о чистоте знамени «Современника», он не пошел на уступки, а принял своего рода бойкот со стороны участников соглашения: ему ничего не оставалось, как это соглашение расторгнуть. Он вообще бывал тверд, когда дело касалось позиции журнала и вопросов принципиальных. Например, узнав, что Островский, один из участников соглашения, очень недоволен резким отзывом Чернышевского о славянофиле Т. И. Филиппове, Некрасов писал: «Современник» — по крайней мере пока я в нем — не будет холопом своих сотрудников, как бы они даровиты ни были. Начни вникать, кто кому друг, так зайдешь черт знает куды» (16 июня 1856 года).

В то же время были у Некрасова и некоторые колебания, легко объяснимые неизбежным давлением со стороны либеральных друзей. Однако Некрасов понимал, что будущее принадлежит разночинцам, а не дворянам, что наступает эпоха демократической литературы и рождается новый читатель. Как и Чернышевский, он был воодушевлен идеей освобождения народа, и потому оба они не могли не отвергнуть политическую идеологию дворянского либерализма, не могли не разойтись с теми, кто как огня боялся народного движения, — прежде всего с критиками-эстетами (Боткин, Дружинин и др.).

Расхождение с писателями произошло не сразу. Разрыв «обязательного соглашения», знаменательный сам по себе, не означал, конечно, немедленного прекращения всяких связей между некрасовским журналом и старыми

сотрудниками. Тургенев, например, еще несколько лет сохранял дружеские отношения с Некрасовым (впрочем, заметно похолодевшие) и продолжал изредка появляться в «Современнике» (в 1858-м — «Ася», в 1859-м — «Дворянское гнездо», в 1860-м — речь «Гамлет и Дон-Кихот»), Григорович напечатал только две вещи — очерки и повесть — в 1860 году; зато постоянным автором оставался Островский — он помещал здесь свои пьесы почти до конца существования журнала.

К чести Некрасова надо сказать: в трудных условиях, преодолевая сопротивление друзей-врагов (разрыв с Тургеневым был еще впереди), он нашел в себе силы расстаться с людьми, близостью которых привык дорожить, и отдал все свои симпатии «новому человеку» — Чернышевскому; ему поручил он сначала критический отдел своего журнала, а затем и одну из руководящих ролей в «Современнике». И Чернышевский всегда помнил, что именно Некрасову, его благородству и твердости характера он был обязан всем тем, что сумел и успел сделать.

XX

«НЕ НЕБЕСАМ ЧУЖОЙ ОТЧИЗНЫ — Я ПЕСНИ РОДИНЕ СЛАГАЛ!»

Больше года продолжались сборы за границу. Еще в Москве, летом 1855 года, Некрасов обсуждал эту поездку с Боткиным. Доктора усердно посылали его в Италию, надеясь на тамошний благодатный климат, но день отъезда по разным причинам все откладывался. Тем временем здоровье его начало немного улучшаться. Он сам, не веря в это, с удивлением сообщал Грановскому в сентябре 1855 года: «В здоровье моем, кажется, что-то совершается странное: мне делается лучше, чего я никак не ожидал».

Друзья тоже стали замечать эту перемену после возвращения Некрасова из Москвы. Особенно интересен рассказ об этом Тургенева, который в последние дни работы над «Рудиным» постоянно бывал у Некрасова,

читал ему новые главы повести. В декабрьском письме Анненкову Тургенев рассказывал: «Некрасов уже более трех месяцев не выходит — он слаб и хандрит по временам — но ему лучше — а как он весь просветлел и умягчился под влиянием болезни, что из него вышло — какой прелестный оригинальный ум у него выработался — это надобно видеть, описать этого нельзя» (9 декабря 1855 года).

Отъезд откладывался из-за нездоровья, из-за работы над сборником стихов, потом его задерживали дела журнальные. Не так просто было надолго покинуть «Современник». Обстановка в редакции, как мы уже знаем, складывалась довольно сложная. Надо было решать, на кого же оставить большой журнальный корабль. В начале 1855 года Некрасов думал, что его заменит Тургенев. Он так и писал Толстому: «...Тургенев займет мою роль в редакции «Современника» — по крайней мере, до той поры, пока это ему не надоест» (17 января 1855 года). Но тогда отъезд не состоялся. Теперь же Некрасов решил иначе. Накануне своего отъезда он составил такой документ:

«Милостивый государь Николай Гаврилович. Уезжая на долгое время, прошу Вас, кроме участия Вашего в разных отделах «Современника», принимать участие в самой редакции журнала и сим передаю Вам мой голос во всем... так, чтоб ни одна статья в журнале не появлялась без Вашего согласия, выраженного надписью на корректуре или оригинале».

Проще и яснее редактор журнала не мог выразить свою волю и свое отношение к Чернышевскому. 11 августа 1856 года Некрасов отправился в заграничное путешествие. «Вот я наконец *поехал»,* — написал он Тургеневу.

Путь его из Петербурга лежал морем на Штеттин, оттуда по железной дороге до Берлина, а затем — двадцать один час поездом — до Вены, где его встретила Авдотья Яковлевна, много раньше выехавшая за границу. В Вене (она «удивительно красива, великолепна и чиста») они прожили дней восемь или десять. Мрачное настроение, редко покидавшее Некрасова с тех пор, как он заболел, теперь почти исчезло. Он с любопытством осматривал город, бывал в театрах и долго не вспоминал о главной цели своего приезда — посоветоваться со

знаменитым врачом, к которому его направил петербургский доктор Шипулинский.

В конце концов он побывал у венской знаменитости. Болезнь была признана все еще серьезной, и Некрасову предписали зиму провести в Италии. Из Вены они добрались до Триеста, а оттуда пароход за шесть часов доставил путников в Венецию — «волшебный город» на воде. «Друг мой, — писал Некрасов сестре, — какая прелесть Венеция! Кто ее не видал, тот ничего не видал».

Здесь они провели восемь дней, затем, побывав проездом во Флоренции, Ферраре и Болонье, 20 сентября прибыли в Рим, где остались надолго. Пытаясь разобраться в своих первых заграничных ощущениях, Некрасов приписал в Париж Тургеневу: «Одно верно, что, кроме природы, все остальное производит на меня скорее тяжелое, нежели отрадное, впечатление. В Ферраре я забрел в клетку, где держали Тасса[1], и целый день потом было мне очень гадко» (21 сентября 1856 года). К этому Некрасов добавил, что вся стена «клетки» была исцарапана именами посетителей, среди которых прочел он имя Байрона. А свое прибавить не решился.

Остановились Некрасов и Авдотья Яковлевна на площади Испании, в одном из лучших отелей. На другой же день к ним явился с визитом соотечественник — литератор, сотрудник «Современника», а позднее довольно известный мемуарист Петр Михайлович Ковалевский. Его встретила «нарядная и эффектная брюнетка», известная ему по Петербургу, — самого Некрасова не было дома. Под впечатлением этого визита Ковалевскому пришли в голову некоторые сравнения: «Эта неожиданная встреча, этот отель и эта красивая женщина вызвали невольно из памяти первую мою встречу Некрасова на Невском проспекте, дрогнущего в глубокую осень в легком пальто и ненадежных сапогах, помнится, даже в соломенной шляпе с толкучего рынка...»

Кроме Ковалевского, в Риме оказались и другие знакомые — вскоре приехал Афанасий Афанасьевич Фет с больной сестрой, были здесь русские художники, собиравшиеся по вечерам у гостеприимных Ковалевских. Часто стали бывать у них и Некрасов с Фетом. Днем же они обычно прогуливались на Монте-Пинчио, излюблен-

[1] Великий итальянский поэт Торквато Тассо (XVI век) около семи лет провел в заточении.



Николай Алексеевич Некрасов. Фотография 1861 года с дарственной надписью Л. Ф. Лихачеву.

Христосъ Воскресе!
Почтенный бояринъ
Николай Алексеевичъ
Господинъ Некрасовъ
20го Апреля 1869 г.
Кострома.
Не побрезгуй на подарочке,
А увидимся опять,
Выпьем мы по доброй чарочке
И отправимся стрелять.
отъ друга-приятеля
крестьянина деревни
Шоды Гаврилы Яковлева

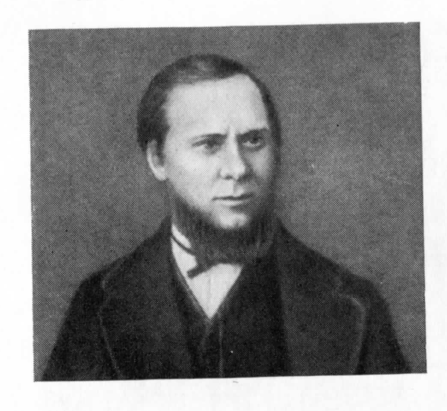
Гаврила Яковлевич Захаров — крестьянин деревни Шоды.

Усадьба Некрасова Карабиха.

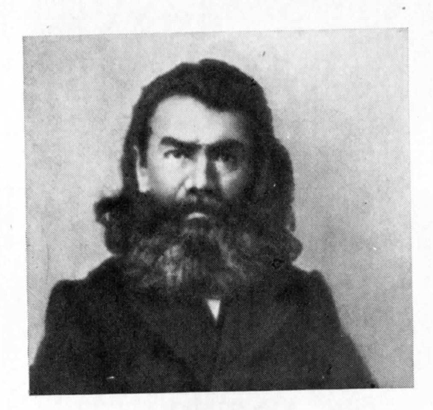
Гостиная в усадьбе Карабиха.



Артистка французского театра в Петербурге Селина Лефрен.



Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин. Фотография середины 60-х годов.



Григорий Захарович Елисеев. Фотография 1860 года.



Николай Константинович Михайловский. Фотография начала 70-х годов.



Николай Алексеевич Некрасов.



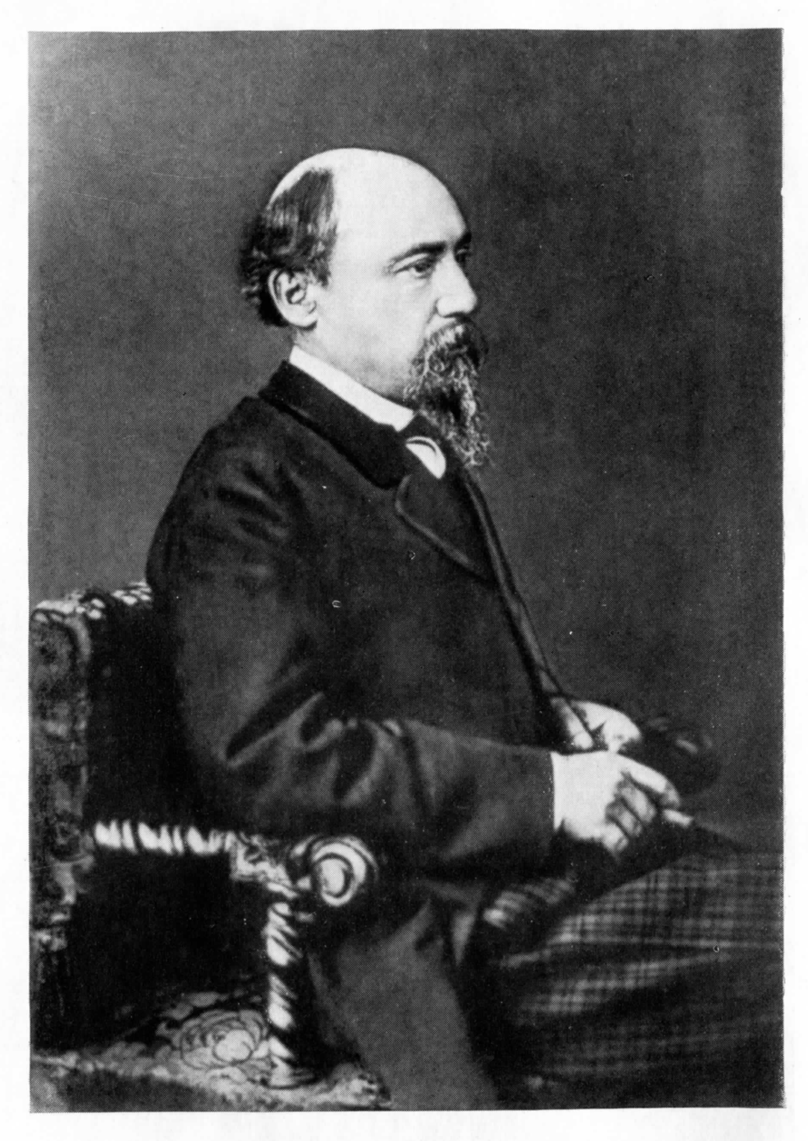
Деятели «Отечественных записок» — Н. А. Некрасов, М. Е. Салтыков-Щедрин, Г. З. Елисеев, Г. И. Успенский.

Анна Алексеевна Буткевич. Фотография 1869 года.





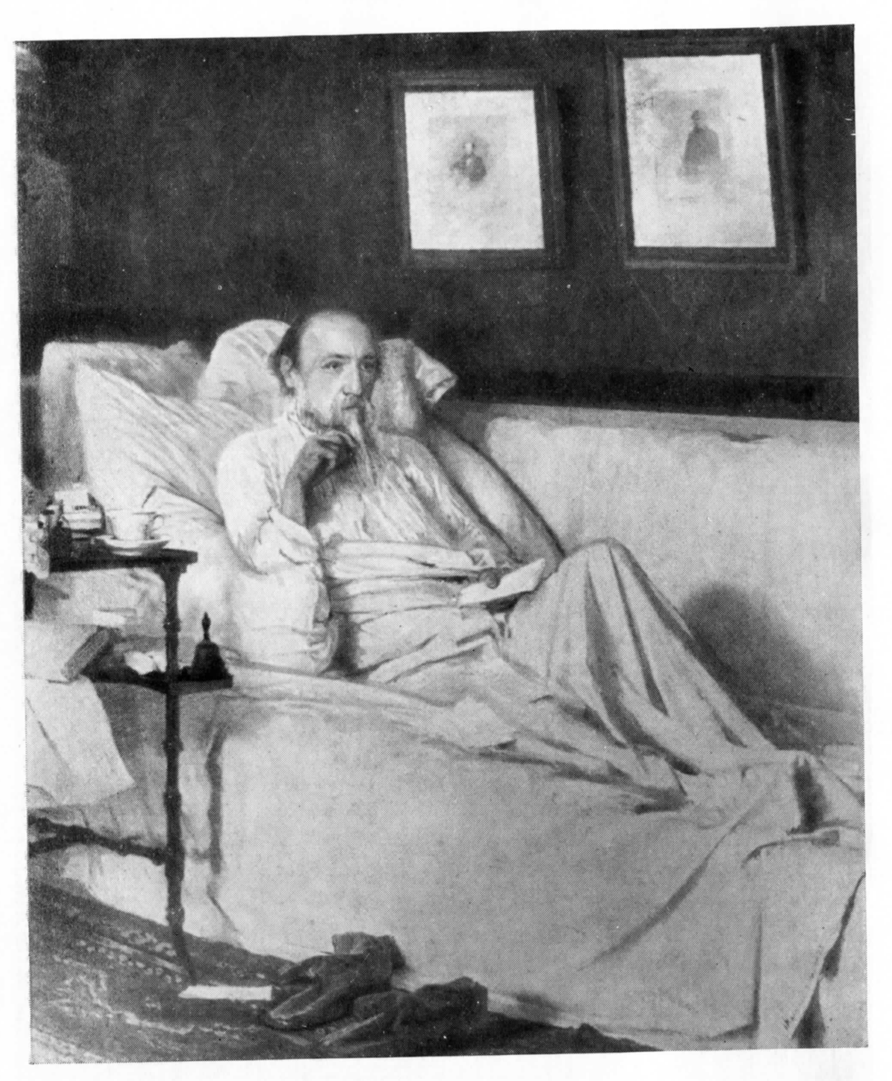
Зинаида Николаевна Некрасова.



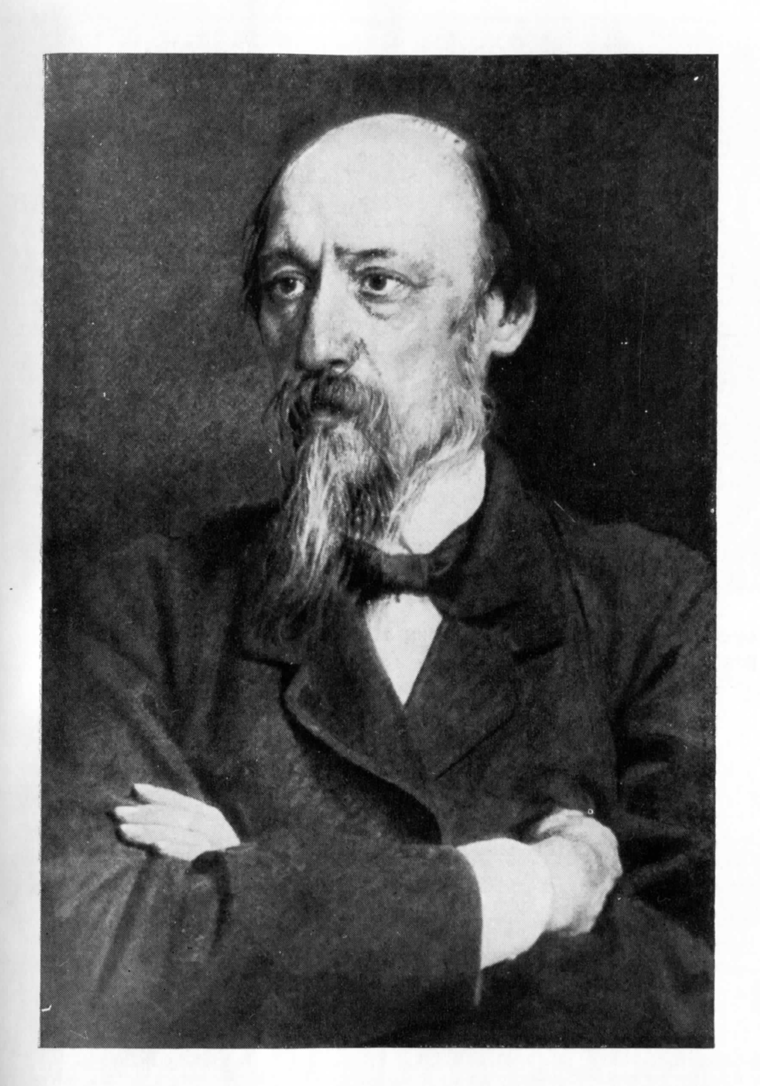
Николай Алексеевич Некрасов. Фотография 1870 года.



Охотничья усадьба Некрасова в Чудовской Луке.



Больной Некрасов. Картина И. Н. Крамского. 1877.



Портрет Некрасова работы Крамского.

Похороны Н. А. Некрасова. Гравюра на дереве К. Крыжановского по рисунку А. Бальдингера. 1878.



Могила Некрасова на Новодевичьем кладбище в Ленинграде.



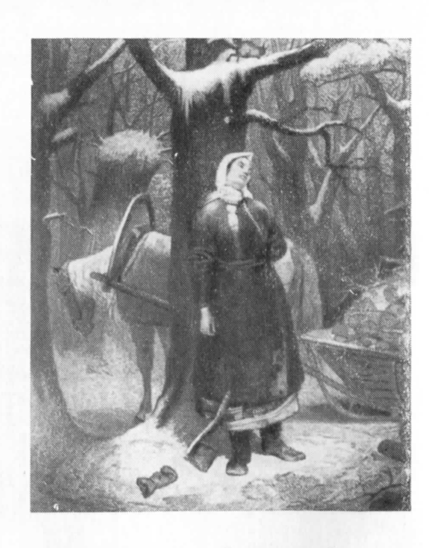
Некрасовский район Ярославской области. Памятник Н. А. Некрасову.

Государственный мемориальный музей Н. А. Некрасова в Ленинграде.

Иллюстрация к стихотворению «Филантроп». Художник П. Соколов.



Иллюстрация к стихотворению «Тройка». Литография по рисунку А. Лебедева из альбома «Кое-что из Некрасова».



«Мороз, Красный нос». Гравюра с рисунка Н. Дмитриева-Оренбургского. 1865.



Лубок «Катеринушка».



Иллюстрация к стихотворению «Дядюшка Яков».



Иллюстрация А. Лебедева к поэме «Кому на Руси жить хорошо». Рисунок был запрещен цензурой.

ном месте отдыха римлян; именно здесь один из русских художников, учившихся в Италии, — А. Ф. Чернышев сделал превосходную шутливую зарисовку такой прогулки.

Слегка шаржированный рисунок запечатлел флегматичную грузную фигуру Фета с крупным носом на толстом лице, с маленькими глазками и светлыми усиками, в офицерском пальто; хрупкую наружность его сестры, ее болезненный облик; парящего над Фетом Ковалевского, который увенчивает поэта лавровым венком; и, наконец, выразительные черты Некрасова с темной растрепанной бородкой, в теплой куртке и мягком картузе, с карими, не без лукавства, глазами (таким запомнил его и Ковалевский).

Некрасову в первые дни хорошо жилось в Риме. Он «шатался по Колизею» в лунные вечера, ходил в оперу, взбирался на купол святого Петра и даже ездил с Фетом на охоту по вальдшнепам. Позднее, на пасху, он ходил смотреть «разные религиозные дивы», наблюдал, как папа с балкона благословлял народ, переполнявший площадь святого Петра. «Рим мне тем больше нравится, чем больше живу в нем».

Он стал менее раздражителен, чем был прежде, но все-таки и теперь, по словам Панаевой, случалось, что он по два дня не хотел выходить из комнаты. Да и сам Некрасов, не прожив даже месяца в Вечном городе, уже жаловался Тургеневу: «...день, два идет хорошо, а там — смотришь — тоска, хандра, недовольство, злость... всему этому и есть причины и, пожалуй, нет...» Среди этих причин, которые есть и которых нет, немалое место занимали отношения с Авдотьей Яковлевной, отличавшиеся крайней неровностью.

Встрече их за границей предшествовал почти полный разрыв весной 1855 года, может быть, связанный с усилением его болезни. Об этом было известно друзьям. Боткин 27 апреля писал: «Некрасов с Панаевой окончательно разошлись. Он так потрясен и сильнее прежнего привязан к ней, но в ней чувства, кажется, решительно изменились. Здоровье его очень плохо...» И в то же время Некрасов шлет ей из Москвы (живя на даче с Боткиным) жестокие и оскорбительные (по ее мнению) письма, которые вызывают у нее чувство горечи; в ответ она пишет: «Вы верно угадали, что Ваше письмо много мне принесет слез и горя»; «Болезнь сделала Вас жестоким!»

Несмотря на все это, в мае того же года, беспокоясь о нем, Авдотья Яковлевна приезжает к больному в Москву, и тот же Боткин подтверждает — она хорошо сделала, что приехала: «Разрыв ускорил бы смерть Некрасова». В июле она приезжала еще раз. Затем, весной следующего года, Авдотья Яковлевна отправилась за границу; жила главным образом в Риме.

Письма ее этого времени полны жалоб на одиночество, тоску, безденежье («Я сижу в чужом городе, без гроша и живу в долг»). Она размышляет о своей «унизительной юности» и «одинокой молодости», сетует на судьбу, давшую ей через меру напиться «всеми отравами, которыми угощает общество женщину...».

Другое письмо Авдотьи Яковлевны (к Ипполиту Панаеву) дает представление об ее образе жизни: «Время я провожу в Риме так же, как в Петербурге, — дома, хотя знакомых дам набралось порядочно... Вы не думайте, чтоб я сидела без пользы. В Италии учусь по-итальянски, говорю плохо, но уже читаю и перевожу изрядно».

Но вот приезжает Некрасов, и она спешит его встретить. В Риме их жизнь течет легко, и он с удовольствием отмечает: «Она теперь поет и попрыгивает, как птица, и мне весело видеть на этом лице выражение постоянного довольства — выражение, которого я очень давно на нем не видал» (21 сентября 1856 года). Однако проходят какие-нибудь две недели, и он пишет другому своему корреспонденту, что ему жаль ее, но приносить жертвы не в его характере: «...Она мне необходима столько же, сколько... и не нужна... Вот тебе и выбирай, что хочешь» (7 октября 1856 года).

Положение действительно нелегкое. И он задумывает поездку в Париж, один, без уверенности в том, что вернется обратно; в Париже его ждет Тургенев, о котором он соскучился. Но тут его захватывает замысел новой поэмы, задуманной еще в России, и он, забыв обо всем, садится за работу.

Вдали от родины мысли его по-прежнему были прикованы к России, и музу его волновали только русские дела и заботы. Не прожив в Риме и месяца, он пишет Тургеневу: «Верю теперь, что на чужбине живее видишь родину» (9 октября 1856 года). А в стихах признается:

В Германии — я был как рыба нем,
В Италии — писал о русских ссыльных...

И в самом деле, он начал поэму о «русских ссыльных» («Несчастные») и напряженно работал над нею в Риме весь ноябрь и часть декабря. «24 дни ни о чем не думал я, кроме того, что писал. Это случилось в первый раз в моей жизни — обыкновенно мне не приходилось и 24 часов остановиться на одной мысли. Что вышло, не знаю — мучительно желал бы показать тебе...» Так писал он Тургеневу, еще далеко не закончив поэмы, обширной по замыслу, вобравшей разнородный материал, в том числе — едва ли не впервые в русской литературе — тему о политических ссыльных.

С особым увлечением Некрасов взялся за эту тему после того, как до него дошли сведения о новом манифесте, изданном в России по случаю коронации Александра II: 26 августа было объявлено прощение «государственным преступникам», сосланным в Сибирь по делу 14 декабря 1825 года; им разрешалось возвратиться из дальних краев и жить где они пожелают, кроме Москвы и Петербурга. Тема, уже давно манившая Некрасова, в известной мере переставала быть запретной.

И он с жаром принялся за работу; в будущую поэму он «думал вылить всю... душу». В ее широкие рамки вместились и автобиографические куски (воспоминания тяжелого детства в крепостной усадьбе), и мрачные зарисовки столичного города с его туманными рассветами, нищетой, арестантскими фурами, и светлые картины деревенской трудовой жизни, живой природы, полной красок и звуков, и многое другое.

В центре второй главы поэмы — образ политического ссыльного по кличке Крот, имеющего неотразимое влияние на окружающих его «клейменых каторжников». Один из них и ведет в поэме рассказ об этом тихом и больном, закованном в цепи человеке. Нигде не говорится о его прошлом, о том, какие дела привели Крота в Сибирь. Не знают этого и товарищи по каторге:

Не все мы даже понимали,
За что его сюда заслали...

Но из множества штрихов создается образ человека с великой душой, которому предназначено быть трибуном, говорить речи, звать за собой толпу. Невольно вспоминаются слова Герцена о Белинском: «В этом хилом теле обитала мощная, гладиаторская натура». Огромной внут-

ренней силой освещена личность Крота, неотразимы его слова:

...Пусть речь его была сурова
И не блистала красотой,
Но обладал он тайной слова,
Доступного душе живой.

Высокое благородство духа, самоотверженность и самоотречение, то есть жизнь для других, целеустремленность Крота покоряют каторжников. Они становятся другими людьми, слушая его рассказы, которые скорее можно назвать пропагандой в духе революционного просветительства. Его устами Некрасов высказывает свою заветную скорбную мысль о вековой покорности народа:

Но спит народ под тяжким игом,
Боится пуль, не внемлет книгам.
О Русь, когда ж проснешься ты...[1]

В то же время он верит в скрытые силы народа («Покажет Русь, что есть в ней люди»), знает, что в недрах страны

Бежит поток живой и чистый
Еще немых народных сил...

В своих речах он обращается и к будущему и к прошлому, где ему видится образ того, кто «обучил, вознес, прославил» отечество: «...Великого Петра он звал отцом России новой» (в этом сказалось то понимание петровских преобразований, которое Некрасов воспринял в кругу Белинского, Герцена, а затем и молодого Чернышевского). Он говорит своим слушателям о революционных борцах, скорее всего о декабристах, — это им когда-нибудь будет воздвигнут «пышный мавзолей»:

Узнали мы таких людей,
Перед которыми поздней
Слепой народ восторг почует...

Некрасов создал образ большой силы, хотя поэма осталась незаконченной, местами недоработанной; поэт ее «скомкал», осуществив только часть своего замысла.

Образ Крота носит, несомненно, собирательный характер — так представлялся политический ссыльный, жертва

---

[1] Эти строки при жизни Некрасова запрещались цензурой и были напечатаны только в 1905 году.

николаевского террора, декабрист или петрашевец, взору русского демократа 50—60-х годов. Но, кроме того, этому образу придают особое значение некоторые черты сходства его с Белинским. Они угадываются во многом — в его наружности, в речах, в суждениях о судьбах России и о Петре. Но более всего напоминает о Белинском предсмертное пророческое «мечтанье» Крота, когда, воспрянув с ложа и обретя неожиданную силу, он зовет к мятежу:

Кричал он радостно: «вперед».
И горд, и ясен, и доволен:
Ему мерещился народ
И звон московских колоколен;
Восторгом взор его сиял,
На площади, среди народа,
Ему казалось, он стоял
И говорил...

Некрасов не мог не помнить, что согласно недавнему и еще живому тогда преданию—Белинский так же перед самой смертью, почти в агонии, долго говорил, как будто обращаясь к русскому народу. Связь здесь очевидная: когда поэт стремился воплотить в слове характер и облик бойца, трибуна, гражданина, перед ним всякий раз возникал незабываемый образ Белинского.

* * *

19 октября 1856 года в Москве вышла из печати книга «Стихотворения Н. Некрасова». Слух об этом дошел до Рима только в ноябре. В первых же сообщениях друзей говорилось о небывалом успехе книги у читателей. О том же в один голос твердили тогда друг другу в своих письмах очевидцы этого успеха.

Чернышевский 5 ноября сообщил Некрасову, что пятьсот экземпляров книги, полученных в Петербурге, разошлись в два дня. «...Восторг всеобщий. Едва ли первые поэмы Пушкина, едва ли «Ревизор» или «Мертвые души» имели такой успех, как Ваша книга». Некрасова рассердили эти сравнения.

Лонгинов из Москвы писал Тургеневу в Париж: «Стихотворения Некрасова вышли в свет 19 октября. Они у всех в руках и производят... сильное впечатление. Едва ли это не самая многознаменательная книга нашего времени».

Тургенев из Парижа — Лонгинову в Москву: «Я никогда не сомневался в огромном успехе стихотворений Некрасова. Радуюсь, что мои предсказания сбылись; ...Что ни толкуй его противники — а популярнее его нет теперь у нас писателя... Он теперь в Риме с Авдотьей Яковлевной и с Фетом...»

Боткин из Москвы — Тургеневу в Париж: «Книгопродавцы взяли у издателя 1400 экземпляров. Не было примера со времени Пушкина, чтоб книжка стихотворений так сильно покупалась».

Тургенев из Парижа — Герцену в Лондон: «Из России я имею известие о громадном и неслыханном успехе «Стихотворений» Некрасова, 1400 экземпляров разлетелись в 2 недели: этого не бывало со времен Пушкина».

Герцен из Лондона — Тургеневу в Париж (уже получив книгу стихов): «Я нахожу и находил в нем сильный талант, хотя сопряженный с какой-то злой сухостью и угловатой обрывчатостью».

Так из города в город летели эти сообщения и мнения об успехе первой книги стихов Некрасова. Конечно, он был доволен и горд таким успехом. «О книге моей пишут чудеса, — голова могла бы закружиться».

А между тем надвигалась гроза.

В начале декабря, в самом «жару работы» над «Несчастными», пришло письмо из Парижа от Тургенева, оно «как варом обдало». Оказывается, Тургеневу сообщили из Петербурга (а от Некрасова пока скрыли) важную новость: только что вышедший ноябрьский номер «Современника» вызвал небывалый переполох в самых высоких сферах. Дело было в том, что Чернышевский, замещавший редактора, поместил в журнале заметку о выходе книги стихов Некрасова и в эту заметку (конечно, с ведома Панаева) включил три стихотворения: «Поэт и гражданин», «Забытая деревня» и «Отрывки из путевых заметок графа Гаранского». Все они только в сборнике впервые увидели свет.

Чем руководствовался Чернышевский, когда выбрал именно эти вещи для перепечатки? Позднее он объяснял свой поступок только неопытностью в журнальных делах, но это не совсем убедительно. Скорее всего он вполне сознательно стремился сделать как можно более известными самые яркие, самые острые в социальном отношении стихи некрасовского сборника.

СТИХОТВОРЕНІЯ

Н. НЕКРАСОВА.

Изданіе К. Солдатенкова и Н. Щепкина.

МОСКВА.

Въ Типографіи Александра Семена.

1856.

Вероятно, понимал это и Некрасов. Тургеневу он объяснял, что в свое время сознательно не поместил «Поэта и гражданина» в «Современнике» — не хотел ставить под угрозу журнал. Иное дело — книга. «Я не ребенок; я знал, что делал», — писал он тогда же и Анненкову, имея в виду включение «крамольных» стихов в книгу: за нее отвечал только он один, да и цензура в этом случае была менее придирчива.

Теперь же, когда стихи все-таки появились в «Современнике», Некрасов сначала испытал понятную тревогу и за журнал, и за себя. Тем более что до Рима дошли слухи, что по возвращении в Петербург его ждут крупные неприятности, вплоть до Петропавловской крепости («...ка-

жется, мне грозит что-то не совсем хорошее по возвращении в Россию», — из письма от 18 декабря 1856 года).

В то же время Некрасов не мог не радоваться той популярности, какую приобретал «Поэт и гражданин» благодаря всей этой истории. Дело было сделано — в журнале появились стихи, какие не могла бы пропустить цензура. Это было главное.

Наверное, по этой причине Некрасов довольно быстро успокоился: «А может, и так пронесет. Мы видывали цензурные бури и пострашней — при Николае I, да пережили. Я так думаю, что со стороны цензуры «Современник» от этого не потерпит, — к прежней дичи все же нельзя вернуться» (18 декабря 1856 года). Любопытно также, что Чернышевского Некрасов не обвинял в неопытности или в легкомыслии. «Никакого упрека мне», — вспоминал Чернышевский.

В чем же состояла «буря», постигшая «Современник»?

Известно, что в великосветских и придворных кругах обычно не читали сборники стихов, но зато многие проявляли интерес к популярному и «крамольному» журналу, поэтому появление в нем трех некрасовских стихотворений очень скоро было замечено. О них, по-видимому, доложили Александру II. После этого и начался невероятный шум. Подняли на ноги министерство просвещения и цензурное ведомство. Был отстранен от «Современника» цензор Бекетов. Появились документы, официально запрещавшие новые издания стихов того же автора, а также всякие выписки, то есть перепечатки из книги. Иван Иванович Панаев, как один из редакторов, был вызван к министру просвещения Норову, тот накричал на него и сделал «строжайший выговор за неуместное и неприличное перепечатание стихотворений г. Некрасова...». Панаеву было объявлено, что при первом подобном случае издаваемый им журнал подвергнется «совершенному прекращению».

Особый интерес среди документов этого времени представляет составленный князем П. А. Вяземским проект распоряжения по цензурному ведомству. В качестве товарища министра просвещения Вяземский в эти годы (1856—1858) был одним из главных руководителей цензуры. Когда-то свободолюбивый поэт, друг Пушкина и многих декабристов, он давно забыл увлечения молодости

и стал ретивым охранителем монархических начал, защитником реакционной политики самодержавия в области литературы и цензуры. Еще Белинский (в письме к Гоголю) дальновидно охарактеризовал Вяземского как «князя в аристократии и холопа в литературе».

Надо отдать справедливость Вяземскому: он лучше других понял смысл некрасовской поэзии и безошибочно определил ее взрывчатую силу. Рассматривая стихи некрасовского сборника «в совокупности», он пришел к заключению, что они являют собой не сатиру, осмеивающую некоторые заблуждения общества, а «более грубый, озлобленный и раздражающий, политический стихотворный памфлет на целое коренное устройство общества и на такие стороны общественного быта, которые... не подлежат литературному обсуждению, а особенно с тою резкостию и цинизмом выражений, какими запечатлены многие стихи».

Вяземский отметил, что в стихах Некрасова преданы грубому порицанию лица, принадлежащие к высшему и зажиточному сословию; они же приносятся в жертву «сословию низшему», в котором тем самым возбуждаются страсти, неудовольствия и волнения. Во всем цензор-аристократ видел «дикие отголоски» идей французской революции и литературы, которая была «плодом прежних политических и общественных смут во Франции». Что же касается стихотворения «Поэт и гражданин», то смысл его наиболее сильных строк — призыв идти в огонь «за честь отчизны, за убежденье, за любовь», звучащее как лозунг заверение —

Умрешь не даром: дело прочно,
Когда под ним струится кровь, —

Вяземский истолковал вполне определенно: «...тут идет речь не о нравственной борьбе, а о политической ...здесь говорится не о тех жертвах, которые каждый гражданин обязан принести отечеству, а говорится о тех жертвах и опасностях, которые угрожают гражданину, когда он восстает против существующего порядка и готов пролить кровь свою в междуусобной борьбе или под карою закона».

Вяземский не раз обнаруживал свою враждебность некрасовской поэзии, в частности, осуждал ее антикрепостнические мотивы. Он доказывал, что цензура должна быть особенно строга к Некрасову, так как всеми преды-

дущими стихами поэт как бы приучил читателей искать чуть ли не в каждом его выражении тайный и неблагонамеренный смысл.

Суждения Вяземского подтверждают, что «Поэт и гражданин» был воспринят в высших кругах как призыв к революции. Об этом говорит опубликованное Герценом в «Колоколе» (20 июля — 1 августа 1857 года) анонимное письмо «Из Петербурга»; резкое по отношению к петербургским «верхам», оно в то же время содержит попытку защитить некрасовские стихи, придать им почти невинный характер. Вот эти строки «Колокола»:

«Воры и укрыватели воров большой руки подняли крик, начали жаловаться государю... на книжку стихотворений, где ничего нет, кроме участия к бедности и ненависти к притеснениям. Аристократическая сволочь нашла в книжке какие-то революционные возгласы, чуть не призыв к оружию. Русское правительство, изволите видеть, боится стихов: «Иди в огонь за честь отчизны» [следуют те же пять строк] ...Это сочли чуть не адской машиной и снова дали волю цензурной орде с ее баскаками. Какое жалкое ребячество!»

Тревожные вести с родины оторвали Некрасова от напряженной работы над поэмой. Но работа уже шла. «Групый человек! Я воображал, что можно будет напечатать ее. О Тургенев! Зачем же жить, — то есть мне, которого жизнь — медленное трудное умиранье. Впрочем, к черту хандра и скуление. Хоть для тебя — кончу».

К этому Некрасов прибавил: «Кончивши, начну ее портить; может и пройдет, если вставить несколько верноподданнических стихов». В дальнейшем он так и сделал. Завершив, вернее «скомкав», поэму, не сделав и половины того, что было задумано, он в самом конце, после слов каторжника — «И до Сибири отдаленной прощенья благовест достиг», вписал в его рассказ такие строки:

Взрыдав душою умиленной,
Мы пали ниц, благодаря
Нас не забывшего царя.

В таком виде текст поэмы «Несчастные» появился в «Современнике» (1858), но уже в следующем ее издании (в сборнике стихов 1861 года) Некрасов выкинул приведенные три строки. Сходная история была и с поэмой «Тишина», начатой также в Риме в конце 1856 года.

Четвертая главка этой поэмы, написанная уже на родине, первоначально включала несколько верноподданнических стихов, идеализировавших Александра II и начинавшуюся эпоху реформ. Обращаясь к «стороне родной», поэт говорил здесь:

К добру разумное стремленье
Животворит твоих детей;
В права вступает просвещенье,
Уходит мрак... кругом светлей,
И быстро царство молодое
Шагает по пути добра,
Как в дни Великого Петра...
Да сбудется!
Погибни злое!

Можно объяснить эти строки стремлением смягчить неблагоприятное впечатление, произведенное в высших кругах некрасовским стихотворным сборником и особенно перепечаткой трех стихотворений; можно рассматривать их и как тактический ход, имевший целью облегчить напечатание поэмы. Но все-таки в этих слащаво-идиллических, совсем не некрасовских стихах нашли отражение известные либеральные иллюзии, которым одно время поддались даже самые передовые слои русского общества. С одной стороны, широкие обещания реформ, начавшаяся подготовка к отмене крепостного права, с другой — отсутствие реальных надежд на революцию, на преодоление темноты и забитости народных масс, — в этих условиях и Герцен, и даже Чернышевский не избежали некоторых, пусть кратковременных, иллюзий, связанных с новой политикой правительства.

Однако при своем появлении в «Современнике» (1857, № 9) «Тишина» вызвала толки о том, что поэт отказался от прежних резких обличений. Одна из современниц (М. Ф. Штакеншнейдер) тогда же писала Я. П. Полонскому: «Тишина» Некрасова подняла бурю. Его упрекают в отступничестве». Герцен писал Тургеневу: «Видел ли ты, что Некрасов обратился в православие?» (19 декабря 1857 года). Но трезвый и скептический ум Некрасова неизбежно должен был освободиться от заблуждений. Так или иначе, готовя к печати новое издание своего сборника (1861), Некрасов уже отбросил примиренческие настроения: во второй и последующих публикациях «Тишины» (как и поэмы «Несчастные») не осталось и следа от славословий по поводу царя и предстоящих реформ.

В конце января 1857 года Некрасов приехал из Рима в Париж. Он явился прямо к Тургеневу и остался в его квартире на Rue de l'Arcade, № 11. Они говорили, гуляли. Иван Сергеевич охотно показывал гостю город, который так хорошо знал, водил по разным примечательным местам. «Я живу теперь с Некрасовым, — сообщал Тургенев своему приятелю Е. Я. Колбасину. — ...Здоровье его, кажется, поправилось — хотя он хандрит и киснет сильно. Он кое-что сделал, но слухи, до него дошедшие об участи его стихотворений, несколько приостановили его деятельность...» (26 января 1857 года).

Вскоре в Париж приехал Толстой, и они почти два дня провели втроем.

Но тут Некрасов внезапно уехал, — «ускакал опять в Рим, куда влекла его старинная привязанность», как определил Тургенев.

Особой дружеской привязанности между тремя писателями в это время не возникло. Толстому не понравилось, что его спутники были слишком поглощены сердечными делами — Тургенев сетовал на сложность своих переживаний (они были связаны с Полиной Виардо), Некрасову тоже было на что пожаловаться. Словом, у Толстого сложилось впечатление, что «оба они блуждают в каком-то мраке, грустят, жалуются на жизнь...» — так сетовал он (в письме к Боткину) на двух неудачников, встреченных в Париже. А в дневнике Льва Николаевича тогда же появилась запись: «Не смог сойтись с Тургеневым и Некрасовым» (9 февраля 1857 года). Некрасов же, напротив, был доволен встречей с Толстым и вскоре из Рима написал ему: «Теперь я очень жалею, что... мало побыл с Вами».

Авдотья Яковлевна, скучавшая в Риме, встретила Некрасова радостно. Она, кажется, догадывалась о его намерении «удрать» и тем более была довольна возвращением.

Он тоже явно смягчился и пришел к такому выводу: «Нет, сердцу нельзя и не должно воевать против женщины, с которой столько изжито, особенно когда она, бедная, говорит *пардон*. Я по крайней мере не умею...» (из письма Тургеневу от 17 февраля 1857 года).

Вскоре они отправились в Неаполь, где провели безмятежно три недели — почти весь март. Погода стояла отличная, весенняя природа юга была в полном цветении.

Особенно сильное впечатление на Некрасова произвела поездка в Сорренто[1].

Он чувствовал себя настолько бодрым, что вместе с компанией русских знакомых совершал дальние прогулки, даже взбирался на Везувий и, подобно другим туристам, пробовал спускаться в самый кратер. А по вечерам сидел на балконе, любуясь лазурным морем и заходящим солнцем, и слушал певца-неаполитанца, — он ежедневно являлся к балкону.

* * *

11 апреля Некрасов и Панаева покинули Рим. Они отправились во Флоренцию, побывали в Генуе, Ницце и около 22—23 апреля[2] приехали в Париж. Остановились в Hôtel du Luvre. Встретивший их Тургенев показался Некрасову гораздо менее мрачным и грустным, чем в прошлое свидание. Он даже счел нужным немедленно сообщить об этом Толстому, к тому времени уже уехавшему в Женеву: «Тургенев просветлел, что Вам будет приятно узнать».

В первые же дни по приезде Некрасов познакомился с Иваном Сергеевичем Аксаковым, который незадолго до этого появился в Париже и часто встречался с Тургеневым. Можно думать, что Некрасову было интересно увидеть талантливого поэта-славянофила, о стихах которого ему приходилось сочувственно говорить в печати[3]. С дру-

---

[1] Почти в это же время (в июне) в Италии побывал И. С. Аксаков. В одном из его писем к отцу сохранилось такое описание тогдашнего Сорренто: «...это разнообразие утесов, но не голых только, а покрытых миртами, виноградом, виллами, деревнями. В Сорренто — вы едете одной улицей версты три мимо непрерывного ряда густых садов апельсинных и лимонных...»

[2] В ряде источников, в том числе в «Летописи жизни и творчества Н. А. Некрасова» Н. С. Ашукина (1935), указывается, что он прибыл в Париж 5 мая (по старому стилю). Но это неверно, поскольку уже 24 апреля И. С. Аксаков писал в Москву о своей парижской встрече с Некрасовым. Кроме того, в письме к Толстому от 5 мая сам Некрасов говорит о своей жизни в Париже как вполне устоявшейся («Я кормлю и лечу себя — вот главная моя теперь забота»).

[3] Например, в «Заметках о журналах» за апрель 1856 года Некрасов привел полностью два больших стихотворения И. Аксакова — «Усталых сил я долго не жалел» и «Добро б мечты...», опубликованные в журнале «Русская беседа». Некрасов писал о них: «Давно не слышалось в русской литературе такого благородного, строгого и сильного голоса».

гой стороны, отзыв видного славянофила о личности редактора «Современника», сохранившийся в его письме к отцу, заслуживает внимания, тем более что он, кажется, не замечен писавшими о Некрасове.

Дело в том, что среди московских славянофилов издавна установилось недружелюбное и отчасти даже пренебрежительное отношение к «Современнику» и его кругу. Здесь, с одной стороны, играли роль давние разногласия славянофилов с западниками (ревнителей старины не устраивало отрицание передовым журналом всякой патриархальщины, его борьба с ложными представлениями о народности); с другой стороны, для славянофилов была неприемлема эстетическая позиция журнала, поддержка им обличительной и желчной поэзии (хотя Некрасов как поэт и раньше интересовал Аксаковых, вспомним, как ликовали они по поводу «примирительных» настроений первой главы «Саши»); наконец, их отталкивали слухи о так называемых «чернокнижных» увлечениях некоторых петербургских литераторов (Дружинина, Лонгинова и других), в известной мере бросавшие тень на весь кружок. Все это объясняет, почему еще в 1854 году Иван Аксаков обсуждал с отцом вопрос о возможности разорвать узы, связывающие милого им Тургенева «с грязным и безнравственным обществом Ив. Панаева и компании».

И вот в Париже Тургенев знакомит Ивана Аксакова с только что приехавшим Некрасовым. Аксаков тут же сообщает об этом отцу — Сергею Тимофеевичу. Сначала он рассказывает о встречах с Тургеневым, замечая: «...есть в нем требование высшей правды и свободы». А затем прибавляет: «Познакомился я на днях с Некрасовым. Он чрезвычайно робок и застенчив; в нем тоже что-то шевелится. И это «что-то» возбуждает симпатию больше, чем самоудовлетворенность «Русского вестника» Каткова и др.» (24 апреля 1857 года).

Конечно, это довольно общий и весьма сдержанный отзыв, но в устах Ивана Аксакова он многозначителен.

Осмотревшись в Париже, Некрасов начал ходить по знаменитым врачам, а Тургенев вскоре уехал в Лондон, к Герцену. Некрасова тоже тянуло в Лондон. Он хотел встретиться и объясниться с Герценом: их отношения приняли к этому времени сложный и напряженный характер. 26 мая Некрасов решил напомнить Тургеневу: «...в числе причин, по которым мне хотелось поехать, главная

была увидеть Герцена, но, как кажется, он против меня восстановлен — чем, не знаю, подозреваю, что известной историей огаревского дела».

Некрасову было больно при мысли, что человек, которого он бесконечно уважал, тот, кто первый после Белинского приветствовал добрым словом его стихи, теперь думает о нем плохо. Поэтому он просил Тургенева: если Герцен пообещает хоть на десять минут зайти к нему в гостиницу, то он, Некрасов, готов, не колеблясь, выехать в Лондон.

Тургенев, искренно желая примирения, три дня безуспешно уговаривал Герцена поговорить с Некрасовым. И то ли он еще надеялся на удачу, то ли не успел предупредить Некрасова, но случилось так, что в начале июня тот явился в Лондон, а Герцен отказался с ним встретиться. Причиной действительно было «огаревское дело». Именно оно заставило Герцена отказать Некрасову в своем личном расположении, хотя он высоко его ценил как поэта.

Когда Тургенев (еще из Парижа) сообщил Герцену, что Некрасову понравились отрывки из «Былого и дум», опубликованные в «Полярной звезде», — «Некрасов (которого ты не любишь) был в восхищении от... твоих мемуаров», — то Герцен тут же ответил ему из Лондона (18 февраля 1857 года): «Ты напрасно думаешь, что я ненавижу Некрасова; право, это — вздор. В его стихотворениях есть такие превосходные вещи, что не ценить их было бы тупосердием. Но что я нелегко прощаю юридические проделки, вроде покупки векселей Огарева и его союза с плешивой вакханкой, как ты называл Марью Львовну, то это у меня такой педантизм».

Почти тогда же в письме к своей приятельнице М. Мейзенбуг Герцен сделал такое важное признание: «Хотя я его как человека не люблю, но это поэт очень замечательный — своею демократическою и социалистическою ненавистью» (28 мая 1857 года).

В чем же состояло «огаревское дело» и почему оно встало между Некрасовым и Герценом?

История началась с того, что Николай Платонович Огарев, разойдясь в 1844 году со своей женой Марьей Львовной, назначил ей определенную сумму, от которой она первое время получала проценты. Но затем Марья Львовна стала требовать от Огарева уже не проценты, а самый капитал. А так как она жила за границей, а Огарев —

в России, то ведение своих денежных дел доверила близкой приятельнице — А. Я. Панаевой. Авдотья Яковлевна взяла себе в помощь дальнего родственника Панаева — Н. С. Шаншиева.

По настоянию Марьи Львовны Огарев передал ей (фактически Шаншиеву и Панаевой) свое орловское имение Уручье и несколько векселей. Это было в 1851 году. Через два года Марья Львовна умерла в Париже, и тут обнаружилось, что она не получила от Шаншиева и Панаевой своего капитала. Огарев, естественно, предъявил им иск. И он сам, и его друзья (Н. Сатин, Н. Кетчер и другие) полагали при этом, что за спиной Панаевой и Шаншиева стоит Некрасов. Подозрения Огарева были неосновательны и несправедливы, однако он внушил их Герцену.

Вот почему Герцен не захотел встретиться с Некрасовым. «Причина, почему я отказал себе в удовольствии Вас видеть, — язвительно писал он Некрасову, — единственно участие Ваше в известном деле о требовании с Огарева денежных сумм, которые должны были быть пересланы и потом, вероятно, по забывчивости, не были пересланы, не были даже и возвращены Огареву...» (10 июля 1857 года). Герцен ждал от Некрасова объяснений. Но оскорбленный Некрасов не захотел оправдываться: «Что же касается до причины Вашего неудовольствия против меня, то могу ли, нет ли оправдаться в этом деле, — перед Вами оправдываться не считаю удобным. Думайте, как Вам угодно» (26 июля 1857 года).

Теперь можно с уверенностью сказать, что никаких данных, подтверждающих причастность Некрасова к судьбе огаревского наследства, нет. И Некрасов имел все основания заявить Тургеневу: «Ты лучше других можешь знать, что я тут столько же виноват и причастен, как ты, например» (26 мая 1857 года). А Тургенев, конечно, не стал бы так настойчиво убеждать Герцена встретиться с Некрасовым, если бы не был убежден в его порядочности.

Можно говорить о другом, о том, что, зная об «огаревском деле», Некрасов не предусмотрел всех возможных последствий этой запутанной истории, растянувшейся почти на полтора десятилетия, и не сумел своевременно ее пресечь. Панаеву же можно упрекнуть в неумелом ведении дела, в небрежном отношении к чужим деньгам (точнее — векселям) и к своим обязательствам. Похоже, что

все это и имел в виду Некрасов, когда в одном из писем к Авдотье Яковлевне (от него сохранился лишь отрывок) с горечью сетовал на ее «грех», который он «навсегда принял на себя».

Так понимал роль Панаевой в «огаревском деле» и К. И. Чуковский. Он писал: «Виновата ли она, мы не знаем, но если виновата, мы с уверенностью можем сказать, что злой воли здесь она не проявила, что намерения присвоить чужое имущество у нее не было и быть не могло»[1]. С этим нельзя не согласиться.

И тем не менее «огаревское дело» стоило Некрасову многих душевных страданий. Слишком много было у него врагов и завистников. Потому-то над его головой долго вились сплетни, шепот и разного рода слухи, в том числе и слух о том, будто бы он проиграл в карты огаревские деньги. А уж про отношения с Авдотьей Яковлевной и говорить нечего: и без того неровные, они подверглись новым испытаниям...

Несправедливые обвинения в адрес Некрасова были поддержаны не только некоторыми современниками, — они проникли и в научную литературу нашего времени[2]. Но нельзя не считаться с тем, что против этих обвинений в свое время энергично возражал такой осведомленный свидетель, как Чернышевский. В одном письме из Петропавловской крепости, упомянув об этой денежной тяжбе, он счел нужным заявить: «В многочисленных разговорах, которые она возбуждала в обществе, я громко порицал действия Герцена и Огарева по этому делу» (20 ноября 1862 года).

И позднее Чернышевский сожалел, что Герцен, пользовавшийся огромным авторитетом в русском обществе, пытался оказать столь пагубное влияние на репутацию

[1] К. И. Чуковский, Некрасов. Статьи и материалы. Л., 1926, стр. 94.

[2] В 1933 году вышла книга Я. Черняка «Огарев, Некрасов, Герцен, Чернышевский в споре об огаревском наследстве», на которую до сих пор некритически ссылаются историки литературы и комментаторы. Они не обращают внимания на то, что в книге сделана попытка доказать, что Некрасов «был и приобретателем и промышленником в полной мере» и вел себя в «огаревском деле» так, «как диктовали это хищные навыки современной ему промышленной буржуазии». В этой книге впервые опубликовано множество ценных документов; однако общая концепция исследования Я. Черняка является упрощенной и неверной, а его обращение с фактами грешит предвзятостью.

Некрасова. «Я полагаю, — писал Чернышевский в 1884 году, — что истина об этом ряде незаслуженных Некрасовым обид известна теперь всем оставшимся в живых приятелям Огарева и Герцена...»

«Огаревское дело» закончилось в конце 1860 года. Иск Огарева был удовлетворен. Некрасов принимал в ликвидации «дела» самое активное участие. По свидетельству Чернышевского, он «чуть не побил» бестолкового и плутоватого Шаншиева, принуждая его положить конец тяжбе.

Узнав обо всем этом, Тургенев сказал:

— Слава богу, что сняли наконец с себя пятно!

* * *

Теперь вернемся к рассказу о последних днях пребывания Некрасова за границей. В середине июня 1857 года он вместе с Тургеневым и Авдотьей Яковлевной вернулся из Лондона в Париж и стал собираться на родину. Вскоре они выехали в обратный путь. Тургенев провожал их до Берлина — он задумал лечиться в Германии. Из Берлина он отправился в город Зинциг, на левом берегу Рейна, недалеко от Бонна, где начал пить какие-то целебные воды.

В письмах друзьям из Зинцига Иван Сергеевич делился впечатлениями и как бы подводил итоги наблюдений над своими недавними спутниками. Анненкову он писал, что Некрасов «очень несчастный человек», потому что «все еще влюблен». И, неодобрительно отзываясь о Панаевой, уверял, что она «непременно сведет его с ума» (27 июня 1857 года).

Более подробно (и уже по секрету!) Тургенев высказал свои впечатления в другом письме — к Марии Николаевне Толстой (сестре писателя), своей соседке по имению. Он сообщил ей, что Некрасов «уехал с г-жею Панаевой, к которой он до сих пор привязан — и которая мучит его самым отличным манером...». Она, показалось Тургеневу, «владеет им, как своим крепостным человеком. И хоть бы он был ослеплен на ее счет! А то — нет. Но ведь — известное дело: это все тайна... Тут никто ничего не разберет, а кто попался — отдувайся, да еще, чего доброго, не кряхти» (4 июля 1857 года).

В последних словах явный намек на неустроенность

собственной личной жизни. В этом смысле Тургенев не раз сравнивал себя с Некрасовым; однажды он писал ему: «...скверное наше положение (во многом, как ты знаешь, сходное), но должно крепиться...» (8 апреля 1858 года). Так и здесь: упомянув о чужой сердечной неразберихе, он тотчас же подумал о своей...

А в общем-то, Тургенев был, вероятно, прав: ведь речь зашла о такой мудреной области человеческих отношений, в которой не только потомкам, но, как видно, и современникам трудно было разобраться, ибо — «это все тайна...». «Тут никто ничего не разберет» — к такому выводу пришел писатель, близко наблюдавший запутанные отношения двух людей. А ведь он был одним из великих сердцеведов русской литературы.

Так завершилась первая поездка Некрасова за границу, продолжавшаяся около года.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ



I

«В СТОЛИЦАХ ШУМ...»

Отрадное и вместе с тем горькое чувство охватило Некрасова, когда он ступил на родную землю. Контраст после долгого пребывания на Западе был слишком разителен. Вот как он сам определил в одном из писем первые свои впечатления: «Серо, серо! глупо, дико, глухо — и почти безнадежно! И все-таки я должен сознаться, что сердце у меня билось как-то особенно при виде «родных полей» и русского мужика...» (27 июля 1857 года).

Родные поля и нивы сразу ожили в первых же его стихах, написанных по возвращении:

Все рожь кругом, как степь живая,
Ни замков, ни морей, ни гор...
Спасибо, сторона родная,
За твой врачующий простор!

Так была начата первая лирическая глава поэмы «Тишина» (средняя же ее часть, посвященная павшему Севастополю и народу-герою, была написана еще в Риме). В этой первой главе поэт дал волю своему патриотическому чувству, обострившемуся в отдалении. «Я написал длинные стихи, исполненные любви (не шутя) к родине», — сообщил он Толстому (29 августа 1857 года).

Он воспел и «ровный шум лесов сосновых», и русскую пыльную дорогу, и храм божий на горе, пробудивший в нем «детски чистое чувство веры». Да, в этих стихах, рисующих «храм печали», можно уловить оттенок религиозного настроения, столь редкого у Некрасова. Но еще явственней здесь угадывается символика народного горя, как бы воплощенная в самом облике «убогого храма» с его «скудным алтарем»: сюда приходит молиться простой народ, здесь господствует «бог угнетенных, бог скорбящих».

Лирические строки первой главы, покоряющие своей

эмоциональной выразительностью, вызвали похвалу Л. Толстого. Аполлон Григорьев, толкуя поэзию Некрасова в «почвенническом» духе, почти целиком процитировал (в статье 1862 года) первую главу «Тишины» как образец высокой художественности, присущей некрасовской музе, и тут же пошутил: «Поэт! поэт! Что же вы морочите-то нас и «неуклюжим стихом», и «догоранием любви»? [1]

В этой же первой главе содержатся мысли о России, которые могли сложиться только после возвращения из дальних стран:

Как ни тепло чужое море,
Как ни красна чужая даль,
Не ей поправить наше горе,
Размыкать русскую печаль!

Классически просто здесь выражена душевная боль русского поэта, — ее не заглушат заморские красоты, ибо это боль за свою страну, за ее вековую тишину и печаль. О том же, в сущности, написано в это время и еще одно стихотворение, в котором также преломились первые впечатления от встречи с родиной. Посылая это стихотворение Тургеневу в Париж, Некрасов писал (27 июля 1857 года): «Вот тебе стихи, которые я сложил вскоре по приезде:

В столице шум — гремят витии,
Бичуя рабство, зло и ложь,
А там, во глубине России,
Что там? Бог знает... не поймешь!
Над всей равниной беспредельной
Стоит такая тишина,
Как будто впала в сон смертельный
Давно дремавшая страна.
Лишь ветер не дает покою
Вершинам придорожных ив,
И выгибаются дугою,
Целуясь с матерью-землею,
Колосья бесконечных нив...»

Вероятно, эти строки сложились даже раньше, чем начало «Тишины». Во всяком случае, они служат дополнением к ней, к ее картинам скромной и печальной русской природы; в то же время стихотворение обогащено

---

[1] Имелись в виду строки: «Мой суровый, неуклюжий стих» и «Догорая, теплится любовь» (из стихотворения «Праздник жизни — молодости годы...»).

новой мыслью — поэту бросился в глаза контраст между оживлением, наступившим в столице, и прежней тишиной «во глубине России». Конечно, он имел в виду не самый подъем общественного движения, который уже начинался в это время и знаменовал собою начало эпохи 60-х годов, а непомерный шум, поднятый либеральными журналистами и восторженными поэтами вокруг ожидавшихся «великих» реформ.

Об этом говорит хотя бы первая строка: «...гремят витии». Старомодное уже тогда словечко содержало пренебрежительно-иронический оттенок вопреки своему старославянскому происхождению и первоначально торжественному смыслу. Любопытно, что именно такую окраску это слово имело уже у Пушкина («О чем шумите вы, народные витии?»), но сохраняло ее и в позднейшей русской лирике — достаточно вспомнить Блока и поэму «Двенадцать», где оно приобрело ту же насмешливую интонацию («Должно быть писатель, вития!»); конечно, здесь — сознательно или бессознательно — откликнулось пушкинское и некрасовское слово.

Но если все это так, то можно ли сказать, что вторая строка — «Бичуя рабство, зло и ложь» — точно выражала замысел автора? Бичевать главные язвы русской жизни! Вряд ли такую задачу взяли бы на себя те, кого поэт назвал витиями, — для этого нужны были иные деятели, иные определения. И Некрасов скоро почувствовал это. Задумав в 1858 году напечатать стихотворение в журнале, он начал работать над текстом, создавать новые его редакции, устраняя все неточное или противоречивое, оттачивая свою мысль.

Тогда вместо прежней второй строки появилась новая — «Кипит словесная война»; это явилось развитием иронического «витии» и сразу придало стихотворению определенность — речь шла не о реальной борьбе с рабством, а о тех, кто способен лишь на «словесную войну»; в самом этом выражении крылось указание на несерьезность либеральной шумихи, поднявшейся на страницах печати.

Ощутил Некрасов и еще один недостаток стихотворения: сказать, что давно дремавшая страна теперь впала в «сон смертельный», можно было, конечно, только сгоряча, еще не прояснив для себя окончательно идейный смысл стихотворения. Как ни сомнительны были предстоящие реформы, как ни далека еще была огромная страна от

подлинного пробуждения, но все же ледяная кора тиранического николаевского царствования была пробита. Крымская война, недавно закончившаяся, вызвала небывалое оживление в передовых кругах общества, и все лучшие люди (среди них Некрасов) сознавали необратимость этого процесса.

Свидетельством тому могут служить самые стихи Некрасова того времени. А в своих «Заметках о журналах» за ноябрь 1855 года редактор «Современника» так выразил это общее чувство обновления: «...В наше время в самом воздухе есть что-то располагающее — как бы сказать? — к откровенности, к излияниям, к признаниям, — одним словом, к сознанию, с которым неразрывно связано стремление к усовершенствованию. Благородная, великая черта времени! великая и высоко утешительная черта в народе, могучее доказательство здоровья и силы, залог прекрасного будущего!»

В таких условиях говорить о погружении страны в «сон смертельный» было вряд ли возможно. И Некрасов, готовя стихи для печати, снял эти строки, снял ничем не заменив. Таким образом, в следующей редакции четыре строки отпали вовсе, а одна строка («Что там? Бог знает... не поймешь!»), в первом варианте рифмовавшаяся со словом «ложь», была заменена другой (с рифмой к слову «война»), к тому же гораздо более выразительной.

Так возникла вторая редакция стихотворения (вернее, первого четверостишия), которую Некрасов спустя год также послал в письме — на этот раз М. Н. Лонгинову в Москву. Жалуясь своему тогдашнему приятелю на нелепые строгости цензуры, он писал ему 23 сентября 1858 года: «Представь себе, что следующие стихи не увидели света:

В столицах шум — гремят витии,
Кипит словесная война,
А там — во глубине России —
Что там? Немая тишина...»

Но и этот вариант был не последним. Как это часто бывало у Некрасова, каждая новая редакция делала стихотворение более ясным по мысли, четким и гармоничным (образ природы в этих стихах остался без изменений во всех редакциях); оно постепенно обретало ту идейную и художественную завершенность, какой недоставало ему в первом варианте, посланном Тургеневу.

Однако ясность мысли отнюдь не способствовала его появлению в печати. Когда в 1858 году дело дошло до цензуры, то сразу же возникли трудности, о которых Некрасов упомянул в письме к Лонгинову.

Один цензор, прочитав стихи, признался, что они «содержат в себе двойной смысл, который цензурный комитет не может себе вполне объяснить». Другой чиновник, рангом повыше, понял несколько больше и потому написал: «Так как это стихотворение, выражая в первых двух стихах слишком звучными словами деятельность наших столиц, совершенно противоположную какому-то безотрадному положению остальной части России ...может подавать, по мнению комитета, повод к различным неблаговидным толкам, то С.-Петербургский цензурный комитет считает необходимым представить это стихотворение при сем на благоусмотрение Главного управления цензуры».

А третий, уже в Главном управлении, полностью поддержал все эти сомнения и стихи просто запретил. Не удивительно, что Некрасов писал по этому поводу: «...муза моя поджала хвост, как при Мусине-Пушкине» (имелся в виду председатель петербургского цензурного комитета, действовавший в самые мрачные годы реакции, до Крымской войны).

Только спустя несколько лет Некрасов сумел напечатать стихотворение «В столицах шум...». Он включил его во второй сборник своих стихов, вышедший в 1861 году, когда цензурный гнет ненадолго ослабел. Для этого издания поэт приготовил окончательную редакцию стихотворения, где третья и четвертая строки читались так:

...А там, во глубине России —
Там вековая тишина.

На первый взгляд различие как будто не слишком велико — «немая тишина» или «вековая тишина»... Но если вдуматься, то можно понять, чем руководствовался поэт, когда произвел эту замену. Вспомним, что он готовил стихотворение к печати в конце 1860 года, накануне крестьянской реформы. Это было время усиления крестьянских волнений, резкого увеличения числа бунтов и восстаний. Еще летом 1857 года было жестоко подавлено волнение крепостных в одном из сел Рязанской губернии, и, по-видимому, именно на это событие откликнулся Некрасов в стихотворении «Бунт» («Скачу как вихорь из Рязани»). Следовательно, он знал, что «во глубине Рос-

сии» теперь царила, может быть, и вековая, но отнюдь не немая тишина.

И подобно тому как несколько лет назад он отбросил слова о «смертельном сне», так теперь, в 1860 году, ему показался неточным, неверным эпитет «немая». Думается, в этом и заключался смысл одной только, но важной поправки, внесенной поэтом в окончательную редакцию стихотворения.

Впервые образ «тишины», конечно во многом условный, возник у Некрасова в стихотворении «В столицах шум...». Но вскоре он развернул его в поэме, так и озаглавленной — «Тишина». Здесь, обращаясь к родной стране, он в раздумье говорил:

Не угадать, что знаменует
Твоя немая тишина...

Так и было напечатано в сентябрьском номере «Современника» (1857). Но уже в следующей публикации поэмы (сборник стихов 1861 года) эти строки, столь близко напоминающие первую редакцию стихотворения «В столицах шум...» («Что там? Бог знает... не поймешь!»), были сняты автором: «немая тишина», воспринимавшаяся как символ застоя, неподвижности, и в этом случае его не удовлетворила. Впрочем, это было связано и с общей переработкой поэмы (о чем уже говорилось). В окончательном и наиболее зрелом варианте поэмы, обращаясь к завтрашнему дню, поэт воспел «тишину», которая предшествует пробуждению и светится «солнцем правды». Как будто полемизируя с собственными стихами, в свое время посланными Тургеневу, —

Над всей равниной беспредельной
Стоит такая тишина,
Как будто впала в сон смертельный
Давно дремавшая страна —

Некрасов теперь восклицает:

Над всею Русью тишина,
Но — не предшественница сна:
Ей солнце правды в очи блещет,
И думу думает она.

Менялись времена, менялась «Русь», и вместе с тем уточнялся, обогащался новым содержанием лирический образ тишины в стихах Некрасова, созданных по возвращении на родину.

* * *

Был самый конец июня 1857 года, когда Некрасов вернулся домой и опять поселился на даче возле Петербурга. Он привез с собой дорогую охотничью собаку, купленную в Англии, и очень полюбил ее за ум и хороший характер. В первых же письмах он начал жаловаться Тургеневу на свое душевное состояние, — подразумевались опять трудные отношения с Авдотьей Яковлевной. «...Надо работать, а руки опускаются, точит меня червь, точит».

И тем не менее вскоре началась его обычная деятельная жизнь: он с головой уходит в работу, за которой легко проследить по его письмам. Вот он шлет обращения к участникам «обязательного соглашения», пишет Тургеневу в Париж, Островскому в Ярославль, Григоровичу в его имение Дулебино; Толстому, проигравшемуся в рулетку в Бадене, он немедленно — по его телеграмме — отправляет деньги и просит срочно прислать повесть, ибо «ни от кого из участников ничего нет». Но Толстой вскоре сам явился в столицу и привез с собою рассказ «Люцерн». 1 августа он читал его у Некрасова на петербургской даче, где прожил несколько дней. Они вместе ездили однажды в гости, после чего Лев Николаевич сделал в дневнике такую запись: «...Некрасов доро́гой говорил про себя. Он очень хорош. Дай бог ему спокойствия».

Деятельность его становится все многообразнее. Он, правда, пишет Фету: «Занятия мои — сон, еда и карты» (октябрь 1857 года); но в это же время — чем только он не занят! Он собирает материалы для популярных сборников «Легкое чтение» (выходили под редакцией Некрасова в 1856—1859 годах); ведет переговоры (переписку) с художником Н. А. Степановым по поводу организации сатирического журнала «Искра»; затевает издание литературного и ученого сборника в память Белинского, надеясь поддержать этим вдову и пятнадцатилетнюю дочь критика (самой М. В. Белинской он пишет, что хотел бы воздать ее мужу «за все доброе, что он сделал для меня как мой духовный воспитатель»).

И это далеко не все. К примечательным трудам, задуманным и начатым в эти годы, относится полное собрание драматических сочинений Шекспира, изданное Некрасовым совместно с переводчиком Н. В. Гербелем в четырех томах (1865—1868). Некрасов любил и чтил Шекспира,

он считал, что в нем «сильно нуждается русская публика», и потому часто помещал переводы шекспировских трагедий в «Современнике». К участию в будущем издании он привлек лучших переводчиков своего времени.

Не менее интересно и еще одно начинание Некрасова, выполненное под его прямым руководством, — издание романа американской писательницы Г. Бичер-Стоу «Хижина дяди Тома». Роман, рисующий ужасы рабовладельчества в Америке, уже снискал популярность почти во всем мире, но еще не был известен в России. Некрасов понимал, какое значение может иметь такая книга в разгар борьбы против крепостного права, когда общество занято обсуждением предстоящей крестьянской реформы, то есть готовится к отмене рабства. Он тогда же писал Тургеневу: «...вопрос этот у нас теперь в сильном ходу, относительно наших домашних негров» (25 декабря 1857 года).

Некрасов не случайно писал именно Тургеневу о своих намерениях относительно «Хижины дяди Тома»: встречаясь с Тургеневым в Париже, он, конечно, не мог не знать о только что состоявшемся знакомстве автора «Записок охотника», книги о «наших домашних неграх», с автором романа о неграх американских. Еще 5 декабря 1856 года Тургенев писал Дружинину из Парижа в Петербург: «...я был представлен г-же Бичер-Стоу; добрая, простая — и представьте! — застенчивая американка; с ней две дочки рыжие, в красных бурнусах...» А спустя несколько месяцев об этом знакомстве с Бичер-Стоу узнал гостивший в Париже Иван Аксаков; он тогда же сообщил отцу (24 апреля 1857 года), что Тургенев «был поражен ее простотой (в высоком смысле этого слова)».

Но Некрасов не был уверен, пропустит ли роман отечественная цензура. Были серьезные основания сомневаться в этом. И тогда он решился на крайние меры: судя по всему, он попробовал подкупить цензора, причем довольно изысканным образом. Об этом ясно говорят гонорарные ведомости «Современника». Из них можно узнать, что один из переводчиков романа получил неслыханно высокий гонорар, во много раз превышающий нормы заработка других переводчиков. Например: известный литератор, бывший петрашевец Ф. Г. Толль за переведенные им около двух печатных листов получил около двадцати рублей (то есть примерно по десять рублей за лист), а безвестный Новосильцев за пять листов полу-

чил пятьсот рублей![1] Но все становится понятно, как только мы узнаем, что П. М. Новосильцев был в это время (очень недолго) цензором «Современника»; естественно предположить, что он заранее обещал Некрасову пропустить роман, потому-то его и пригласили в качестве одного из переводчиков.

Интересно и другое: перевод романа выполнялся в самом срочном порядке, Некрасов привлек для этого пять переводчиков! Он явно спешил — не только, чтобы дать подписчикам «Хижину дяди Тома» в качестве приложения к началу нового, 1858 года, но и затем, чтобы Новосильцев успел подписать книгу к печати. Вот почему он глухо упомянул в том же письме к Тургеневу, что у него «открывалась возможность» перевести роман Бичер-Стоу. Но беглое упоминание о такой возможности отнюдь не было случайным: это подтверждает одно из обращений к участникам «обязательного соглашения», в котором Некрасов, отчитываясь в «чрезвычайных расходах», понесенных редакцией в начале 1858 года, назвал и такой необходимый расход: «Редакция не могла упустить неожиданно представившейся возможности выдать роман «Хижина дяди Тома».

Мы теперь знаем, в чем заключалась эта неожиданная возможность. Она недешево обошлась Некрасову, но, видимо, он придавал такое значение роману, что даже счел нужным «выдать» его подписчикам бесплатно. «Я решился еще на чрезвычайный расход», — сообщил он об этом Тургеневу, одному из участников «обязательного соглашения».

Такими заботами была насыщена жизнь Некрасова на новом этапе — после возвращения на родину. Он сам определил это так: «Жизнь моя въехала в обыкновенную колею, — целый день чем-нибудь полон — хандрить некогда» (10 сентября 1857 года).

* * *

На петергофской даче у Некрасова летом 1858 года побывал Александр Дюма-отец, гостивший тогда в Петербурге. Он остановился в Полюстрове у графа Кушелева-

[1] С. А. Рейсер, Гонорарные ведомости «Современника». «Литературное наследство», т. 53—54. М., 1949, стр. 245 и 279.

Безбородко, с которым познакомился в Париже. Его пребывание в России широко освещалось печатью. «Современник» приветствовал автора «Трех мушкетеров» в очередном обозрении-фельетоне Панаева «Петербургская жизнь», где говорилось: «Александр Дюма уже около месяца в Петербурге. Это самая замечательная петербургская новость июня месяца».

У Кушелева Дюма познакомился с Григоровичем, который по-французски «говорил как парижанин» (так отметил гость), и тот стал его возить по Петербургу и окрестностям. В намеченной программе значился визит на дачу к Панаеву, одному из редакторов «Современника», где Дюма надеялся познакомиться с Некрасовым, «одним из самых популярных поэтов молодой России» (слова Дюма).

Появление Дюма на некрасовской даче описано в фельетоне Панаева, в путевых заметках самого писателя, в воспоминаниях Авдотьи Панаевой и, наконец, в «Литературных воспоминаниях» Григоровича.

«...Мы оканчивали наш обед на широкой, зеленой... площадке сада, и, когда Дюма... показался из-за деревьев, высокий, полный, дышащий силой, весельем и здоровьем, с шляпой в руке (он надевает шляпу только в самых крайних случаях), с поднятыми вверх густыми и курчавыми волосами, с сильною уже проседью, мы (три или четыре литератора, тут бывшие) отправились к нему навстречу...» — рассказывал читателям фельетонист «Современника».

«Наши дрожки, — дополняет его рассказ Дюма, — ...вдруг выехали на лужок с небольшой очаровательной дачей и накрытым перед нею столом, за которым уже сидели семь человек обедающих... Все тотчас обернулись на шум подъехавших дрожек... Панаев с раскрытыми объятиями вышел ко мне навстречу... Затем приблизилась госпожа Панаева: я поцеловал ей руку, и она, следуя прекрасному русскому обычаю, поцеловала меня в голову. Госпожа Панаева — женщина тридцати или тридцати двух лет [1], с очень выразительной красотой; она — автор нескольких повестей и романов...»

Затем согласно рассказу Дюма привстал из-за стола Некрасов. Как человек менее общительного характера он ограничился тем, что сдержанно поклонился и подал гос-

---

[1] Авдотье Яковлевне было в это время тридцать восемь лет.

тю руку, тут же поручив Панаеву извиниться перед ним за незнание французского языка.

Дюма и до этого много слышал о Некрасове как о большом поэте, дарование которого «соответствует запросам времени». Внимательно присмотревшись к нему, он пришел к такому заключению: «Это человек тридцати восьми или сорока лет, с болезненным и очень грустным лицом, с характером мизантропическим и насмешливым. Он — страстный охотник, и это потому, как мне кажется, что охота дает ему право на уединение. Любит он больше всего на свете, после Панаева и Григоровича, свое ружье и своих собак».

Французский романист не ограничился этими несколько наивными замечаниями; он сообщил своим читателям и о последнем сборнике стихов Некрасова, о цензурном запрете на перепечатки из него и о неимоверно возросшей цене на книгу: Дюма заплатил за нее шестнадцать рублей (шестьдесят четыре франка), в то время как при своем появлении она стоила всего полтора рубля.

Григорович помог Дюма познакомиться со стихами Некрасова. Более того, с его помощью Дюма перевел несколько стихотворений на французский язык и включил эти переводы в свои путевые заметки[1]. Это были «Забытая деревня», «Еду ли ночью...» — стихотворение, которое Дюма назвал душераздирающим, прибавив, что «из недр общества никогда еще не выходил подобный вопль отчаяния». Третье стихотворение («Княгиня») Дюма перевел и процитировал в своих очерках для того, чтобы, по его словам, рассеять «одно заблуждение или, вернее, опровергнуть клевету на одного нашего соотечественника, распространенную в России».

В чем же состояло заблуждение? В петербургских светских кругах распространился слух о печальной участи известной русской аристократки графини А. К. Воронцовой-Дашковой: после смерти мужа она уехала в Париж, там вышла замуж за какого-то авантюриста, который будто бы промотал состояние графини, а ее бросил умирать в одной из парижских больниц. Эту историю будто бы и описал Некрасов в одном из лучших своих стихотворений.

Дюма счел нужным заступиться за соотечественника

---

[1] Они вышли в Париже под названием «Впечатления от поездки в Россию» (1859).

и развеять легенду. Он уверял в своих «Впечатлениях...», что Некрасов, как и все остальные, был введен в заблуждение, что второй муж Воронцовой-Дашковой принадлежит к высшему обществу и обладает достаточным состоянием, что он даже богаче ее. «Эта обаятельная и умная женщина, — писал Дюма, — с которой я имел честь быть знакомым, была кумиром своего мужа. Пораженная тяжелой болезнью, она умерла среди роскоши, в одном из лучших домов Парижа, на площади святой Мадлены, против бульвара... Она умирала, окруженная заботами мужа».

В этих и других сведениях, сообщаемых Дюма, конечно, могли быть преувеличения, но трудно заподозрить его в прямой лжи. Тем более что он ссылался на многих известных лиц парижского общества, которые могли бы подтвердить его слова.

Итак, мы поверили рассказу Дюма. Но тогда придется признать, что Некрасов в своей стихотворной новелле возвел напраслину на мужа графини, а ее собственную судьбу изобразил в превратном виде. Так ли это на самом деле?

Нет, Некрасов ни в чем не виноват.

Стихотворение «Княгиня» появилось в апрельском номере «Современника» за 1856 год, следовательно, оно написано не позднее марта, а графиня Воронцова-Дашкова, оказывается, умерла в Париже 18 мая того же года (об этом можно узнать из старых справочников, но об этом почему-то умалчивают все комментаторы некрасовского стихотворения).

Весть о смерти графини могла дойти до Петербурга не раньше начала июня. Таким образом, Некрасов писал свое стихотворение о смерти княгини в убогой больнице в то время, когда графиня Воронцова-Дашкова не только была жива, но, может быть, даже еще здорова (Дюма говорит о трех месяцах ее болезни).

Объяснение этой странной истории, видимо, может быть только одно: Некрасов свободно развивал избранный им сюжет — жалкая судьба аристократки, светской львицы, оказавшейся в руках ловкого буржуазного дельца. Конечно, он был увлечен мыслью показать крутой перелом этой судьбы, контраст, внезапное падение из самых «верхов» общества в нищету. А героиня, завершившая свои дни в обстановке одного из лучших домов Парижа, вряд ли могла бы привлечь его внимание.

В соответствии со своей манерой отталкиваться от реальных фактов поэт использовал некоторые известные подробности из жизни определенного лица, даже как будто определил это лицо, намекнув на лермонтовские стихи, посвященные именно Воронцовой-Дашковой. Но во всем остальном он отдался во власть фантазии. Вспомним хотя бы последние строки стихотворения, где говорится о бесславном конце древнего рода и упомянут «голяк-потомок отрасли старинной, светом позабытый — и ни в чем неповинный». Этот «голяк», если иметь в виду единственного сына графини, умершей в Париже, был Илларион Иванович Воронцов-Дашков, один из богатейших русских помещиков, видный государственный деятель. Была у графини еще и дочь, вышедшая замуж за графа Паскевича-Эриванского. Она жила в Париже в то время, когда умирала ее мать, и, по сообщению того же Дюма, на следующий день после ее смерти получила от барона де Пуалли, мужа матери, все ее фамильные драгоценности.

Но вот прошло время. Последовательность событий забылась, и многие, в том числе Панаева, начали представлять себе участь Воронцовой-Дашковой не по слухам, ходившим в обществе, но прежде всего — по некрасовскому стихотворению. Дошло оно и до Парижа.

Прошло немного времени после отъезда Дюма на родину, как вдруг на петергофскую дачу явились два француза, которые объявили о своем намерении вызвать автора «Княгини» на дуэль. Один из них — барон де Пуалли — оказался мужем покойной графини; он считал себя оскорбленным и требовал удовлетворения.

Некрасов был чрезвычайно взволнован появлением нежданных гостей и, по словам Панаевой, немедленно принял вызов. На другой день он даже ездил в тир, чтобы поупражняться в стрельбе из пистолета. Друзья его также были в тревоге. Добряк Панаев твердил, что никак нельзя допустить, чтобы еще один русский поэт был убит на дуэли французом.

Несколько дней тянулись переговоры, наконец Панаев и другой предполагавшийся секундант сумели уговорить французов отказаться от нелепого вызова, ссылаясь на плохое состояние здоровья Некрасова, но еще больше на то, что в стихотворении изображена совсем не графиня, отрицательным же лицом является «доктор-спекулятор», а совсем не барон.

Так или иначе, французы уехали. Но в некрасовском

кругу долго еще недоумевали: каким образом парижский муж графини узнал о стихотворении и кто мог подтолкнуть его на такие действия, которые должны были повредить репутации Некрасова? Это «так и осталось загадкой для нас», — замечает Панаева.

Между тем загадка разгадывается без особого труда. Дюма опубликовал «Княгиню» в своем переводе тотчас по возвращении в Париж и тем привлек к ней внимание барона де Пуалли; будучи знаком с ним лично, он мог показать ему стихи и до их появления в печати. Но каким образом Дюма, не знавший русского языка, отыскал среди множества стихов некрасовского сборника именно «Княгиню» и догадался перевести ее, чтобы этим способом опровергнуть клевету? Не исключено, что Дюма помог в этом его петербургский чичероне Григорович — ведь это он отбирал стихи, он же готовил и подстрочные (прозаические) переводы.

Такова эта по-своему любопытная история, разыгравшаяся в связи с приездом Дюма вокруг одного некрасовского стихотворения.



II

«ТРИУМВИРАТ» ВО ГЛАВЕ «СОВРЕМЕННИКА»

Новая обстановка сложилась к этому времени в редакции «Современника». Еще перед отъездом Некрасова сюда пришел студент педагогического института Николай Добролюбов со своей первой статьей; она была напечатана Чернышевским осенью 1856 года. Когда редактор журнала возвратился, Чернышевский представил ему молодого критика, своего единомышленника, уже успевшего за минувший год зарекомендовать себя серьезной работой в журнале.

Некрасов одобрил этот выбор и, не колеблясь, согласился привлечь Добролюбова к постоянной работе. С осени 1857 года Чернышевский поручил ему вести важнейший отдел журнала — литературную критику и библиографию.

Некрасов сказал Добролюбову, что просит его писать в журнал сколько успеет, «чем больше, тем лучше». А еще через несколько месяцев Добролюбов стал одним из членов редакции журнала, наравне с Некрасовым и Чернышевским. Поистине только Некрасов с его опытным глазом мог с такой смелостью привлекать к работе молодых, начинающих журналистов, а ведь именно им предстояло в сложной обстановке 60-х годов определять своей деятельностью лицо и направление журнала.

А. Н. Пыпин свидетельствует: «...Со времени вступления в «Современник» новых сотрудников старый приятельский кружок отнесся крайне враждебно не только к этим сотрудникам, но и к самому Некрасову. На него посыпались бесконечные укоризны». Легко представить себе, как раздражен был «старый кружок», когда вслед за Чернышевским в редакции появился еще один «семинарист» — Добролюбов. Новичок казался им мальчишкой, не имевшим ни солидной подготовки, ни репутации.

Многие из них довольно долго не знали, кому же принадлежат критические статьи и библиография, которые анонимно появлялись в каждой книжке журнала. Боткин, Григорович обращались к Некрасову с вопросами по этому поводу, но он обычно отшучивался и уклонялся от ответа. Однажды Боткин проявил настойчивость:

— Признайся, Некрасов, ты, говорят, выкопал своего критика из духовной семинарии?

— Выкопал, — отвечал Некрасов. — Это мое дело.

Примерно такой же разговор позднее произошел у Некрасова с Тургеневым. Как вспоминает Панаева, Тургенев заявил, что «Современник» скоро станет исключительно семинарским журналом: что ни статья, то автором оказывается семинарист!

— Не все ли равно! — возражал Некрасов. — Кто бы ни написал статью, лишь бы она была дельная!

Понятие «семинарист» для обоих собеседников, конечно, обозначало тогда нечто большее, чем просто воспитанника семинарии, — подразумевался разночинец, демократ, интеллигент из народа.

Некрасов и Чернышевский получили с приходом Добролюбова сильное подкрепление, соотношение сил в «Современнике» заметно менялось, что не замедлило сказаться на облике журнала. «Редакционный триумвират», стоявший теперь во главе «Современника» (три Николая,

как пошутил кто-то), стремился придать ему характер боевого органа русской демократии.

Добролюбов оказался неутомимым тружеником, человеком идеи и долга. И даже те, кто скептически отнесся к появлению этого «мальчишки» в редакции солидного журнала, вскоре должны были отдать должное его уму, знаниям, одаренности. Что же касается Некрасова, то он скоро по-настоящему привязался к новому сотруднику, полюбил его как сына и постоянно о нем заботился. По выражению Чернышевского, любовь к Добролюбову освежала сердце Некрасова.

Редактор «Современника» всячески старался укрепить авторитет молодого литератора в глазах писателей старшего поколения. Так, еще в конце 1857 года он заранее готовил Тургенева, оставшегося за границей, к предстоящему знакомству с новым сотрудником: «Читай в «Современнике» «Критику», «Библиографию», «Современное обозрение», ты там найдешь местами страницы умные и даже блестящие: они принадлежат Добролюбову, человек очень даровитый».

Тургенев заинтересовался этими статьями; читая их в Париже, он посылал запросы то Панаеву, то Боткину: «Кто этот Лайбов?»

Однако по приезде в Петербург Тургенев занял недружелюбную позицию по отношению к Добролюбову; он раздражался его независимостью в суждениях, равнодушием к авторитетам, побаивался его острого языка. Постоянно бывая в редакции, Тургенев с явным удивлением смотрел на привязанность Некрасова к молодому критику. Тургенев ходил по пятам за Некрасовым, и многие замечали, что он ревнует его к Добролюбову.

На петергофской даче у Некрасова каждый месяц собирались за обеденным столом сотрудники — старые и новые. Здесь те, кто еще не знал Добролюбова, имели возможность внимательно к нему приглядеться. Он сидел всегда спокойный и невозмутимый. Высокий, с крупными чертами лица, в очках, он был похож на строгого педагога или протестантского пастора (таким запомнил его П. М. Ковалевский). Рядом с ним чаще всего сидел Чернышевский, бледный и худощавый, с длинными светлыми волосами, в золотых очках. Один из таких обедов, напоминавших выставку цвета русской литературы, описан в воспоминаниях Ковалевского.

Некрасов разливал суп в голове длинного стола, Па-

наев — щи в противоположном конце. За столом сидели Тургенев, Анненков, Гончаров, Островский, Полонский, Дружинин, Чернышевский, Добролюбов. Представители «новых людей» обычно не принимали участия в общей оживленной беседе. Они больше молчали и слушали, не скрывая несколько иронического отношения к окружающему. Один только раз, когда заговорили о некоем стихотворце, который писал оды Николаю I и хлопотал о перемене своей фамилии на фамилию Николаевский, Добролюбов довольно громко сказал:

— Как переименовали Грязну́ю улицу...

Дело в том, что Гря́зная улица в Петербурге недавно была переименована в Николаевскую [1].

Услышав меткое слово, Анненков поднял над тарелкою ладони и изобразил ими рукоплескание. Но *там,* добавляет Ковалевский, это не было даже замечено...

Однажды Некрасов заехал по делу к Добролюбову, жившему на Фонтанке, и был поражен его сырой и неуютной квартирой с обвалившейся штукатуркой, с жалкой хозяйской мебелью. Он тут же отправился к Чернышевскому и сказал ему:

— Я сейчас был у Добролюбова, я не представлял себе, как он живет. Так жить нельзя, надобно приискать ему другую квартиру. Неужели вы не могли сказать мне об этом раньше?

Чернышевский смутился: ему частенько случалось бывать у своего нового друга, но он никогда не замечал недостатков его квартиры.

Некрасов не бросал слов на ветер. Уже через несколько дней Добролюбов расстался со своим жилищем на Фонтанке и переехал прямо на «литературное подворье»: Некрасов поручил Авдотье Яковлевне спешно привести в порядок две комнаты, находившиеся рядом с их новой большой квартирой на Литейном проспекте, угол Бассейной (в доме Краевского), где они поселились в августе 1857 года (здесь Некрасов прожил последние двадцать лет своей жизни). Часть этой квартиры занимала редакция «Современника». Комнаты Добролюбова были отделены от большой квартиры площадкой, через которую, как вспоминал брат критика Владимир, «мы выходили в кухню и квартиру Панаева».

Так Добролюбов стал жить почти вместе с Некрасовым

---

[1] Теперь улица Марата.

и Панаевыми. Большую часть времени он находился на их половине. Утром, часто после ночи, проведенной за столом, он приходил пить чай к Авдотье Яковлевне, рано встававшей. Днем здесь же обедал, а после обеда часто оставался работать вместе с Некрасовым — они занимались чтением рукописей, корректурами, говорили о делах журнала и составляли планы ближайших номеров. Чернышевский рассказывает, что они любили работать вместе, советуясь и помогая друг другу. Некрасов все больше ценил своего сотрудника, по мере того как перед ним раскрывались его светлая душа и благородный образ мыслей. Поэтому он был очень доволен, когда однажды Тургенев (после какого-то разговора с Добролюбовым) пришел к нему и выразил свое удивление по поводу исключительной образованности и начитанности молодого литератора.

— Я тебе говорил, что у него замечательная голова, — отвечал Некрасов. — Это, брат, русский самородок... Через десять лет своей деятельности он будет иметь такое же значение в русской литературе, какое имел Белинский.

Надо сказать, что, наблюдая за личностью Добролюбова, читая его статьи, знакомясь с его взглядами, Некрасов довольно часто вспоминал о Белинском.

* * *

Положение Некрасова как редактора и поэта в эти последние годы десятилетия было необычайно сложным. Он оказался в центре кипевшей идейной борьбы, в центре противоположных влияний — со стороны старых друзей, авторитет которых еще не померк в его глазах, и со стороны «новых людей», которых он не мог не поддерживать, ибо это отвечало его образу мыслей и представлению о направлении журнала.

Правда, он делал попытки примирить обе стороны; по словам М. А. Антоновича, «Некрасову, видимо, не хотелось прерывать всякие связи, а тем более враждовать с давнишними приятелями, и он всячески старался устроить между ними и новыми сотрудниками хотя какой-нибудь дурной мир...» Он энергично защищал Чернышевского перед Толстым; в письмах Тургеневу то хвалил статьи Чернышевского в «Современнике» (30 июня 1857 года), то дипломатически упоминал о «печати односторонности», которую тот будто бы успел наложить на журнал (27 июля

1857 года), то подчеркивал, что увеличением подписки на 1858 год «Современник» обязан именно Чернышевскому (сентябрь 1858 года).

Однако все это было нужно и важно лишь до той поры, пока сохранялась надежда на возможность некоторого единства внутри редакции. Как только определилось, что такого единства не будет, Некрасов перестал заботиться об «обязательном соглашении», которым уже начинал тяготиться, и стал думать о привлечении новых талантливых писателей, которые могли бы сознательно поддержать уже сложившееся направление «Современника».

Лицо журнала теперь все больше определялось идейным единомыслием его руководителей. Некрасов почувствовал твердую опору в своих молодых сотрудниках, обнаруживших такие драгоценные для литераторов качества, как широкий кругозор, литературная одаренность, эстетический вкус и высокая принципиальность. К тому же и Чернышевский и Добролюбов были горячими почитателями некрасовской поэзии, они нашли в ней выражение тех мыслей и взглядов, которые исповедовали сами; они так высоко ценили Некрасова, что порой впадали в преувеличения (сам Некрасов их не одобрял) и были несправедливы к его великим предшественникам.

«Такого поэта, как Вы, — писал Некрасову Чернышевский 5 ноября 1856 года, — у нас еще не было. Пушкин, Лермонтов, Кольцов, как лирики, не могут итти в сравнение с Вами».

Это заблуждение в отношении Пушкина и Лермонтова можно понять. Некрасов с большой силой писал о предметах, наиболее важных для его соратников: о русском крестьянине, о его нужде и горе, о мнимых друзьях народа — либералах, подчас более опасных, чем враги явные, с невиданной до того остротой поднимал больные вопросы современности. Наконец, его поэзия развивалась в русле гоголевского направления, а Чернышевский, как известно, считал, что «давно уже не было в мире писателя, который был бы так важен для своего народа, как Гоголь для России».

На первый взгляд может показаться странным, что критики-друзья, придавая поэзии Некрасова столь важное значение, не посвятили ей ни одной рецензии. Но это объясняется просто: писать о Некрасове в журнале, который он сам издавал, было невозможно. Когда Чернышевский решил перепечатать в «Современнике» три его

стихотворения, он сопроводил их таким примечанием: «Читатели, конечно, не могут ожидать, чтобы «Современник» представил суждение о стихотворениях одного из своих редакторов. Мы можем только перечислить пьесы, вошедшие в состав изданной теперь книги...»

Сообщая об этом Некрасову в Рим, автор письма прибавил: «Я даже не сказал ни одного слова о сочувствии публики, чтобы не говорили: «Сами себя хвалят!»

Однако ему хотелось серьезно поговорить о стихах Некрасова, причем «не с политической, а с поэтической точки зрения», и он вступил в переговоры с Дружининым по этому поводу. «Мне очень хотелось написать о Ваших стихотворениях. Поэтому я просил Ивана Ивановича сказать Дружинину, что я желал бы поместить в «Библиотеке для чтения» статью о Вас, — и не успокоившись на этом, сам был у Дружинина с выражением того же желания. Он принял меня, как и сообразно с его правилами, очень любезно, но отвечал, что сам уже написал статью о Вашей книге (это справедливо), — впрочем, я и полагал, что он не согласится, — ведь дело идет о принципах, по мнению Дружинина, и было бы изменою этим принципам позволить мне писать в «Библиотеке» о таком предмете, как Ваши стихотворения» (5 ноября 1856 года) [1].

Что хотел Чернышевский сказать о поэзии Некрасова? Об этом можно судить по его письмам к поэту от 24 сентября и 5 ноября 1856 года. Решительно отвергая слова Некрасова —

Нет в тебе поэзии свободной,
Мой тяжелый, неуклюжий стих, —

он писал: «Вам известно, что я с этим не согласен. Свобода поэзии не в том, чтобы писать именно пустяки, вроде чернокнижия или Фета (который, однако же, хороший поэт), — а в том, чтобы не стеснять своего дарования произвольными претензиями и писать о том,

[1] Статья Дружинина не появилась в «Библиотеке для чтения». Поэтому долгое время считалось, что упоминание о ней в разговоре с Чернышевским было лишь хитростью со стороны Дружинина, старавшегося деликатно отклонить предложение сотрудника «Современника». Между тем статья не была напечатана в силу официального запрещения писать о Некрасове. Рукопись этой весьма любопытной статьи (первая ее часть) сохранилась и недавно была опубликована в «Некрасовском сборнике» (вып. IV, 1967).

к чему лежит душа. Фет был бы не свободен, если бы вздумал писать о социальных вопросах, и у него вышла бы дрянь; Майков одинаково несвободен, о чем ни пишет — у него все по заказу... Гоголь был совершенно свободен, когда писал «Ревизора» — к «Ревизору» был наклонен его талант...» Некрасов же, по мнению автора письма, одинаково свободен во всех проявлениях своего таланта.

«Вы теперь лучшая — можно сказать, единственная прекрасная — надежда нашей литературы... Помните, однако, что на Вас надеется каждый порядочный человек у нас в России», — обращался Чернышевский к Некрасову.

В полном согласии с мнением Чернышевского находятся и суждения Добролюбова. Уже в первой своей статье, опубликованной в «Современнике» (о журнале XVIII века «Собеседник любителей российского слова»), он отнес стихи Некрасова к лучшему, что есть в нашей словесности, и поставил их в один ряд с произведениями Гоголя (в тексте журнала вместо фамилии Некрасова стояли три звездочки).

В конце 50-х годов поэзия Некрасова крепла и развивалась, можно сказать, уже на глазах у Добролюбова, пристально за ней следившего. В совместной борьбе против реакционной литературы и журналистики, против эпигонской лирики, в общей работе над сатирическими стихами для «Свистка» (так назывался основанный Добролюбовым юмористический отдел в «Современнике») окончательно вырабатывался его взгляд на Некрасова как истинно народного русского поэта, отбросившего все «предрассудки сословий» и сумевшего проникнуться «народным духом».

Добролюбов не только знал все, что писал Некрасов, но, несомненно, был в курсе многих его замыслов, которым не суждено было осуществиться; он знал, а иногда и хранил у себя те его стихи, которые не могли увидеть света. Именно потому он с такой уверенностью восклицал в письме к приятелю: «Боже мой, сколько великолепнейших вещей мог бы написать Некрасов, если б его не давила цензура!» (20 сентября 1859 года).

Все это привело Добролюбова к мысли, что в случае осуществления крестьянской революции, на которую в предреформенные годы надеялись русские «мужицкие демократы», именно Некрасову суждено стать ее пев-

цом. Думается, иначе нельзя понять письмо Добролюбова к Некрасову из Италии (август 1860 года), в котором он призывает поэта к «серьезной деятельности», убеждает, что русская мысль, «несмотря ни на что», должна «притти к делу» (по терминологии передовых публицистов того времени под «делом» понимали борьбу за освобождение, то есть революционное дело), и даже ставит ему в пример Гарибальди, очевидно, под впечатлением революционных событий в стране, где русский литератор провел несколько месяцев.

В этом же письме Добролюбов, почти повторяя слова Чернышевского, сказанные Некрасову несколькими годами раньше, с той же прямотой и тем же преклонением писал ему: «...Вы, любимейший русский поэт, представитель добрых начал в нашей поэзии, единственный талант, в котором теперь есть жизнь и сила...»

Чем более зрелой становилась гражданская муза Некрасова, тем более горячую поддержку встречала она у «новых людей», у молодого поколения. И тем холоднее относились к ней критики-эстеты, недавние друзья. Контраст в оценках был разительный.

Если единомышленники Некрасова видели в нем первого поэта своего времени, равного Пушкину, если диалог «Поэт и гражданин» был для них манифестом всей новой поэзии (и Чернышевский подтвердил это перепечаткой его в «Современнике»), то Дружинин, например, без церемоний заявил в письме к Тургеневу, что весь «Поэт и гражданин», за исключением одного отрывка, «не стоит трех копеек серебром, а вреда литературе он сделал на сто рублей» (18 ноября 1856 года) [1]. Показательно, что Дружинин считал возможным писать в таком тоне именно Тургеневу. А тот, может быть, и не был вполне согласен с Дружининым, но возражать ему все-таки не стал.

Такое отношение к стихам Некрасова со стороны «эстетической критики» не было секретом для его ближайшего окружения. Словно прочитав слова Дружинина, Чернышевский обронил в одном из писем к Тургеневу такую фразу: «...Вы лучше меня должны знать, что по мнению этих господ — стихи Некрасова дрянь» (апрель — май 1857 года). Господа — это Дружинин, Боткин, Ду-

---

[1] Подразумевались цензурные репрессии, которые угрожали «Современнику» и близким к нему писателям.

дышкин (критик «Отечественных записок»). Чернышевский пишет о них Тургеневу, и это показывает, что он, безусловно, отделяет его от тех «господ», понимая, что у него и у них должны быть разные мнения. Тургенев был наиболее своим из всех давних сотрудников Некрасова.

Это, конечно, так. И все же в душе Тургенев постепенно охладевал к некрасовской поэзии, хотя и не говорил об этом прямо. Тургенева и Некрасова еще связывали давние дружеские отношения, но автору «Рудина» уже не нравился все более откровенный демократизм некрасовских стихов, далеко не всегда ласкавших ухо.

По правде говоря, и о таком событии, как выход сборника стихов Некрасова, Тургенев отзывался по-разному. Он говорил в письмах об его исключительном успехе, но чем объяснялся этот успех, по мнению писателя? Не только действительными заслугами поэта, но еще и тем, что он сумел угодить «публике»: «...успех Некрасова — дело знаменательное. Публике *это нужно* — и потому она за это хватается» (из письма Боткину от 25 ноября 1856 года).

Некрасов не мог не ощущать сдержанного или неприязненного отношения к своим стихам со стороны людей, мнением которых он привык дорожить. Это, несомненно, отдаляло от них поэта. И наоборот, укреплялась его духовная связь с теми, в ком он находил своих единомышленников, понимавших, ценивших его поэзию. К тому же он видел внутреннюю цельность «новых людей», их неспособность на компромиссы, полную свободу от барских замашек и предрассудков, наконец, их безоговорочную преданность народному делу.

Однажды Некрасов сказал Панаевой о Добролюбове:

— Это такая светлая личность, что, несмотря на его молодость, проникаешься к нему глубоким уважением. Этот человек не то что мы: он так строго сам следит за собой, что мы все перед ним должны краснеть за свои слабости, которыми заражены...

* * *

В предреформенное время, в годы назревания революционной ситуации началась новая полоса в творческом развитии Некрасова, отмеченная зрелой социальной мыслью, овеянная революционным вдохновением.

Первое и важнейшее произведение этого времени —

«Размышления у парадного подъезда» (написано в 1858 году), где совмещены лирическая публицистика и едкая сатира, печальная песня и крик души, уязвленной зрелищем «бедствий народных». Две стороны, два полюса тогдашней жизни сталкивает здесь поэт, две России возникают перед читателем, — одну представляет «владелец роскошных палат», утопающий в неге, презирающий оборванную «чернь», другую — нищие мужики из каких-то дальних губерний, пригнанные сюда, к этим палатам, крайней нуждой и смутной надеждой на помощь всесильного вельможи.

Стихотворение отличается искусным построением, это целая повесть в стихах, картина жизни и вместе с тем — размышление о ней. Описание парадного подъезда, к которому по праздникам съезжаются визитеры, одержимые «холопским недугом», сменяется рассказом о крестьянах-просителях, перед которыми захлопнуты «заветные двери», открытые для знатных и богатых; в этом рассказе некрасовская живопись достигает неприкрашенной суровой точности:

Загорелые лица и руки,
Армячишко худой на плечах,
По котомке на спинах согнутых,
Крест на шее и кровь на ногах,
В самодельные лапти обутых...

По всему видно, что в «роскошных палатах» обитает крупный государственный чиновник, может быть, министр («Не страшат тебя громы небесные, а земные ты держишь в руках...»). От него зависят судьбы людские, судьбы крестьянские, он мог бы, если бы захотел, помочь и этим мужикам из дальних губерний; но — «счастливые глухи к добру...».

Недавно было доказано[1], что, создавая образ царского сановника, поэт имел прототипы, многие их признаки угадываются в стихотворении.

Путь к этим догадкам указала еще А. Я. Панаева, сообщив историю возникновения «Размышлений у парадного подъезда». По ее воспоминаниям, в одно осеннее утро она увидела из окна своей квартиры на Литейном, как швейцар, а затем дворники и городовой гнали толпу крестьян-ходоков от подъезда дома, находившегося на

[1] См. сообщение А. Гаркави «О владельце роскошных палат», «Русская литература», 1963, № 1.

другой стороне улицы. Некрасов тоже видел эту картину.

Дом напротив принадлежал министерству государственных имуществ, и жил в нем сам министр М. Н. Муравьев, будущий усмиритель польского восстания, человек, которому суждено было сыграть в дальнейшем трагическую роль в жизни Некрасова. Это был один из самых реакционных и жестоких деятелей старой России. Министерство, которым он управлял в те годы, ведало государственными крестьянами. И не удивительно, что именно к муравьевскому подъезду с разных сторон шли ходоки со своими жалобами.

Некрасов, конечно, знал министра, когда создавал образ владельца «роскошных палат», недаром он придал ему некоторые признаки Муравьева — близость к государственной власти, равнодушие к скорби народной, упоение лестью и т. д. Но, рисуя дальше воображаемую кончину престарелого сановника «под пленительным небом Сицилии», он имел в виду уже другое лицо. На это указал Чернышевский в «Заметках о Некрасове», писанных в Сибири. Он вспомнил один из рассказов Некрасова, только что вернувшегося тогда из путешествия по Италии, о том, как на берегу лазурного моря «дряхлый русский грелся в коляске на солнце... Фамилия этого старика — граф Чернышев». По словам Чернышевского, именно его последние дни описаны в некрасовском стихотворении:

Убаюканный ласковым пением
Средиземной волны, — как дитя
Ты уснешь, окружен попечением
Дорогой и любимой семьи
(Ждущей смерти твоей с нетерпением);
Привезут к нам останки твои,
Чтоб почтить похоронною тризною,
И сойдешь ты в могилу... герой,
Втихомолку проклятый отчизною,
Возвеличенный громкой хвалой!..

Граф Чернышев действительно умер близ Сорренто, где незадолго до этого побывал Некрасов. Останки графа действительно привезли в Россию и похоронили в его подмосковном имении. Некрасову пригодились все эти реальные подробности только по одной причине: Чернышев был крупнейший деятель предыдущего царствования, военный министр Николая I, фаворит царя, душитель декабристов. Это была фигура, вполне достойная стать

рядом с Муравьевым, личность, возвеличенная официально, но вполне заслужившая проклятия отчизны.

Последняя часть стихотворения — собственно «размышления» автора по поводу увиденной на улице сцены. Эти знаменитые стихи («Назови мне такую обитель...») стали любимой песней студенчества и разночинной молодежи задолго до того, как они появились в печати: стихотворение быстро разошлось по рукам в списках и во много раз умножило популярность поэта в читательских кругах. Только в 1860 году один из этих списков дошел до Лондона и был напечатан в «Колоколе» под названием «У парадного крыльца» (без имени автора); Герцен сделал к своей публикации такое примечание: «Мы очень редко помещаем стихи, но такого рода стихотворение нет возможности не поместить».

В России же стихи не могли появиться в печати до 1863 года.

В последних строках «Размышлений...» идейный центр стихотворения, его кульминация, может быть, именно то, ради чего оно написано:

...Где народ, там и стон... эх, сердечный!
Что же значит твой стон бесконечный?
Ты проснешься ль, исполненный сил,
Иль, судеб повинуясь закону,
Все, что мог, ты уже совершил, —
Создал песню, подобную стону,
И духовно навеки почил?..

Этот вопрос постоянно преследовал Некрасова. Его волновала мысль о темноте народа, об его веками сложившемся долготерпении. Еще в «Саше» он задумывался над тем, как «человека создать из раба». В поэме «Несчастные» он восклицал: «О Русь, когда ж проснешься ты...» И вот теперь в «Размышлениях...» тот же мучительный вопрос: «Ты проснешься ль, исполненный сил...» И вопрос этот, увенчивающий всю сложную композицию, психологически был подготовлен еще первой частью стихотворения: вспомним самый облик убогих странников, их робкие фигуры, крестящиеся в сторону церкви; ни тени недовольства, ни намека на протест не видно в поведении «пилигримов». Беззлобно повторяя «суди его бог!», они безнадежно разводят руками.

И, покуда я видеть их мог,
С непокрытыми шли головами...

Стонетъ онъ по полямъ, по дорогамъ
Стонетъ онъ по тюрьмамъ, по острогамъ,
Въ рудникахъ на желѣзной цѣпи
Стонетъ онъ подъ овиномъ, подъ стогомъ
Подъ телѣгой, ночуя въ степи.
Стонетъ въ собственномъ бѣдномъ домишкѣ,
Свѣту Божьяго солнца не радъ;
Стонетъ въ каждомъ глухомъ городишкѣ
У подъѣзда судовъ и палатъ.
Выдь на Волгу: чей стонъ раздается
Надъ великою русской рѣкой?
Этотъ стонъ у насъ пѣсней зовется —
То бурлаки идутъ бичевой!...
Всюду скорбные, скорбные звуки,
Всюду стонъ, надрывающій грудь,
Словно тяжкія древнія муки
Неуспѣли въ народѣ заснуть....
О! во вѣки Тотъ памятенъ будетъ,
По чьему мановенью народъ
Вѣковую привычку забудетъ
И веселую пѣсню споетъ!

Волга! Волга! весной многоводной
ты не так заливаешь поля
Как великою скорбью народной
Переполнена наша земля.
Где народ там и стон... Эх, сердечной,
Что же значит твой стон бесконечный
Ты проснешься, исполненный сил
Иль, судеб повинуясь закону,
Все, что мог ты уже совершил:
Создал песню, подобную стону
И духовно навеки почил?..

«Размышления у парадного подъезда». Авторская правка.

Значит ли это, что поэт терял веру в силы народа или в самом деле мог допустить, что народ «духовно навеки почил»? Нет, конечно. Это противоречило бы всему тому, что мы знаем из других стихов поэта, где он не раз предсказывал народу светлое будущее. Да, ведь и вопрос, заключающий стихотворение, носит отчасти риторический характер, это не только вопрос, но и призыв — призыв к преодолению пассивности, к пробуждению народного сознания.

В стихах следующего, 1859 года, и прежде всего в «Песне Еремушке», уже нет места роковому вопросу: «Ты проснешься ль, исполненный сил...» Интонации «Песни» полны оптимизма, ее строфы проникнуты надеждой. Изображенная в ней ситуация такова: проезжий городской агитатор (его образ совпадает с лирическим «я» Некрасова) обращается с революционной про-

поведью к крестьянству[1]. При этом в «Песне» противопоставлены два взгляда, две морали. Одну из них внушает крестьянскому ребенку деревенская няня — это ветхая мораль покорности и угодничества: «Ниже тоненькой былиночки надо голову клонить».

Совсем другую песенку поет Еремушке проезжий. Обращаясь к будущему гражданину, он зовет его принести в жертву родине не «холопское терпение», а

Необузданную, дикую
К угнетателям вражду...[2]

Вот каким языком заговорил теперь поэт. Это не только сочувствие угнетенным, не только свидетельство «за мир пролитых слез», это прямой призыв к действию, к борьбе, к подвигу:

С этой ненавистью правою,
С этой верою святой
Над неправдою лукавою
Грянешь божьею грозой...

Этот призыв перекликается с теми стихами диалога «Поэт и гражданин», где тоже звучали как лозунг слова: «Иди в огонь за честь отчизны, за убежденье, за любовь...» Призывные строки «Песни Еремушке» только на первый взгляд могут показаться отвлеченными («ненависть правая», «вера святая»); они наполняются вполне определенным содержанием, как только мы услышим, какие «человеческие стремления» поэт хочет пробудить в душе спящего младенца:

С ними ты рожден природою —
Возлелей их, сохрани!
Братством, Равенством, Свободою
Называются они.

Некрасов, конечно, не случайно вспомнил здесь лозунги Великой французской революции. Они отвечали идеалам и стремлениям русских революционеров-шестидесятников, ждавших революционного взрыва и готовых жертвовать собой во имя «святого дела». И Некрасов как бы благословлял их решимость.

Нет прекрасней назначения,
Лучезарней нет венца, —

---

[1] См. статью Ф. Евнина «Песня Еремушке» Некрасова и идейно-политическая борьба конца 50-х годов, «Некрасовский сборник», II, 1956, стр. 175.

[2] В «Современнике» по требованию цензуры было напечатано: «К лютой подлости вражду».

убеждал он своих современников. Создавая эти стихи, он не был одинок. Рядом с ним были и Чернышевский и Добролюбов, находившиеся в это время в расцвете своей деятельности. Первый из них высоко ценил эти стихи, недаром в романе «Что делать?» молодежь, собравшаяся у Кирсановых (глава V), хором поет «Песню Еремушке». А Добролюбов даже принимал косвенное участие в создании «Песни».

Известно, что «Песня» была написана в квартире Добролюбова и, видимо, под впечатлением разговоров, тема которых особенно занимала тогда руководителей революционно-демократического движения, — тема воспитания молодежи, пробуждения в ней «человеческих стремлений». Этой теме посвящены многие статьи Добролюбова 1859 года, опубликованные в «Современнике». В них критик с ожесточением развенчивал старую мораль покорности и смирения (ту самую, которой придерживалась няня Еремушки) и утверждал высокую мораль борьбы за освобождение человека, мораль подвига. При этом Добролюбов писал о естественных стремлениях, заложенных в каждом человеке, о его праве на внутреннюю свободу и счастье («С ними ты рожден природою», — говорится об этих же стремлениях в «Песне Еремушке»).

Публицистические призывы Добролюбова идейно близки некрасовскому стихотворению. Эта близость приводила нередко даже к стилистическим совпадениям. «Почувствуйте только как следует права вашей собственной личности на правду и на счастье, и вы... придете к кровной вражде с общественной неправдой», — писал Добролюбов (статья «Новый кодекс русской практической мудрости»). «Над неправдою лукавою грянешь божьею грозой», — предсказывал поэт будущему гражданину. В одной политической атмосфере рождались эти документы — памфлет Добролюбова и «Песня» Некрасова, род революционной прокламации в стихах.

Именно так рассматривал эти стихи и сам Добролюбов. Он пользовался ими для подкрепления своих взглядов, цитировал в статьях, в письмах к друзьям. Он знал разные редакции некрасовской «Песни» и хранил у себя один из черновых автографов. Уже после того как «Песня» была напечатана, он старался сделать ее как можно более известной в читательских кругах; при этом он хлопотал о том, чтобы донести до читателей подлин-

ный некрасовский текст, а для этого указывал на цензурные искажения в журнальной публикации.

Вот что писал Добролюбов одному из своих друзей — Ивану Бордюгову 20 сентября 1859 года: «...Выучи наизусть и вели всем, кого знаешь, выучить песню Еремушке Некрасова, напечатанную в сентябрьском «Современнике». Замени только слово «истина» — равенство, «лютой подлости» — угнетателям; это — опечатки... Помни и люби эти стихи: они дидактичны, если хочешь, но идут прямо к молодому сердцу, не совсем еще погрязшему в тине пошлости...»

Слова критика напоминают, что смысл стихотворения можно понимать широко, как аллегорию: младенец с крестьянским именем — это собирательный образ народа, он символизирует спящую крепким сном крестьянскую Русь, над которой раздаются две песни — усыпляющая и пробуждая, зовущая к борьбе.



III

КОНФЛИКТЫ УГЛУБЛЯЮТСЯ

В начале 1859 года в Петербурге было основано (по инициативе А. В. Дружинина) Общество для пособия нуждающимся литераторам и ученым. 2 февраля состоялось первое собрание членов-учредителей, среди которых были Тургенев, Дружинин, Анненков, Чернышевский, Никитенко, Краевский, подписавшие проект устава общества и наметившие его будущих руководителей (членов комитета). Вскоре это общество приобрело известность под менее официальным названием — Литературный фонд.

О втором собрании его учредителей мы узнаем из записки Тургенева, посланной 9 февраля Е. П. Ковалевскому: «Любезный Егор Петрович, сегодня у меня на квартире (в 5 часов) обед основателей Литературного фонда. Все положили Вас непременно звать...» Ковалевского звали не напрасно — вскоре он был избран первым председателем нового общества — Литературного фонда.

Писатель и путешественник Ковалевский еще с 40-х годов сотрудничал в «Современнике» и пользовался уважением в кругу литераторов. Брат его Евграф Петрович был в эти годы (1858—1861) министром просвещения, в его ведении находилась цензура; эту родственную связь не раз использовали Некрасов и другие литераторы. На фотографии, запечатлевшей членов первого комитета Литературного фонда, Ковалевский сидит в центре, в генеральских эполетах.

С первых дней существования Литературного фонда и до конца жизни Некрасов принимал участие в его деятельности.

В феврале 1862 года он был избран в члены комитета Литературного фонда вместо заболевшего Дружинина. Как редактор журнала Некрасов отчислял ежегодно (согласно уставу) одну копейку с подписчика, но, кроме того, делал и добровольные взносы, пополняя кассу фонда, в помощи которого нуждались неимущие или больные литераторы, начинающие писатели.

Немалое общественное значение имели тогда литературные вечера или чтения, организованные в пользу Литературного фонда в зале Пассажа. Современники рассматривали эти чтения как событие. Попасть на вечера было трудно, ибо зал был невелик и все билеты расхватывали накануне. Интерес же к столь новому делу — прямому общению писателей с читателями — огромен. Тем более что в чтениях участвовали почти все корифеи тогдашней литературы — Тургенев, Гончаров, Писемский, Достоевский, Островский, Некрасов, Шевченко, Майков, Полонский. Интерес публики подогревался не только тем, что она «впервые могла видеть своих любимцев» (слова Л. Ф. Пантелеева), но и тем, что многие тогдашние литераторы были отличными чтецами. Первоклассным мастерством в исполнении своих произведений славились, например, Островский и Писемский.

Первый литературный вечер в Петербурге состоялся в воскресенье 10 января 1860 года (организация его была поручена Тургеневу). За день до этого газета «Русский инвалид» поместила объявление, извещавшее о вечере и его программе. Здесь было указано, что Некрасов прочтет стихотворения «Еду ли ночью по улице темной...» и «Филантроп».

Первым на эстраде появился Полонский, прочитавший два стихотворения. Затем вышел Тургенев, «с за-

метной проседью, но еще во всей красе сорокалетнего возраста» (слова очевидца), встреченный взрывом рукоплесканий. «...Что было, и описать нельзя», — отметила в дневнике находившаяся среди слушателей Е. А. Штакеншнейдер. — Тургенев только успевал раскланиваться. Когда же установилась тишина, он сказал:

— Как ни глубоко тронут я знаками высказанного мне сочувствия, но не могу всецело принять его на свой счет, а скорее вижу в нем выражение сочувствия к нашей литературе.

Вслед за тем Тургенев прочел свою речь «Гамлет и Дон-Кихот» и ушел, снова провожаемый рукоплесканиями. На другой день он писал дочери Полине в Париж: «Твоему отцу неистово аплодировали, что заставило его с глупейшим видом бормотать не помню уж какие слова благодарности».

После Тургенева выступили со стихами Майков и уже полузабытый Бенедиктов, имевший, однако, неожиданный успех. «Странная это штука — публика», — заметила по этому поводу та же мемуаристка. Впрочем, стихи Бенедиктова в данном случае были вполне в духе времени, в них выражалось сочувствие «живой мысли» и «живому слову» [1].

Только после них вышел Некрасов. Обычно он произносил свои стихи протяжно, нараспев. «Читал он тихим, замогильным голосом», — говорит один из его слушателей. Он действительно «читает каким-то гробовым голосом», — подтверждает другой, добавляя, впрочем, что к некоторым стихам это очень шло (например, «Еду ли ночью по улице темной...»). Л. Ф. Пантелеев рассказывает, что эта его манера имела своих подражателей; в некоторых тогдашних кружках молодежь читала стихи «à-la Некрасов».

Вместо объявленного «Филантропа» Некрасов неожиданно прочел стихотворение «Блажен незлобивый поэт», затем «Еду ли ночью...», — и на этом закончил. Но зал шумно требовал «Филантропа». Тогда Некрасов вышел и сказал, что читать больше не может, сославшись на «сла-

[1] Увидев особый интерес слушателей к двум стихотворениям, прочитанным Бенедиктовым («Борьба» и «И ныне»), Некрасов тут же попросил их у автора и успел включить в случайно задержавшийся январский номер «Современника» — поступок истинного журналиста. Здесь же была помещена давно обещанная Некрасову статья Тургенева «Гамлет и Дон-Кихот» — последнее его выступление в некрасовском журнале.

бость груди». Публике легко было поверить, что ему трудно читать. Из зала раздались крики «браво».

Публика не знала, что в это утро Некрасов получил письмо от князя Владимира Федоровича Одоевского; узнав из газет о предстоящем вечере, он поспешил напомнить Некрасову, что считает себя изображенным в стихотворении «Филантроп», и просил не давать публике новый повод для пересудов и догадок.

Как же обстояло дело в действительности?

Еще в 1853 году Некрасов написал стихи, в которых изобразил бедняка-чиновника, решившего обратиться за помощью к некоему сиятельному благотворителю. Известно, чем кончилась эта попытка: благотворитель затопал ногами и велел прогнать прочь чиновника, так как принял его за пьяного. Ситуация чисто гоголевская, напоминающая и визит капитана Копейкина к генерал-аншефу, и разнос Акакия Акакиевича «значительным лицом». Но Некрасов, прирожденный сатирик, обострил эту ситуацию, связав ее с некоторыми новыми чертами времени.

В одном из вариантов «Филантропа» говорится:

Бедных петербургских жителей,
Стариков, сирот и вдов
Общество благотворителей
Приняло под свой покров.

Общество это не было выдумано сатириком, оно действительно существовало в Петербурге под названием «Общество посещения бедных». Членами его были многие высокопоставленные лица, видные сановники, некоторые столичные литераторы, в том числе (с 1851 года) и сам Некрасов. Председателем же был князь Одоевский, известный писатель, музыкальный критик. В 30-х годах о его повестях высоко отзывался Белинский.

Некрасов очень быстро оценил показной характер великосветского благотворительства, — филантропия была одним из проявлений столь ненавистного ему либерализма, входившего в моду «народолюбия». Поэтому в благотворительной деятельности он увидел отличный материал для сатиры и написал язвительные стихи, где образу «главного» филантропа вольно или невольно придал некоторые черты председателя общества. Едва ли он старался обличить или обидеть именно Одоевского. Просто в соответствии со своей творческой манерой идти от реальных фактов к художественному образу поэт исполь-

зовал некоторые приметы известного ему лица для придания большей убедительности, жизненной конкретности своему персонажу. Так, он упомянул о его «ангельски-незлобном» сердце, о его «сиятельном» титуле, о его склонности к писанию научно-популярных статей и книжек:

Продавал в большом количестве
Их дешевле пятака,
Вразумить об электричестве
В них стараясь мужика.

Все это отдавало явной иронией и в то же время напоминало князя Одоевского; не потому ли Некрасов и не печатал свое стихотворение несколько лет — только в 1856 году оно появилось в «Современнике» (в смягченном цензурой виде), а затем тогда же вошло в некрасовский сборник. Одоевский промолчал. Но он не выдержал, когда спустя пять лет узнал, что «Филантроп» будет прочитан публично. Он открыл имевшийся у него сборник, перечитал стихи и пришел в ужас. Это было за несколько часов до начала вечера в Пассаже.

Одоевский убедил себя, что именно он изображен в этих стихах; при этом его особенно поразили те строки, которые, безусловно, к нему не относились. Такова сцена, где чиновник-проситель рассказывает, как он явился к «сиятельному лицу», как от волнения забыл приготовленную речь, пустился в слезы и не мог объяснить, зачем пришел:

Все такие обстоятельства
И в мундиришке изъян
Привели его сиятельство
К заключенью, что я пьян.
Экзекутора, холопа ли
Попрекнули, что пустил,
И ногами так затопали...
Я лишился чувств и сил!
Жаль, одним не осчастливили —
Сами не дали пинка...
Пьяницу с почетом вывели
Два огромных гайдука...

Затем Одоевский с огорчением прочел рассуждение о тех, кто, несмотря на свой добрый нрав, судит о людях по наружности («неказист — так и неправ!»). А в заключение о них же говорилось так:

Пишут, как бы свет весь заново
К общей пользе изменить,

А голодного от пьяного
Не умеют отличить...

Одоевский тут же сел писать Некрасову свои возражения: у него нет гайдуков, а есть инвалид-сторож, который топит печи; у него нет приемной, а есть только каморка возле кабинета; он не кричит и не топает ногами, тем более что ноги болят; наконец, он уверен, что может безошибочно отличить голодного от пьяного...

Но Некрасов и не думал приписывать лично Одоевскому все, что так его задело. Он, разумеется, знал, что Одоевский не мог топать ногами на бедных просителей, что он имел доброе сердце и был движим лучшими намерениями, когда писал «для мужиков» популярные брошюры по физике и химии. К тому же он старательно исполнял и свои обязанности председателя Общества посещения бедных, считая, что за это ему «многое простится на том свете» (так он писал Некрасову). Но Одоевский не понимал того, что понял Некрасов: филантропия бессильна в борьбе с бедностью как социальным злом, она не более чем развлечение для богатых и сытых и порой оскорбительна для бедных.

А поняв это, Некрасов уже не жалел красок для изображения и разоблачения своего «филантропа», ему важно было прежде всего запечатлеть типическую фигуру этого рода. Вот почему ему пригодились и деятельность петербургского благотворительного общества, и воспоминание о давней встрече с Далем: оказывается, еще во времена подготовки «Петербургского сборника» он принял плохо одетого и сконфуженного Некрасова за пьяницу. К тому же известно, что, работая над текстом стихотворения, Некрасов в новых его редакциях все дальше отходил от портретности в изображении своего персонажа.

Таким образом, он не слишком покривил душой, когда в ответном письме заверил Одоевского: «Я решительно не имел в виду Вас». И тут же пообещал ему, что не будет читать «Филантропа» на вечере — это могло бы дать публике «повод к разным глупым толкам». А чтобы окончательно успокоить Одоевского, он сказал о своем стихотворении так: «...Я вывел черту современного общества — и совесть моя была и остается спокойна».

Да, он обладал уменьем едва ли не в каждом стихотворении вывести ту или иную «черту современного общества», отдельный частный факт или случай поднять до широкого обобщения. Что же касается столкновения с

Одоевским вокруг «Филантропа», то, несмотря на предельную вежливость с обеих сторон, по сути своей оно было одним из проявлений все обострявшейся борьбы Некрасова с дворянским либерализмом.

* * *

В январе Одоевский просил, чтобы Некрасов не читал на литературном вечере свое стихотворение, а в феврале Тургенев попросил его не печатать в «Современнике» статьи Добролюбова (о романе «Накануне»): «Убедительно тебя прошу, милый Некрасов, не печатать этой статьи: она кроме неприятностей ничего мне наделать не может, она несправедлива и резка — я не буду знать, куда деться, если она напечатается...» (около 20 февраля 1860 года). Эту записку Тургенев послал Некрасову после того, как прочел корректуру статьи «Когда же придет настоящий день?», предназначенной для мартовского номера журнала.

Но если Некрасов легко согласился удовлетворить просьбу Одоевского (стихотворение «Филантроп» было уже дважды напечатано), то выполнить вторую просьбу он не мог, хотя отказывать Тургеневу было для него неизмеримо труднее.

Вот как развертывались события. Еще в 1859 году Тургенев заявил о своем охлаждении к «Современнику» и его редактору тем, что отдал роман «Накануне» в «Русский вестник» Каткова. Добролюбов написал статью об этом романе, одну из самых блистательных своих статей, в которой не только проанализировал роман, отдав должное его автору, но и сделал из этого анализа революционные выводы. Это вполне отвечало программе «Современника», который в 1860 году твердо занял революционно-демократические позиции.

Статья Добролюбова вызвала настоящий переполох. Революционные призывы в ней были почти не зашифрованы. Критик доказывал, что русское общество нуждается в деятелях и героях, бесстрашных борцах, русских Инсаровых. С кем они будут бороться? — спрашивал Добролюбов. Ведь Россия — не Болгария, захваченная турками, русский народ свободен от поработителей внешних. И отвечал на это: «Но разве мало у нас врагов внутренних? Разве не нужна борьба с ними, и разве не требуется геройства для этой борьбы?»

Даже цензор Бекетов, снова приставленный к некрасовскому журналу, не мог скрыть своего удивления перед силой мыслей, выраженных в статье Добролюбова. «Критика такая, каких давно никто не читал, и напоминает Белинского», — писал он в записке, обращенной к автору статьи, но тут же разъяснял, что пропустить ее в печать «решительно нет возможности». Если бы статью разрешить, писал далее Бекетов, она «обратила бы внимание на бесподобного Ивана Сергеевича, да не поздоровилось бы и другим, в том числе и слуге вашему покорному».

После этого Бекетов вычеркнул половину текста, а затем рассказал самому Тургеневу, какого рода статья готовится о нем в «Современнике». Узнав об этом, Некрасов счел нужным познакомить автора «Накануне» как старого друга и сотрудника журнала со статьей о нем, предварительно несколько ее сократив и смягчив («иначе нельзя, по моему мнению»). Тургенев, напуганный уже Бекетовым, прочитал статью и пришел в ужас: он понял, как далеко зашел Добролюбов в своих суждениях о «русских Инсаровых» и в мечтах о борьбе против «внутренних турок». Тогда-то он и написал записку Некрасову, умоляя не печатать статью, которая может принести ему неприятности как автору романа, давшего повод для резкостей Добролюбова.

Некрасов был в крайнем затруднении. Сначала согласно воспоминаниям Панаевой он попробовал склонить Добролюбова к некоторым уступкам. Для этого в качестве «парламентера» к нему была направлена Авдотья Яковлевна.

Узнав, в чем дело, Добролюбов рассердился и сказал:

— Я выведу Некрасова из затруднительного положения; я сам не желаю быть сотрудником журнала, если мне нужно подлаживаться к авторам, о произведениях которых я пишу...

Тогда Некрасову ничего не оставалось, как сделать выбор между Тургеневым и Добролюбовым. И он сделал этот выбор уже без колебаний. Статья была напечатана в ближайшем номере «Современника» (№ 3), правда, в переделанном виде и под ничего не говорящим названием «Новая повесть г. Тургенева». Но и в таком виде статья оказала немалое влияние на умы молодых поколений. «В ней есть сила приподымающая», — писал один из современников.

«Переделки», внесенные автором, кое-как удовлетворили цензуру, но не могли успокоить Тургенева. Он не хотел замечать, что критик высоко отзывался о его реалистическом мастерстве, указывал на общественную актуальность его сочинения[1]. Писатель, кроме того, чувствовал себя глубоко уязвленным принципиальностью Некрасова, не пожелавшего уважить его просьбу, несмотря на старую дружбу. Да еще и некоторые друзья подталкивали его к разрыву с Некрасовым, старались опорочить того в глазах писателя.

Анненков, встретив в театре Панаева, накинулся на него с упреками в черной неблагодарности по отношению к Тургеневу, уверяя, что только ему Панаев и Некрасов обязаны успехом журнала, что они осрамили себя, позволив «ехидному мальчишке» писать «ругательные статьи» о Тургеневе. Вероятно, и другие друзья писателя, легко поддававшегося их влиянию, думали так же и внушали ему нечто подобное.

Все это привело к тому, что Тургенев вскоре отказался от дальнейшего участия в «Современнике».

Некрасову нелегко дался разрыв с Тургеневым. Рука об руку они вместе на протяжении многих лет создавали лучший русский журнал. Они были близкими друзьями. Некрасов привык слушать литературные мнения и советы Тургенева, делиться с ним всем решительно, начиная от личных неурядиц и кончая делами охотничьими. И вот Тургенев стал врагом. Горестные строки вырвались после этого у Некрасова:

...одинокий, потерянный,
Я как в пустыне стою,
Гордо не кличет мой голос уверенный
Душу родную мою.
Нет ее в мире. Те дни миновалися,
Как на призывы мои
Чуткие сердцем друзья отзывалися,
Слышалось слово любви...

В глубине души он еще продолжал надеяться, что разрыв Тургенева с «Современником», может быть, окажется временным и не повлияет на их взаимную привязанность. Но он ошибался. Конфликт носил не только личный характер — за ним стояли определенные истори-

[1] Впоследствии Тургенев изменил свое мнение и о Добролюбове, и о его статье: в 1880 году он назвал ее «самой выдающейся» среди многих откликов на роман «Накануне».

ческие противоречия, следствием которых было обострение идейной борьбы и в самом «Современнике», и за его пределами.

Кроме того, Некрасов, может быть, не ясно себе представлял, что среди литераторов, окружавших Тургенева, он уже давно прослыл «отступником», его возненавидели как человека, который долго считался в этом кругу своим (между прочим, и по возрасту), а потом будто бы пренебрег старыми отношениями и перебежал на сторону «мальчишек». Именно таким мнением можно объяснить и особую озлобленность бывших приятелей, и множество разных домыслов и сплетен, пущенных в действие, чтобы очернить недавнего союзника.

Как же складывались дальше отношения Некрасова с Тургеневым?

Еще некоторое время Некрасов думал о примирении; об этом свидетельствует прежде всего объявление об издании «Современника» в 1861 году, подписанное Панаевым и Некрасовым. Такие ежегодные объявления обычно печатались в «Современнике» в октябрьском номере предыдущего года (писавшиеся преимущественно Некрасовым, они представляют огромный интерес и для истории «Современника», и для изучения журналистских приемов его редактора, умевшего вступать в непосредственный контакт с читателями, информировать их о направлении журнала и намерениях редакции). В объявлении, появившемся в октябре 1860 года, имя Тургенева еще было названо среди писателей, обещавших свои повести журналу. Но тогда же Тургенев, еще больше раздраженный некоторыми выпадами «Современника» по его адресу, послал письмо на имя Панаева с просьбой не считать его сотрудником: «Хотя... по вашим отзывам обо мне, я должен предполагать, что я вам более не нужен, однако, для верности, прошу тебя не помещать моего имени в числе ваших сотрудников» (1 октября 1860 года).

Это письмо, кажется, не дошло до Некрасова. Во всяком случае, спустя три месяца он в письме к Добролюбову, уехавшему лечиться за границу, снова выразил надежду на возвращение Тургенева. Объясняя его уход во многом влиянием «приятелей», Некрасов хотел заранее предупредить Добролюбова о своей тактике: если не задевать Тургенева в критическом отделе, то он не вы-

держит долго и вернется. Некрасов писал: «Что Тургенев на всех нас сердится, это неудивительно — его подбивают приятели, а он-таки способен смотреть чужими глазами. Вы его, однако, не задевайте, он ни в чем не выдерживает долго — и придет еще к нам (если уж очень больно не укусим), а в этом-то и будет Ваше торжество, да и лично мне не хотелось бы, чтоб в «Современнике» его трогали» (1 января 1861 года).

Еще в конце апреля 1860 года Тургенев уехал за границу. Переписка его с Некрасовым, такая давняя и постоянная, теперь, естественно, оборвалась. Некрасов долго крепился, потом не выдержал и написал первым. Письмо свое он начал с прямого признания: «Любезный Тургенев, желание услышать от тебя слово, писать к тебе у меня, наконец, дошло до тоски...» Дальше он пытался растолковать причину конфликта, указал на его принципиальный характер и опять упомянул о неблаговидной роли «приятелей»: «Не могу думать, чтоб ты сердился *на меня* за то, что в «Современнике» появлялись вещи, которые могли тебе не нравиться... Ты мог рассердиться за приятелей и, может быть, иногда за принцип — и это чувство, скажу откровенно, могло быть несколько поддержано и усилено иными из друзей, — что ж, ты, может быть, и прав. Но я тут не виноват; поставь себя на мое место, ты увидишь, что с такими людьми, как Чернышевский и Добролюбов (людьми честными и самостоятельными, что бы ты ни думал и как бы сами они иногда ни промахивались), — сам бы ты так же действовал, т. е. давал бы им свободу высказаться на их собственный страх» (15 января 1861 года).

Это письмо очень важно. Из него явствует, что при всей своей любви к Тургеневу Некрасов не собирался пожертвовать теми, кого тот считал своими главными идейными противниками (он был уверен, например, что Добролюбов собирался его «съесть живым»). Больше того, редактор «Современника» настойчиво подчеркивал и честность и самостоятельность своих соратников, отвечающих за направление критики в журнале.

Тургенев встретил все это без удовольствия. Он ответил из Парижа на письмо своего бывшего друга, но ответ его не сохранился; можно думать, что он был холодным и недоброжелательным. Точно мы знаем только одно — со слов самого Тургенева известно, что он сообщил Некрасову свое «твердое решение» не участвовать

более в «Современнике». Некрасов откликнулся на это небольшим письмом, в конце которого были такие слова: «...Я на этом останавливаюсь, оставаясь попрежнему любящим тебя человеком, благодарным тебе за многое. Само собою разумеется, что это ни к чему тебя не обязывает. Будь здоров» (5 апреля 1861 года).

Это было последнее из известных нам писем к Тургеневу.

У Некрасова есть стихотворение, озаглавленное «Тургеневу». Оно начинается словами «Мы вышли вместе...». История этих стихов сложна и не вполне выяснена; они написаны после конфликта, но точная дата их написания неизвестна. Некоторые строфы ранней редакции, возможно, относятся к Герцену. Однако основное содержание стихов, несомненно, обращено именно к Тургеневу. Некрасов с прежним уважением говорит о своем друге, о его труде писателя-гражданина:

В великом сердце ты носил
Великую заботу,
Ты как поденщик выходил
До солнца на работу.

Во лжи дремать ты не давал,
Клеймя и проклиная,
И маску дерзостно срывал
С глупца и негодяя.

Но это вчерашний день. Сегодня перед лицом более сложного времени писатель отступил от своих позиций; оказался равнодушен «и к свисту буйного бича, и к ропоту народа». В стихах говорится об этом так:

И что же? Луч едва блеснул
Сомнительного света,
Молва гласит, что ты задул
Свой факел... ждешь рассвета.

Некоторые строки стихотворения позволяют догадываться, что в них отразились толки об «Отцах и детях», романе, который в условиях разрыва с Тургеневым тогда воспринимался как его ответ «Современнику» и всему молодому поколению. В этом духе можно расшифровать следующую строфу стихотворения:

Щадишь ты важного глупца,
Безвредного ласкаешь
И на идущих до конца
Походы замышляешь.

Несколько упрощая смысл этих стихов, все-таки можно предположить, что в первых двух строчках подразумевались братья Кирсановы (Павел Петрович и Николай Петрович), а в третьей дан намек на Базарова, вернее, на тех, кого писатель якобы имел в виду, изображая нигилиста и материалиста. Под «идущими до конца» Некрасов, конечно, разумел людей типа Добролюбова, полагая, что именно против них собирался ополчиться Тургенев. Во всяком случае, известные основания для такого понимания этих стихов дает пометка, сделанная в конце жизни самим Некрасовым: «Писано собственно в 1860 году, к которому и относится [1], когда разнесся слух, что Тургенев написал «Отцов и детей» и вывел там Добролюбова».

Может быть, еще более важной частью стихотворения надо признать его последние строфы. Они содержат призыв вернуться на «тернистый путь», идти в огонь «за страждущего брата». И конечно, они обращены не только к Тургеневу. А может быть, и совсем не к Тургеневу:

Непримиримый враг цепей
И верный друг народа,
До дна святую чашу пей,
На дне ее — свобода!

«Святая чаша», «святое дело» — условные символические обозначения революции в стихах и публицистике 60-х годов. Например, у Добролюбова в стихотворении «Еще работы в жизни много»:

Но знаю я, — дорога наша
Уж пилигримов новых ждет,
И не минет святая чаша
Всех, кто ее не оттолкнет.

Сопоставления эти наводят на размышления: о Тургеневе ли думал поэт, когда призывал в своих стихах к борьбе за свободу и упомянул о неизбежных жертвах этой борьбы? Может быть, более широкий смысл вложил он в

[1] То есть относится по содержанию. Впрочем, есть основания датировать стихотворение (или одну из его редакций) 1861 годом.

последние строфы стихотворения «Тургеневу»? (Оно осталось не напечатанным при жизни автора.)

После окончательной размолвки судьба столкнула бывших друзей только раз (если не считать предсмертного для Некрасова свидания): в начале июня 1862 года они встретились случайно в вагоне и вместе ехали до Москвы. Об этом мы узнаем уже из писем Тургенева. В одном письме (М. А. Маркович) он рассказывал: «Мне из Петербурга до Москвы пришлось ехать с Некрасовым, и оба мы, как Ноздрев и его товарищи — ничего [1], говорили, смеялись, — но бездна так и осталась между нами, — и слава богу» (4 июня 1862 года).

В другом письме (П. В. Анненкову) он повторил: «Вообразите себе — я совершил переезд из Петербурга в Москву с Некрасовым. Мы разговаривали очень любезно, но мало и безучастно; ему словно было совестно — но для меня он давно перестал существовать» (8 июня 1862 года).

* * *

Некрасову, привыкшему ежегодно сообщать читателям «Современника» о переменах внутри редакции, о планах и направлении журнала, предстояло объявить печатно об уходе сотрудников беллетристического отдела, то есть прежде всего Тургенева. Он и сделал это в объявлении об издании журнала в следующем, 1862 году. Некрасов указал, что отношение редакции к некоторым писателям изменилось; читатели с интересом встречали их произведения в журнале, но это было в прежнее время, когда общественные направления еще «не обозначились так ясно».

Затем как бы подводился итог той борьбе между направлениями, которая расколола редакцию «Современника» и привела к уходу части писателей: «Сожалея об утрате их сотрудничества, редакция, однако же, не хотела, в надежде на будущие прекрасные труды их, пожертвовать основными идеями издания, которые кажутся ей справедливыми и честными и служение которым привлекает и будет привлекать к ней новых, свежих деятелей и

---

[1] Тургенев, имеет в виду четвертую главу «Мертвых душ», где Ноздрев «как ни в чем не бывало» встречается с побившими его приятелями-картежниками.

новые сочувствия, между тем как деятели, хотя и талантливые, но остановившиеся на прежнем направлении, — именно потому, что не хотят признать новых требований жизни, — сами себя лишают своей силы и охлаждают прежние к ним сочувствия».

Надо отдать должное Некрасову: в этих словах он очень определенно сказал о самой сути дела — об истинных причинах расхождения с Тургеневым. Под «будущими прекрасными трудами» скорее всего подразумевался роман «Отцы и дети», о котором уже много говорили. И сам Тургенев сразу понял, в кого метит объявление «Современника». С нескрываемой обидой писатель жаловался Герцену: «В программах своих они утверждают, что они отказали мне, яко отсталому» (30 января 1862 года).

Конечно, Тургенева не могла устроить роль деятеля, «остановившегося на прежнем направлении». И он начал энергично отрицать идейный характер конфликта с некрасовским журналом. Ему казалось, что все гораздо проще — на него нападали «мальчишки», сумевшие завладеть симпатиями Некрасова, он не дал ему свой новый роман, журнал стал ему мстить, вот и все. Поведение Некрасова было особенно непонятно: с одной стороны, признается в любви и дружбе, с другой — грубо ее попирает, заявляя в печати, что сохранить старых и прославленных сотрудников значило бы пожертвовать честными идеями издания...

Вскоре подлила еще масла в огонь полемика вокруг появившегося в начале 1862 года романа «Отцы и дети»; резко критическую статью М. Антоновича «Асмодей нашего времени», опубликованную «Современником», при всех ее слабых сторонах, нельзя не поставить в связь с историей разрыва Тургенева с «Современником».

Тургенев в крайнем раздражении стал с этого времени открытым гонителем Некрасова. Он напечатал в «Северной пчеле» (1862, № 334) письмо в редакцию, в котором кратко описал историю своего отчуждения от «Современника», пытаясь доказать, что эта история была далека от каких-либо идейных побуждений: «Увы! г. Некрасов не принес меня в жертву своим убеждениям... Мне сдается, что в течение всей карьеры г. Некрасов был гораздо менее жрецом, чем предполагает г. А. Ю.» (то есть фельетонист «Северной пчелы», с которым спорит Тургенев).

Помимо намеков такого рода, Тургенев не удержался и от выпадов личного характера, он использовал для этого даже последние письма к нему Некрасова, содержавшие откровенные признания в дружеских чувствах. В искренности этих признаний трудно было усомниться.

До Некрасова доходили слухи, что Тургенев начал обвинять его в денежной нечистоплотности, имея в виду уже законченное «огаревское дело». Эти слухи тяжелым камнем ложились на репутацию поэта, тем более что они распространялись довольно широко. Особенно было непереносимо, что их источником часто являлись не «чужие», а «свои». Герцену принадлежат злые выпады в «Колоколе» против Некрасова. Николай Успенский, «открытый» и обласканный редактором «Современника», пустил в ход фантастическую версию о будто бы проигранных за границей чужих деньгах.

Когда Некрасов узнавал о таких обвинениях, у него, по словам Панаевой, «разливалась желчь», он не выходил из дому, никого не принимал, ничего не ел и только до изнеможения ходил по кабинету из угла в угол.

Некрасов обычно молчал, когда дело касалось его лично; он не имел привычки опровергать, доказывать. Может быть, только раз он не выдержал, написал стихи о том, что накипело, и даже прочел их публично. Мы знаем об этом со слов одного современника. Однажды в зале Дворянского собрания был устроен вечер с благотворительной целью; выступали известные писатели, каждого из них публика восторженно приветствовала. Но вот вышел на эстраду Некрасов, — зал встретил его гробовым молчанием. «Возмутительная клевета, обвившаяся вокруг славного имени Некрасова, очевидно, делала свое дело». Он начал читать своим негромким хрипловатым голосом:

Что ты, сердце мое, расходилося?..
Постыдись! Уж про нас не впервой
Снежным комом прошла-прокатилася
Клевета по Руси по родной.
Не тужи! Пусть растет, прибавляется,
Не тужи! как умрем,
Кто-нибудь и об нас проболтается
Добрым словцом.

Что произошло после того, как прозвучало последнее слово, не поддается описанию. По словам того же мемуа-

риста, «вся публика, как один человек, встала и начала бешено аплодировать. Но Некрасов ни разу не вышел на эти поздние овации легковерной толпы».

Переменив свое отношение к Некрасову, Тургенев стал иначе относиться и к некрасовским стихам. Удивительную несправедливость его отзывов нельзя обойти молчанием хотя бы потому, что эти отзывы, иногда предназначенные для печати, иногда же заключенные в письмах, испортили много крови Некрасову, принесли ему немало горьких минут. Известно, например, письмо, в котором Тургенев рассказывает, как он пробовал перечитать сборник некрасовских стихов. И вот заключение. «...Нет! Поэзия и не ночевала тут — бросил я в угол это жеваное папье-маше с поливкой из острой водки» (13 января 1868 года).

Забыв о своих прежних суждениях, иногда более чем положительных, Тургенев писал: «Я всегда был одного мнения о его сочинениях, и он это знает». В печати он высказывался столь же непримиримо и в том же духе. Так, в рецензии на сочинения Я. Полонского Тургенев демонстративно поставил его выше Некрасова: «...я убежден, что любители русской словесности будут перечитывать лучшие стихотворения Полонского, когда самое имя г. Некрасова покроется забвением. Почему же это? А просто потому, что в деле поэзии живуча только одна поэзия и что в белыми нитками сшитых, всякими пряностями приправленных, мучительно высиженных измышлениях «скорбной» музы г. Некрасова — ее-то, поэзии-то, и нет на грош». Это было настолько несправедливо, что сам Полонский был удивлен этими выпадами и сравнениями. Он писал Некрасову: «Отзыв И. С. Тургенева о стихах Ваших глубоко огорчил меня».

Нельзя думать, что враждебность к личности Некрасова, ослепившая его бывшего друга, питала эти беспощадные поношения «скорбной музы». Конечно, важнейшую роль играли тут особенности зрелой поэзии Некрасова: Тургеневу претил ее крепнущий демократизм, он не принимал ее сатирической остроты («пряности»!) и революционной патетики. А уж тон и категоричность суждений определялись отношением к самому поэту.

Известно, что после относительного примирения, после последнего свидания с умиравшим Некрасовым Тургенев высказывал иные, положительные, суждения о его поэзии.

IV

«ПОРВАЛАСЬ ЦЕПЬ ВЕЛИКАЯ...»

В то время все общественные вопросы в России сводились к крестьянскому вопросу — к борьбе за отмену крепостного права. После Крымской войны страх перед нараставшим крестьянским движением в стране вынудил правительство Александра II вступить на путь реформ и подготовки отмены крепостного права. Еще в 1857 году был образован секретный комитет, положивший начало подготовке реформы.

В те годы два политических направления противостояли друг другу в русской жизни. Одно из них представляли крепостники и либералы, заботившиеся прежде всего о соблюдении помещичьих интересов и допускавшие возможность половинчатых реформ только ради того, чтобы избежать худшего, то есть революции.

Сторонниками второго направления выступали революционные демократы, лагерь «Современника» во главе с Чернышевским, Добролюбовым и Некрасовым; они выражали интересы закабаленных масс, отстаивали идею безвозмездной передачи помещичьей земли крестьянам, свободного развития крестьянского земледельческого хозяйства. В одном из обращений «От редакции» (1858, № 4), написанном Некрасовым совместно с Чернышевским, говорилось: «Все внимание России устремлено теперь на дело отмены крепостного права, начатое волею государя-императора».

Но шли годы, заседали разные комитеты, а объявление крестьянской реформы все откладывалось. Первоначальные надежды на новый курс правительства, который будто бы обновит страну, разрушались на глазах. Разногласия между либералами и демократами обострялись. Реакционная сущность политики Александра II становилась все более очевидной. Автор известного письма, присланного Герцену за подписью «Русский человек» и опубликованного в «Колоколе» 1 марта 1860 года, категорически утверждал: «Посмо́трите, Александр Второй скоро пока-

жет николаевские зубы... К топору зовите Русь». Предполагают, что автором этого письма был Чернышевский. Или, может быть, Добролюбов. И во всяком случае, их единомышленник.

Деятели «Современника», отказавшись к тому времени от каких-либо иллюзий, поняли, что реформа готовится руками крепостников и в интересах помещиков. Например, Добролюбов, критикуя в письме к писателю Славутинскому непоследовательность его позиции, писал: «Точно будто в самом деле верите вы, что мужикам лучше жить будет, как только Редакционная комиссия кончит свои занятия...» Не очень-то верил в реформы и народ, во всяком случае, число крестьянских волнений в стране возрастало по мере приближения «воли».

В это время в условиях жестоких преследований со стороны цензуры в некрасовском «Современнике» появились лучшие статьи Добролюбова, в которых шла речь о скрытых силах народа, о необходимости пробуждать его к действию, об отношениях между народом и демократической интеллигенцией, о приближении революционных событий. В статьях Чернышевского («Июльская монархия», «Антропологический принцип в философии») поднимались острые политические вопросы, получало философское обоснование материалистическое мировоззрение революционной демократии.

Какие журналы того времени могли бы похвалиться такими авторами, таким уровнем критики и публицистики? А в других отделах «Современника» печатались сатиры Салтыкова-Щедрина, деревенские рассказы Н. Успенского, очерки М. Михайлова, ставшего постоянным сотрудником журнала, и, конечно, стихи Некрасова.

Не удивительно, что один из цензурных чиновников, ознакомившись с книжками журнала за первые месяцы 1860 года, обнаружил в них «потрясение основных начал власти монархической, ...возбуждение ненависти одного сословия к другому».

С другой стороны, журнал приобретал все большую популярность среди демократических читателей. Тираж его возрастал год от году.

Некрасовские стихи этого времени полностью соответствовали общему духу и направлению «Современника». Разнообразны их темы, но почти в каждом стихотворении

угадывается настроение горечи, затаенного гнева, тревожного ожидания. Мысль поэта постоянно привязана к деревне, к тяжкой жизни крестьянства. Вот трагический в своей реальности «Плач детей». Тема его подсказана одноименным произведением английской поэтессы Э. Б. Браунинг, но во всем остальном это совершенно самобытное произведение. Некрасов и сам указал, что он «очень мало держался подлинника». И мы вправе видеть в этих стихах едва ли не единственную в русской поэзии картину рабского труда детей, «измученных в неволе», на примитивных крепостных фабриках, каких тогда было уже немало [1]:

Только нам гулять не довелося
По полям, по нивам золотым:
Целый день на фабриках колеса
Мы вертим — вертим — вертим!

Духом осуждения крепостничества, дикости крепостного быта веет и от других стихов 1860 года, в том числе сатирических. Так, в сатире «Первый шаг в Европу», напечатанной в «Свистке» (раздел «Современника», который вел Добролюбов), описана некая русская барыня, оказавшаяся в берлинской гостинице (можно предполагать, что Некрасов имел в виду какой-то известный ему случай). Забыв, что она не в своем отечестве, помещица ударила горничную Луизу, а та взамен оттаскала ее за волосы. Вот какая свобода в Европе! После этого расстроенный супруг замечает, что было бы лучше «в деревне девок стричь да надирать виски безгласному холопу!».

Несмотря на анекдотичность сюжета и веселые интонации, цензура не ошиблась в оценке стихотворения: его смысл увидели в том, чтобы «уронить наших помещиков» и указать на «ненормальное положение отечества».

Предреформенным настроением рождено стихотворение «Знахарка». На этот раз точно известно от самого Некрасова, что в основе стихотворного рассказа лежит подлинный случай, о котором ему поведал некий «умный мужик».

Безошибочно сбываются самые мрачные предсказания деревенской колдуньи; они наводят страх на односельчан: «Радостей мало — пророчит все горе». Секрет знахарки разгадал «старый мужик Пантелей»: жизнь дерев-

---

[1] В английском стихотворении речь шла о детском труде на шахтах.

ни полна горя и печали, поэтому и нетрудно предсказать беду, ошибки быть не может, хорошего не жди. Поняв это, Пантелей отказывается от гаданья:

Ты нам тогда предскажи нашу долю,
Как от господ отойдем мы на волю!

Ради этих двух строк Некрасов и написал «Знахарку» со слов «умного мужика». И надо сказать, что не только «умный мужик» (он-то, видимо, и назван в стихах Пантелеем), но и сам поэт был бы не прочь узнать от знахарки, какова же будет доля деревни после объявления долгожданного манифеста.

Впрочем, Некрасов на этот счет не обольщался. В стихах, обращенных к Тургеневу, он назвал предстоящие реформы «лучом сомнительного света». Но он знал — народ еще надеется, с нетерпением ждет, какова-то будет обещанная «воля». Об этом прямо говорится в стихотворении «Деревенские новости»:

Сходится в хате моей
Больше да больше народу:
«Ну, говори поскорей,
Что ты слыхал про свободу?»

Но о «свободе» пока ничего не известно, а деревенская жизнь, как всегда, полна своих нехитрых и нерадостных событий — в Ботове валится скот, пастушонка убило громом, сгорели две деревни...

Попав в родные места (летом 1860 года он гостил в Грешневе), поэт узнает эти новости от старых своих друзей, бывших товарищей детских игр, про которых он имел право сказать: «Что ни мужик, то приятель». Они-то и хотят услышать от него рассказы «про свободу».

«Деревенские новости» примечательны своей автобиографичностью, о которой напоминают не только географические названия (Качалов лесок, Красные горки), но и прямое свидетельство Некрасова: в позднейших набросках автобиографии он привел стихи из «Деревенских новостей», чтобы подтвердить короткость, которая издавна сложилась между ним и грешневскими крестьянами.

Весь мир стихотворения — крестьянский. Все другие темы и отношения отсюда намеренно исключены. Этим определяются его лиризм, мягкость интонаций, даже некоторая идилличность, хоть это понятие и очень мало подходит к Некрасову. Поэт радуется знакомым местам, где

прошло детство, его умиляют и веселый летний дождь, и «милая эта дорога», и «теплого колоса пар», но больше всего новая встреча с грешневцами:

— Останови же лошадок!
Видишь, из каждых ворот
Спешно идет обыватель.
Все-то знакомый народ,
Что ни мужик, то приятель.

Приезжий меньше всего похож на помещика, вернувшегося в усадьбу. Свой дом он, зазывая гостей, даже называет хатой (может быть, из нежелания подчеркивать свои преимущества перед теми, кто живет в избах и хатах). Приезжему без церемоний выкладывают все новости (кстати, куда менее горестные, чем, например, в «Знахарке»); кума показывает ему крестника Ваню, а он не забыл привезти для него игрушку; земляки как родные сокрушаются, что столичный житель плохо выглядит:

Вишь ты лядащий какой,
Мы не таким отпускали:
Словно тебя там сквозь строй
В зиму-то трижды прогнали.

По всему видно, что среди мужиков этот горожанин свой, между ними достигнуты полная близость, взаимное понимание. После этого уже не кажется странным доверительный вопрос, увенчивающий стихи: «Что ты слыхал про свободу?»

К предреформенному времени относится и стихотворение «На Волге», также навеянное впечатлениями родных мест. Здесь Некрасов коснулся одной из мрачных сторон крепостнической действительности — бурлачества. Совсем недавно, в «Размышлениях у парадного подъезда» уже прозвучала эта тема: «Выдь на Волгу: чей стон раздается над великою русской рекой?» Теперь поэт обратился к воспоминаниям детства, проведенного «у берегов большой реки», и рассказал о том, как его привязанность к Волге, к ее вольным просторам еще в те годы была омрачена зрелищем тяжкого труда бурлаков. Их «мерный похоронный крик», стоны и жалобы навсегда оставили след в душе и памяти подростка.

О, горько, горько я рыдал,
Когда в то утро я стоял

На берегу родной реки
И в первый раз ее назвал
Рекою рабства и тоски!..

Но вот прошли годы, и герой стихотворения снова на волжском берегу увидел прежних измученных бурлаков:

Все ту же песню ты поешь,
Все ту же лямку ты несешь,
В чертах усталого лица
Все та ж покорность без конца...

Теперь эта вечная покорность судьбе вызывает уже не только сострадание, но и возмущение, чувство протеста. Потому-то, обращаясь к бурлаку, поэт восклицает:

Чем хуже был бы твой удел,
Когда б ты менее терпел?

В этих словах — и призыв и лозунг, выражающий мечту лучших людей о пробуждении народа. Сходный мотив звучит и в небольшом наброске «На псарне»: здесь говорится о тех, кому не нужна воля, кто свыкся с бесправным своим положением. «На̀што мне воля? куда я пойду?» — спрашивает старик всю жизнь просидевший на барской псарне и не умеющий работать («Хлеб добывать не умею»).

Так, с разных сторон и по-разному отражалась в некрасовских стихах острейшая проблема эпохи — подготовка к отмене крепостного права.

* * *

И вот наконец этот день наступил. 6 марта 1861 года в газетах был опубликован царский манифест от 19 февраля об освобождении крестьян. Утром этого дня Чернышевский пришел к Некрасову и застал его еще в постели (Некрасов вставал поздно и часто работал лежа). В правой руке он держал газету с манифестом. На лице, вспоминает Чернышевский, выражение печали, глаза потуплены, настроение явно подавленное. Увидев вошедшего, он встрепенулся, поднялся на постели, скомкал газетный лист и с волнением сказал:

— Так вот что такое эта воля! Вот что такое она! — И продолжал говорить, изливая свое негодование.

Когда он остановился перевести дух, Чернышевский сказал:

— А вы чего же ждали? Давно было ясно, что будет именно это.

— Нет, этого я не ожидал, — отвечал Некрасов. — Разумеется, ничего особенного я и не ждал, но такое решение дела далеко превзошло мои предположения.

Так описал Чернышевский этот разговор в своих поздних «Заметках» о Некрасове. А в другой раз, в беседе с Л. Ф. Пантелеевым, он передал те же слова Некрасова еще более резко и, вероятно, более точно: «Да разве это настоящая воля?! Нет, это чистый обман, издевательство над крестьянами». Некрасов, по словам Николая Гавриловича, был так взволнован, что ему пришлось успокаивать его.

В то же время в официальной печати в либерально-дворянских кругах, в салонах и гостиных манифест вызвал приступы восторга. Александра II немедленно возвели в сан освободителя. Аполлон Майков в сусальных стихах описывал, как ликует деревня. Катков, редактор «Русского вестника», писал: «Великое, величайшее слово в русской истории произнесено».

Тургенев узнал новость, находясь в Париже; в одном из писем он рассказал, как в русской посольской церкви по этому поводу отслужили молебен; кроме самого писателя, присутствовало много русских, в том числе бывшие декабристы — Николай Иванович Тургенев (он «плети рабства» ненавидел, писал о нем Пушкин) и князь Сергей Григорьевич Волконский, недавно возвращенный из Сибири. После молебна «все друг другу пожимали руки и громко хвалили и превозносили царя. Дай бог ему здоровья и силы продолжать начатое!»— так писал Тургенев из Парижа 14 марта 1861 года.

Конечно, отмена крепостного права была уступкой, которую «...отбила у самодержавного правительства волна общественного возбуждения и революционного натиска» [1]. И репрессиями, и уступками «...правительство *защищалось* от натиска революционной «партии» [2]. И тем не менее падение системы рабства, права владеть людьми, само по себе не могло не восприниматься как крупное событие в жизни страны. И не удивительно, что первое известие

---

[1] В. И. Ленин, Полн. собр. соч., т. 5, стр. 33.

[2] Там же, стр. 28.

об этом произвело впечатление и на автора «Записок охотника», и на старых декабристов, многим пожертвовавших во имя дела освобождения.

Лишь немногие в то время (если исключить круг «Современника») поняли истинный смысл реформы, ее половинчатый, антинародный характер. И никто, кроме Некрасова, не воскликнул с горечью: «Народ освобожден, но счастлив ли народ?»

Разное отношение к реформе резкой чертой отделяет Некрасова и демократический «Современник» от либерально-дворянских слоев общества. История в ближайшие же годы показала, кто был прав. Волнения и мятежи в деревне, вспыхнувшие с новой силой, были ответом на освобождение крестьян. Уже в апреле силой оружия были подавлены восстания в селе Бездна Казанской губернии, в селе Кандеевка Пензенской губернии.

Как же откликнулся на объявление манифеста некрасовский «Современник»? Преимущественно демонстративным и многозначительным молчанием. Именно это имел в виду В. И. Ленин, когда писал, что руководители «Современника» «умели говорить правду то молчанием о манифесте 19 февраля 1861 г., то высмеиванием и шельмованием тогдашних либералов...» [1].

В запоздавшем мартовском номере журнала (он получил цензурное разрешение только 26 марта и вышел в свет 1 апреля) появились официальные материалы (их поместили в конце номера!), а отсутствие славословий по поводу манифеста было специально разъяснено во «Внутреннем обозрении» (его вел в это время публицист Г. З. Елисеев, вскоре ставший одним из руководителей журнала). «Вы, читатель, вероятно, ожидаете, — говорилось в обозрении, — что я поведу с вами речь о том, о чем трезвонят, поют, говорят теперь все журналы, журнальцы и газеты, то есть о дарованной крестьянам свободе. Напрасно. Вы ошибаетесь в ваших ожиданиях. Мне даже обидно, что вы так обо мне думаете». Дальше следовало рассуждение о том, что солидный обозреватель не обязан гоняться за всеми новостями...

В этом же номере читатели прочли «Песни о неграх» Г. Лонгфелло в переводах М. Л. Михайлова, руководившего в это время иностранным отделом журнала. Эти песни об ужасах рабовладельчества, о стремлении невольни-

---

[1] В. И. Ленин, Полн. собр. соч., т. 30, стр. 251.

ков вырваться на свободу нельзя было иначе воспринять как замаскированный отклик на положение «наших домашних негров». Одна из песен, заключавшая весь цикл, содержала грозное предупреждение:

Самсон порабощенный, ослепленный
Есть и у нас в стране. Он сил лишен,
И цепь на нем. Но — горе! если он
Поднимет руки в скорби исступленной
И пошатнет, кляня свой тяжкий плен,
Столпы и登 основанья наших стен...

А вслед за переводами Михайлова шла статья В. А. Обручева «Невольничество в Северной Америке»; здесь с помощью убедительных примеров читателю внушалась мысль, что тяжкая жизнь негров под плетью плантаторов неминуемо приведет к восстанию ради «великой идеи», ради «священных прав», а в рядах восставших найдутся люди, которые будут ими руководить.

Среди материалов «Современника» этого времени выделяется поэма Тараса Шевченко «Гайдамаки» (она появилась в русском переводе П. Гайдебурова). Картина крестьянского восстания на Украине XVIII века, с большой силой воссозданная в поэме, не случайно привлекла внимание Некрасова: в дни, когда началось усмирение бунтующих мужиков, ждавших «полной воли» и не получивших ее, поэма вдохновенно рисовала народный бунт, звала к восстанию.

Особое звучание «Гайдамакам» на страницах «Современника» придавала недавняя смерть поэта-кобзаря. Сильно взволнован был ею и Некрасов, видевший в Шевченко подлинно народного поэта, хорошо знавший его трагическую судьбу.

Некрасов любил поэзию Шевченко, близкую его собственным творческим исканиям. Народные поэмы украинского певца предшествовали работе Некрасова над поэмами из крестьянской жизни, они оказали влияние на становление образа русской женщины-крестьянки, героини лиро-эпических полотен, созданных Некрасовым в 60-е годы. Одну из шевченковских поэм, «Наймичку» (в переводе А. Плещеева, озаглавленном «Работница»), Некрасов напечатал в «Современнике» еще при жизни автора. Героиня этой поэмы Ганна явилась в его глазах «величайшим идеалом материнской любви».

Последние годы жизни Шевченко провел в Петербурге. Поэт принимал участие в подпольно-революционной ра-

боте, принадлежа к «партии Чернышевского». Весь облик украинского поэта-бунтаря, его многострадальная жизнь, его связь с народными «низами» и нескрываемая ненависть к самодержавию привлекали деятелей «Современника», в том числе и Некрасова. Дружба Шевченко с Чернышевским, Михайловым, братьями Курочкиными, С. Сераковским — свидетельство единения русской, украинской и польской революционной демократии.

Некрасову случалось выступать вместе с ним на вечерах Литературного фонда, где украинского поэта встречали, по словам очевидцев, долгими овациями. Бывал Шевченко и в редакции «Современника».

10 марта 1859 года Шевченко, по-видимому приглашенный Чернышевским, присутствовал на обеде в честь актера А. Е. Мартынова, устроенном редакцией «Современника»; здесь Некрасов, знавший юбиляра еще с начала 40-х годов, когда тот играл в его водевилях, прочел стихи «Со славою прошел ты полдороги...», где были такие слова:

Свободную семью людей свободных
Мартынов вкруг себя в тот день соединил!

В эту семью входил и Шевченко.

Из автобиографии Шевченко, включенной Добролюбовым в рецензию на сборник «Кобзарь» (1860), стало известно, что родные поэта — два брата и сестра с детьми — находятся в крепостной неволе, являются собственностью помещика Флиорковского. Хлопоты поэта об их освобождении были безуспешны. В дело вмешался недавно основанный Литературный фонд, где на заседании комитета 21 марта 1860 года Тургенев поднял вопрос о необходимости содействовать освобождению родных Шевченко.

Под таким неожиданным давлением помещик вынужден был дать согласие, но поставил условием освобождение без земли. Шевченко не советовал родным соглашаться на «такую поганую безземельную волю». Некрасовский «Современник» выступил в поддержку этой позиции, тем самым еще раз показав свое отношение к будущей реформе. В ежемесячном фельетоне «Петербургская жизнь» (август 1860) Панаев опубликовал все материалы, относящиеся к этой истории (в том числе два письма Флиорковского), и в заключение заметил: «Несогласие семейства Шевченко воспользоваться предложенной ему свобо-

дой — очень натурально. Что за свобода без права выкупа усадьб и полей!..»

И вот, не прожив на свободе даже трех лет, Шевченко умер. Это случилось 26 февраля, за неделю до объявления «воли». Некрасов шел за его гробом, и вместе с ним шли почти все деятели «Современника», шли и многие другие литераторы, художники, журналисты...

Накануне похорон народного певца Некрасов сложил такие удивительные стихи:

Не предавайтесь особой унылости:
Случай предвиденный, чуть не желательный,
Так погибает по божией милости
Русской земли человек замечательный
С давнего времени: молодость трудная,
Полная страсти, надежд, увлечения,
Смелые речи, борьба безрассудная,
Вслед затем долгие дни заточения.

Все он изведал: тюрьму петербургскую,
Справки, доносы, жандармов любезности,
Всё — и раздольную степь Оренбургскую,
И ее крепость. В нужде, в неизвестности
Там, оскорбляемый каждым невеждою,
Жил он солдатом с солдатами жалкими,
Мог умереть он, конечно, под палками,
Может, и жил-то он этой надеждою.

Но, сократить не желая страдания,
Поберегло его в годы изгнания
Русских людей провиденье игривое.
Кончилось время его несчастливое,
Всё, чего с юности ранней не видывал,
Милое сердцу, ему улыбалося,
        Тут ему бог позавидовал:
        Жизнь оборвалася.

Стихи эти, проникнутые горькой иронией, затаенным гневом, не могли увидеть свет при жизни Некрасова. Да он и не пытался их напечатать; он знал, что о своей судьбе изгнанника, о тюрьмах и ссылке в солдаты сам Шевченко не мог упомянуть даже в автобиографии. Поэтому только много лет спустя, в последние месяцы своей жизни, больной Некрасов продиктовал по памяти эти строки сестре Анне Алексеевне.

Еще до этого Некрасову представился случай высказать свое мнение о поэзии Шевченко. В 1871 году он выступил с речью в Петербургском окружном суде, где рассматривалось дело об издании «Кобзаря». Некрасов был

приглашен в качестве эксперта по поводу спора, возникшего между двумя издателями книги; их спор мог бы привести к нарушению цельности «Кобзаря», к отделению той его части, которая была издана до ссылки, от стихов более позднего времени. Считая, что такое разделение нанесет ущерб наследию поэта, Некрасов обосновал в своей речи мысль о «тесной внутренней связи» между всеми стихотворениями Шевченко:

«...Шевченко был поэт глубоко и исключительно национальный, специализовавший для себя отдельную область, воспроизведению которой он посвятил всю свою жизнь и из которой не выходил ни однажды; именно задачею его поэзии было изображение народной жизни родной ему Украины, и в этом смысле все пьесы родственны, поясняя, дополняя друг друга и представляя в целом «житье-бытье того общества, среди которого ему суждено было родиться, работать, думать, терпеть и страдать...» Исключение какого-либо стихотворения из изданий его произведений неизбежно отразилось бы на читателе в ущерб его пониманию...»

Вернемся теперь к положению «Современника» в начале 60-х годов. Чем напряженнее становилась обстановка в стране, тем усерднее преследовала его цензура. Но тем успешнее овладевал журнал эзоповым языком. Множество разнообразных параллелей и намеков, иногда прямых, чаще скрытых, понятливый читатель находил почти во всех журнальных материалах. Даже видавшие виды цензоры нередко становились в тупик перед изобретательностью авторов; они могли запретить статью или сократить ее вдвое, но они вынуждены были признать свое бессилие в борьбе с самым направлением и духом «Современника».

Причины этого бессилия раскрыл председатель Петербургского цензурного комитета барон Н. В. Медем, которого Некрасов называл не иначе как «скотиной, да еще не простой, а австрийской». В октябре 1861 года Медем жаловался своему начальству: «Сколько бы цензура в подобном журнале ни старалась о зачеркивании и смягчении предосудительных мест, ей никогда не удастся уничтожить в нем все следы и всякое проявление того духа, который предгосподствовал при выборе и составлении статей. Неизгладимые эти следы заключаются во множестве мелких частностей, которые в отдельности кажутся позво-

лительными и безвредными, но в совокупности... явно обнаруживают предосудительность общего направления и делаются вредными».

Эти слова позволяют понять, почему в то горячее время к «Современнику» все чаще предъявляли требование «переменить направление», угрожая в противном случае полным запрещением журнала. И запрещение было не за горами, потому что переменить направление журнал Некрасова не мог.



V

«ОПЯТЬ Я В ДЕРЕВНЕ...»

Весной 1861 года Некрасов начал собираться на все лето в деревню, где он думал отдохнуть от тревог нелегкой петербургской жизни. Кроме того, ему, конечно, не терпелось своими глазами увидеть, как теперь живут, узнать, что думают грешневские мужики.

К тому же здоровье его в это время ухудшилось и требовало деревенского воздуха. «Всю нынешнюю весну я болен, месяца полтора тому назад закашлял да и пошел...» — писал он 25 мая Добролюбову, лечившемуся в Италии. Отчасти по этой причине у него явилась мысль купить где-нибудь в ярославских краях небольшое имение, где можно было бы спокойно отдыхать, работать и охотиться.

Отец, узнав об этом, предложил в его распоряжение Грешнево (сам он часто жил последнее время в Ярославле), но это было совсем не то, что хотелось сыну. Свои пожелания он изложил в письме к Алексею Сергеевичу так: «Вы знаете, что здесь [т. е. в Петербурге] жизнь моя идет не без тревоги; в деревне я ищу полной свободы и совершенной беспечности, при удобствах, устроенных по моему личному вкусу, хотя бы и с большими тратами. При этих условиях я располагаю из 12-ти месяцев от 6 до 7-ми жить в деревне — и частию заниматься. Вот почему я ищу непременно усадьбу без крестьян, без про-

цессов и, если можно, без всяких хлопот, то есть, если можно, готовую» (16 апреля 1861 года).

Алексей Сергеевич принялся искать такую усадьбу.

Только в середине июня Некрасов приехал в родные места. Он поселился в грешневском доме, и можно не сомневаться, что немало времени провел в окрестных селениях, в разговорах с крестьянами. Некоторое понятие об этом дают стихи, написанные в это лето.

Было у него здесь и общественное дело: еще в 1859 году Некрасов задумал открыть в селе Абакумцеве школу для крестьянских детей. По этому поводу он вел переписку с абакумцевским священником Иваном Зыковым, который должен был стать руководителем будущей школы.

В январе 1861 года Некрасов обратился к ярославскому начальству с таким ходатайством: «Находя полезным открыть в приходе моем, Ярославской губернии и уезда, в селе Абакумцеве (к каковому приходу принадлежат, между прочим, крестьяне отца моего...) училище для обучения крестьянских детей грамоте, необходимой каждому крестьянину ...имею честь покорнейше просить Ваше превосходительство разрешить мне привести мое намерение в исполнение». При этом Некрасов сообщал, что он берет на себя все расходы по содержанию училища, освобождает учеников от всякой платы, обещает снабжать их книгами и учебными пособиями и предоставляет право посещать школу всем детям окрестных сел и деревень.

Это начинание поддержал Алексей Сергеевич: он обещал пожертвовать дом в Абакумцеве, необходимый для училища, и сын благодарил его за это.

Ярославская сторона в это лето пришла в движение. В деревнях шли разговоры о недавно объявленной «воле», всюду собирались недовольные, в кабаках и трактирах грамотеи по-своему толковали «Положение»; кое-где вспыхивали восстания, горели леса и усадьбы. Вотчина Алексея Сергеевича Некрасова не составляла исключения. Мы уже знаем, что прямого бунта в некрасовских деревнях удалось избежать только благодаря энергичным действиям мирового посредника, вступившегося за интересы крестьян.

Прибыв в родные места, поэт, конечно, узнал об отчаянных попытках Алексея Сергеевича «затянуть» кре-

постное право в своих владениях. Он не мог не узнать и о том, что всего за месяц до его приезда грешневский помещик вынудил своих крестьян заключить с ним незаконное условие о продлении крепостных повинностей (не исключено, что именно эта история позднее отразилась в поэме «Кому на Руси жить хорошо», в главе «Последыш»).

Неизвестно, какие разговоры вел обо всем этом Некрасов с отцом, как отвечал на его жалобы. Поэт внимательно приглядывался к окружающей его жизни... Позднее он сказал об этом времени:

Я видел красный день: в России нет раба!
И слезы сладкие я пролил в умилении...

Правда, умиление длилось недолго, о чем говорится во многих стихах, но глубокое поэтическое осмысление темы пришло позднее: ей посвящена главная поэма — «Кому на Руси жить хорошо».

Лето в Грешневе было плодотворно для некрасовской музы. Жизнь среди вчерашних крепостных обогатила поэта свежими наблюдениями и новыми сюжетами, наполнила его стихи живыми красками. В этот пореформенный год он не мог ни думать, ни писать ни о чем, кроме деревни.

Он слишком хорошо помнил недавнее прошлое; приметы рабовладельчества в их наглядном выражении навсегда врезались в его сознание, и он постоянно возвращался к ним в стихах — в поэме «Кому на Руси жить хорошо», в «Медвежьей охоте». Там есть, например, такие строки:

Ты, думаю, охоту на двуногих
Застал еще в ребячестве своем.
Слыхал ты вопли стариков убогих
И женщин, засекаемых кнутом?

Близко зная деревню с детства, понимая, что ей еще очень далеко до свободы, он замечал в ней теперь малейшие перемены. Едва ли не первые впечатления этого рода выражены в стихотворении «Свобода» в первых же его строчках:

Родина мать! По равнинам твоим
Я не езжал еще с чувством таким!

Он снова ведет разговоры с мужиками, приглядывается к их настроению, и нельзя сказать, что не было ничего

нового в этих настроениях. Уже одно то, что крестьянскую семью теперь нельзя было продать, что помещик лишался права высечь мужика, что можно было жениться, не спрашивая согласия барина, — во многом меняло крестьянский быт. Потому-то ярые крепостники считали, что почва уходит у них из-под ног, и не скрывали недовольства даже куцей реформой. «Плантаторы негодуют», — отмечал Тургенев в одном письме. И мы знаем, что Алексей Сергеевич Некрасов вскоре умер, «не выдержав освобождения», как определил его сын.

Не удивительно, что первые же деревенские встречи породили у поэта мечты о новой участи крестьянина. Об этом и говорится в стихотворении «Свобода»:

Вижу дитя на руках у родимой,
Сердце волнуется думой любимой:

В добрую пору дитя родилось,
Милостив бог! Не узнаешь ты слез!

С детства никем не запуган, свободен,
Выберешь дело, к которому годен,

Хочешь — останешься век мужиком,
Сможешь — под небо взовьешься орлом!

Иногда думают, что в этих словах преувеличены, приукрашены возможности реформы, что в стихотворении «Свобода» недостает критической ее оценки. Но при этом почему-то забывают, что приведенный отрывок — это только мечты, надежды, фантазии. Сам поэт указывает: «В этих фантазиях много ошибок...» А вслед за тем он дает формулу — свидетельство вполне трезвой мысли:

Знаю: на место сетей крепостных
Люди придумали много иных,

Так!.. Но распутать их легче народу.
Муза! с надеждой приветствуй свободу!

Он знал — об этом говорят многие другие его стихи, — что деревня не избавилась от экономического закабаления, нищеты и темноты. В более поздних стихах он заявлял об этом не раз: «В жизни крестьянина, ныне свободного, бедность, невежество, мрак...»

Но он был уверен, что бесчисленные сети, в которых оказалась деревня взамен крепостных сетей, теперь распутать легче, чем раньше. Отмена крепостного состояния

в известной мере раскрепощала души, поднимала чувство человеческого достоинства, приглушенного вековым рабством. Думается, Некрасов хотел сказать: человеку, опутанному крепостными сетями, труднее было бороться, чем свободному от них. А подлинное освобождение он не мыслил без борьбы — об этом говорит вся поэзия «мести и печали», особенно ее взлет в 60-е годы.

Так прочитываются некрасовские слова «...распутать их легче народу». Смысл их шире, чем кажется на первый взгляд.

Стихотворение «Свобода» оптимистично, в нем нет тех мрачных красок, какими Некрасов обычно рисовал по-прежнему тяжелую крестьянскую жизнь. Вероятно, поэтому он его и не напечатал в «Современнике», — оно могло быть воспринято (особенно благодаря последней строке) как противоречащее той тональности, какая была принята в журнале по отношению к реформе. Стихотворение увидело свет лишь много лет спустя — Некрасов включил его в издание своих стихов 1869 года.

...Внимательно всматривался поэт в открывшуюся перед ним жизнь. Огромный запас новых наблюдений, размышления о прошлом и будущем деревни, об отношениях между мужиками и помещиками, включая собственного отца, — все это пригодилось ему позднее, когда он создавал свою эпопею крестьянской Руси. Теперь же им овладели непосредственные впечатления от сближения с крестьянским миром. Об этом говорят тогда же написанные стихи. В них нет помещичье-усадебной темы, как не было ее год назад в «Деревенских новостях». Собеседников своих он находит в поле, в лесу, в странствиях, в труде. Но теперь в стихах о старых знакомых взамен слова «приятель» появляется слово «друг»:

Приятно встретиться в столице шумной с другом
　　　　Зимой,
Но друга увидать идущего за плугом
　　　　В деревне в летний зной, —
Стократ приятнее.

Всего несколько слов [1], но за ними стоит очень мно-

[1] На листке бумаги, сохранившемся в архиве Некрасова, рядом с этим наброском записано: «Кругом зелено, поля, природа — и доброе лицо, с печатью благородной честного труда». Это показывает, что и запись и стихотворный набросок сделаны с «натуры».

гое. Набросок о пахаре-друге открывает новую страницу некрасовской лирики, он как бы служит к ней эпиграфом, подтверждая, что она рождается в общении с деревней — с пахарями, охотниками, коробейниками, крестьянскими парнями, молодухами, ребятишками... Все они стали его друзьями, все заговорили в его стихах живыми, неподдельными голосами. «Похороны», «Дума», «Крестьянские дети», «Коробейники» — вот свидетельства его встреч, бесед и размышлений в летние месяцы 1861 года. Жизнь показана в них глазами самого крестьянства, автор же если и выступает здесь, то не как наблюдатель, а как деятельный участник этой жизни.

Меж высоких хлебов затерялося
Небогатое наше село...

Так начинается рассказ сельского жителя, охотника, рассказ, ставший песней, ибо здесь в самом строе стиха, в его размере словно уже заложена песенная мелодия. Это печальный рассказ о том, как захожий человек — «молодой стрелок» покончил счеты с жизнью в тех местах, где его успели полюбить все, особенно крестьянские дети. Что привело его к роковому концу — остается неизвестным:

Кто дознает, какою кручиною
Надрывалося сердце твое
Перед вольной твоею кончиною...

Крестьяне, от имени которых ведет рассказ собеседник поэта, не знали, кто был тот, «чужой человек», похороненный ими «под большими плакучими ивами». Они знали только одно: если его любили ребята, значит был человек доброй души. Да и самому рассказчику он никогда не отказывал в порохе.

Кое-что о личности стрелка мы узнаем из черновиков стихотворения. В начальном варианте он называл себя «ровней» с крестьянами и расспрашивал про их житье. И еще была целая строфа, где о нем говорилось:

А лицо было словно дворянское...
Приносил ты нам много вестей
И про темное дело крестьянское
И про войны заморских царей...

Похоже, что стрелок был одним из тех горожан, к кому крестьяне могли обратиться с вопросом: «Что ты слыхал про свободу?»

Эти немногие штрихи помогают осветить замысел стихотворения «Похороны», однако в окончательном тексте они почти не нашли отражения. Трудно сказать почему. Может быть, поэт стремился не столько прояснить черты самоубийцы, сколько хотел сочувственно обрисовать другую сторону — русскую деревню, как она ему теперь представлялась. Ведь весь эпизод с похоронами незнакомца (вероятно, подлинный случай) дал ему повод поэтически раскрыть одно из светлых начал народной жизни — великую человечность крестьянства: трогательное участие к судьбе «бедного стрелка», мысль о матери погибшего, готовность простить его поступок, хотя он и навлек беду на село («бог тебе судия»), искренность последних напутствий: «Почивай себе с миром, с любовию!»

Вернувшись в августе в столицу, Некрасов напечатал «Похороны» в сентябрьском номере журнала. Там же он поместил и еще одно стихотворение, привезенное из Грешнева, — «Думу». В этом монологе крестьянского парня раскрывается важная сторона русского народного характера — любовь к труду, мечта о работе.

Тема «Думы» в комментариях объясняется так: отсутствие работы стало после реформы реальным бедствием для многих «освобожденных» крестьян, вынужденных продавать свой труд купцам, предпринимателям и т. д. Может быть, это и в самом деле послужило первым источником стихотворения. Но все же смысл его неизмеримо шире. Этот монолог, начавшийся жалобами на свою «убогую» сторону, недоедание, на пропадающую даром «силу дюжую», превращается в подлинный гимн труду, а затем тот же монолог рисует перед нами образ былинного размаха:

Повели ты в лето жаркое
Мне пахать пески сыпучие,
Повели ты в зиму лютую
Вырубать леса дремучие, —

Только треск стоял бы до неба,
Как деревья бы валилися;
Вместо шапки белым инеем
Волоса бы серебрилися!

Вот где избыток скрытой силы, так и рвущейся наружу. Поэт любуется этой силой, для него она признак великой души народа, залог того, что он еще распрямит могучую спину. «Где народ, там и стон», — восклицал поэт совсем недавно. Но вот уже не стон, а бога-

тырская песня слышится ему в устах народа. Значит, нужда и горе не совсем еще придавили крестьянскую Русь. А убедившись в этом, еще пристальнее стал вглядываться в нее Некрасов.

«Дума» — одно из первых «крестьянских» стихотворений, окрашенных новым мироощущением поэта. Будет еще немало в его стихах и гнева и горечи, ибо попрежнему бедна и горька оставалась жизнь деревни. Но принципиальная новизна стихов этого времени в том, что поэт увидел даже в этой горькой жизни ее сильную и светлую стороны. Вот почему обычная суровость теперь покидала его, когда он обращался к деревне и с доброй улыбкой говорил о ее людях, особенно — о крестьянских детях.

«Крестьянские дети» написаны тем же летом 1861 года в Грешневе (рукопись помечена 14 июля) [1]. Здесь автор отделяет себя от своих героев, но делает это их устами:

И видно не барин: как ехал с болота,
Так рядом с Гаврилой...

А потом он смешивается с толпой крестьянских ребятишек; он ведет рассказ не только о них, но и о собственном детстве, проведенном среди деревенских приятелей, в грибных набегах, играх и прогулках, а также в разговорах с людьми «рабочего знания», что сновали без числа по большой дороге, проходившей вблизи Грешнева. Недаром их рассказы («Про Киев, про турку, про чудных зверей»), так запомнившиеся Некрасову, неизменно привлекают внимание биографов поэта к стихотворению «Крестьянские дети»: они находят здесь реальные подробности его детских лет.

Стихотворение проникнуто неподдельной любовью и нежностью к детям. «Я замер: коснулось души умиление...» — говорит охотник, увидев детские глаза в щелях сарая. Здесь открылась такая сторона деревенской жизни, какой еще не было в прежних некрасовских стихах, да и в русской лирике вообще. Чистота детской души, поэзия крестьянского труда, воспринятая глазами ребенка:

[1] Непонятно, почему в некоторых изданиях Некрасова (например, «Полное собрание стихотворений», большая серия «Библиотеки поэта», т. 2. Л., 1967) сначала печатаются «Коробейники», помеченные августом 1861 года, затем стихотворение «20 ноября 1861», а потом уже «Крестьянские дети», явно написанные раньше.

...Он видит, как поле отец удобряет,
Как в рыхлую землю бросает зерно,
Как поле потом зеленеть начинает...

Жизнь природы, слитая с детской жизнью, — вот о чем заговорил теперь поэт, показавший народный характер в его истоках.

Он открыл светлое начало там, где еще недавно ему виделись только горе и темнота.

Однако Некрасов был далек от всякой идиллии. Разглядев через образы крестьянских детей здоровую основу народной жизни, он ни на минуту не забывал, что деревня по-прежнему в нищете; еще не сбросив окончательно сетей крепостничества, она уже опутана новыми сетями. Потому что даже в одном из самых оптимистических своих стихотворений он не без грусти заговорил о «честных мыслях, которым нет воли»:

В которых так много и злобы и боли,
В которых так много любви!

●»»x««●»»x««●

VI

СТИХИ ДЛЯ НАРОДА

Он продолжал углубляться в крестьянскую жизнь, изучать народный характер, язык и поэзию. На этом пути родились «Коробейники» — поэма истинно народная. Она принадлежит к тому же грешневскому циклу лета 1861 года. Посвящение к поэме помечено: «23 августа 1861, Грешнево». Вот как выглядит это посвящение:

Другу-приятелю
Гавриле Яковлевичу
(крестьянину деревни Шоды,
Костромской губернии).

Далее следовали двенадцать строк, обращенных непосредственно к Гавриле Яковлевичу и служивших как бы предисловием к поэме:

Как с тобою я похаживал
По болотинам вдвоем,
Ты меня почасту спрашивал:
Что строчишь карандашом?

Почитай-ка! Не прославиться,
Угодить тебе хочу,
Буду рад, коли понравится,
Не понравится — смолчу...

Так, в самих некрасовских стихах отыскался и был назван по имени один из тех, кого поэт в своей деревенской жизни величал то приятелями, то друзьями. Обращение к нему в стихах через журнал «Современник» носило, конечно, вызывающий характер. Мы не знаем другого поэта, который с таким простодушием печатно предлагал бы свое творение на суд крестьянских читателей.

Гаврила Яковлевич был одним из постоянных спутников Некрасова в его охотничьих скитаниях. Однажды охотники проходили через сельское кладбище. Некрасов разглядывал надписи на могилах, а Гаврила пояснял их. Вероятно, тогда же была задумана серия сатирических эпитафий. Сохранилась одна из них, всего шесть строк, но в них — портрет мелкого помещика-крепостника, одной из типичных фигур тогдашней глухой провинции:

Зимой играл в картишки
В уездном городишке,
А летом жил на воле,
Травил зайчишек груды,
И умер пьяный в поле
От водки и простуды.

Можно сказать, что какая-то доля в создании этой эпитафии принадлежит и Гавриле Яковлевичу.

Именно он в другой раз рассказал на охоте и тот случай, который лег в основу сюжета «Коробейников».

Согласно позднейшему рассказу его сына Гаврила Яковлевич сам знал охотника Давыда Петрова из деревни Сухоруково, который встретил в лесу двух коробейников и ценой убийства решил завладеть их «богатством».

Некрасов ухватился за этот нехитрый сюжет, ибо он позволял ему осуществить уже созревавший замысел — создать поэму из народной жизни, показать, как и чем живет крестьянство, — вместе с коробейниками побывать в деревнях и селах, всюду, где толпится народ; прислушаться к его толкам о войне, о рекрутах, о попе, о бары-

не и помещиках; передать его речь, юмор и песни; в свободных картинах показать безысходный трагизм деревенской жизни («Песня убогого странника»).

«Коробейники» — первое произведение в обширном цикле 60-х годов, посвященном крестьянству, цикле, увенчанном поэмой «Кому на Руси жить хорошо». Это только первый набросок грандиозной поэмы-путешествия, но уже здесь, в «Коробейниках», явственно проступает замысел поэта — пройти всю Русь, обозреть ее вместе с мужиками. Не об этом ли напоминает «убогий странник», когда говорит о тех,

Кто всю землю, Русь крещеную,
Из конца в конец пройдет...

В этой поэме, как и в лирике начала 60-х годов, Некрасов показывает большие и малые события глазами своих героев, простых деревенских людей; они сами говорят в его стихах, мы слышим их голоса, когда они поют свои песни, разговаривают друг с другом, произносят целые монологи. Песней одного из коробейников открывается поэма:

Ой, полна, полна коробушка,
Есть и ситцы и парча...

Кто не знает теперь «Коробушку» — это едва ли не самая популярная русская песня, ставшая народной чуть ли не в день своего появления.

В другой песне, тоскливой и протяжной, поется о голоде и холоде — постоянных спутниках крестьянина.

Устами Тихоныча, старого коробейника, народ произносит в поэме свой суд над царем и войной, несущей горе и разорение крестьянству:

Царь дурит — народу горюшко! [1]
Точит русскую казну,
Красит кровью Черно морюшко,
Корабли валит ко дну.
Перевод свинцу да олову,
Да удалым молодцам.
Весь народ повесил голову,
Стон стоит по деревням.

Тот же коробейник рассказывает историю Титушки-ткача, по ошибке суда просидевшего в тюрьме двенадцать

[1] В «Современнике» и других подцензурных изданиях было напечатано: «Враг дурит — народу горюшко!»

лет, потерявшего дом и жену и ставшего затем «убогим странником».

Катеринушка в большом монологе признается в своей готовности терпеть и трудиться ради любви. Ее характер еще не развернут, но в нем уже намечены те черты, какие присущи женщинам других крестьянских поэм Некрасова и прежде всего Дарье («Мороз, Красный нос»). Образ Катеринушки наполнен чистотой, силой чувства. Ее преданная любовь к коробейнику Ване служит основой лирической линии в сюжете поэмы.

Устами самого народа говорится в некрасовской поэме о тех, кто притесняет народ, — о царских чиновниках, судьях. Еще в стихотворении «Похороны», в рассказе крестьянина о том, как «застрелился чужой человек», прозвучали слова, рисующие отношение народа к неправедным судьям: «Суд приехал... допросы... — тошнехонько!» В «Коробейниках» Тихоныч рассказывает, как безвинно пострадавший Титушка-ткач закричал своим судьям:

«А за что вы, черны вороны,
Очи выклевали мне?..»

Не забыл поэт отметить и появление в деревне такой фигуры, как хищник-целовальник, спаивающий мужиков, идущих с горя в кабак. Некрасов точно охарактеризовал эту фигуру:

Ты попомни целовальника,
Что̀ сказал — подлец седой!
«Выше нет меня начальника,
Весь народ — работник мой!..»

Здесь проницательно указана власть хищника-торгаша над крестьянством; это ранний набросок типа деревенского эксплуататора, образ, который еще не раз появится в некрасовской сатире.

Так в небольшой поэме развернулась панорама крестьянской Руси. В свободной и емкой композиции, соединяющей эпическое и лирическое начала, в скупом и точном словесном рисунке, в подлинно народном языке поэмы сказалось зрелое мастерство Некрасова; он был знатоком крестьянской речи и отлично чувствовал ее национальную природу.

«Коробейники» — первая его поэма, написанная не

только о народе, но и для народа. Писать для крестьянства — такова цель, которую ставил теперь перед собою художник. Он нашел самый верный путь к сердцу и разуму своих читателей — не ограничившись тщательным воспроизведением живого народного языка, он обратился к фольклору — поэма насыщена образами и лексикой народнопоэтического творчества. Песни, поговорки, приметы, шутки, выражающие народный взгляд на вещи, вошли в ткань поэмы и помогли автору оценить окружающую действительность с точки зрения крестьянина, то есть поэтически воспроизвести мировоззрение народа. По выражению К. И. Чуковского, получилось так, «словно эту поэму написали сами крестьяне».

Особый колорит придают «Коробейникам» эпиграфы-зачины, предпосланные каждой из шести глав, составляющих поэму. Эпиграфы, заимствованные из песен, из крестьянских шуток, из припева деревенских торгашей, из старинных былин, как бы обрамляют поэму, подчеркивая ее народнопесенную основу. Подлинная народность «Коробейников» была отмечена современной критикой. Аполлон Григорьев в журнале «Время», в большой статье о втором издании «Стихотворений» Некрасова, назвал поэму «удивительной по форме»; она содержит ряд «беспрестанно сменяющихся картин, в рамы которых вошло множество доселе нетронутых сторон народной жизни, картин, писанных широкою кистью, с разнообразным колоритом...».

Правда, противореча себе, Григорьев тут же говорил о «скудости содержания» поэмы, а Некрасова объявлял — в духе своих взглядов — «поэтом почвы». Тем не менее общий вывод его был справедлив: одних «Коробейников» достаточно, чтобы понять, насколько Некрасов поэт народный, то есть насколько «поэзия его органически связана с жизнию».

Еще более интересен отзыв о «Коробейниках» журнала «Русское слово» (1861, № 12). Восторгаясь жизненностью и поэтичностью поэмы, рецензент особо выделял в ней «Песню убогого странника»: «...что может быть безыскусственнее и проще этой песни! Но простотой-то она и сильна. Это великая и грозная своим величием простота. Дальше уже в этом отношении, мне кажется, поэту идти некуда: в песне странника он овладел элементом народного творчества, он постиг тайну этого творчества... Она вылилась непосредственно из души, как один вопль

нашей всеобщей великой скорби! Да, Некрасов своею песней стал поэтом этой великой скорби! И «Песня убогого странника» не должна быть пройдена равнодушием или невниманием, — нет, она должна быть подхвачена сотнями тысяч голосов. Да, эта песня не должна быть забыта: она долгая, бесконечная наша песня».

Демократическое «Русское слово», где с весны 1861-го начал работать Д. И. Писарев, в то время было одним из немногих журналов, которые открыто поддерживали «Современник» и его редактора. В конце года журнал несколько раз возвращался к оценке поэзии Некрасова. В одной из статей Писарев громко заявил о своем уважении к поэту «за его горячее сочувствие к страданиям простого человека» и добавил: он «может быть уверен в том, что его знает и любит живая Россия». В № 11 «Русского слова» за тот же год Некрасов впервые был назван «великим поэтом».

Первыми слушателями «Коробейников» в Грешневе были сестра Анна Алексеевна и местные крестьяне-охотники, в том числе Кузьма Ефимович Солнцев и, вероятно, Гаврила Яковлевич Захаров, которому посвящена поэма. Дружба Некрасова с ними продолжалась и в более поздние годы, когда поэт приезжал уже не в Грешнево, а в Карабиху. Отсюда они совершали свои охотничьи походы.

Некрасову приходилось бывать в доме Гаврилы Яковлевича; он знал его жену, любил с ней разговаривать, делал ей подарки. Сам Гаврила получил от поэта книгу стихов с дарственной надписью, и можно предположить, что в деревне Шода, затерянной среди глухих лесов и болот, не он один по складам читал эту книгу.

А что он ее читал и, может быть, знал наизусть многие стихи, видно из его более позднего письма к Некрасову, писанного в пасхальные дни 1869 года. Тогда же он прислал и свой фотографический портрет, снятый в Костроме: бородатый охотник изображен во весь рост, в полной амуниции и с собакой у ног. На обороте фотографии сделана надпись, она кончается словами: «От друга приятеля крестьянина деревни Шоды Гаврилы Яковлева». Тут же четверостишие из некрасовского посвящения к поэме («Не побрезгуй на подарочке...»).

Что же касается единственного уцелевшего письма

Гаврилы Яковлевича, то оно согрето таким неподдельным теплом, что мы приведем из него два отрывка (с сохранением особенностей написания):

«Христос воскресе! Дорогой ты мой боярин Николай Алексеевич. Дай тебе бог всякого благополучия и здравия да поскорее бы воротитца в Карабиху. Об ком же вспомнить как не о тебе в такой великий и светлый праздник. Стосковалось мое ретивое, что давно не вижу тебя, сокола ясного. Частенько на мыслях ты у меня и как с тобою я похаживал по болотинам вдвоем и все ето очення помню, как бы ето вчера было и во сне ты мне часто привидишься...

Коли надумаешь ты порадовать меня, то пришли мне поскорей также свой патрет, хоть бы одним глазком я посмотрел на тебя. Пиши страховым письмом, а то украдут на поште...

Не забывай нас, а засим остаюсь друк и приятель твой деревни Шоды крестьянин Гаврила Яковлев, а со слов его писал ундер-офицер Кузьма Резвяков» (20 апреля 1869 года).

* * *

Некрасов успел включить «Коробейников» во второе издание «Стихотворений», разрешенное цензурой еще в мае, но вышедшее поздней осенью 1861 года. Кроме того, поэма была напечатана в октябрьской книжке «Современника».

Тогда же возник вопрос: как сделать, чтобы поэма из народной жизни, насыщенная песенно-сказовыми мотивами, доступная восприятию крестьянства, дошла до крестьянских читателей? Нельзя же было надеяться, что деревня станет выписывать «Современник»! Тогда он решил выпустить поэму отдельным изданием и распространить ее в деревне через посредство продавцов-офеней.

Чтобы организовать это дело, Некрасов, возвращаясь из Грешнева в начале сентября 1861 года, решил сделать крюк и заехать в слободу Мстеру на берегу Клязьмы, которая его давно интересовала как своеобразный культурный центр. Еще в 1853 году, во время первой поездки во владимирскую деревню Алешунино, он побывал в Мстере, где видел странствующих торговцев-офеней, разносивших отсюда по всей России иконы и лубочные картинки, — их изготовляли в литографии местного книготорговца из крестьян Ивана Александровича Голышева.

К нему-то и приехал теперь Некрасов. Сохранился рассказ Ивана Александровича об этой встрече:

— Летом 1861 года к нашему дому подъехала дорожная коляска, запряженная не то тройкой, не то четверкой лошадей. Из коляски вышел господин невысокого роста с бледным лицом. Он оказался поэтом Некрасовым, слава о котором давно уже долетела до нас...

Приезжий объяснил, что он едет в Петербург из своего имения и что нарочно заехал в Мстеру, чтобы узнать подробно о книжной торговле через офеней и ходебщиков. Некрасов долго сидел у Голышева, расспрашивая его, затем, напившись чаю, попросил показать ему магазин, торговавший народными книгами и картинами. Внимательно просмотрев их, он сообщил хозяину о своем намерении заняться изданием для народа особых книжек, которые он предполагал составлять из своих стихотворений и распространять через офеней.

— По моему совету, — заканчивает свой рассказ Голышев, — Некрасов решил, что небольшие книжки с его стихами будут выходить в красной обложке и называться «Красными книжками».

При осмотре магазина Некрасов, конечно, не мог не обратить внимания на чрезвычайную бедность лубочной литературы: здесь преобладали издания вроде «Английского милорда», портреты грузных и грозных генералов; особенно популярен был прусский фельдмаршал Блюхер, которого можно было встретить в любой деревне. Эти впечатления позднее отразились в поэме «Кому на Руси жить хорошо», в описании «сельской ярмонки», где даны сатирические зарисовки лубочной книжной торговли через офеней:

...Легли в коробку книжечки,
Пошли гулять портретики
По царству всероссийскому,
Покамест не пристроятся
В крестьянской летней горенке
На невысокой стеночке...
Черт знает для чего!

Уже в Петербурге зимой Некрасов напечатал первый выпуск задуманной серии, то есть поэму «Коробейники». Отправляя эти книжки Голышеву, он сопроводил их таким письмом: «Милостивый государь! Посылаю Вам 1500 экземпляров моих стихотворений, назначающихся для народа. На обороте каждой книжечки выставлена це-

КРАСНЫЯ КНИЖКИ.

КНИЖКА ПЕРВАЯ

КОРОБЕЙНИКИ.

СОЧИНИЛЪ И ИЗДАЛЪ НЕКРАСОВЪ.

САНКТПЕТЕРБУРГЪ.

1862.

на — 3 копейки за экземпляр, — потому я желал бы, чтобы книжки не продавались дороже: чтобы из 3-х копеек одна поступала в Вашу пользу и две в пользу офеней (продавцов) — таким образом, книжка и выйдет в три копейки, не дороже» (28 марта 1862 года). Таким образом, автор не оставлял ничего на свою долю и брал на себя все расходы по изданию.

Второй выпуск «Красных книжек», куда Некрасов включил несколько стихотворений («Огородник», «Забытая деревня», «Школьник» и др.), вышел в 1863 году. То же количество экземпляров Некрасов опять отправил в Мстеру. В ответном письме Голышев писал Некрасову: «Позвольте принести Вам, Ваше Высокоблагородие, за Ваше доброе ко мне и лестное доверие мою глубокую бла-

годарность; Вы вполне удовлетворяете Вашими прекрасными изданиями требование меньшинства, даете возможность пользоваться бедному сословию полезными Вашими книжками и украшаете народную книжную торговлю» [1].

Общедоступные книжки помогали некрасовским стихам проникать в народ, становиться песнями. Однако после второго выпуска издание было запрещено. Владимирский губернатор специальным циркуляром отменил также продажу уже вышедших книжек на сельских ярмарках и в деревнях.

VII

«БРОСАЙСЯ ПРЯМО В ПЛАМЯ!»

Некрасов прожил в деревне меньше трех месяцев, хотя уезжал на все лето и на осень. Из писем Чернышевского, у которого он постоянно бывал перед отъездом, мы знаем, что планы были другие. «Некрасов уехал в деревню, говорит, до ноября», — сообщал Николай Гаврилович Добролюбову в Италию (15 июня 1861 года); «Некрасов в деревне, где думает прожить долго» (ему же, 28 июня 1861 года).

Однако между 9-м и 13 сентября он уже вернулся в Петербург [2].

Вряд ли можно сомневаться, что только важные обстоятельства могли заставить Некрасова намного раньше срока покинуть деревню, отказаться от успешной работы над стихами и пренебречь осенней охотой. Его влекли в столицу беспокойство за журнал, тревожные слухи об усилившихся репрессиях против передовых деятелей, печати, студенчества. Молва особенно упорно повторяла весть об аресте Чернышевского — она докатилась даже

---

[1] Цит. по книге «Переписка И. А. Голышева с разными учеными лицами». Владимир, 1898.

[2] Указание «Летописи жизни и творчества Н. А. Некрасова» (1935), будто бы поэт возвратился в Петербург до 20 августа, не соответствует фактам. 9 сентября Добролюбов писал ему еще в деревню.

до заграницы и, конечно, проникла в Грешнево. Одного этого было достаточно, чтобы Некрасов поторопился в обратный путь. «С лета прошлого года, — писал сам Чернышевский, — носились слухи, что я ныне-завтра буду арестован. С начала нынешнего года я слышал это каждый день» (20 ноября 1862 года).

В столице Некрасову предстояли тяжелые испытания.

Руководители «Современника» не могли ограничиваться пропагандой со страниц журнала — они стремились найти пути перехода к практическому делу, старались сплотить вокруг себя еще немногочисленных тогда революционеров, людей, готовых к самопожертвованию во имя освобождения народа. Их воодушевлял рост недовольства в массах, особенно после крестьянской реформы, осуществленной в интересах помещиков. Все более накалявшаяся общественная атмосфера способствовала появлению надежд на возможность и относительную близость крестьянской революции.

Характеризуя политическую обстановку в России начала 60-х годов, В. И. Ленин указывал: «Оживление демократического движения в Европе, польское брожение, недовольство в Финляндии ...распространение по всей России «Колокола», могучая проповедь Чернышевского, умевшего и подцензурными статьями воспитывать настоящих *революционеров*, появление прокламаций, возбуждение крестьян... — при таких условиях самый осторожный и трезвый политик должен был бы признать революционный взрыв вполне возможным и крестьянское восстание — опасностью весьма серьезной» [1].

Однако силы реакции сумели одержать верх, революция не произошла. Крестьянство, сотни лет бывшее в рабстве у помещиков, не могло подняться на открытую сознательную борьбу против самодержавия. И все-таки утопическая вера шестидесятников в возможность революции не была бесследной — она вызвала к жизни героические фигуры борцов за свободу, укрепила и продолжила революционную традицию, она породила подъем освободительных настроений в обществе, что отозвалось и в журналистике и в литературе, в том числе в поэзии Некрасова.

Кружок «Современника» пришел к мысли о необходимости усилить пропаганду, в том числе нелегальную, всеми средствами воспитывать и готовить народ к револю-

---

[1] В. И. Ленин, Полн. собр. соч., т. 5, стр. 29—30.

ционному выступлению. Этой цели должны были служить такие важнейшие документы, как революционные прокламации, сделавшиеся одной из отличительных черт эпохи 60-х годов. Лучшие из этих прокламаций вышли из круга некрасовского «Современника».

В середине июля 1861 года, когда редактор «Современника» еще бродил с ружьем по ярославским лесам и полям, в Петербург вернулся из-за границы один из членов редакции журнала, руководивший его иностранным отделом, Михаил Ларионович Михайлов. В двойном дне своего чемодана он привез шестьсот экземпляров прокламации «К молодому поколению», отпечатанной в Лондоне, в типографии Герцена. Этот обширный документ, резко критиковавший власть, государство и самого царя, Михайлов написал вместе с Шелгуновым. Примерно в это же время в Россию возвратился Добролюбов.

Прокламация призывала молодое поколение «всех сословий» возглавить стихийное крестьянское движение, осуждала реформу: «Во-первых, государь обманул ожидание народа, — дал ему волю не настоящую, не ту, о которой народ мечтал и какая ему нужна». В конце же прокламации говорилось: «Обращаемся еще раз ко всем, кому дорого счастие России, обращаемся еще раз к молодому поколению. Довольно дремать, довольно заниматься пустыми разговорами... Довольно корчить либералов, наступила пора действовать...»

Михайлов был давним сотрудником журнала, другом Некрасова и близким другом Добролюбова. Многие современники, знавшие этого замечательного человека, с полной определенностью отзывались о твердости его убеждений, о созревшей готовности принять участие в «святом деле». Один из них (П. В. Быков), встречавший Михайлова у петербургских знакомых, рассказывает: «Голос его слегка дрожал, когда он говорил, что народ просыпается, прозревает, и скоро нужно ждать дня, когда он поднимется и «растопчет многоглавую гидру» (подлинные слова его)». Другой мемуарист (писатель П. Д. Боборыкин) отмечает, что Михайлов производил впечатление человека, который «сжег свои корабли».

Разумеется, все это знал и Некрасов.

Первого сентября к Михайлову, жившему в одной квартире с Шелгуновыми, явились жандармы с обыском.

Листы прокламации, спрятанные в печке, под золой, не были обнаружены. После этого Михайлов решил поторопиться. В ближайшие же дни с помощью Шелгунова, брата его жены — Евгения Михаэлиса и Александра Серно-Соловьевича он «с замечательной смелостью» (слова современника) распространил прокламацию по городу. Почта доставила по одному экземпляру даже нескольким министрам и самому графу Шувалову, начальнику Третьего отделения.

Некрасова в это время еще не было в Петербурге. Но Добролюбов уже вернулся, причем гораздо раньше предполагавшегося срока — не потому ли, что его влекли дела, связанные с начинавшимся «периодом прокламаций» [1]. Стремясь домой вопреки советам врачей, он писал Панаевой: «Теперь не время думать о своем здоровьи и сидеть сложа руки за границей, когда столько есть дела в Петербурге».

Несомненно, Добролюбову были известны подробности, касающиеся распространения прокламации Шелгунова — Михайлова. И потому он решил предупредить Некрасова как редактора журнала о возможных неприятностях, к которым следовало быть готовым. К тому же он, вероятно, хотел ускорить его приезд. Но Некрасов и сам почувствовал, что надо спешить, и выехал из Грешнева, не дождавшись письма Добролюбова (оно было послано 9 сентября). В письме этом в полуэзоповской манере сообщались главные новости. Делался намек на оживление нелегальной деятельности: «Здесь возникает, не знаю надолго ли, какое-то подземное действие». Затем, учитывая возможность перлюстрации письма (и не ошибаясь в этом), Добролюбов постарался в чуть шутливых интонациях изложить очень важные факты. Он явно пытался отвести подозрения от Михайлова в глазах тех, кому могло попасть в руки письмо. Он писал: «...По городу бегают и рассылают листочки, напечатанные тайно и объясняющиеся без всяких церемоний [2]. Вследствие этого, конечно, розыски, полицейские строгости, чудовищные слухи. Только и слышишь, что того обыскивали, того взяли; большею

[1] Такое предположение высказано Ю. Д. Левиным в статье «Об отношениях Н. А. Добролюбова и М. Л. Михайлова в 1861 году» (Известия АН СССР, Отделение литературы и языка, 1961, т. XX, вып. 5).

[2] Видно, что эти «листочки» были хорошо известны Добролюбову.

частию, разумеется, оказывается вздором. У Михайлова был жандармский обыск с неделю тому назад; с тех пор я каждый день встречаю людей, уверяющих, что он арестован. Третьего дня вечером я видел Михайлова еще на свободе, а вчера опять уверяли меня, что он взят. Оно бы и не мудрено — в течение ночи все может случиться, да ведь взять-то не за что — вот беда!.. Михайлова взять — ведь это курам на смех!» [1]

Все это письмо (особенно слова «еще на свободе») показывает, что арест Михайлова не мог бы удивить его друзей. Добролюбов, зная, что прокламация в первых числах сентября разбросана по городу, был уверен, что со дня на день могут взять ее отважного распространителя. И ставил об этом в известность Некрасова.

Слухи, на которые ссылается Добролюбов, ненадолго опередили события. 14 сентября Михайлов был заключен в Петропавловскую крепость. В этот же день Шелгунов спешно отправился к больному Добролюбову, чтобы рассказать ему подробности относительно второго обыска и ареста. Видимо, Шелгунов беспокоился за Добролюбова как человека, тесно связанного с Михайловым. Он и дальше держал его в курсе событий.

Литературные круги были взволнованы арестом Михайлова. На другой же день Некрасов, Добролюбов и Панаев в числе других литераторов подписали петицию на имя министра народного просвещения Е. В. Путятина. В петиции говорилось: «Мы, ниже подписавшиеся редакторы и сотрудники петербургских журналов, с глубоким прискорбием узнали, что вчера один из наиболее уважаемых литераторов подвергся аресту... Мы не знаем, в чем обвиняется М. Л. Михайлов... Мы знаем только, что вся литературная деятельность этого писателя направлена была к самым благородным и высоким целям...»

Тридцать литераторов просили министра защитить интересы «одного из лучших наших товарищей», а тем самым и интересы литературы. Многие из подписавших петицию, вероятно, не знали, а другие делали вид, что не знали, какого рода деятельность вел Михайлов. Однако участь его была предрешена, улики, собранные при по-

[1] Письмо Добролюбова, не заставшее Некрасова в Грешневе, было возвращено отцом поэта в Петербург. Здесь оно было перлюстрировано в Третьем отделении, в архиве которого сохранилась копия части письма. Примечательно, что письма к Некрасову в это время подвергались перлюстрации.

мощи провокатора, — неопровержимы. Поэтому Александр II очень рассердился, прочитав письмо тридцати литераторов, нашел его «совершенно неуместным» и повелел объявить каждому из них строгий выговор от имени государя.

Молодой гвардейский офицер Владимир Александрович Обручев начал сотрудничать в «Современнике» в конце 50-х годов. Мы уже упоминали его статью «Невольничество в Северной Америке», напечатанную во время подготовки к отмене крепостного права. Он сблизился с Чернышевским, был знаком с Добролюбовым. Именно в его квартире он встретился с Некрасовым, только что приехавшим из деревни. Забытый рассказ Обручева об этом еще раз подтверждает, что Некрасов вернулся именно в сентябре:

«Это была уже осень, сентябрь. Мне тогда поручено было составить для «Современника» политическое обозрение, и по этому случаю мне пришлось быть два или три раза у Добролюбова, незадолго перед тем вернувшегося из-за границы, больного, уже не надеявшегося жить. В одно из этих посещений, когда, кроме меня, был еще кто-то из сотрудников, неожиданно вошел Некрасов, только что приехавший из деревни. Он радостно приветствовал Добролюбова, они облобызались, а мы сочли долгом моментально стушеваться. При следующем свидании Добролюбов мне сказал, что по впечатлению, вынесенному Некрасовым за время бытности в деревне, «ничего не будет».

Это означало, что надежды на крестьянское восстание не оправдались. Таково было впечатление очевидца, хорошо знавшего и только что видевшего деревню. Конечно, он не случайно объявил о своих наблюдениях Добролюбову, жаждавшему узнать — будет или не будет. А Добролюбов не случайно рассказал об этом Обручеву.

Не прошло и месяца после описанной встречи с Некрасовым, как Обручев был арестован за распространение прокламации «Великорус». Это была вторая жертва из круга «Современника». Обручев получил прокламацию скорее всего из рук Чернышевского. Это подтверждается их близостью как раз осенью 1861 года и упорным нежеланием Обручева назвать «сообщника» во время следствия; он проявил много изобретательности, чтобы дока-

зать, почему не может назвать лица, вручившего ему прокламацию. А позднее, уже отбывая наказание в Сибири (три года каторжных работ и поселение), он более определенно заявил властям: «Человек, передавший мне для распространения в публике экземпляры этого листка, ни для кого уже не может быть опасен».

Мысль о крестьянстве, обманутом «волей», о страданиях по-прежнему угнетенного народа лежала в основе всей нелегальной деятельности русских революционных демократов, группировавшихся вокруг «Современника». Во время следствия Обручев так объяснял мотивы совершенного им поступка: «Я был приведен к желанию крутых реформ тяжкою участию нашего простого народа, бедностью его жилищ и одежды, негодностью пищи, грубостью нравов ...почти полною невозможностью для него достигнуть лучшей доли».

Михайлов, объясняя побуждения, заставившие его вступить на путь тайной борьбы, писал об этом в своих показаниях еще более энергично: «Не скрою, что выйти из сферы моей обычной скромной деятельности заставили меня горькая боль сердца при вести о печальных случаях усмирения крестьян военною силой и опасения, что эти случаи могут долго еще повторяться в будущем... Покойный отец мой происходил из крепостного состояния, и семейное предание глубоко запечатлело в моей памяти кровавые события, местом которых была его родина... Такие воспоминания не истребляются из сердца».

* * *

Стремление пробудить народное сознание, приготовить его к борьбе руководило Чернышевским как в его журнальных выступлениях 1861 года, так и в документах, назначенных для нелегального распространения. Выделяется своей смелостью напечатанная в «Современнике» статья «Не начало ли перемены?»; здесь Чернышевский, опираясь на стихи Некрасова, доказывал, что крестьянин сам должен взяться за дело, проникнуться сознанием своей силы. Он цитировал «Песню убогого странника» из только что напечатанных «Коробейников»:

Я в деревню: мужик! ты тепло ли живешь?
Холодно, странничек, холодно,
Холодно, родименькой, холодно!

Я в другую: мужик! хорошо ли ешь, пьешь?
Голодно, странничек, голодно,
Голодно, родименькой, голодно!

Чернышевский, приведя эти строки, писал: «Жалкие ответы, слова нет, но глупые ответы. «Я живу холодно, холодно». А разве не можешь ты жить тепло?.. Разве нельзя тебе жить сытно, разве плоха земля, если ты живешь на черноземе, или мало земли вокруг тебя, если она не чернозем, — чего же ты смотришь?..» В условиях, когда крестьяне фактически были освобождены без земли, эти слова звучали со страниц журнала прямым призывом — захватывать землю, отбирать ее у помещиков: «Чего же ты смотришь?..»

С еще большей силой та же мысль выражена в главной прокламации того времени «Барским крестьянам от их доброжелателей поклон», где Чернышевский уже объяснялся «без всяких церемоний». Он звал крестьянство к объединению, к восстанию, рассказывал, как помещики и царь обманули народ, не дав ему ни земли, ни настоящей воли.

«Земля и воля» — этими словами, вобравшими в себя центральную проблему эпохи, была названа первая тайная организация 60-х годов, идейным вдохновителем которой стал Чернышевский. К концу 1861 года эта организация начала складываться вокруг «Современника» и его руководителей. Чернышевский и Добролюбов, еще с 1859 года начавший собирание оппозиционных сил, стремились к расширению нелегальных связей; умело используя свое влияние, они приближали к журналу студенчество, молодых военных, участников различных кружков, сложившихся под влиянием пропаганды «Современника». Многие люди, близкие к журналу, стали организаторами и участниками «Земли и воли» — А. А. Слепцов, офицеры В. А. Обручев и его двоюродный брат Н. Н. Обручев, братья А. А. и Н. А. Серно-Соловьевичи, братья В. С. и Н. С. Курочкины — это были деятели молодые, честные и самоотверженные, горячо преданные народному делу.

В объединении этих деятелей, в расширении революционной пропаганды, в подготовке смелого натиска революционной «партии» на самодержавие исключительно велика была роль Чернышевского.

Знал ли об этой его роли Некрасов?

Этот вопрос не раз задавали себе исследователи. В. Евгеньев-Максимов высказал мнение, что «Чернышевский, из соображений конспиративного порядка, скрывал от Некрасова эту сторону своей деятельности», хотя, будучи человеком «необыкновенного ума», Некрасов мог и догадываться о его участии в нелегальной работе [1].

Думается, этого мало. Вряд ли осведомленность Некрасова могла сводиться к одним только догадкам. И маловероятно, что Чернышевский, как и Добролюбов, видевший в Некрасове единомышленника, стал бы скрывать от него столь важную сторону своей деятельности из конспиративных соображений. Некрасов был известен как человек сдержанный и даже скрытный, — к этому его обязывала позиция подвергавшегося постоянным преследованиям оппозиционного журнала, который он возглавлял. Нельзя ведь считать случайностью однажды вырвавшиеся у него стихи:

Со стороны блюстителей порядка
Я, так сказать, был вечно под судом...

Чернышевский прямо говорил о том, как много значил для его деятельности Некрасов: «Только благодаря его великому уму, высокому благородству души и бестрепетной твердости характера я имел возможность писать, как я писал». Нужно ли было от такого человека скрывать то, чему он, несомненно, сочувствовал?

Некрасов, со своей стороны, видел в Чернышевском самоотверженного борца, твердо ступившего на «тернистый путь», с которого нет возврата, человека, понявшего невозможность «служить добру, не жертвуя собой»; об этом ясно говорит стихотворение «Пророк», хотя оно рисует образ революционера вообще, но в нем есть и черты Чернышевского. Приведя полностью это стихотворение, исследователь эпохи 60-х годов М. К. Лемке, лично встречавший многих ее деятелей (М. Антоновича, М. Н. Чернышевского, Л. П. Шелгунову и др.), говорит о Некрасове следующее: «Заметьте, что это писал человек, знавший Чернышевского из дня в день восемь лет... восемь лет беседовавший с ним о самых различных вопросах и при самых различных обстоятельствах. Ему ли, чуткому

---

[1] В. Евгеньев-Максимов, Некрасов и его современники. М., 1930, стр. 195.

и проницательному, не понять было вождя своего журнала?!»[1]

Сам же Некрасов в письме Добролюбову, написанном весной 1861 года, счел нужным обратить его внимание на резко усилившуюся общественную активность Чернышевского: «...репутация его растет не по дням, а по часам — ход ее напоминает Белинского, только в бо́льших размерах» (3 апреля 1861 года). Сравнение с Белинским можно понять только в смысле все расширяющейся популярности и растущего влияния Чернышевского на общество, причем речь шла прежде всего о революционном влиянии.

Известно, что Чернышевский был на редкость искусный конспиратор, потому-то власти и медлили с его арестом: не находили прямого повода для расправы. И тем не менее слухи о его причастности к подпольному движению выходили далеко за пределы «Современника»: в одном из его руководителей не без оснований подозревали вдохновителя кружков молодежи, организатора студенческих сходок, автора прокламаций.

Был случай, когда после майских петербургских пожаров 1862 года к нему явился Достоевский с просьбой — не может ли он урезонить молодежь, которая будто бы причастна к организации поджогов и распространению листовок.

Примерно так же понимали влияние Чернышевского и в официальных сферах. Намеки на его руководящую роль в противоправительственном движении проникали даже в печать. Так, по поводу одной из его статей газета «Наше время» (от 22 мая 1862 года) весьма язвительно писала: «Наконец он... обещает, что, насколько делание или неделание демонстраций зависит от воли студентов, демонстраций не будет. Мы вполне полагаемся на его слова. Кому, как не камергеру, знать, что делается при дворе!»

В одном из документов Третьего отделения говорилось, что Чернышевский «пользовался авторитетом между молодым поколением, которое он, с своей стороны, старался возвысить в глазах общества... Он составил себе отдельный круг знакомства, по преимуществу из молодых людей, и притом недовольных правительством, лжепрогрессистов и лиц, сделавшихся государственными пре-

---

[1] Мих. Лемке, Политические процессы в России 1860-х годов, 2-е издание. М. — П., 1923, стр. 166.

ступниками [1]; собрания у него постоянно отличались какою-то таинственностью и большею частью происходили в ночное время... Корреспонденцию он имел огромную и вел ее не только в России, но и за границей».

Разве не то же самое имел в виду Некрасов, когда писал, что репутация Чернышевского «растет не по дням, а по часам»? Близко и каждодневно общаясь с Чернышевским и Добролюбовым, с Михайловым, которого он высоко ценил, Некрасов не мог не замечать создавшейся вокруг журнала атмосферы конспиративных разговоров, тревожных ожиданий, напряженной деятельности. По сути дела, он сам был участником этой деятельности.

* * *

Среди причин, заставивших Некрасова раньше времени выехать из деревни, была еще одна, сильно его удручавшая — болезнь Добролюбова. Критик вернулся из-за границы, не поправив своего здоровья. И хотя он еще бывал в редакции, ездил в типографию, воевал с цензорами, но всем было ясно, что делается это из последних сил. Он и сам чувствовал, что скоро сляжет.

Добролюбов решил обратиться к Авдотье Яковлевне Панаевой, лечившейся за границей, с просьбой, которую он изложил так: «Если Вам возможно, то вернитесь поскорей в Петербург, Ваше присутствие для меня необходимо. Я никуда не гожусь!.. Я убежден, что если Вы приедете, то мне легче будет перенести болезнь. Я не буду распространяться о моей благодарности, если Вы принесете для меня эту жертву» (около 21 сентября 1861 года).

Авдотья Яковлевна приехала в начале октября и с материнской заботливостью ухаживала за больным. Много внимания она уделяла и малолетним братьям Добролюбова, которых он давно уже взял к себе из Нижнего.

Дни его были сочтены. К обострившемуся туберкулезу, к общему истощению организма — результату непомерного труда прибавлялись еще нравственные страдания. Многие считали, что причины общественного характера, усиление политической реакции также обостряли течение болезни. Одна только расправа с Михайловым произвела самое гнетущее впечатление на больного (хотя он и не мог знать, что во время допроса у Михайлова спросили, знаком ли он с писателем Добролюбовым и

[1] Видимо, подразумевались М. Михайлов, В. Обручев и др.

встречался ли с ним за границей). Преследования студенчества, закрытие университетов, столкновения студентов с полицией в Москве, о чем сообщил московский приятель, — все это тревожило и волновало умирающего.

Около месяца он лежал в квартире Некрасова и Панаевых. Приглашали лучших врачей. Приходили и подолгу сидели друзья. Затем его перевезли домой, где он и умер в ночь на 17 ноября. Некрасов, Чернышевский почти безотлучно находились около Добролюбова, потрясенные бессмысленной гибелью «юноши-гения» (слова Некрасова).

Похороны Добролюбова на Волковом кладбище морозным утром 20 ноября были одной из первых в России общественных демонстраций. За гробом шло больше двухсот человек; провожавших было бы еще больше, но как раз в это время студентами, почитателями покойного литератора, были забиты почти все казематы Петропавловской крепости.

Когда гроб вынесли из церкви на паперть, произнесли речи Некрасов и Чернышевский. У могилы говорили Антонович и Н. Серно-Соловьевич.

Некрасов говорил сквозь слезы, один раз он даже на минуту умолк, потому что слезы душили его. Из отчетов, помещенных в журналах, мы знаем, что Некрасов сказал несколько прочувствованных слов о личности и самобытном даровании покойного. Он заявил, что завещанием умершего литератора для собратьев по труду был его постоянный девиз «меньше слов и больше дела».

В речи Некрасова были и такие слова, которые не могли войти в журнальный отчет о похоронах (он опубликован в «Русском слове»), но сохранились в передаче полицейских агентов, шнырявших в толпе. Один из них сообщал, что оратор приписал смерть Добролюбова душевному горю «вследствие многих неприятностей». Он сказал также, что Добролюбов «умер, к несчастью, слишком рано, мог еще много совершить, ибо он занимался делом, а не голословил, и советовал последовать его примеру».

После Некрасова говорил Чернышевский. Он прочитал отрывки из дневника покойного, где были записи о цензурных репрессиях, о преследовании студентов, — все это волновало больного. К этому Чернышевский прибавил: «Но главная причина его ранней кончины состоит в том, что его лучший друг — вы знаете, господа, кто — находится в заточении».

Всем было понятно, что здесь подразумевался Михайлов, за месяц до этого приговоренный к шести годам каторжных работ. Тут же, во время похорон, был организован сбор денег в пользу революционера, недавнего сотрудника «Современника».

Речь Чернышевского, как и речь Некрасова, произвела большое впечатление на собравшихся. Какой-то военный, пораженный смелостью оратора, сказал своему соседу:

— Какие сильные слова! Чего доброго, его завтра или послезавтра арестуют.

Некрасов вернулся с Волкова кладбища, полный горестных ощущений. Они тут же вылились в стихи:

Я покинул кладбище унылое,
Но я мысль мою там позабыл, —
Под землею в гробу приютилася
И глядит на тебя, мертвый друг!

Ты схоронен в морозы трескучие,
Жадный червь не коснулся тебя,
На лицо через щели гробовые
Проступить не успела вода...

В стихотворении, озаглавленном «20 ноября 1861 года», нет ни слова о самом Добролюбове, здесь только один «неотразимый образ», зрительное впечатление о «мертвом друге», оставшемся там, в промерзшей земле:

...Убелил твои кудри мороз,
Да следы наложили чуть видные
Поцелуи суровой зимы
На уста твои плотно сомкнутые
И на впалые очи твои...

Зато немного позже, через полтора месяца, Некрасов дал глубокую и сильную оценку личности Добролюбова, сказал о гражданском значении его деятельности. 2 января 1862 года он выступил в зале Первой гимназии на вечере в пользу бедных студентов с чтением стихов Добролюбова. По словам Панаевой, публика встретила и проводила его шумными аплодисментами. Перед тем как приступить к чтению, Некрасов рассказал своим слушателям о том, как много успел сделать за каких-нибудь четыре года «этот даровитый юноша, соединявший с силою таланта глубокое чувство гражданского долга, составлявшее

основную отличительную черту покойного и как писателя, и как человека».

Свою вступительную речь вместе со стихами и переводами Добролюбова из Гейне Некрасов тогда же напечатал в январском номере журнала (1862) [1]. В этой речи он наиболее подробно выразил и свое понимание деятельности Добролюбова, и жгучую боль утраты. Самое же важное: он впервые дал представление о нем не только как о литераторе, но как о революционном работнике, готовившем себя к «святому делу». Это подтверждает, что Некрасов был полностью осведомлен относительно тайной деятельности своих главных сотрудников. Иначе трудно понять его указание, что Добролюбов «сознательно берег себя для дела», что он отдавал «себя всецело на жертву долга, как он понимал его».

Более того, Некрасов счел нужным привести в своей речи четверостишие Добролюбова «О, погоди еще, желанная, святая!». Известно, что в нем шла речь о революции: поэт просил ее «помедлить», потому что народ еще не готов к ней. Странно было бы предполагать, что Некрасов не догадывался об этом. Однако он вынужден был создать впечатление, что стихи обращены не к революции, а к смерти. Для этого ему даже пришлось отбросить (в печати) последнюю строку («И лучшие друзья не приподнимут рук»), заменив ее многоточием, поскольку она не вязалась с темой смерти. Впрочем, слова «желанная, святая» тоже не вязались с этой темой: желанной и святой поэт называл революцию. И Некрасов, конечно, сознательно допустил эту неясность — лишь бы познакомить читателей с одним из стихотворений Добролюбова о революции; пришлось только слегка затуманить его смысл.

Закончил же он свое выступление в зале Первой гимназии на высокой лирической ноте, это был настоящий реквием в честь погибшего друга:

«...что касается до нас, то мы во всю нашу жизнь не встречали русского юноши, столь чистого, бесстрашного духом, самоотверженного! Наше сожаление о нем не имеет границ и едва ли когда изгладится. Еще не было дня с его смерти, чтоб он не являлся нашему воображению, то умирающий, то уже мертвый, опускаемый в моги-

---

[1] В том же номере появились и «Материалы для биографии Н. А. Добролюбова», подготовленные Чернышевским.

лу нашими собственными руками. Мы ушли с этой могилы, но мысль наша осталась там и поминутно рисует нам один и тот же неотразимый образ...»

Вслед за тем Некрасов прочел стихи, написанные 20 ноября, в день похорон (начиная со слов «Ты схоронен в морозы трескучие...»). Лишь через три года поэтический образ Добролюбова как общественного деятеля сложился у Некрасова в известных стихах, посвященных его памяти:

Какой светильник разума угас!
Какое сердце биться перестало!

VIII

«УВЕДИ МЕНЯ В СТАН ПОГИБАЮЩИХ ЗА ВЕЛИКОЕ ДЕЛО ЛЮБВИ!»

Вот какие беды одна за другой обрушились на «Современник» и его редактора в конце 1861 года. Аресты людей, близких журналу. Трагическая смерть Добролюбова. Преследования со стороны цензуры... 14 декабря Некрасову было разрешено проститься с Михайловым, и он приехал в Петропавловскую крепость, чтобы в последний раз обнять мужественного человека, который в этот же день, закованный в кандалы, отправлялся в далекую Сибирь.

Круг ближайших сотрудников «Современника» заметно редел.

18 февраля 1862 года после недолгой сердечной болезни скончался Иван Иванович Панаев. Соредактор Некрасова по журналу, талантливый литератор, Панаев стремился следовать заветам Белинского и был верен демократическому направлению русской литературы. «Современник» откликнулся на его смерть некрологом, написанным Чернышевским; в некрологе давалась высокая оценка деятельности Панаева.

Некрасов остался теперь единоличным редактором-издателем «Современника» (21 марта его утвердил в этом качестве Петербургский цензурный комитет).

Наступавшее лето 1862 года готовило ему новые удары.

ДѢЛО

ОСОБЕННОЙ КАНЦЕЛЯРІИ

МИНИСТРА НАРОДНАГО ПРОСВѢЩЕНІЯ.

О прекращеніи на 8 мѣсяцевъ изданія журналовъ Современникъ и Русское Слово.

[illegible] Одоевскому и Некрасову [illegible] об изданіи журнала Современникъ въ 1863 году.

В середине июня было объявлено «высочайшее повеление» о запрещении на восемь месяцев «Современника» и «Русского слова» за «вредное направление». Некрасов был в эти дни в Москве. Заменявший его Чернышевский дважды ездил к министру народного просвещения А. В. Головнину, пытаясь выяснить дальнейшие намерения правительства, но ничего утешительного не добился. Головнин сказал, что он советует считать издание конченым и поскорее ликвидировать все дело.

Чернышевский сообщил об этом Некрасову; он писал, что остановку «Современника» надо рассматривать как «часть общего ряда действий» правительства, направленных против прогрессивного лагеря, как признак широкого наступления реакции. Он прибавил к этому: «Репрессивное направление теперь так сильно, что всякие хлопоты были бы пока совершенно бесполезны. Поэтому приезжать Вам теперь в Петербург по делу о «Современнике» совершенно напрасно» (19 июня 1862 года).

«Репрессивное направление» усиливалось. Продолжались аресты в среде передовых литераторов. 2 июля был арестован критик «Русского слова» Д. И. Писарев, написавший смелый памфлет против «дома Романовых». А через пять дней, 7 июля, ворота Петропавловской крепости

захлопнулись за самим Чернышевским. В тот же день был арестован Н. Серно-Соловьевич. Правительство явно решило покончить с оппозиционной партией.

В редакции «Современника», в демократических кругах все это произвело самое тягостное впечатление. «Страшно больно, что Серно-Соловьевича, Чернышевского и других взяли», — писал в одном из писем Герцен (9 августа). В то же время охранители и либералы пытались оправдать политику правительства. Например, К. Д. Кавелин, наглядно показывая, на что способен российский либерализм, вполне одобрял репрессии: «Аресты меня не удивляют и... не кажутся возмутительными. Это война: кто кого одолеет. Революционная партия считает все средства хорошими, чтобы сбросить правительство, а оно защищается своими средствами...»

Потрясенный потерей близких людей, единомышленников и соратников, Некрасов изливал свои чувства в стихах, проникнутых болью и горечью:

Надрывается сердце от муки,
Плохо верится в силу добра,
Внемля в мире царящие звуки
Барабанов, цепей, топора...

На его глазах погибали люди, сознательно вступившие на «тернистый путь» неравной борьбы, жертвующие собой за свои убеждения. Поэтом овладевало глубокое душевное волнение, когда он думал об их судьбе, об их самоотверженности, перед которой он преклонялся. Он неизменно осуждал тех, кто не способен к подвигу, чьи порывы никогда не переходят в дело. Поэт не щадил и самого себя: его друзья шли на каторгу, томились в казематах, а он оставался на свободе и, как ему казалось, вел бесполезную для дела жизнь.

Развенчать пассивных, «праздно болтающих» — значит возвеличить отважных, пробудить решительных. Таким настроением проникнута поэма «Рыцарь на час», законченная как раз в 1862 году. Некрасов сам дал ключ к ее пониманию, когда посвятил один отрывок из поэмы Михайлову, находившемуся в Сибири.

Вот как было дело. В конце мая собрались в дальний путь Шелгуновы — они решили поехать к сосланному другу, который принял на себя одного всю ответственность за прокламацию «К молодому поколению» (не исключено, что Шелгуновы надеялись организовать его побег за границу). Некрасов, прощаясь с отъезжающими, вло-

Не говори: «забыл он осторожность,
Он будет сам судьбы своей виной».
Не хуже нас он видит невозможность
Служить добру, не жертвуя собой.
Но любит он возвышенней и шире,
В его душе нет помыслов мирских.
„Жить для себя возможно только в мире,
Но умереть возможно для других“,
Так мыслит он — и смерть ему любезна,
Не скажет он, что жизнь его нужна,
Не скажет он, что гибель бесполезна.
Его судьба давно ему ясна.

Автограф стихотворения «Пророк».

жил в альбом Любови Петровны Шелгуновой листок с такими стихами:

В эту ночь со стыдом сознаю
Бесполезно погибшую силу мою...
И трудящийся, бедный народ
Предо мною с упреком идет,
И на лицах его я читаю грозу,
И в душе подавить я стараюсь слезу...

. . . .

Да! Теперь я к тебе бы воззвал,
Бедный брат, угнетенный, скорбящий!
И такою бы правдой звучал
Голос мой, из души исходящий,
В нем такая бы сила была,
Что толпа бы за мною пошла...

Поэт, конечно, не надеялся увидеть этот отрывок в печати. Но он хотел, чтобы его стихи прочел Михайлов. Он записал в альбом Шелгуновой и еще отрывок, который начинался словами «О мечты! о волшебная власть...», а заканчивался суровым упреком, горькой насмешкой над теми, кто не готов к борьбе:

Покорись, о ничтожное племя!
Неизбежной и горькой судьбе,

Захватило вас трудное время,
Неготовыми к трудной борьбе.
Вы еще не в могиле, вы живы,
Но для дела вы мертвы давно,
Суждены вам благие порывы,
Но свершить ничего не дано...

К этим стихам Некрасов сделал приписку, обращенную непосредственно к Михайлову: «Редки те, к кому нельзя применить этих слов, чьи порывы способны переходить в дело... Честь и слава им — честь и слава тебе, брат! Некрасов. 24 мая, 6 час. утра».

В этих словах — солидарность с сосланным революционером, государственным преступником и преклонение перед принесенной им жертвой. В них и ключ к пониманию драматического смысла всей поэмы «Рыцарь на час», зовущей к слиянию слова и дела, осуждающей колеблющихся и слабовольных, поэмы, беспощадной по отношению к самому поэту.

«Честь и слава тебе, брат!» Рядом с этим восклицанием, вырвавшимся из сердца, надо поставить те строки «Рыцаря на час», которые заключают в себе мольбу, обращенную к матери. Ее тень витает над всей поэмой. Вот эта мольба:

От ликующих, праздно болтающих,
Обагряющих руки в крови,
Уведи меня в стан погибающих
За великое дело любви!

Поэт отвергает праздную болтовню либералов и рвется в «стан погибающих» за «великое дело». Он завидовал их духовной цельности и бесстрашию и тянулся к ним, его мучило ощущение своей отдаленности от прямой революционной практики, от живого дела. Отсюда горькая исповедь, мотивы отчаяния:

Выводи на дорогу тернистую!
Разучился ходить я по ней,
Погрузился я в тину нечистую
Мелких помыслов, мелких страстей.

«Рыцарь на час» — одно из лучших исповедально-лирических произведений Некрасова. Уже самое начало его, уже первые строки, вводят нас в особый мир некрасовской поэзии с ее тревожным настроением, медлительным ритмом:

Если пасмурен день, если ночь не светла,
Если ветер осенний бушует...
Над душой воцаряется мгла,
Ум, бездействуя, вяло тоскует.
Только сном и возможно помочь,
Но, к несчастью, не всякому спится...

Слава богу! морозная ночь —
Я сегодня не буду томиться.
По широкому полю иду,
Раздаются шаги мои звонко,
Разбудил я гусей на пруду,
Я со стога спугнул ястребенка,
Как он вздрогнул! как крылья развил!
Как взмахнул ими сильно и плавно!
Долго, долго за ним я следил,
Я невольно сказал ему: славно!
Чу! стучит проезжающий воз,
Деготьком потянуло с дороги...
Обоняние тонко в мороз,
Мысли свежи, выносливы ноги.
Отдаешься невольно во власть
Окружающей бодрой природы;
Сила юности, мужество, страсть
И великое чувство свободы
Наполняют ожившую грудь;
Жаждой дела душа закипает,
Вспоминается пройденный путь,
Совесть песню свою запевает...

Поэма сложна и необычна по замыслу. Глубоким чувством окрашены воспоминания поэта о своем детстве. Его воображение воскрешает торжественную красоту летней ночи, залитую лунным светом старую церковь на горе и возле нее, в церковной ограде, крест над могилой рано угасшей матери. Перечитаем эти стихи:

В стороне от больших городов,
Посреди бесконечных лугов,
За селом, на горе невысокой,
Вся бела, вся видна при луне,
Церковь старая чудится мне,
И на белой церковной стене
Отражается крест одинокий.
Да! Я вижу тебя, божий дом!
Вижу надписи вдоль по карнизу
И апостола Павла с мечом,
Облаченного в светлую ризу.
Поднимается сторож-старик
На свою колокольню-руину,
На тени он громадно велик:
Пополам пересек всю равнину.
Поднимись! — и медлительно бей,

Чтобы слышалось долго гуденье!
В тишине деревенских ночей
Этих звуков властительно пенье...

На фоне полуфантастической, полуреальной картины, поражающей своей живописной изобразительностью, игрой света и теней, звукописью, передающей гудение церковного колокола, возникает образ той, «чья душа здесь незримо витает, кто под этим крестом почивает», — образ матери поэта, всегда воплощавшей для него все самое возвышенное и святое. Он зовет ее в минуты сомнений и страданий, он обязан ей всем, что есть лучшего в его душе. «Не робеть перед правдой-царицею научила ты музу мою» — таких признаний немало в лирике Некрасова. И теперь он полон надежды, что «легкая тень» матери поможет ему стать на «правый путь»:

...О прости! то не песнь утешения,
Я заставлю страдать тебя вновь,
Но я гибну — и ради спасения
Я твою призываю любовь!
Я пою тебе песнь покаяния,
Чтобы кроткие очи твои
Смыли жаркой слезою страдания
Все позорные пятна мои!
Чтоб ту силу свободную, гордую,
Что в мою заложила ты грудь,
Укрепила ты волею твердою
И на правый поставила путь...

Эти стихи по-разному толковались в работах о Некрасове, но бесспорно одно — в них выражено благородное чувство неудовлетворенности собой, своей жизнью. Это чувство было характерно не для одного только поэта, его часто испытывали лучшие люди того времени. Многие из них хотели принять непосредственное участие в борьбе за народное счастье. Но не всем суждено было найти пути в стан борцов.

Конечно, у Некрасова был свой путь служения народу. И он был не прав, когда казнил себя за то, что его слова не претворяются в дело, за то, что ему «свершить ничего не дано». Его слово было его делом — он был великим революционным поэтом. И стихи, и журнальная деятельность Некрасова способствовали воспитанию настоящих революционеров, сеяли «разумное, доброе, вечное». Его исторические заслуги неоценимы.

В «Рыцаре на час» несомненна автобиографическая

основа. Но было бы ошибкой во всем отождествлять образ лирического героя поэмы с личностью самого поэта. Против этого возражала еще современная Некрасову критика; после того как отрывок из поэмы появился в «Современнике» (1863, № 1—2) с подзаголовком «Валежников в деревне», критик «Русского слова» В. Зайцев доказывал критику славянофильского «Дня»: «...Герой поэмы не сам автор, а какой-то Валежников. Следовательно, по какому праву критик приписывает [его] порывы автору?» И еще: «...Автор имел в виду изобразить в Валежникове человека с благороднейшею и возвышенною душою, жаждущего полезной и честной деятельности ...но не имеющего достаточно сил, чтобы бороться победоносно с мерзостью, его окружающею, и ее влиянием на него самого».

Видно, что В. Зайцев, несомненно сочувствовавший Некрасову, близко подошел к пониманию замысла поэмы. Он уловил и то, что мысли и чувства ее героя имели характер широкого обобщения.

Своеобразие небольшой поэмы «Рыцарь на час» прежде всего в том, что открытая гражданственность ее содержания прошла через душу поэта, стала его личной болью и превратилась в скорбную и волнующую лирическую исповедь. Эти стихи неизменно будоражили умы многих поколений, покоряя их своей жгучей искренностью и поэтической силой.

Рассказывают, что такой суровый и твердый человек, как Чернышевский, возвратясь из Сибири, любил читать на память некрасовскую поэму и при этом не мог удержаться от слез.

В дни, предшествовавшие аресту, Чернышевский часто встречался с Некрасовым, слушал его стихи. В конце жизни, вернувшись в Саратов, он еще хранил в памяти воспоминания тех далеких лет, любил делиться ими с окружающими. Его рассказы тогда же записал М. Краснов, бывший секретарем у Николая Гавриловича:

«...В минуты сердечной откровенности Чернышевский не мог вспоминать без слез о своих друзьях: Н. А. Некрасове и Н. А. Добролюбове. Про первого Николай Гаврилович, как бы защищая его память от нападок личного свойства, всегда замечал: «Хороший был человек, очень хороший»... Однажды, отдыхая после обеда, мы незаметно разговорились о поэзии... От Мицкевича перешли к Некрасову. Стихотворение последнего «Тяжелый крест» он

назвал лучшим лирическим произведением на русском языке. Затем Николай Гаврилович предложил послушать «Рыцаря на час». Его слегка растянутое, ритмическое чтение, с логическими ударениями, произвело на меня громадное впечатление, и, заслушавшись, я не заметил, что чем далее, тем звончее становился голос Николая Гавриловича. Он уже как бы пережил «восхождение на колокольню» и оборвавшимся, надтреснутым голосом начал заключительный стих принесения повинной перед памятью матери. Вдруг Николай Гаврилович не выдержал и разрыдался, продолжая, однако, читать стихотворение. Я не в силах был остановить его, ибо и сам сидел потрясенный.

Эту тяжелую сцену прервала Ольга Сократовна возгласом: «Тебе это вредно». — «Не буду, голубушка, не буду», — ответил Николай Гаврилович...»

* * *

Конечно, Некрасов не мог не видеть прямой связи между появлением прокламаций, арестами литераторов и запрещением — пока временным — «Современника». И все-таки, оставшись без лучших сотрудников и без журнала, он не сложил оружия. Несмотря на упорные слухи о том, что «Современнику» не воскреснуть, он деятельно готовился к его возобновлению, приглашал новых авторов и редакторов.

Стихов в это время он писал мало, печатать их было негде. Зная об этом, Достоевский предложил ему опубликовать стихи в своем журнале «Время». Некрасов обещал дать два стихотворения, но потом понял, что это было бы несвоевременно и вот по какой причине:

«...Я не отказываюсь от моего обещания... но *теперь* мне неудобно появиться с моим именем в чужом журнале. Про меня здесь распустили слухи, что я отступился от прежних сотрудников, набираю новых, изменяю направление журнала, все это завершается прибавлением, что я *предал* Чернышевского и гуляю по Петербургу... Ввиду всего этого мне покуда необходимо не подавать новых поводов к двусмысленным толкам. Начнет выходить «Современник», дело разъяснится для публики, и тогда я исполню мое обещание. А покуда простите и подождите» (3 ноября 1862 года).

Много страданий доставляли поэту эти двусмысленные

толки. Но дело действительно разъяснилось для публики, как только возобновился «Современник» и на его страницах был напечатан роман «Что делать?». Он увидел свет благодаря смелости Некрасова и его верности направлению журнала, взглядам Чернышевского. Как только разрешение на продолжение издания (с февраля 1863 года) было получено, Некрасов сразу дал для «Времени» большой отрывок из недавно начатой поэмы «Мороз, Красный нос» («Смерть Прокла»).

Тогда же он представил в цензурный комитет текст объявления о возобновлении «Современника» в 1863 году. Он хотел довести до сведения читателей, что вопреки всем слухам журнал будет издаваться «на прежних основаниях», «по прежней программе»; но это решительно не устраивало руководителей цензуры и министра просвещения Головнина — он с возмущением отмечал, что редактор пытается сохранить то самое направление, какое привело к приостановке издания правительством.

Некрасов обнаружил поразительное упорство и принципиальность в стремлении отстоять программу своего журнала. В том же проекте объявления он писал: «Современник» возвращается к делу с решимостью и полной надеждой сохранить в журналистике положение самостоятельное и независимое. Само собой разумеется, что он совершенно отказался бы от деятельности, если б ему предстояло осудить себя на бесхарактерную деятельность и безличное существование».

Золотые слова, и в них весь Некрасов, с его темпераментом журналиста-бойца и гражданина. Но такое объявление, конечно, не могло пройти через цензуру. Дело кончилось тем, что в ноябре 1862 года в «С.-Петербургских ведомостях» появилась за подписью Некрасова сухая информация о возобновлении «Современника» в будущем году. Здесь не осталось даже намека на программу или направление журнала. Редактор-издатель извещал, что в трудах редакции будут принимать постоянное участие М. Е. Салтыков (Щедрин), А. Н. Пыпин, М. А. Антонович. Сообщались условия подписки и расчета с читателями за те месяцы, когда журнал не выходил...

В те годы и Пыпин (двоюродный брат Чернышевского), и особенно Антонович близко стояли к некрасовскому журналу; они начали работать в нем еще до запрещения, хотя, разумеется, никак не могли восполнить ничем не заменимую утрату Чернышевского.

Что же касается Михаила Евграфовича Салтыкова (Щедрина), то привлечение его к работе было большой заслугой Некрасова; автор «Губернских очерков» стал ближайшим его помощником по редакции. В возобновленном «Современнике» в первом же году его существования появились рассказы, очерки, публицистика Салтыкова. И есть глубокая закономерность в том, что он связал свою писательскую судьбу с некрасовским «Современником», а потом и «Отечественными записками».



IX

В КАРАБИХЕ И ВОКРУГ НЕЕ

Еще в конце 1861 года Некрасов осуществил свою мечту — приобрел имение, где летом мог отдыхать и работать. 7 декабря он писал отцу: «Я купил Карабиху... Заплатил я дорого, но не жалею, потому что покупаю не для дохода, а для собственного проживания летом».

Карабиха была куплена у родственников бывшего ярославского губернатора князя М. Н. Голицына (заплачено 38,5 тысячи рублей серебром). Старинная барская усадьба, построенная еще в екатерининские времена, раскинулась на холме, неподалеку от Московско-Ярославского шоссе. До Ярославля — всего пятнадцать-шестнадцать верст. Все владение занимало пятьсот девять десятин земли, — сюда входили парк, лес, воды, покосы, фруктовый сад, мельницы и даже полузаброшенный винокуренный завод. При доме была оранжерея, где росли померанцевые деревья.

В центре усадьбы — строгий архитектурный ансамбль: двухэтажный барский дом с изящным бельведером; справа и слева — два больших каменных флигеля (все три здания соединялись деревянным крытым коридором). С бельведера и с веранды главного дома, обращенной к югу, открывался живописный вид на окрестности. Внизу бежала — и бежит доныне — неширокая

чистая речка Которосль, впадающая в Волгу вблизи Ярославля.

Чтобы попасть на речной берег, Некрасов, выйдя из дому, спускался по извилистым дорожкам, шел пологим холмом, по склону которого был разбит английский парк с искусно разбросанными группами деревьев, бархатно-зелеными лужайками, архитектурными сооружениями и журчащим ключом. Он проходил мимо могучего кедра, под густой кроной которого ему не раз случалось читать стихи жителям и гостям Карабихи.

Теперь этого кедра нет, он погиб от удара молнии, но многие другие деревья парка, среди которых гулял новый его владелец, сохранились до нашего времени. Возраст их, по определению специалистов, приближается к двум сотням лет.

Он полюбил свое уединение, полюбил и речку Которосль с ее песчаными берегами, поросшими травой и кустарником, быстрым течением и разнообразной рыбой. В одном из писем Некрасов писал: «Я здесь хорошо устроился — хожу на охоту, работаю и купаюсь. Купанье мне настолько приятно, что путешествие в Диепп для одной этой цели меня начинает устрашать» (25 июня 1870 года).

Между 1862 и 1875 годами Некрасов провел в Карабихе десять летних и осенних сезонов (не приезжал только в 1873 и 1874 годах). С первых же месяцев он поручил управление усадьбой брату Федору, который оказался хорошим хозяином. А позднее, после 1867 года, он передал Карабиху Федору Алексеевичу в полную собственность, так как не хотел связывать себя хозяйственными заботами. Себе же он оставил лишь один восточный флигель. В нем и жил, когда приезжал из столицы.

Не вмешиваясь в дела по управлению усадьбой, Некрасов, однако, останавливал брата, когда тот проявлял суровость по отношению к окрестным крестьянам. «Ну, ну, брат Федор, ты уж не взыщи с них», — говорил Николай Алексеевич, стараясь смягчить его гнев [1]. Он всегда помогал крестьянам — и советом и деньгами, особенно если у кого пала лошадь, сгорел дом или случилась еще какая-нибудь беда.

Став владельцем Карабихи, Федор Алексеевич обратил

[1] Цит. по кн.: Н. К. Некрасов, По следам некрасовских героев. М., 1970, стр. 91.

особое внимание на оставшийся от Голицыных винокуренный завод: он расширил его и усовершенствовал. Продукция завода приобрела известность за пределами Ярославля. Однако Николай Алексеевич к этой деятельности своего брата не имел отношения. Об этом необходимо напомнить, потому что в старой литературе встречаются намеки на якобы предпринимательские начинания Некрасова, противоречащие духу его поэзии. Враги поэта, не стеснявшиеся в выборе средств, не раз пытались и эти мнимые начинания отнести к числу его «грехов».

В Карабихе Некрасова привлекали возможность уединенного труда, природа и охота. Как прежде в Грешневе, к нему теперь постоянно собирались местные крестьяне-охотники, в том числе уже известный нам Гаврила Захаров, Никанор Бутылин из деревни Петлино, Кузьма Солнцев из окрестностей Грешнева, Николай Осорин из села Макарова. Вместе с ними Некрасов выезжал на охоту, пропадая иногда на несколько дней, иногда на неделю и даже на две.

Обычно охотники съезжались в дом Осорина в селе Макарове. В воспоминаниях писателя Ивана Федоровича Горбунова, гостившего одно лето в Карабихе, сохранился рассказ о том, как он охотился вместе с Некрасовым:

«Покойный Николай Алексеевич был страстный охотник и отличный стрелок. На охоте он не знал устали. Случалось так, что мы выходили на восходе солнца и возвращались домой около полуночи. Обыкновенно хмурый и задумчивый, на охоте он был неузнаваем: живой, веселый, разговорчивый, с мужиками ласковый и добродушный. Мужики его очень любили...

...Охотились мы по обеим сторонам Волги и оставляли дом иногда дней на десять, переночевывая в разных селах и деревнях. Кроме весьма удобного, приспособленного к охоте тарантаса, с нами шла верховая арабская лошадь.

Приезд наш в какую-либо деревню для ночлега для мужиков был праздник. В избе толпа. Кто разбирает вещи, кто любуется ружьями, а кто, по бывшим примерам, ожидает угощения».

Превосходный актер-импровизатор, прославившийся исполнением своих устных рассказов, Горбунов, по словам современников, имел в запасе немало эпизодов и анекдотов об охоте с Некрасовым. Темы их были разнообразны — облава на медведей и лосей, происшествия

на привалах и ночевках, словом, целая вереница сцен, шуток, разговоров...

После возвращения с охоты Некрасов обычно закрывался в своих комнатах на втором этаже и подолгу работал. В такие дни в доме наступала тишина, ее никто не должен был нарушать. Сестра Анна Алексеевна, часто приезжавшая на лето в Карабиху, строго следила за тем, чтобы никто не мешал работе Николая Алексеевича.

Нижний этаж флигеля занимали службы и комнаты прислуги. Во второй этаж вела широкая красивая лестница, против нее находилась небольшая уютная столовая. Направо от столовой были спальни и кабинет. Однако Некрасов, как вспоминает Наталья Павловна, вторая жена Федора Алексеевича (умерла в 1928 году), работал не в маленьком кабинете, а в зале; как и у себя на Литейном, он часами ходил из угла в угол, вслух произнося стихи однообразно-протяжным голосом; по временам подходил к конторке и записывал сложившиеся в уме строфы.

Зала — «большая», почти квадратная комната, вся белая, с тяжелыми темными портьерами на окнах и на балконной двери. Посреди левой стены находился камин белого мрамора с зеркалом наверху. На камине стояли часы черного мрамора с бронзовой лежащей собакой сверху. Около часов были расставлены чучела птиц — охотничьи трофеи поэта. «Я помню бекаса, чирка, крякву и тетерева; громадный глухарь и дрохва стояли на особых постаментах. По сторонам камина стояли турецкие диваны, а у задней стены конторка, на которую клалась бумага и карандаш».

К этому описанию, сделанному Натальей Павловной, можно только прибавить, что комнаты, в которых жил и работал Некрасов, в наше время приобрели тот самый вид, какой они имели столетие назад. А вся Карабиха превращена в обширный мемориальный комплекс, своеобразный памятник поэту.

* * *

В первый раз Некрасов жил в Карабихе осенью 1862 года — с августа до начала октября. В это время он часто ездил в Ярославль, навещал больного отца. В столицу он вернулся, чтобы начать хлопоты по возобновлению журнала; но в разгаре этих хлопот, в конце ноября

его вызвали обратно в Ярославль: пришло сообщение, что Алексей Сергеевич при смерти.

30 ноября отец умер. Похоронив его в семейном склепе в Абакумцеве (близ Грешнева), Некрасов возвратился в Петербург и занялся делами, связанными с изданием «Современника». Он снова пригласил к участию в журнале Елисеева и Антоновича; соредакторами его стали также Пыпин и Салтыков.

Здесь произошло событие, память о котором не сотрется в летописях русской журналистики. В начале февраля вышел из печати первый номер возобновленного «Современника» (за январь — февраль); на обложке его было объявлено, что со следующей книжки в журнале будет печататься роман Чернышевского «Что делать?».

Это было почти чудо. И теперь еще трудно понять, каким образом удалось редактору «Современника» среди рукописей Чернышевского, взятых жандармами во время обыска (об их возвращении в редакцию хлопотал Некрасов), получить и только что законченный в крепости роман. Объяснить это можно только тем, что следственная комиссия, в которую частями поступала рукопись Чернышевского, не придала значения этой беллетристике и понадеялась на цензора, который по долгу службы должен читать все материалы, предназначенные для журнала. А цензор, зная, откуда пришел пакет, украшенный печатями, не усомнился в том, что рукопись уже разрешена и что ему тут делать нечего!

Так или иначе Некрасов ликовал, получив возможность объявить читателям возобновленного журнала о предстоящем печатании романа своего знаменитого сотрудника, сидящего в одиночной камере Алексеевского равелина. Он поехал за рукописью к Пыпину, получившему ее от обер-полицмейстера. Поехал сам, опасаясь доверить это кому бы то ни было. А на обратном пути, сидя в извозчичьей пролетке, не заметил, как обронил драгоценную рукопись...

5 февраля 1863 года в газете «Ведомости С.-Петербургской городской полиции» появилось объявление:

«Потеря рукописи. В воскресенье 3 февраля, во втором часу дня, проездом по Большой Конюшенной от гостиницы Демута... до дома Краевского на углу Литейной и Бассейной, обронен сверток, в котором находились две прошнурованные по углам рукописи, с заглавием:

«Что делать?». Кто доставит этот сверток в означенный дом Краевского, к Некрасову, тот получит пятьдесят рублей серебром».

Несколько дней Некрасов не находил себе места. Он, по словам Панаевой, был так взволнован, что не мог обедать, сидел мрачно и молчал или начинал строить предположения о трагической судьбе рукописи. Наконец 8 февраля явился пожилой, бедно одетый чиновник и принес сверток, подобранный им на мостовой. В трех ближайших номерах «Современника» роман, которому суждено было стать настольной книгой нескольких поколений, был напечатан. Когда власти спохватились и начали искать виновных, было уже поздно.

В весенних книжках журнала Некрасов, кроме романа «Что делать?», поместил и еще немало произведений, которые подтверждали, что «Современник» не изменил своему направлению. В первом же номере (№ 1—2) читатели нашли переводы, выполненные сосланным Михайловым, в том числе сцену из трагедии Эсхила «Скованный Прометей», помещенную на видном месте (за подписью М. Илецкий). Самое название трагедии говорило о многом. Журнал блистал разнообразием имен и жанров. Бросается в глаза участие множества бывших петрашевцев. Кроме Салтыкова, напечатавшего здесь десятки очерков, рецензий и заметок, в журнале печатались стихи А. Н. Плещеева, переводы С. Ф. Дурова, рассказы Ф. Г. Толля.

Немало новых стихов поместил в первых номерах возобновленного журнала и сам Некрасов. Вслед за главой из поэмы «Рыцарь на час», о которой уже говорилось, шли стихи, написанные (или задуманные) минувшим летом в родных местах, на Ярославщине. Это прежде всего стихотворение «Идет-гудет Зеленый шум», светлый гимн в честь весны, во славу вечного обновления природы, где нашли отражение некоторые мотивы украинских народных песен (образ «зеленого шума»).

Другие стихи, появившиеся в журнале, также подтверждали верность поэта темам крестьянской жизни. Это «Что думает старуха, когда ей не спится», это «В полном разгаре страда деревенская» — стихи о тяжелой доле женщины-крестьянки. К этим же темам поэт вернулся во время следующей поездки в деревню.

В мае 1863 года, после того как все дела по изданию журнала были закончены, Некрасов отправился в Карабиху. В это лето здесь было оживленно и многолюдно. Кроме братьев, живших тут постоянно, за обеденным столом у Некрасова сходились и гости — Салтыков, Островский и Григорович. После шумного обеда гости обычно отправлялись в кабинет хозяина, там начинались споры и разговоры, читались стихи.

М. Ушакова вспоминает, каким был Некрасов в это время. Она запомнила его «резким брюнетом», роста выше среднего, с живыми блестящими глазами, с глухим хрипловатым голосом. «Одевался он всегда изящно и не относился небрежно к своему костюму. Утром вставал рано, часов в восемь, и тотчас же уходил гулять в сад... Вечно с ним провожателями были его две любимые собаки... Мы, бывало, с кузиной стоим у окна и тихонько наблюдаем за ним, как он ходит по аллее и курит свою сигару, а около вертятся его два любимца... Они, можно сказать, обедали вместе с хозяином...»

В это лето новые впечатления вылились в стихи, показавшие, как углубляется крестьянская тема в сознании поэта. «Калистрат» (помечен 5 июня), с его горькой усмешкой крестьянина по поводу своей безысходной нищеты; «Орина, мать солдатская», которую поэт знал лично: он заезжал к ней в деревню, чтобы от нее самой услышать рассказ о великом горе матери, потерявшей сына:

И погас он, словно свеченька
Восковая, предыконная...

После чего следовало печальное заключение самого автора:

Мало слов, а горя реченька,
Горя реченька бездонная!..

И наконец, главное сочинение этих лет — написанная в основном в Карабихе лирическая поэма «Мороз, Красный нос».

Этой поэмой открывался первый номер «Современника» 1864 года. А 18 февраля Некрасов прочел ее на одном из вечеров Литературного фонда. Присутствовавший на вечере писатель П. Д. Боборыкин рассказывает, что поэт обратился к публике и «...объявил спокойным тоном и как-то особенно напирая на каждое слово, что его новое произведение не имеет никакой тенденции, по-

чему он и просит слушателей не подозревать в нем никакой задней мысли, другими словами, никакого служения направлению. Мне хотелось, — сказал Некрасов, — написать несколько картинок русской сельской жизни; я попытался изобразить судьбу нашей крестьянской женщины; я прошу внимания слушателей, ибо «если они не найдут в моей поэме того, что я задумал, они ничего в ней не найдут» («Библиотека для чтения», 1864, № 2, стр. 68).

Так говорил Некрасов. Но обращение его к судьбе крестьянской женщины было многозначительно. В условиях того времени неприкрашенное изображение деревенского быта непременно воспринималось как тенденция. А жизнь, изображенная поэтом, далека от идиллии. Тема поэмы — горе крестьянской семьи, потерявшей кормильца, и суровая участь крестьянки («Три тяжкие доли имела судьба...»). Беды одна безысходнее другой преследуют крестьянина: и «вести недобрые о рекрутском наборе», и крайняя бедность; о ее причинах в поэме говорится устами старосты Сидора Иваныча: над могилой Прокла он хвалит его как исправного плательщика:

...Жил честно, а главное: в сроки —
Уж как тебя бог выручал —
Платил господину оброки
И подать царю представлял!

А в другом месте Дарья как бы поясняет слова старосты: «все отдаем», что удается ценой тяжкого труда сколотить «по грошику медному».

Какая уж тут идиллия!

Некрасов задумал изобразить в поэме «Мороз, Красный нос» характер русской женщины, ее терпение и выносливость, ее доброту, любовь к труду, величие и поэтичность ее души, показать, что дух ее не сломлен, хотя нет ничего на свете тяжелее ее судьбы.

«Речь о крестьянке» зашла уже на первых страницах поэмы. Гордо и торжественно зазвучали предпосланные поэме слова о русских женщинах. Некрасов хотел, чтобы читающая публика увидела в крестьянке то же, что и он, и так же, как и он, прониклась к ней уважением и любовью:

Есть женщины в русских селеньях
С спокойною важностью лиц,
С красивою силой в движеньях,
С походкой, со взглядом цариц.

Их разве слепой не заметит,
А зрячий о них говорит:
«Пройдет — словно солнце осветит!
Посмотрит — рублем подарит!»

Одна из таких женщин и является героиней его поэмы — Дарья. Сюжет поэмы — всего лишь частный случай, иллюстрация к только что сказанному: «И ты красотою дивила, была и ловка, и сильна, но горе тебя иссушило, уснувшего Прокла жена». Умирает кормилец семьи, и на плечи молодой вдовы ложится забота о детях и стариках родителях и весь непосильный для женщины крестьянский труд.

В первой части поэмы Дарья почти отсутствует, но все подготавливает ее появление, здесь показана та жизнь, с которой крестьянская женщина связана прочными нерасторжимыми узами: семья, труд, быт. Вне этого был бы непонятен подлинно народный характер Дарьи.

Во второй части поэмы в видениях замерзающей Дарьи раскрывается ее любящее сердце, преданность мужу, стойкость и мужество. Светлой поэзией проникнуты ее воспоминания, ею одухотворено все, что Дарью окружает. Радостным представляется Дарье труд, который она делила с мужем. Прокл для нее — прежде всего хозяин, работник. Картины уборки урожая, когда «Проклушка крупно шагает за возом снопов золотых», сменяются в ее видениях яркими картинами зимы. Предчувствия и приметы вселяют в душу Дарьи то страх, то надежду; явления природы полны для нее того особого значения, когда случайное становится знамением. Таким богатым, светлым и поэтическим душевный мир крестьянской женщины был показан в русской поэзии впервые. Это, между прочим, отмечено в монографии французского слависта Ш. Корбэ «Некрасов, человек и поэт» (1948). Поэму «Мороз, Красный нос» Корбэ считает подлинным произведением мирового искусства. По его мнению, поэма великолепно отражает национальные черты русской жизни: пейзажи, характеры, нравы, язык, и вместе с тем не теряет своего мирового общечеловеческого значения. Образ Дарьи представляется французскому исследователю лучшим женским образом всей поэзии Некрасова. Это идеал женщины и матери, говорит он, но идеал, всем обязанный правде, а не выдумке.

Смело и органично входят в некрасовскую поэму народные обряды, обычаи и приметы. У Некрасова все это

«Мороз, Красный нос» — «Три тяжкие доли...» Автограф.

не местный колорит, не атрибуты крестьянского быта, а сама душа народа, полная простодушной поэзии, обогащенная извечным близким общением с природой. Потому-то и сказочный образ Мороза, введенный в реалистическую поэму, не нарушил ее целостности и гармоничности.

Но некрасовский Мороз, мощный властелин зимней природы, не совсем похож на добродушного героя народной сказки. Пожалуй, лишь внешний облик Мороза да ледяную булаву — символ царственной власти, да троекратно обращенный к героине поэмы вопрос: «Тепло ли тебе, молодица?» — взял поэт из народной сказки. Мороз бесстрастен и по-царски величествен, но и он прежде всего хозяин, работник; масштабы его деятельности соответствуют грандиозности образа:

Метели, снега и туманы
Покорны морозу всегда,
Пойду на моря-окияны —
Построю дворцы изо льда.
Задумаю — реки большие

Надолго упрячу под гнет,
Построю мосты ледяные,
Каких не построит народ.

С первых же строк в поэме возникают приметы зимы, зимнего пейзажа. Снег, сугробы, сосульки, промерзлая земля, «звенящая, как железо», зимнее солнце — таков фон, на котором развертывается действие: похороны Прокла и поездка Дарьи в лес:

Морозно. Равнины белеют под снегом,
Чернеется лес впереди,
Савраска плетется ни шагом, ни бегом,
Не встретишь души на пути.

Подлинно народна форма некрасовского стиха с его эмоционально насыщенными эпитетами, отрицательными сравнениями («Не ветер бушует над бором, не с гор побежали ручьи»), с бытующими в народной поэзии словосочетаниями типа: сырая земля, горючие слезы, шелковые кудри, белые руки, ясные очи, горькие сироты.

В русской поэзии, наверное, нет другого произведения, где была бы так проникновенно раскрыта крестьянская жизнь и самая суть народной души. Поэзия, правда и тенденция, о которой упомянул Некрасов, выступая с чтением поэмы, слились здесь в одно совершенное и законченное целое. Ярко выраженный национальный характер поэмы «Мороз, Красный нос» приводит на память слова о Некрасове Г. И. Успенского: «Это русский человек весь как на ладони и к тому же громадный и именно русский поэт».

X

В БОРЬБЕ С РЕАКЦИЕЙ

Некрасову не раз приходилось выслушивать негодующие речи из уст людей, еще недавно как будто сочувствовавших радикальному направлению «Современника». Теперь им стало казаться, что журнал зашел слишком далеко, что его редактор неосторожен и

вот-вот навлечет на себя новые гонения со стороны властей. Мемуаристы рассказывают об острых столкновениях по этому поводу; одно из них произошло между Некрасовым и Егором Петровичем Ковалевским, недовольным «крайностями» некрасовского журнала.

Однажды во время такого спора Ковалевский, внушительно потряхивая генеральскими эполетами, упрекнул Некрасова в мальчишестве и заявил, что нельзя компрометировать журнал в глазах «серьезных людей». Некрасов рассердился и свою гневную отповедь Ковалевскому закончил так:

— Лучше быть последним между молодыми, чем первым среди старья!

Эта твердость позиции характерна для Некрасова. Окруженный непрошеными советчиками, сомнительными доброжелателями и откровенными противниками, он умел отстоять свои взгляды, сохранить прежнюю репутацию журнала, именно ту, которой он дорожил. Он оставался верен себе, хотя с каждым годом это становилось все труднее.

Правительство вело открыто реакционную политику, пресекая всякие проявления недовольства. В 1863 году силой оружия было жестоко подавлено польское восстание. Продолжались аресты и ссылки. Некрасов по-своему откликнулся на эти события. В стихотворении «Благодарение господу богу...» он описал «проторенную цепями» дорогу, на которой перед путником возникают тени погибших людей — «бледные тени! ужасные тени!». «Едем мы, братец, в крови по колени!» — говорит путник своему кучеру. В этом стихотворении справедливо видят попытку изобразить время массовых репрессий против революционеров:

Скоро попались нам пешие ссыльные,
        С гиком ямщик налетел,
В тесной телеге два путника пыльные
        Скачут... едва разглядел...
Подле лица — молодого, прекрасного —
        С саблей усач...

Вскоре он написал взволнованные стихи, создав образ революционера, который «умел рассудку страсти подчинять», учил «жить для славы, для свободы», отвергал сознательно «мирские наслажденья», иными словами, готовил себя к суровым испытаниям во имя освобождения родины; ей отдал он «свои труды, надежды, помыш-

ленья». Это стихотворение появилось в «Современнике» в конце 1864 года, в трехлетнюю годовщину со дня смерти Добролюбова, но без его имени в заглавии; затем оно печаталось под названием «Памяти Добролюбова».

Однако позднее сам Некрасов указал, что он не стремился нарисовать портрет одного человека. В специальном примечании он писал: «Надо заметить, что я хлопотал не о верности факта, а старался выразить тот идеал общественного деятеля, который одно время лелеял Добролюбов». Очевидно, что речь шла об идеале революционного деятеля.

Немного раньше (до мая 1864 года) Некрасов написал стихи еще об одной дороге, которая также вызвала в его воображении тени погибших; на этот раз тени замученных непосильным трудом строителей Николаевской железной дороги, соединившей Петербург с Москвой.

«Железная дорога» — одно из самых сильных гражданских стихотворений Некрасова. Сила его в правде, в трезвой мысли, в незабываемой яркости картин каторжного труда и ужасающих условий жизни вчерашних крепостных, строящих первую железную дорогу:

Мы надрывались под зноем, под холодом,
С вечно согнутой спиной,
Жили в землянках, боролися с голодом,
Мерзли и мокли, болели цингой.
Грабили нас грамотеи-десятники,
Секло начальство, давила нужда...

Об этом стихотворении Некрасова известный историк М. Н. Покровский писал, что здесь «в каких-нибудь двух сотнях изумительно сильных строк» дано все общество того времени — от пролетариев, согнанных «с Волхова, с матушки Волги, с Оки, с разных концов государства великого», до «толстого, присадистого, красного, как медь», подрядчика, не минуя промежуточного слоя, «грамотея-десятника» [1].

Стихотворению предпослан эпиграф, в котором папаша-генерал сообщает сыну, что дорогу строил граф Петр Андреевич Клейнмихель, управлявший ведомством путей сообщения при Николае I. Этот эпиграф насыщен сарказмом и ненавистью, а все стихотворение — страстное опровержение слов генерала. Воображаемый разговор с

[1] Цит. по кн.: «Пролетарские писатели — Некрасову». Л. — М., 1928, стр. 13.

мальчиком позволяет Некрасову выразить это с большой силой. Бегущие за окном тени погибших — истинных строителей дороги — требуют отмщения и восстановления поруганной справедливости. Это они, безымянные страдальцы, «к жизни воззвав эти дебри бесплодные, гроб обрели здесь себе».

Художественная выразительность стихотворения достигает предела, когда в монолог врываются голоса замученных непосильным трудом людей. В монотонности их жалоб — весь ужас ночного кошмара и не менее страшной реальности. Но труд их велик и благороден. Потому-то поэт и внушает своему собеседнику, как бы олицетворяющему все молодое поколение:

Благослови же работу народную
И научись мужика уважать.

Великое уважение к мужику, вера в его силы породили мысль о светлом будущем, проникшую даже в такое мрачное стихотворение, как «Железная дорога». Поэт создал поистине пророческие строки о народе, который «вынесет все, что господь ни пошлет»:

Вынесет все — и широкую, ясную
Грудью дорогу проложит себе...

Противоположные, непримиримые взгляды сталкиваются в этом стихотворении: для генерала народ — «варвары», «дикое скопище пьяниц»; для автора-рассказчика народ — создатель величайших духовных и материальных ценностей. Некрасов не напрасно упоминает здесь о Ватикане, о Колизее, о соборе св. Стефана в Вене: с его точки зрения, именно «народ сотворил» исторические памятники. Уже одна эта мысль делала стихи неприемлемыми для цензуры. И не удивительно, что их резкая социальная заостренность вызвала раздражение в высших кругах. Запрещая стихи к печати в 1864 году, цензурный комитет отметил как причину запрета, что в стихах нарисована «картина мучений, испытываемых рабочим людом при постройке железных дорог».

Тем не менее в 1865 году стихотворение было напечатано в «Современнике». Как же это случилось? Дело в том, что Некрасов воспользовался новым законом о печати, вступившим в силу как раз в это время. Закон освобождал журналы от предварительной цензуры, но зато

предоставлял право властям объявлять им «предостережения». После третьего предостережения журнал подлежал закрытию.

Так было и на этот раз. Журнал постоянно критиковали за «вредное направление», его обвиняли в «коммунистических тенденциях», «социальном демократизме», попытках оскорбления должностных лиц, то есть цензоров. Наконец осенью 1865 года было объявлено первое предупреждение, а в декабре последовало второе. Главным поводом для него послужила «Железная дорога». Не помогло и то, что под стихами автор выставил дату 1855, пытаясь создать впечатление, будто они относятся к временам Николая I, когда строилась дорога.

После выхода октябрьской книжки «Современника» в цензурных кругах начался очередной переполох. Один из видных чиновников представил доклад, в котором о «Железной дороге» говорилось: «Нельзя без содрогания читать эту страшную клевету на первое благодетельное предприятие нашего правительства к усовершенствованию на западный образец наших путей сообщения, клевету, изложенную в весьма звучных стихах...» На основе этого доклада и было вынесено второе предостережение, в котором от имени министра внутренних дел П. А. Валуева сообщалось: в связи с тем, что в стихах Некрасова «сооружение Николаевской железной дороги изображено как результат притеснения народа и построение железных дорог вообще выставляется как бы сопровождаемым тяжкими для рабочих последствиями, министр внутренних дел... согласно заключению совета Главного управления по делам печати определил: «Объявить второе предостережение журналу «Современник» в лице издателя-редактора, дворянина Николая Некрасова, и редактора, состоящего в чине VIII класса Александра Пыпина».

Теперь журналу оставалось ждать третьего, и последнего, предупреждения.

* * *

Еще в 1863 году произошли перемены в личной жизни Некрасова. Его все усложнявшиеся отношения с Авдотьей Яковлевной Панаевой наконец завершились полным разрывом. Что предшествовало такому решению, мы не знаем. Известно только, что примерно в середине года Авдотья Яковлевна покинула некрасовско-панаевскую

квартиру на Литейном; вскоре она вышла замуж за А. Ф. Головачова[1], скромного литератора, долго работавшего секретарем редакции «Современника», печатавшего там статьи и рецензии. Сама Авдотья Яковлевна продолжала изредка помещать в журнале свои рассказы и повести.

В мае 1864 года Некрасов собрался во вторую заграничную поездку; хотя она продолжалась около трех месяцев, сведений о ней почти не сохранилось, даже письма этого времени до нас не дошли. Жил Некрасов главным образом в Париже вместе со своими спутницами — сестрой Анной Алексеевной и француженкой Селиной Лефрен, с которой он познакомился еще в Петербурге.

Это была актриса французской труппы, выступавшей в Михайловском театре, который посещала преимущественно столичная знать. Селина отличалась живым нравом, легким характером; по воспоминаниям сводной сестры Некрасова Лизы[2], она не была очень красива, но одевалась с большим вкусом, любила музыку, хорошо пела и играла на фортепиано, что очень нравилось Некрасову. Он любил слушать ее пение, когда она в квартире на Литейном под собственный аккомпанемент исполняла французские арии и романсы. Лиза, которая тогда была подростком (она воспитывалась на средства брата и временами жила у него), запомнила, что Некрасову особенно нравился «чувствительный романс», называвшийся «В двадцать лет» («A vingt ans»). Он всегда просил его повторить.

В 1866 году Селина часть лета прожила в Карабихе. Весной следующего года она отправилась за границу, как и в прошлый раз, вместе с Некрасовым и его сестрой. В Россию она больше не возвращалась, но это не пре-

---

[1] Дочь Панаевой от этого брака — Евдокия Аполлоновна Нагродская (1866—1930) стала довольно известной писательницей.

[2] Елизавета Алексеевна Некрасова, по второму мужу — Рюмлинг (умерла в 1935 году в Ленинграде), дочь Алексея Сергеевича Некрасова и грешневской крестьянки Федосьи Полетаевой. В первый раз она вышла замуж в 1868 году (с ведома и согласия брата) за молодого композитора и скрипача Льва Александровича Фохта. Позднее, в начале 70-х годов, Фохт написал и напечатал несколько романсов на стихи Некрасова («Еду ли ночью...», «Прости, не помни дней паденья...») и, по словам Лизы, заслужил его одобрение. Некрасов помогал сестре не только в юности, но и после замужества, в частности, он дал денег на покупку рояля для ее мужа, когда тот кончил консерваторию.

рвало их отношений; в 1869 году они встретились в Париже и весь август провели на морских купаниях в Диеппе. Некрасов остался доволен этой поездкой. «Купанье в море мне решительно полезно, я здоров и недурно себя чувствую вообще, — писал он сестре. — Надо тебе сказать, что здесь постоянный ветер и холод, но это не беда — в море так и тянет человека; решительно это купанье — занятие богов!» (4 августа 1869 года). Ей же через неделю: «Я здоров: море — это благодетель слабонервных и хандрящих. Здесь сначала было постоянно холодно и ветрено, а теперь жара — море тихое и ласковое» (13 августа 1869 года).

Таких безмятежно проведенных дней немного было в жизни Некрасова. Когда же еще он чувствовал себя вполне здоровым, спокойным и как будто даже счастливым? Конечно, немалую роль сыграло здесь, кроме ласкового моря, также и присутствие женщины, которая была ему по душе. В письмах к сестре, с которой сдержанный Некрасов был откровенен как ни с кем, он говорил о своем чувстве, ругал себя «за свою глупость» и даже сделал такое признание: «Я привык заставлять себя поступать по разуму, очень люблю свободу — всякую и в том числе сердечную, да горе в том, что по натуре я злосчастный *Сердечкин»* (13 августа 1869 года). В другом письме из Парижа, накануне отъезда в Россию, он прибавил: «Так как мне в это время было иногда и хорошо, то, значит, жаловаться не на что» (19 августа 1869 года).

Что же касается Селины, то ее отношение к нему было ровным, чуть суховатым и отнюдь не столь корыстным, как это иногда изображалось в мемуарной литературе. В ее письмах, писанных на русском языке, можно обнаружить выражение чувств, какие не покупаются за деньги[1]. Вот несколько строк одного из писем. «Мой друг, — писала она Некрасову из Парижа, — я бы хотела тебе быть приятной и полезной, но что я могу сделать для этого? Не забудь, что я всё твоя. И если когда-нибудь случится, что я смогу тебе быть полезной в Париже... не забудь, что я буду *очень, очень* рада...» В другом письме: «Я понимаю здесь, как все пусто кругом и что необходимо на свете иметь *настоящего* друга...»

---

[1] Это отметил некрасовед А. В. Суслов в книге «Карабиха». М., 1952. Письма С. Лефрен не опубликованы (хранятся в ЦГАЛИ).

Некрасов долго не забывал Селину, помогал ей, а в предсмертном завещании назначил ей десять с половиной тысяч рублей. Письма его к Селине не сохранились.

Вернемся теперь к 1864 году. В середине августа Некрасов приехал в Карабиху прямо из-за границы. Как и в прошлое возвращение на родину (1857), он был вновь пленен милой его сердцу русской природой:

Опять она, родная сторона
С ее зеленым, благодатным летом.
И вновь душа поэзией полна...
Да, только здесь могу я быть поэтом!

Но другое стихотворение, написанное под свежим впечатлением от встречи с родиной, — «Возвращение» — уже носило отпечаток мрачных раздумий, быстро вытеснивших первые радостные и светлые ощущения. «И здесь душа унынием объята. Неласков был мне родины привет...» К поэту вернулось прежнее чувство боли и стыда за свою оторванность от борьбы, ему показалось, что родина к нему неласкова и готова отвернуться от сына:

Так смотрит друг, любивший нас когда-то,
Но в ком давно уж прежней веры нет.

Видя новый разгул политической реакции, тяжело переживая ссылку Чернышевского, отправленного в Сибирь этим летом (20 мая), Некрасов снова произнес суровый приговор самому себе. Донесшаяся издалека тоскливая и горькая крестьянская песня опять вернула его к покаянному настроению:

С той песней вновь в душе зашевелилось,
О чем давно я позабыл мечтать.
И проклял я то сердце, что смутилось
Перед борьбой — и отступило вспять!

Но впереди ему предстояла именно борьба, тяжелая борьба за свой журнал и за свои стихи — главное оружие поэта.

Отмена предварительной цензуры изображалась как благодетельное мероприятие правительства, однако она не могла облегчить положение журнала и жизнь его ре-

дактора. Теперь он был связан по рукам и ногам ожиданием очередного предупреждения или должен был идти на прямой риск, как это было в случае с «Железной дорогой».

Однажды к Некрасову заехал его приятель по охоте генерал Вениамин Иванович Асташев. Не застав поэта дома, он оставил шутливую записку в стихах, которая начиналась так:

Зачем гибнешь душою и телом
За проклятым зеленым столом?
Позанялся бы лучше ты делом!
Поработал бы лучше пером!

Затем следовало стихотворное же приглашение поехать на охоту. На другой же день Некрасов отправил с верно служившим ему Василием Матвеевым письмо такого содержания:

Посылаю поклон Веньямину.
На письмо твое должен сказать:
Не за картами гну теперь спину,
Как изволите вы полагать.
Отказавшись от милой цензуры,
Погубил я досуги свои, —
Сам читаю теперь корректуры
И мараю чужие статьи!
Побежал бы, как школьник из класса,
Я к тебе, позабывши журнал,
Но не знаю свободного часа
С той поры, как свободу узнал!..

Пусть цензуру мы сильно ругали,
Но при ней мы спокойно так спали,
На охоте бывать успевали
И немало в картишки играли!..
А теперь не такая пора:
Одолела пииту забота,
Позабыл я, что значит игра,
Позабыл я, что значит охота, —
Потому что Валуев сердит;
Потому что закон о печати
Запрещеньем журналу грозит;
Если слово обронишь некстати!

Стихи шутливые, не предназначенные для печати, но предмет их вполне серьезен. Журнал был поставлен в очень трудное положение. Угроза запрещения нависла над ним вполне реально, как в самые мрачные николаевские времена. Некрасов принялся высмеивать последние «законы о печати» и даже распоряжение министра:

Все пошатнулось... О, где ты,
Время без бурь и тревог?..
В бога не верят газеты,
И отрицают поэты
Пользу железных дорог!

Так писал он в стихотворении «Публика», оно вошло в цикл «Песни о свободном слове», напечатанный в начале 1866 года («Современник», № 3). Весь этот цикл явился ответом на так называемые цензурные реформы. Начиная с заглавия, «песни» пропитаны язвительной иронией, хотя автор всячески стремился придать им внешне безобидный характер. Героев этих «песен» много. Вот рассыльный Минай, изображенный и в других некрасовских стихах: Минай, который всю жизнь носил журнальные корректуры к цензорам, теперь без колебаний заявляет:

— Баста ходить по цензуре!
Ослобонилась печать...

Вот наборщики, всегда изнемогавшие над правкой корректур, исковерканных цензурой:

Набор мы рассыпаем
Зачеркнутых столбцов
И литеры бросаем,
Как в ямы мертвецов...

Теперь они надеются на облегчение своего труда, поскольку «свобода слова негаданно пришла» и цензор уже не будет портить набор. Хор наборщиков завершает эту «песню»:

Поклон тебе, свобода!
Тра-ла, ла-ла, ла-ла!
С рабочего народа
Ты тяготу сняла!

Эти водевильные «ла-ла» делают свое дело — они усиливают и без того игривую тональность куплета, подчеркивая скрытую в нем насмешку.

Вот поэт, замученный цензурой, вспоминает, как коротка была жизнь его песен — они существовали только «от типографского станка до цензорской квартиры». Но сам собою возникает вопрос: разве теперь будет лучше? Вот три литератора, они заспорили о тех же новых правилах:

Три друга обнялись при встрече,
Входя в какой-то магазин.
«Теперь пойдут иные речи!» —
Заметил весело один.
«Теперь нас ждут простор и слава!» —
Другой восторженно сказал,
А третий посмотрел лукаво
И головою покачал!

Так с неистощимой изобретательностью Некрасов с разных сторон подвергал осмеянию новую цензурную политику правительства, а заодно и журналы, что усердно расхваливали эту политику («Теперь нас ждут простор и слава!» — таков был общий тон либеральной печати). Последовательно и как будто вовсе не заботясь, чем это кончится, он нападал на официальные решения и даже не задумался упомянуть в сатирических стихах самого министра, от которого недавно получил второе предупреждение. «Что ж это смотрит Валуев, как этот автор терпим?» — восклицал он от имени ретроградов, негодующих по поводу «терпимости» правительства к непослушным журналам.

* * *

Вся деятельность Некрасова середины 60-х годов показывает, что в это время он испытывал новый прилив жизненной и творческой энергии. Он чувствовал себя здоровым и окрепшим. Л. Ф. Пантелеев рассказывает: однажды он сидел у Елисеева, «вдруг входит Некрасов; он только что вернулся из-за границы, выглядел бодро, да и сам говорил, что чувствует себя отлично».

Он опять много работает, пишет стихи, ездит на охоту, причем не только летом в деревне, но и в зимние месяцы, живя в столице. В ноябре 1864 года он четыре дня охотился в Новгородской губернии. В начале марта следующего года была большая охота на крупного зверя, и тут ему сопутствовала удача: он уложил трех медведей «росту изрядного», весом в десять и восемь пудов [1].

Вернувшись, Некрасов решил пожертвовать свою добычу для зоологического кабинета Медико-хирургической академии. Он написал доктору С. П. Боткину (с которым

[1] Это была не первая удача на медвежьей охоте; двумя годами раньше Некрасов сообщил брату Федору: «Я был на охоте четыре дня, убил медведицу и двух медведей, в коих до 40 пудов весу» (31 декабря 1862 года).

был знаком через Василия Петровича Боткина) письмо следующего содержания: «Я слыхал, что в Медицинской академии нет медведя. Третьего дня я убил трех медведей, они у меня в сарае. Я готов одного любого подарить академии, если ей нужно... Не возьмете ли на себя, глубокоуважаемый Сергей Петрович, уведомить академию...» (9 марта 1865 года).

Надо ли говорить, что предложение было с благодарностью принято, о чем на другой же день Некрасову сообщил президент академии. Других же трофейных медведей охотник оставил себе.

О некрасовской квартире на Литейном, в которой побывали все русские писатели того времени, сохранилось множество воспоминаний современников. В один голос они говорят, что ее обстановка полностью соответствовала наклонностям хозяина. Войдя в квартиру, трудно было догадаться, что здесь живет литератор. «Скорее можно было подумать, что здесь обитает какой-то спортсмен, который весь ушел в охотничий промысел; во всех комнатах стояли огромные шкапы, в которых вместо книг красовались штуцера и винтовки», — вспоминал А. М. Скабичевский. На шкафах стояли чучела птиц и зверей. А в большой комнате, между окнами, стояла опираясь на дубину, громадная медведица с двумя медвежатами; провожая гостей, хозяин с гордостью указывал на нее как на трофей, добытый в одном из самых рискованных охотничьих предприятий.

Охота на медведя не была случайностью в жизни Некрасова. Он был хорошо подготовлен к ней как человек, с детства привыкший к трудностям, к испытаниям разного рода, выработавший в себе отличную выдержку, умение владеть собой.

— Хуже трусости ничего быть не может! Как только человек струсил, он погиб, способен на всякую гадость, сейчас же превращается в зверя, — так говорил Некрасов одному из своих знакомых, подразумевая, конечно, отнюдь не только поведение на охоте.

Многие современники, хорошо знавшие Некрасова, ощущали в его охотничьих наклонностях одну из примет русского национального характера. По мнению писателя П. Д. Боборыкина, он сохранил в себе — даже в своей наружности, в лице, в манере говорить — признаки северорусского народного типа, сложившегося в приволжском крае; и притом, по словам того же писателя, он отнюдь

не грешил никаким народничаньем ни в костюме, ни в тоне, ни в образе жизни. «Лучшие его портреты показывают этот типический склад лица и фигуры, какой вы встретите в наших волжских местностях».

Тот же мемуарист добавляет, что натура у него была действительно железная, предельно выносливая и в умственном труде, и в разных физических упражнениях. «Никто бы, взглянув на него иной раз за три, за четыре года до смерти, в пасмурный петербургский день, когда он весь гнулся и морщился, никто... не поверил бы, что этот человек мог в тот же день отправиться на охоту и пробыть десять-двенадцать часов сряду под дождем и снегом. Болезни, нездоровые привычки петербургской жизни, сидение за корректурами... долгие годы бедности, почти нищеты, томительного пробивания себе дороги — все это превратило бы другого человека в дряхлого старика в те годы, когда я знал Некрасова; а он смотрел совсем не старым человеком, и только один голос, давно получивший некоторую хрипловатость, показывал, что свежесть молодости утрачена» [1].

Литературная, журнальная борьба была подлинной стихией Некрасова. Правда, ему порой казалось, что эта деятельность ограничивает его возможности как поэта. В одном из поздних стихотворений, горько сетуя, что он будто бы недостаточно послужил «великим целям века», Некрасов заявил: «Мне борьба мешала быть поэтом, песни мне мешали быть бойцом». Можно понять эти слова так: необходимость упорной борьбы с реакционной политикой властей, с цензурой, с либеральной и ретроградной печатью мало оставляла ему сил и времени для творчества, для поэзии; с другой стороны, призвание поэта мешало ему стать в ряды прямых борцов за свободу народа (этот мотив не раз встречается в некрасовской лирике).

Возможно, именно так он и думал. Но теперь, когда миновало столетие, стало вполне ясно, что борьба не мешала, а помогала ему быть поэтом — настолько, что без этой титанической борьбы просто не было бы Некрасова, каким мы его знаем. С другой стороны, «песни» не отвлекали его от борьбы, а служили главным и лучшим ее проявлением.

---

[1] Цит. по кн.: «Некрасов в воспоминаниях современников». М., 1971, стр. 252.

Так было и в середине 60-х годов, когда усиление политической реакции, необходимость отстаивать журнал и чистоту его направления призвали некрасовскую музу к самой активной деятельности. Две главные линии, наиболее отвечавшие задачам времени, преобладали тогда в его творчестве.

Одна из них — народная, крестьянская, прочно и навсегда вошла в некрасовскую поэзию. В это время написаны «Песни», сюжеты которых, взятые из гущи крестьянского быта, обработаны в духе фольклора. Это песни о недоступной счастливой жизни («У людей-то в дому — чистота, лепота...»), о безысходной бедности («Молодые»); это искусно построенный на народных поговорках и прибаутках веселый диалог «Сват и жених». И наиболее значительная среди этих песен — «Катерина».

Здесь намечен сильный характер женщины, не желающей покориться семейному деспотизму. По справедливому мнению исследователей, замысел песни остро полемичен — он родился из стремления опровергнуть славянофильскую проповедь долготерпения, будто бы присущего крестьянству. Еще Чернышевский выступил против журнала «Русская беседа», где в статье публициста Т. Филиппова прославлялись слова народной песни: «Потерпи, сестрица, потерпи, родная!» Несомненно, ту же песню Некрасов подверг ироническому осмеянию в своем стихотворении, где трижды, как рефрен, повторен совет «потерпеть»:

«Потерпи, сестрица! — отвечает брат: —
Милого побои недолго болят!»

Героиня стихотворения всем своим обликом и поведением противостоит той рабской морали, какую насаждала «Русская беседа», опираясь на некоторые мотивы фольклора, отразившие домостроевский дух, бесправие женщины, ее тупую покорность мужчине.

«Катерина» — одно из тех некрасовских стихотворений, в которых любовь людей из народа предстает — в соответствии с мировоззрением революционного просветительства — как свободное чувство равных между собою людей.

Но почему стихотворение названо именно этим женским именем? Ведь в тексте оно не фигурирует, и героиня могла бы носить любое другое имя, а могла бы и не иметь его вовсе. По этому поводу высказана любопытная

догадка: возможно, что заглавие стихотворения навеяно статьей Добролюбова о «Грозе» Островского. После этой статьи, содержащей страстную защиту права женщины на свободу чувства, имя Катерины прочно ассоциировалось с типом новой женщины из народа, «лучом света в темном царстве»[1]. Образы таких женщин, сильных и гордых, несмотря на свою тяжкую долю, все чаще появляются в поэзии Некрасова 60-х годов.

Но главной данью крестьянской теме была начатая в эти годы работа над поэмой «Кому на Руси жить хорошо». В январском номере «Современника» 1866 года появился «Пролог» к поэме, в котором были уже намечены и первые ее персонажи — «семь временно обязанных» мужиков Подтянутой губернии — и основные черты грандиозного идейно-художественного замысла, вместившего в себя весь опыт, накопленный к тому времени Некрасовым — поэтом и гражданином.

Что же касается второй отчетливо выраженной линии некрасовского творчества — сатиры, то ее бурный расцвет в 60-е годы также был подготовлен всем предыдущим развитием «музы мести и печали». Начиная с самых ранних стихов, Некрасов постоянно тяготел к сатирическому изображению действительности. Насмешка, ирония, сарказм были заложены в самой природе его таланта.

В 60-е годы он разрабатывает новые сатирические жанры, создает цикл стихотворных очерков, начатый еще в конце 50-х годов («О погоде»), пишет сатирические поэмы-обозрения, задумывает обширную серию «клубных» сатир. Все эти сочинения, вместе взятые, представляют собой явление единственное и неповторимое в русской литературе. Их можно поставить рядом только с сатирической прозой Щедрина, великого обличителя правящих классов, язв и пороков старого общества.

Еще в монологе, озаглавленном «Из автобиографии генерал-лейтенанта Ф. И. Рудометова 2-го...», Некрасов заклеймил тип чиновника-мракобеса, поставленного руководить печатью и литературой. В этом персонаже справедливо видят черты некоторых тогдашних деятелей — адмирала Путятина, который возглавлял народное просвещение и пытался ввести казарменные порядки в учебных заведениях; черты Муравьева (по прозвищу «Веша-

[1] Б. Я. Бухштаб, К истории стихотворения Н. А. Некрасова «Катерина». «Некрасовский сборник», т. 1. М. — Л., 1951, стр. 99.

тель»), с мая 1863 года управляющего Северо-Западным краем и жестоко подавившего польское восстание; к Муравьеву в некрасовском памфлете можно отнести такие строки:

...Потом, когда обширный край
Мне вверили по праву,
Девиз «Блюди и усмиряй!»
Я оправдал на славу...

Некрасов первый выдвинул эту чисто щедринскую формулу — девиз карателей и охранителей того времени «Блюди и усмиряй!». Разумеется, она относилась не только к Муравьеву. В образе генерала Рудометова создан обобщенный портрет гонителя просвещения, литературы, печати. Особенно отличился он в роли «начальника цензуры». Здесь автор с удовольствием дает слово ему самому — для рассказа о том, как он «порядок водворял» среди журналистов и ненавистных ему писателей:

...Умел я разом сократить
Журнальную подписку.
Пятнадцать цензоров сменил
(Все были либералы),
Лицеям, школам запретил
Выписывать журналы.

«Не успокоюсь, не поправ
Писателей свирепость!
Узнайте мой ужасный нрав,
И мощь мою — и крепость!» —

Я восклицал. Я их застиг,
Как ураган в пустыне,
И гибли, гибли сотни книг,
Как мухи в керосине!

В слове «крепость», видимо, заключен каламбур — намек на Петропавловскую крепость, куда сажали революционеров, неблагонадежных литераторов. Угроза, содержащаяся в этих словах, как будто превышает полномочия «начальника цензуры»; отсюда видно, что, обличая этого последнего, сатирик метил гораздо выше. Что же касается гибнущих книг, то этой теме Некрасов посвятил отдельное стихотворение «Пропала книга!», где выразил боль и негодование по поводу уничтожения (по приговору суда) смелой и честной книги; он восклицал:

И, может быть, мою печаль
Со мной разделит вся Россия!

Однако самый сильный удар по своему исконному врагу Некрасов нанес в сатире «Газетная». Это была первая из цикла «клубных» сатир, увидевшая свет. Некрасов успел воспользоваться новыми правилами о печати и опубликовал ее в первой же книжке журнала, освобожденной от предварительной цензуры (1865, № 8).

В газетной комнате Английского клуба сидят постоянно два человека. Один из них — крепостник-помещик, который пишет в клубе приказы своему старосте («Чтобы дома не тратить свечей») и в этих приказах внушает ему, что «лекарство для крестьянина лучшее — плеть...». Другой — отставной цензор николаевских времен; по привычке и по инерции, с карандашом в руках он продолжает искать «крамолу» в газетах и приходит в ужас, читая новые журналы. Поистине страшны и вид его, и все замашки:

...выправляет он слог,
С мысли автора краски стирает.
Вот он тихо промолвил: «Шалишь!»
Глаз его под очками играет,
Как у кошки, заметившей мышь..

Бывший цензор работал когда-то по призванию, не за страх, а за совесть, и потому гордится своим прошлым. В то же время этот бескорыстный гонитель мысли, которого собственный сын считает «палачом», убежден, что он берег интересы писателей, не лишил их платы за труд (то есть не все вычеркивал):

Оставлял я страницы и строки,
Только вредную мысль исключал.
Если ты написал: «Равнодушно
Губернатора встретил народ»,
Исключу я три буквы: «ра-душно».
Выйдет... что же? три буквы не в счет!
...Незаметные эти поправки
Так изменят и мысли, и слог,
Что потом не подточишь булавки!
Да, я авторов много берег!

Наконец-то Некрасову удалось хоть слегка отвести душу; не пожалев ядовитого сарказма, он отплатил цензуре за все горести и волнения. И недаром один из чиновников цензурного ведомства тогда же отметил, что Некрасов изобразил «в крайне оскорбительном виде существующее, следовательно, охраняемое силою закона звание цензора».

Официальных взысканий именно за это стихотворение не последовало: прямой выпад против цензуры предпочли «не заметить» (что не помешало властям вскоре свести счеты с журналом). Однако Некрасов, перепечатывая свою сатиру в позднейших сборниках, должен был сделать к ней специальное «нейтрализующее» примечание: «Само собой разумеется, что лицо цензора, представленное в этой сатире, — вымышленное и, так сказать, исключительное в ряду тех почтенных личностей, которые, к счастью русской литературы, постоянно составляли большинство в ведомстве, державшем до 1865 года в своих руках судьбы русской прессы».

Такое разъяснение, как ни странно, удовлетворило «блюстителей порядка»; а читатели привыкли понимать иронию и разгадывать подтекст.

В сатире «Газетная» Некрасов не забыл сказать и об атмосфере Английского клуба; искусно связав ее с настроениями петербургского общества, он указал на ту пропасть, какая отделяла его самого от клубных завсегдатаев: «Слыхивал я здесь такие сужденья и споры... Поневоле поникнешь лицом и потупишь смущенные взоры...»

В стенах клуба возникали какие-то разговоры об «отрицательном» направлении его поэзии, кто-то пенял на слишком мрачное настроение некрасовской музы. На это поэт отвечал прямо и недвусмысленно: «Коли нам так писалось и пишется, — значит, есть и причина тому!»

В споре он отстаивал твердую позицию, заявляя, что не может переделать «грустный напев» своих песен:

Мы решились при нем оставаться.
Примиритесь же с Музой моей!
Я не знаю другого напева.
Кто живет без печали и гнева,
Тот не любит отчизны своей.

Эти слова — декларация поэта-гражданина — появились в *сатирической* поэме, обличающей николаевскую цензуру. В этом сочетании лиризма с пламенной гражданственностью — яркая особенность некрасовской музы. Всегда оставаясь и борцом и поэтом, Некрасов умел одинаково страстно ненавидеть и любить, проклинать и прославлять. Как никто другой, он умел гармонически соединить в пределах одного произведения, казалось бы, несовместимое: лирику и сатиру. Касаясь самых

разных тем и вопросов, свободно переходя от памфлетного разоблачения к высокой патетике, от разговорных интонаций к приемам стихотворного фельетона, он создал новый тип сатирической поэмы, какого еще не было в русской литературе.

* * *

Некрасовское мастерство сатирических разоблачений, искусство сталкивать противоположные жизненные пласты и воплощать социальные контрасты с большой силой сказалось и в сатирической поэме «Балет».

Из самого текста поэмы можно заключить, что поэт вместе со своей Музой побывал на «бенефисном спектакле» в Мариинском театре:

Мы вошли среди криков и плеска.
Сядем здесь. Я боюсь первых мест,
Что за радость ослепнуть от блеска
Генеральских, сенаторских звезд.

Среди роскошной публики, заполняющей театральный зал, в «бриллиантовом ряду» он без труда обнаружил «предмет для сатиры»; перед ним предстали блестящие генералы и «статские тузы», накрахмаленные денди и молодящиеся старцы, «записной поставщик фельетонов, офицеры гвардейских полков и безличная сволочь салонов».

Наблюдения в театральном зале позволили нарисовать картину нравов столичного общества. От «бестрепетного взгляда» сатирика не укрылись некоторые новые явления в этом обществе — оскудение аристократии («прожилась за границею знать...»), вынужденной потесниться перед новыми «хозяевами жизни»; Некрасов видел, что приближается время торжества буржуазных дельцов, банкиров, спекулянтов, наступает век чистогана. И публика в театре уже не та, что прежде. Новые веяния ощутимы и в ложах и в бельэтаже. Одни щеголяют теперь в чужих или заложенных драгоценностях и ведут светскую жизнь на долги, другие же...

Есть в России еще миллионы,
Стоит только на ложи взглянуть,

Где уселись банкирские жены —
Сотня тысяч рублей, что ни грудь!

Обозрев зал, сатирик обращает свой взор на сцену. В этот день — 31 января 1865 года — был бенефис балерины М. Петипа. Публика встречала ее овациями. Об этом спектакле писала тогдашняя печать, утверждая, что балерина «особенно наэлектризовала» публику, явившись в костюме «мужичка» — в плисовых шароварах, в красной рубахе, в сапожках и ямщицкой шапочке набекрень. Театральный журнал того времени сообщал, что «мужичок» так понравился зрителям, что от криков «браво» можно было оглохнуть. «Все слилось в оглушительном «браво», — сказано и у Некрасова.

Осталась недовольна только его Муза: «Но молчишь ты, скучна и угрюма... Что ж ты думаешь, Муза моя?» А думала она вот что:

Гурия рая!
Ты мила, ты воздушно легка,
Так танцуй же ты «Деву Дуная»,
И в покое оставь мужика!
В мерзлых лапотках, в шубе нагольной,
Весь заиндевев, сам за себя
В эту пору он пляшет довольно...

Так в поэме совершился переход от сатирических обличений блестящего столичного общества к картине горестной жизни народа. Памфлет внезапно сменился драмой. Залитый светом зал уступил место унылой равнине, где воет метель, где сквозь снежную мглу и туман пробирается крестьянский обоз — мужики, сдавшие рекрутов, возвращаются по своим деревням. Хватает за душу это жуткое зрелище морозной, заснеженной пустыни и осиротевших крестьян, лишившихся сыновей:

Стонет белое снежное море...
Тяжело ты — крестьянское горе!

В сатире «Балет» Некрасов вернулся к постоянно волновавшей его теме — бесчеловечности рекрутчины: он видел в ней одно из главных бедствий, издавна тяготеющих над русским крестьянством.

Сатирические поэмы этих лет показали, что, несмотря на натиск реакции, поэт не только не сдался, но в труднейших условиях неутомимо продолжал борьбу.

XI

«НЕВЕРНЫЙ ЗВУК»

Некрасов не мог не видеть непрочности положения «Современника». Порой даже создается впечатление, что он сознательно шел навстречу катастрофе, понимая ее неизбежность и стараясь лишь отвоевать каждый лишний день у судьбы, дорожа возможностью напечатать еще одно стихотворение, еще одну статью. Однако гроза налетела раньше, чем он мог предполагать.

4 апреля 1866 года на Дворцовой набережной, возле ворот Летнего сада, революционер-террорист Дмитрий Каракозов выстрелил в Александра II, когда тот садился в экипаж после прогулки по саду. Покушение не удалось: кто-то толкнул стрелявшего под руку. Спасителем царя был официально объявлен находившийся в толпе зевак мастеровой из крестьян, петербургский картузник Осип Комиссаров.

Этот день оказался роковым для русской журналистики. Началась полоса жестоких репрессий. Для следствия и расправы был назначен граф Муравьев, незадолго перед тем отличившийся при подавлении польского восстания. Муравьев теперь был облечен полномочиями почти диктатора, от него зависело все, в том числе и судьба лучших журналов.

По словам Елисеева, «общество, не ожидавшее ничего подобного, пришло в страшную панику, и большинство, как всегда бывает в подобных чрезвычайных случаях, набросилось на литературу, будучи уверено, что среди нас именно надобно искать виновников покушения». Многие литераторы со дня на день ждали теперь ареста, ибо Муравьева не напрасно называли самым страшным человеком в России. «В особенности, — вспоминал тот же Елисеев, — должны были трепетать сотрудники «Современника», который считался главным очагом всех... якобинских идей».

Вскоре действительно начались обыски и аресты. Искали сообщников Каракозова, хватали всех, кого можно было заподозрить в распространении «крамолы». Среди ли-

тераторов были взяты братья Курочкины и чуть ли не вся редакция «Искры», В. Зайцев, А. Слепцов, Д. Минаев, П. Лавров. Елисеев, проведший много бессонных ночей в тревожном ожидании, также был заключен в Петропавловскую крепость.

Сразу после этого на квартиру Елисеева явился Некрасов, чтобы узнать подробности ареста одного из главных своих сотрудников. Впоследствии Елисеев отметил незаурядную смелость Некрасова: он был единственный из всех знакомых, кто отважился посетить жену арестованного в то время, когда еще продолжался обыск. Гвардейский офицер, руководивший этой операцией, немедленно арестовал и Некрасова. Но жена Елисеева сумела его выручить. Она вступила в пререкания с офицером, доказывая, что лично почти незнакома с пришедшим, но зато поэта Некрасова знает вся Россия.

Во время этого спора Некрасов, бледный и суровый, стоял посредине комнаты. Через некоторое время он поклонился хозяйке дома и вышел. Никто не посмел его остановить. Однако офицер был раздосадован тем, что проявил мягкость.

«А это все вы виноваты!» — выговаривал он жене Елисеева. У той создалось впечатление, что «Муравьев имел намерение арестовать Некрасова».

Дело было в конце апреля. А немного позже, в стихотворении «Суд», Некрасов воспроизвел некоторые подробности своей встречи с офицером, хотя придал его облику иной характер («...гвардейский офицер, любезный, статный, молодой и либеральный выше мер, день-два беседовал со мной» [1]).

После неудавшегося покушения на царя репрессии с новой силой обрушились на печать. Редактор «Современника» понял, что дела плохи и что надо спасать журнал. Он многим готов был пожертвовать ради своего детища.

Раньше всего он решил нанести визиты видным и

---

[1] «Современная повесть» в стихах «Суд», опубликованная в первом номере «новых» «Отечественных записок» (1868), была откликом на судебное дело, возбужденное цензурным ведомством по поводу напечатанной в «Современнике» статьи публициста Ю. Жуковского «Вопрос молодого поколения». Статья была признана оскорбительной для «чести и достоинства» всего дворянства. К суду были привлечены автор и А. Н. Пыпин как один из руководителей журнала.

влиятельным сановникам, которых знал по Английскому клубу или по делам охотничьим. Он побывал у министра двора графа Адлерберга, у Сергея Шереметьева — зятя самого Муравьева, у близкого ко двору Григория Строганова, который был старшиной клуба, у крупного цензурного чиновника Феофила Толстого. Результаты были неутешительны. После всех разговоров стало очевидно, что мнение правительства о «Современнике» крайне неблагоприятно и что спасти его невозможно.

Но Некрасов не мог в бездействии ждать событий и решился на чрезвычайные меры. 6 апреля он присутствовал на экстренном заседании Литературного фонда; там был принят «адрес» царю, в котором выражалась «беспредельная радость о сохранении горячо любимого монарха». Вместе с другими Некрасов подписал этот адрес.

Через несколько дней Английский клуб решил устроить обед в честь «спасителя царя». Сам спасенный только что пожаловал ему дворянское звание. Об Осипе Комиссарове писали все газеты. Его переименовали в Иосифа, воспевали в стихах, его целый месяц чествовали на различных банкетах, неизменно величая «орудием бога». Вокруг этого невзрачного и ничтожного человечка, волею случая попавшего в «герои», поднялся невообразимый шум. И когда Григорий Строганов как старшина клуба предложил Некрасову сказать стихотворный экспромт в честь Комиссарова, тот не счел возможным отказаться. На обеде, собравшем триста тридцать человек, он прочел стихи, где упоминался царь, отменивший «вековую бесправность людей», и прославлялся его спаситель как «орудие бога», направлявшего его руку. Стихи эти были напечатаны в «Современнике» и в других изданиях наряду со многими другими стихами на ту же тему.

Но это было еще не все. Неделя муравьевского террора, повергшая в панику журналистские круги, завершилась к середине апреля избранием Муравьева почетным членом Английского клуба — эта честь выпадала лишь немногим (когда-то ее удостоились Кутузов, затем Ермолов, Бенкендорф и еще два-три лица). По этому поводу 16 апреля в клубе был назначен торжественный обед. И опять граф Строганов обратился к Некрасову, не может ли он прочесть на обеде стихи в честь Муравьева. При этом, подбивая поэта, Строганов (как об этом вспо-

минал перед смертью Некрасов) утверждал, что его стихотворение могло бы «подействовать и укротить» диктатора.

За два дня до обеда Некрасов уже знал, что «Современник» будет запрещен. Феофил Толстой, член цензурного комитета, мелкий литератор и композитор, дилетант, любивший заигрывать с известными писателями, прислал ему записку, в которой сообщал: «Я только что узнал из вернейших источников, что участь «Современника» решена, и спешу поделиться с Вами этой печальной новостью». После этого Некрасову показалось, что последнее средство, которым он располагает, — это прямое обращение со стихами к Муравьеву. К тому же отказываться было поздно. Уклониться от обеда он не мог, а присутствовать и промолчать ему, поэту, было невозможно, это сочли бы за демонстрацию. И он согласился.

Сведения о выступлении Некрасова на обеде в честь Муравьева противоречивы и не очень достоверны. Те двенадцать строк, которые он прочитал, не сохранились — вероятно, поэт их сразу же уничтожил. Из немногих очевидцев выступления лишь барон А. И. Дельвиг коснулся этого эпизода в своих воспоминаниях. Вот что рассказал он:

«После обеда, когда Муравьев сидел со мной и другими членами в галерее при входе в столовую залу, к нему подошел издатель журнала «Современник», известный поэт Некрасов, об убеждениях которого правительство имело очень дурное мнение. Некрасов сказал Муравьеву, что он написал к нему послание в стихах, и просил позволения его прочитать. По прочтении он просил Муравьева о позволении напечатать это стихотворение. Муравьев отвечал, что, по его мнению, напечатание стихотворения было бы бесполезно, но так как оно составляет собственность Некрасова, то последний может располагать им по своему усмотрению. Эта крайне неловкая и неуместная выходка Некрасова очень не понравилась большей части членов клуба».

Поступок Некрасова вызвал недоумение и негодование в кругах передовой русской интеллигенции. Резко осудили его Герцен, известный народник П. Л. Лавров, каракозовец Худяков и другие. Однако никто не судил

этот поступок так сурово и так беспощадно, как сам Некрасов.

Вернувшись домой из клуба, он в тот же вечер написал горькие стихи:

Ликует враг, молчит в недоуменьи
Вчерашний друг, качая головой,
И вы, и вы отпрянули в смущеньи,
Стоявшие бессменно предо мной
Великие, страдальческие тени,
О чьей судьбе так горько я рыдал,
На чьих гробах я преклонял колени
И клятвы мести грозно повторял...

От злополучного дня 16 апреля 1866 года и до последних часов жизни Некрасов не мог простить себе «муравьевских стихов, или «мадригала», как он их называл.

Некоторые современники находили известное оправдание поступку Некрасова, называли его «военной хитростью». Например, Елисеев исходил из того, что в тогдашнем мраке «...ни одна публичная мысль, ни одно публичное слово, а тем более дело не могли явиться без компромиссов, а у Некрасова на руках было большое публичное дело, дело расширения... свободного слова...». Елисеев считал, что Некрасов жертвовал своим самолюбием не только ради одного журнала, но ради литературы вообще, пытаясь отвести от нее новые гонения.

Так же думал и другой современник — А. Ф. Кони: «Некрасов жестоко ошибся... но несомненно, что он не преследовал никаких личных целей, а рисковал своей репутацией, чтобы спасти передовые органы общественной мысли от гибели».

Но ближе к истине были те, кто безоговорочно осуждал «муравьевскую оду» и с политической и с нравственной точек зрения. Лавров, например, тоже связывал ее с историческими обстоятельствами — отсутствием развитых революционных традиций, особенностями сложившейся обстановки. Но этим он только объяснял, а не оправдывал поступок Некрасова: «В трудную минуту, когда русское общество почти целиком было охвачено приступом трусливой подлости, его желание спасти страстно любимый им «Современник» довело его до нравственного падения и даже отуманило его светлую мысль, не угадавшую, что это падение было бесполезно при сложившихся условиях».

Сам Некрасов не искал для себя оправданий и всю

жизнь жестоко страдал от сознания опрометчивости совершенного поступка. «Даже перед смертью, мучимый страшной болезнью, едва дышавший и говоривший, он не переставал приносить покаяние... Так давила и мучила его жертва, принесенная им в пользу своего великого дела» (Елисеев).

* * *

Еще в начале марта 1866 года, за месяц до каракозовского выстрела, Некрасов получил стихотворение, озаглавленное «Не может быть». Под ним стояла подпись: «Неизвестный друг». Автор стихотворения отвергал ходившие по Петербургу слухи, порочившие личность поэта; с искренним чувством он отзывался о его стихах:

Мне говорят, что ты душой суров,
Что лишь в словах твоих есть чувства пламень,
Что ты жесток, что стих твой весь любовь,
А сердце холодно, как камень.
Но отчего ж весь мир сильней любить
Мне хочется, стихи твои читая?..
И в них обман, а не душа живая?..
Не может быть!

Некрасов до конца дней помнил это стихотворное признание, но так никогда и не узнал, кто был его автором. Незадолго до смерти, пересматривая тексты своих сочинений, он сделал по этому поводу такую пометку: «Невыдуманный друг, но точно неизвестный мне... Где-нибудь в бумагах найдите эту пьесу, превосходную по стиху. Ее следует поместить в примечании».

Между тем Некрасов был знаком с автором этой пьесы; автора звали Ольга Петровна Мартынова; под псевдонимом «Ольга Павлова» она печатала стихи, рассказы и переводы во второстепенных журналах. Разделяя всеобщее увлечение молодежи поэзией Некрасова, она в октябре 1865 года решила лично познакомиться с любимым поэтом и отнести ему несколько своих стихотворений в надежде, что они появятся в «Современнике».

Из сохранившегося дневника матери Ольги Павловой[1] мы узнали, как мать и дочь вместе отправились к Некрасову на Литейный и как он их принял.

---

[1] Фрагменты дневника опубликованы Л. Клочковой в «Некрасовском сборнике», вып. II. Л. — М., 1956.

После первого знакомства, когда тридцатилетняя поэтесса вручила ему свои стихи, Некрасов сказал:

— Вам угодно, чтоб я сейчас прочел, или вы оставите у меня их, чтоб я прочел на досуге?

Разумеется, она согласилась оставить, а Некрасов записал ее адрес. Затем, собравшись уходить, она сказала:

— Позвольте мне иметь счастье пожать вашу руку.

По словам матери, присутствовавшей при этом, она, вероятно, хотела прибавить: «Как первого нашего поэта», — но по застенчивости не прибавила. Он проводил их в переднюю, еще раз пожал ей руку и посмотрел ей в глаза так просто и с такой добротой, что обе дамы были совершенно очарованы. Они вышли на улицу как в чаду и чуть было не сказали извозчику, что только что разговаривали с самим Некрасовым...

Через неделю они снова поехали на Литейный за ответом. В том же дневнике записано: «Ездили опять к Некрасову и очаровались им еще более. Он такой человек, какого я в жизни еще не встречала... Он принял нас, как и прежде, очень учтиво и с своей обыкновенной грустью во взоре. Сказал, что читал ее стихи, что они хороши... один [«стих»] будет напечатан в октябре, другой — в ноябре. Что он сам к нам хотел зайти, что если б Олюша не пришла, то он бы завтра у нас был...»

Два стихотворения Ольги Павловой Некрасов действительно напечатал в ближайших номерах «Современника».

У Мартыновых бывали люди, близкие к литературным кругам. И не удивительно, что до их дома доходили разные сплетни о Некрасове, в том числе самые невероятные. Например, что он кутила, что ему нельзя показывать хорошие стихи, поскольку он не терпит соперничества; что он будто бы ненавидит поэта Розенгейма (!) за то, что у того «стих хорош». И делает честь матери Ольги Павловой, что она отметила в своем дневнике: «Все пустые наговоры на него мне показались так низки, я не верю ничему, и всё, что эти душонки об нем распространяют, происходит от зависти. Им до него, как до звезды небесной, далеко». Очевидно, в атмосфере этих слухов и разговоров о любимом поэте и родилось стихотворение «Не может быть», подписанное «Неизвестным другом».

Оно было послано еще до муравьевских событий. А после этого к прежним слухам и сплетням прибавились новые упреки и обвинения, вызванные мадригалом и по-

тому в большей части заслуженные. В печати появились насмешливые стихи и язвительные эпиграммы, приходили письма с упреками в отступничестве. На каком-то вечере к Некрасову подошел поэт Владимир Щиглев и наговорил резкостей.

Тургенев тоже не промолчал: назвал Некрасова «официальным поэтом Английского клуба».

Некрасов, до предела угнетенный всем этим, долго молчал согласно своему обыкновению. Но через некоторое время он ощутил потребность как-то ответить на упреки, оценить, осудить свой поступок. И тут он вспомнил о стихотворении «Не может быть». Оно-то, как видно, и послужило толчком для написания новых стихов о себе и своей вине.

Этим стихам («Умру я скоро»), относящимся к концу февраля 1867 года, предпослано посвящение: «...неизвестному другу, приславшему мне стихотворение «Не может быть». Однако поэт отвечал не только одному другу, по сути дела, он обращался к народу, ему предназначались все эти горестные самообличения.

О чем же эти стихи? «Гнетущие впечатления» детства и молодости, путь, полный преград, приверженность к «минутным благам» жизни, уход единомышленников, на которых можно было бы опереться, оторванность от народа, наконец, трогательная мольба о прощении, обращенная к родине, — вот содержание стихотворной исповеди «Умру я скоро». Здесь же и объяснение того «неверного звука», который сам поэт исторг из своей лиры:

Не торговал я лирой, но, бывало,
Когда грозил неумолимый рок,
У лиры звук неверный исторгала
Моя рука... Давно я одинок;
Вначале шел я с дружною семьею,
Но где они, друзья мои, теперь?
Одни давно расстались со мною,
Перед другими сам я запер дверь;
Те жребием постигнуты жестоким,
А те прешли уже земной предел...
За то, что я остался одиноким,
Что я ни в ком опоры не имел,
Что я, друзей теряя с каждым годом,
Встречал врагов все больше на пути —
За каплю крови, общую с народом,
Прости меня, о родина! прости!..

«Неумолимый рок» как один из мотивов своего прегрешения, одиночество, судьба друзей, среди которых под-

разумевались Чернышевский и Михайлов («Те жребием постигнуты жестоким...»), Белинский и Добролюбов («А те прешли уже земной предел...»), покаяние, плач и мольба... Поразительна искренность и сила этих признаний!

После смерти Некрасова редакция «Отечественных записок» писала в некрологе (он был запрещен цензурой): «За каплю крови, общую с народом», сохраненную поэтом до конца жизни, оно [интеллигентное общество] не вспомянуло на его могиле о тех случайных отклонениях, которые он делал на пройденном им пути и которые так смущали совесть поэта в последние годы его жизни».

Некрасовским «покаянным» стихам придавал большое значение В. И. Ленин. В статье «Еще один поход на демократию» (1912) он писал: Некрасов «грешил нотками либерального угодничества, но сам же горько оплакивал свои «грехи» и *публично каялся* в них... *«Неверный звук»* — вот как называл сам Некрасов свои либерально-угоднические «грехи» [1]. Ленин настойчиво подчеркивал, что, несмотря на временную слабость, все симпатии Некрасова были на стороне Чернышевского, то есть на стороне революционной демократии.

XII

СНОВА «ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ ЗАПИСКИ»

Волнения и тревоги этой весны глубоко потрясли Некрасова. Его «угнетенный вид» запомнили современники. Они же рассказывают, что самый образ жизни поэта заметно изменился — дом стал «менее открытым», обеды не так часты и меню куда проще.

Его потянуло к природе, захотелось отдохнуть от всех дел и неприятностей, и при первой возможности он уехал в свою любимую Карабиху. А через неделю, 1 июня

[1] В. И. Ленин, Полн. собр. соч., т. 22, стр. 84.

По Высочайшему повелѣнію, объявленному министру внутреннихъ дѣлъ предсѣдателемъ комитета министровъ, 28-го минувшаго мая, журналы «Современникъ» и «Русское Слово», вслѣдствіе доказаннаго съ давняго времени вреднаго ихъ направленія, прекращены.

1866 года, в тот самый день, когда должна была выйти в свет запоздавшая майская книжка журнала, А. Н. Пыпин, заменявший Некрасова, получил официальное извещение о закрытии «Современника». Читатели узнали об этом из газеты «Северная почта», где 3 июня было напечатано следующее сообщение:

«По высочайшему повелению, объявленному министру внутренних дел председателем комитета министров 28-го минувшего мая, журналы «Современник» и «Русское слово» вследствие доказанного с давнего времени вредного их направления прекращены».

Закрытие двух журналов произвело тяжелое впечатление в различных кругах. Никитенко отметил в своем дневнике: «Я не помню давно, чтобы правительственная мера производила такое единодушное и всеобщее недовольство...» (23 июня 1866 года).

Некрасов тут же вернулся в Петербург, чтобы заняться ликвидацией дел запрещенного журнала. Он дал объявление для годовых подписчиков, предложив им получить обратно деньги за восемь недоданных номеров. И тут выяснилось, что сочувствие читателей к беде, постигшей «Современник», было столь сильно, что желающих взять деньги почти не оказалось. Один из мемуаристов передает такой случай: в какой-то канцелярии нашлось сорок подписчиков, но получить деньги пожелал

только один, да и на него так напали сослуживцы, что и он отказался.

Вскоре Некрасов вернулся в Карабиху, где жил до поздней осени. Зиму он провел в Петербурге, а весной 1867 года уехал за границу. В Риме он встречался с русскими художниками, особенно подружился с Валерием Ивановичем Якоби, автором картины «Привал арестантов», и его женой Александрой Николаевной, причастной к гарибальдийскому движению и знакомой с самим Гарибальди.

В Париже и Флоренции Некрасов работал над лирической комедией «Медвежья охота», где нашли выражение мысли поэта о себе, о людях 40-х годов, в частности о Белинском. Некрасов судил здесь о судьбе своего поколения с позиций человека, пережившего разгром передового общественного движения.

В этом году написано несколько стихотворений, отмеченных высокой зрелостью некрасовского таланта. Первое место среди них занимает «Еще тройка», где снова возник образ политического ссыльного. Несколько лет назад, в стихотворении «Благодарение господу богу...» упоминались «в тряской телеге два путника пыльные»; отношения между ними были намечены бегло: «Подле лица — молодого, прекрасного — с саблей усач...» Теперь же поэт шире развернул сходную тему; перед нами опять дорога, опять тряская телега и те же путники, только образы их обрисованы более подробно, а усач прямо назван — жандарм:

...В телеге той
Сидит с осанкою победной
Жандарм с усищами в аршин,
И рядом с ним какой-то бледный
Лет в девятнадцать господин.

Читателю не нужно было разъяснять, кто же этот юноша; однако содержащийся в стихотворении намек на «нигилиста» и рефрен, четырежды повторенный, вносят полную ясность:

Куда же тройка поспешает?
Куда Макар телят гоняет.

Острое политическое содержание, иронические интонации и легкость свободно запоминающегося стиха сде-

лали этот «романс» популярным среди демократической молодежи.

Тогда же примерно написан цикл стихов, посвященных русским детям. Это веселый и, должно быть, прямо списанный с натуры портрет коробейника «дядюшки Якова»; это бесхитростная «притча про пчелок», спасенных от весеннего половодья; к ним примыкает и удивительный в своей простоте и жизненности более поздний рассказ о костромском крестьянине дедушке Мазае, собиравшем в свою лодку во время разлива погибающих зайцев. Стихи проникнуты неподдельной любовью к детям, к природе, к людям того «низменного края», где любил охотиться Некрасов («В августе, около Малых Вежей, с старым Мазаем я бил дупелей»).

Стихи, посвященные русским детям (и среди них знаменитый «Генерал Топтыгин»), родились в минуты душевного спокойствия и той умиротворенности, в какую всегда погружался поэт, оказавшись наедине с природой или среди людей деревни. Отсюда светлый колорит этих стихов, их невыдуманные сюжеты, их истинно народный юмор.

Деревенскими впечатлениями навеяны и еще два стихотворения уже совсем иного характера — «Эй, Иван!» и «С работы». В первом из них как живой «намалеван» крепостной человек, впитавший в себя все пороки античеловечного уклада, доведенный господами до петли. Это «тип недавнего прошлого», по определению Некрасова:

Род его тысячелетний
 Не имел угла —
На запятках и в передней
 Жизнь веками шла.

Тип дворового Ивана не раз привлекал внимание Некрасова. Работник на все руки, пьяный и голодный, грязный, побитый, но неунывающий, он еще в 40-х годах появлялся в некрасовских стихах. Тогда его звали Савкой: «В понедельник Савка мельник, а во вторник Савка шорник...» Но вот прошли годы, и в пореформенное время Савка — или Иван — уже сделался типом прошлого, он исчез из опостылевшей усадьбы и затерялся в народе:

Как живешь ты на свободе?
 Где ты?.. Эй, Иван!

* * *

Летом 1867 года Некрасов возвратился из заграничного путешествия. В Петербурге его уже не ждал «Современник». Передовая часть русских писателей, публицистов, критиков лишилась своей трибуны. Русская литература и журналистика переживали тяжелые времена...

Мысль о создании нового демократического журнала буквально носилась в воздухе. И, по мнению многих литераторов, решить такую задачу мог только Некрасов. Известный в те годы беллетрист М. В. Авдеев советовал Некрасову (31 октября 1867 года): «Возьмите дозволение на журнал, назовите его «Современность», и у Вас будет 5 тысяч подписчиков... Вы обязаны сделать это для литературы: Ваше имя на обертке — знамя, которого теперь нет и значения которого вряд ли еще скоро кто добьется. Не сложить же Вам уже руки, и надо Вам появиться хоть для того, чтобы не сказали, что Вы забыты или изменились».

И Некрасов доказал, что он не сложил руки и не изменился. В это время, несмотря на почти полную безнадежность своего положения в журналистике, он уже обдумывал план издания литературного сборника и помышлял о журнале, без которого не мог существовать. Он всегда стремился к участию в освободительном, революционном движении. Журнал был одной из форм реализации этого стремления.

Весь Некрасов сказался в таком поступке: тотчас по приезде он разыскал Дмитрия Ивановича Писарева, недавно вышедшего на свободу (он больше четырех лет провел в Петропавловской крепости), и немедленно начал с ним переговоры о сотрудничестве. Он знал, что Писарев, талантливый литератор, выдающийся критик, с закрытием «Русского слова» лишился своей постоянной трибуны, которая принесла ему огромную популярность. И он тут же заказал ему несколько статей для будущего сборника.

О том, как это произошло, мы узнаем из письма Писарева к матери: «Ко мне неожиданно явился утром книгопродавец Звонарев [1] и сообщил мне, что Некрасов желал бы повидаться со мною для переговоров о сборнике,

---

[1] С. В. Звонарев служил в конторе «Современника», позднее был связан с Некрасовым по издательским делам.

который он намерен издать осенью. Если, дескать, Вы желаете, Николай Алексеевич сами приедут к Вам, а если можно, то они просят пожаловать к ним сегодня утром. Я ответил, что пожалую — и поехал. Прием был, разумеется, самый любезный. С первого взгляда Некрасов мне ужасно не понравился... Но уже минут через пять свидания прелесть очень большого и деятельного ума выступила передо мною на первый план и совершенно изгладила собою первое неприятное впечатление. Было говорено достаточно — и о сборнике, и о предполагаемом журнале, и о литературе, и о современном положении дел...»

Писарев предложил для сборника три статьи, в том числе о романе Тургенева «Дым» и о Дидро. Некрасов это одобрил. А когда критик упомянул, что в «Русском слове» Благосветлов платил ему по пятьдесят рублей за лист, Некрасов ответил, что он никогда не решился бы предложить ему такую плату, и тут же назначил семьдесят пять рублей за лист. Затем, узнав, что Писарев нуждается, Некрасов хотел дать деньги вперед, сколько потребуется. «Я отказался от наличных, — заканчивает свой рассказ Писарев, — но попросил записку, по которой, в случае надобности, могу немедленно получить 200 р. Записка была немедленно написана и лежит у меня в шкатулке» (3 июля 1867 года).

Сборник, задуманный Некрасовым, так и не осуществился. Но в это время Андрей Краевский, который когда-то заявил, что ни одной строки некрасовской не появится в его «Отечественных записках», сам предложил Некрасову взять на себя заведование отделом беллетристики в его потускневшем журнале, с каждым годом терявшем подписчиков.

Некрасов, конечно, отказался от участия в «оживлении» издания Краевского, сославшись на то, что лицо журнала теперь определяет не беллетристика, а прежде всего критика и публицистика. Но тут же предложил взять полностью в свои руки «Отечественные записки», с тем чтобы Краевский, оставаясь издателем, получал бы определенную арендную плату и не вмешивался в литературные дела и мнения новой редакции.

Краевский охотно пошел на это, понимая, что издание журнала, утратившего популярность, дошедшего до

катастрофы, сулило ему в дальнейшем одни убытки. А эта коммерческая сторона дела составляла для него главный интерес. В специальном договоре, заключенном в конце ноября 1867 года, было обусловлено, что Некрасов становится «гласно ответственным» редактором и получает «полную свободу» во всем, что касается собственно редактирования журнала, а Краевский принимает все обязанности издателя, то есть берет на себя всю хозяйственную часть. Кроме того, издатель, прекрасно понимавший, в каком духе Некрасов будет вести журнал, выговорил себе право просматривать корректуры якобы с целью предохранения издания от возможных цензурных взысканий; но все свои замечания он должен был сообщать редакции.

Некрасов вынужден был примириться и с тем, что имя Краевского осталось на обложке журнала как имя редактора. Правительство, хотя и знало, что действительным руководителем «Отечественных записок» стал Некрасов, не разрешило объявить об этом читателям. И, несмотря на многочисленные попытки, Некрасову так и не удалось добиться официального утверждения в качестве редактора.

Все это не значило, конечно, что Некрасов собирался заключить союз с Краевским (злопыхатели уже начали язвить по этому поводу). Он слишком хорошо знал цену беспринципному издателю «Отечественных записок» и, несмотря на вежливые письма к нему, никогда бы не согласился иметь Краевского в качестве, скажем, соредактора. Просто Некрасов использовал единственную в ту пору возможность восстановить печатный орган русской демократии, хотя и понимал, что для этого придется пойти на некоторые жертвы. Об организации нового журнала нечего было и думать. Некрасов понимал, что разрешения на это он не получит, — недавно закрытый «Современник» был хорошо памятен в правительственных кругах.

Договор с Краевским означал важную победу Некрасова в борьбе за журнал, которому предстояло развивать традиции Чернышевского и Добролюбова. Русская демократическая мысль вновь обретала для себя трибуну.

Однако переход «Отечественных записок» в руки Некрасова проходил не без трудностей. Репутация Краевского и его журнала была такова, что вступать в соглашение с ним приходилось с осторожностью. В октябре

1867 года Некрасов собрал по этому поводу совещание, на котором присутствовали его соратники по «Современнику» Салтыков и Елисеев, а также Писарев. Некрасов поднял вопрос о том, рассказывает Елисеев, брать ли в аренду «Отечественные записки», и все на это согласились. Согласились и на то, чтобы журналу при новой редакции дано было направление «Современника». Затем зашла речь о редакторе. И здесь Салтыков и Елисеев решительно запротестовали против того, чтобы им значился (хотя и номинально) Краевский, и даже хотели уйти. Но Некрасов удержал их:

— Поверьте, что Краевский в качестве ответственного редактора будет тише воды, ниже травы. Журнал до сих пор не давал ему ничего, кроме чистого убытка и хлопот, а теперь он будет получать арендную плату... Что касается до криков других журналов и газет об этом странном соединении прежних сотрудников «Современника» с Краевским, об измене их прежнему направлению, то ведь за нас будет говорить сам журнал. Из него увидят все, изменили ли мы прежнему направлению.

«В таком роде, — продолжает Елисеев, — держал к нам свою речь Некрасов, и мы с Салтыковым не могли не признать ее резонною». Елисеев рассуждал так: «...что же тут дурного, что мы отнимаем орган у противной нам партии и превращаем его в орган своей партии. Тут мы не только ничего не проигрываем, напротив, приобретаем. Надобно только устроить дело так, чтобы мы стали в нем вполне независимы от собственника журнала».

К этому рассказу Елисеева можно лишь добавить, что суть дела действительно заключалась в переходе журнала из рук одной партии в руки другой. И это прекрасно понимал Некрасов, начавший активно осуществлять этот переход.

Осенью 1867 года он приступил к собиранию сил новой редакции «Отечественных записок», стремясь привлечь к делу прежних сотрудников запрещенного «Современника». Для руководства журналом Некрасов организовал новый триумвират — пригласил Салтыкова (отдел беллетристики) и Елисеева (отдел публицистики), а себе, кроме общего руководства, оставил отдел поэзии. Отделом библиографии ведал Н. С. Курочкин. Секретарем редакции был В. А. Слепцов, а с 1872 года — А. Н. Плещеев.

Всю нелегкую работу по изданию журнала Некрасов вел совместно с Салтыковым, часто опираясь на его опыт и талант, прислушиваясь к его советам. «Без него, — писал Некрасов о Салтыкове, — конечно, дело не может склеиться...» Когда в 1875 году тяжело больной сатирик отправился за границу для лечения, Некрасов не находил себе места от тревоги за его жизнь. Он писал Анненкову в Баден-Баден: «Журнальное дело у нас всегда было трудно, а теперь оно жестоко; Салтыков нес его не только мужественно, но и доблестно, и мы тянулись за ним, как могли. Не говорю уже о том, что я хорошо его узнал и привязался к нему» (27 апреля 1875 года).

В день отъезда Салтыкова Некрасов сложил стихи, в которых запечатлелась вся атмосфера тогдашнего журнального дела, требовавшего от своих рыцарей поистине подвижнических усилий:

О нашей родине унылой
В чужом краю не позабудь
И возвратись, собравшись с силой,
На оный путь — журнальный путь...
На путь, где шагу мы не ступим
Без сделок с совестью своей,
Но где мы снисхожденье купим
Трудом у мыслящих людей.
Трудом и бескорыстной целью...
Да! будем лучше рисковать,
Чем безопасному безделью
Остаток жизни отдавать.

Со своей стороны, Салтыков глубоко уважал Некрасова, ценил его как поэта и редактора, преклоняясь перед его усилиями в борьбе за сохранение журнала. Одно из писем Салтыкова 70-х годов служит превосходным дополнением к только что приведенным некрасовским стихам: «Хлопоты с цензурой унизительные, и, право, я удивляюсь Некрасову, как он выдерживает это. Как хотите, а это заслуга, ибо, собственно говоря, он материально обеспечен. Стало быть, тут что-нибудь, кроме денежного расчета, действует. Боюсь, что он устал, что-то начинает поговаривать об отставке. А без него мы все — мат» (15 апреля 1876 года). И в другой раз, когда Некрасов был уже тяжело болен: «Как только Некрасов умрет (в чем я почти не сомневаюсь), так, вероятно, рушатся и «Отечественные записки» (25 ноября 1876 года).

Самому же Некрасову Салтыков в это время писал:

ОТЕЧЕСТВЕННЫЯ

ЗАПИСКИ

1868

№ I ЯНВАРЬ

САНКТПЕТЕРБУРГЪ

Въ типографіи А. А. Краевскаго (Литейная № 38)

«Болезнь Ваша тревожит и мучит меня лично совершенно так же, как и моя собственная. Тоскливо, тревожно, ничего делать не хочется. Условия деятельности так сложились, что она возможна только вместе, а без деятельности и жизнь имеет мало смысла...» (13 октября 1876 года).

Роль главного критика в новых «Отечественных записках» по предложению Некрасова взял на себя Писарев. И он действительно уже в первых номерах 1868 года опубликовал несколько больших статей. Но смерть (во время купанья в море) внезапно оборвала так успешно начатую и многообещающую деятельность. Некрасов был взволнован этой ранней гибелью. Он написал проникновенные стихи, которые заканчивались так:

Русский гений издавна венчает
Тех, которые мало живут,
О которых народ замечает:
«У счастливого недруги мрут,
У несчастного друг умирает...»

С конца 1868 года в «Отечественных записках» начал работать молодой, радикально настроенный публицист и критик Н. К. Михайловский. Надо признать, что лучшего выбора Некрасов не мог бы сделать. В одном из писем он так писал о новом литераторе: «...есть у нас сотрудник Н. Михайловский; теперь ясно, что это самый даровитый человек из новых, и ему, без сомнения, предстоит хорошая будущность...» (15 июля 1869 года).

Михайловский же навсегда сохранил преклонение перед Некрасовым — руководителем «Отечественных записок». Ему даже казалось, что редакторская работа Некрасова значила больше, чем его поэтическая деятельность.

Из бывших сотрудников «Современника» в новой редакции не оказалось Ю. Г. Жуковского, М. А. Антоновича и А. Н. Пыпина. Некрасову пришлось расстаться с ними, потому что они претендовали на такие права и такую власть в журнале, какими обладал сам Некрасов. Он не принял условий, выдвинутых Жуковским от имени всей группы.

Раздраженный Жуковский вместе с Антоновичем начал против Некрасова «словесную войну». Они выпустили скандальную брошюру, нечто вроде памфлета, под заглавием «Материалы для характеристики русской литературы» (1869), в которой весьма грубо пытались скомпрометировать Некрасова в общественном мнении, сводили с ним мелкие счеты, намекали на мнимое вероломство по отношению к недавним сотрудникам и, главное, обвиняли в измене знамени Чернышевского, подтверждая это ссылкой на примирение с давним противником, либералом Краевским.

Это были тяжелые обвинения. Противники Некрасова и обновленных «Отечественных записок» ликовали по поводу раздора во враждебном лагере. Б. Маркевич писал о брошюре: «Это утешительное явление в смысле разоблачения одного из главнейших авторитетов для молодежи нашего тяжелого времени». Маркевичу вторил на страницах журнала «Заря» критик Н. Страхов: «Нас не могло не порадовать появление книжки гг. Антоновича и

Жуковского; авось она снимет с кого-нибудь ярмо авторитета...»

Еще до этого тот же Страхов в письме уже без всяких церемоний заявил: «Антонович... и Жуковский... намерены растерзать Некрасова — в добрый час!» [1]

Некрасов молчал. На брошюру Антоновича и Жуковского отвечали в «Отечественных записках» Салтыков и Елисеев. Некрасов знал, что книжки обновленного журнала говорили сами за себя и наглядно опровергали — из месяца в месяц — возмутительные наветы. Только спустя много лет Антонович вынужден был признать свою ошибку. «Я откровенно сознаюсь, что мы ошиблись относительно Некрасова: он не изменил себе и своему делу, но продолжал вести его горячо, энергично и успешно», — писал он в 1903 году в очерке «Из воспоминаний о Николае Алексеевиче Некрасове».

Что Антонович и Жуковский ошиблись, скоро стало ясно для всех. И писатели, и читатели, и цензура увидели, что некрасовский журнал является продолжением «Современника». Показательно в этом смысле отношение Л. Н. Толстого к «Отечественным запискам». В августе 1874 года он послал Некрасову статью «О народном образовании» и при этом писал: «Несмотря на то, что я так давно разошелся с «Современником», мне очень приятно посылать в него свою статью, потому что связано с ним и с вами очень много хороших молодых воспоминаний». Между тем Толстой хлопотал о помещении статьи в «Отечественных записках», где она вскоре и была напечатана. Это была, вероятно, обмолвка Толстого, но обмолвка характерная: в его сознании два некрасовских журнала соединились в один.

Подобное мнение было широко распространено в то время. «Современник» возобновил свое существование в виде «Отечественных Записок», — писал П. Д. Боборыкин. Но, пожалуй, наиболее обстоятельно это мнение обосновал цензор Юферов. В одном из своих донесений он писал: «В течение последних лет направление «Отеч. Зап.» резко делится на два совершенно несхожие между собой периода. Умеренно-консервативные и почти безукоризненные в цензурном отношении до 1868 года, «Отеч. Зап.» с этого времени вдруг заражаются вредной тенденциозностью прежнего «Современника» и на этом поприще

[1] Цит. по книге М. В. Теплинского «Отечественные записки» (1868—1884). Южно-Сахалинск, 1966, стр. 66.

подвизаются и поныне. Эта резкая перемена в направлении объясняется вступлением в журнал бывшего редактора «Современника» Н. А. Некрасова, а с ним вместе и бывших сотрудников этого журнала Щедрина, Елисеева и др.

«Отеч. Зап.» не только предаются крайним утопическим увлечениям «Современника», но стараются представить совершенно верное продолжение этого, приостановленного по высочайшей воле, издания: подбор статей, система их расположения, содержание их, внешний вид издания, даже шрифт, все это как бы воскрешает «Современник», только под названием «Отечественных Записок».

О воскрешении «Современника» говорили и другие, даже чисто внешние признаки: редакция помещалась в том же доме, на углу Литейной и Бассейной, в той же квартире Некрасова. «Тот же лакей угрюмого вида, — вспоминал Скабичевский, — встречал вас в передней; та же попорченная молью колоссальная медведица с двумя медвежатами стояли у среднего окна... так же по понедельникам собирались сотрудники в час пополудни. Словом, все шло по-старому, как было полтора года назад».

Что же касается существа дела, то Некрасов (вместе с Салтыковым) сделал все, что мог, для возрождения в новом издании боевых традиций «Современника». И здесь Некрасов снова показал себя как великолепный редактор и организатор литературного дела.

Некрасов был не просто хорошим, но идеальным редактором журнала. Так считали даже те литераторы, которые не принадлежали к числу его единомышленников и доброжелателей. «Лучшего редактора, как Некрасов, я не знал, — пишет П. М. Ковалевский, — ...умнее, проницательнее и умелее в сношениях с писателями и читателями никого не было... Редакция руководилась им неуклонно, как оркестр хорошим капельмейстером. Так, как хороший капельмейстер набирает хороших музыкантов и, убедившись в их уменье делать свое дело, требует одного внимания к движениям своей палочки, так и Некрасов умел подобрать сотрудников, которым довольно было сказать: «отцы, маленечко потише!..» или «приударить позволяется, отцы, — валяйте...», и редакционный оркестр исполнял литературные симфонии и фуги, каких в других редакциях не исполнялось».

С необыкновенной энергией, проницательностью и чутьем привлекал Некрасов к участию в своих журналах разных литераторов. У Некрасова «есть талант отыскивать и приманивать таланты», — утверждал Гончаров. Добавим, что таланты приманивались нужные и полезные журналу, так или иначе отвечавшие его направлению и идеям. К сотрудничеству в «Отечественных записках» Некрасов прежде всего, естественно, пригласил писателей, печатавшихся раньше в «Современнике»: А. Н. Островского, Г. И. Успенского, В. А. Слепцова, Ф. М. Решетникова, А. И. Левитова, Марко Вовчок, А. Н. Плещеева. Они горячо откликнулись на приглашение Некрасова. «Быть сотрудником журнала, руководимого Вами, — писал Некрасову 8 декабря 1867 года Плещеев, — я считаю не только за особое удовольствие, но и за честь... Ведь, право, руки отнимались — работать никакой охоты не было, когда ни одного сколько-нибудь сносного журнала не было».

Наряду с бывшими сотрудниками «Современника» Некрасов привлек в «Отечественные записки» и эмигрантов — П. Лаврова и В. Зайцева. «Открыты» и поддержаны Некрасовым были и многие молодые писатели: С. Н. Терпигорев, Н. Е. Каронин, Н. Н. Златовратский. Некоторые из них (Д. П. Сильчевский, Г. А. Мачтет и другие) были участниками народнического движения. Все они вспоминали о Некрасове-редакторе с глубокой благодарностью. «К начинающим писателям он относился с большим вниманием, охотно давал им разные советы. Нельзя было при этом не любоваться его умом», — писал Михайлов.

О внимании Некрасова к молодым литераторам, о щедрости и заботливости по отношению к ним ходили почти легенды. Вот еще свидетельство очевидца. Начинающая писательница Л. Нелидова принесла в редакцию чуть ли не первую свою рукопись. «Меня поразил прежде всего тон Некрасова, — рассказывала она, — оттенок бережной и как бы почтительной внимательности, с которою он обращался ко мне. Мы словно поменялись ролями... Ни малейшей тени сознания своего значения, желания играть роль, произвести впечатление не было заметно в нем. Он говорил со мною так, как будто бы я была Жорж Санд, и он, исполняя поручения редакции, решался просить меня продолжать занятия литературой и сотрудничать в «Отечественных записках».

Отзывов такого рода в воспоминаниях современников сохранилось множество.

Перечень писателей, публицистов, критиков, привлеченных Некрасовым к участию в «Отечественных записках», и сотрудников редакции говорит сам за себя. Не мудрено, что «целое поколение, поколение 70-х годов, энергичное и боевое, считало «Отечественные записки» почти что своим органом» (О. В. Аптекман). При этом Некрасов-редактор отнюдь не страдал узостью или ограниченностью. В своем отношении к литературе и писателям он был широк и объективен. «В этом смысле, — вспоминает П. Д. Боборыкин, — я, по крайней мере, на своем писательском веку не знавал редактора более либерального, чем Некрасов, беря слово «либеральный» в его применении к свободе авторского труда». Мемуарист рассказывает, что Некрасов весьма сдержанно пользовался своими редакторскими правами, не стеснял оригинальности и творческой инициативы писателей, не заставлял их «подделываться под тон издания», не требовал от них «часто горьких и унизительных уступок, не вызываемых вовсе цензурными соображениями». Отмечая, что редактор весьма строго «держался своего знамени», Боборыкин обращает внимание на то, что Некрасов печатал и такие произведения, как «Подросток» Достоевского, показывая «широкое отношение к таланту и авторской самобытности». Эта широта сказалась и в том, что в «Отечественных записках» появлялись романы и статьи самого Боборыкина и некоторых других авторов, и это не мешало журналу быть изданием удивительно цельным. Произведения разного характера и разных жанров, печатавшиеся в журнале, били в одну цель и прекрасно дополняли друг друга.

Современники не раз отмечали, что в русской журналистике вряд ли был другой редактор, более преданный интересам литературы, чем Некрасов. Вся его деятельность журналиста была одушевлена любовью к делу, к успехам свободной русской мысли и литературы. Это видели и читатели «Отечественных записок». Изменение скучнейшего журнала без направления, каким он был при Краевском, было поразительно. Недаром в первый же год при Некрасове подписка поднялась с двух до пяти тысяч, а в следующем году увеличилась еще на одну тысячу.

Огромных усилий требовала от Некрасова борьба с цензурой и «литературной политикой» самодержавия. Журнал, стоявший в центре общественно-литературного движения, боровшийся с царизмом, остатками крепостничества и капитализмом, пропагандировавший идеи социализма и революции, находился под наблюдением цензуры и правящих кругов. И Некрасов должен был проявить много воли и ума, чтобы найти те «щиты и громоотводы», которые уберегли бы журнал от репрессий и сохранили ему жизнь. 20 января 1877 года Салтыков писал А. Энгельгардту: «В отношении «Отечественных записок» принято совершенно особое правило — не давать предостережений, а прямо арестовывать номер и предавать сожжению. Понятно, сколько змеиной мудрости требуется, чтобы издавать журнал при наличности постоянной угрозы в этом духе... Я положительно убеждаюсь, что не гожусь для такой деятельности, и ежели Некрасов умрет, то не знаю, как и поступить».

Змеиная мудрость! Она, разумеется, вовсе не сводилась к «прикармливанию» цензоров и влиятельных лиц, к проигрышам в карты, подаркам и всяческим одолжениям им, о чем много пишется в книгах о Некрасове. Для этого не надо было обладать особой мудростью. Редакторская мудрость Некрасова — это прежде всего глубокое понимание и использование противоречий и слабостей политики правящих кругов и тех лиц, которые ведали литературой и журналистикой. Некрасов безошибочно угадывал их замыслы.

Либеральный министр внутренних дел Валуев полагал, что оппозиционную и демократическую печать следует не запрещать, а направлять и «перевоспитывать», подчиняя ее видам правительства. Такой политики министр придерживался и в отношении некрасовского журнала. Он прикрепил к «Отечественным запискам» (освобожденным от предварительной цензуры) неофициального цензора, члена совета Главного управления по делам печати гофмейстера Феофила Толстого, который с его ведома и одобрения должен был вести наблюдение за журналом и влиять на него своими увещеваниями и рекомендациями, например, такого рода: «Карайте пороки, но дайте душе и воображению хоть немного окрылиться».

Действия цензурного руководства Некрасов умело обращал в свою пользу. И в этом ему помогал сам «наблюдающий» Ф. Толстой. Дело в том, что он был не

только гофмейстер, но и музыкальный критик, весьма заурядный, кичившийся своей причастностью к искусству. Некрасов знал слабое место маленького литератора с большим самомнением: ему хотелось печататься в солидном журнале. Да и внимание такого знаменитого поэта, как Некрасов, было ему очень лестно. Фактическому редактору «Отечественных записок» ничего не оставалось, как скрепя сердце пригласить Толстого вести в журнале музыкально-театральное обозрение, что он делал и при Краевском.

В результате проводник политики Валуева не только не влиял на «Отечественные записки», но и сам настолько подчинился влиянию Некрасова, что начал верой и правдой защищать его журнал от нападок и взысканий. Некрасов же учитывал, что советы и предложения неофициального цензора для него необязательны, но в случае цензурных гонений он сможет укрыться за его спиной.

Так и случилось в 1871 году. «Отечественным запискам» грозило предостережение (для закрытия журнала достаточно было трех предостережений). Некрасов решительно опротестовал решение управления по этому поводу, ссылаясь на то, что журнал просматривался Ф. Толстым. В результате предостережения не последовало, а Толстой лишился своей должности, после чего, естественно, прекратилось его сотрудничество в «Отечественных записках».

В своей борьбе с цензурой Некрасов учитывал и другое важное обстоятельство — разногласия внутри цензурного ведомства и между отдельными цензорами. Он знал, что среди них есть и ярые реакционеры, и люди, которые являются противниками «крайних стеснений» печати, в той или иной мере сочувствующими демократическому и реалистическому направлению в литературе. Иные из цензоров имели при этом и сами касательство к писательскому ремеслу.

В годы, когда Некрасов редактировал «Отечественные записки», таким просвещенным цензором был В. М. Лазаревский, весьма влиятельный член совета Главного управления по делам печати. Он к тому же был страстным охотником и даже автором солидной книги об охоте на волков. И так случилось, что Некрасов довольно близко сошелся с Лазаревским. Они вместе охотились, часто ездили в Чудово, где Некрасов купил охотничий домик или дачу и стал там бывать, живя в Петербурге.

Мало-помалу Лазаревский стал оказывать неоценимые услуги «Отечественным запискам», поддерживая их в управлении, информируя Некрасова о возможных опасностях; он не раз с риском для себя выручал журнал в трудных случаях. Письма и записки Некрасова и Лазаревского друг другу насчитываются десятками.

Таковы некоторые штрихи, рисующие «змеиную мудрость» Некрасова в борьбе с цензурой. Конечно, ничто не могло спасти журнал от преследований и репрессий, ему постоянно угрожало запрещение, номера нередко задерживались, целые статьи вырезались из готовых книжек, а майская книжка за 1874 год была целиком сожжена. Чего это стоило Некрасову, как он страдал и негодовал, нечего и говорить. И тем не менее он с поразительным терпением и мужеством вел этот корабль литературы «среди бесчисленных подводных и надводных скал» (слова Михайловского).

Конечно, в отношениях Некрасова с Толстым или с Лазаревским не все вызывает сочувствие; не раз в силу обстоятельств приходилось ему вступать в «сделки с совестью своей». Но и здесь образ редактора «Отечественных записок» выступает в подлинном своем значении, как образ человека яркого и сильного, заботившегося не о своем личном успехе, а о благе русской литературы и русского народа.



XIII

РУССКИЕ ЖЕНЩИНЫ

Однажды в Карабихе (это было летом 1871 года), после нескольких дней напряженной работы Некрасов заглянул в дом, где жил Федор Алексеевич, и сказал:

— Пойдем в парк, под кедр, я буду вам читать «Русских женщин», я написал конец.

Все родные, кто был в это время в карабихской усадьбе, отправились в парк, и здесь поэт своим немного глухим голосом прочел вслух всю поэму. «Мы слушали с

затаенным дыханием, — вспоминала об этом Наталья Павловна, жена Федора Алексеевича, — и не могли удержаться от слез. Когда он кончил и взглянул на своих слушателей, то по их взволнованным лицам и влажным глазам понял, какое сильное впечатление произвело на всех его произведение, и был счастлив. Он велел подать шампанское. Мы чокались, поздравляя его с блестящим окончанием многолетнего труда. Да, помню, это был день великого подъема, торжества и удовлетворения».

Как же пришел Некрасов к теме «Русских женщин», как работал он над поэмой, в которой хотел воспроизвести одну из славных страниц отечественной истории?

6 января 1827 года П. А. Вяземский писал из Москвы А. И. Тургеневу: «На днях видели мы здесь проезжающую далее Муравьеву-Чернышеву и Волконскую-Раевскую. Что за трогательное и возвышенное обречение. Спасибо женщинам: они дадут несколько прекрасных строк нашей истории». Спустя тридцать лет тот же Вяземский писал о возвратившихся в Россию декабристах: «Ни в одном из них нет и тени раскаяния и сознания, что они затеяли дело безумное, не говоря уже преступное. Как говорили о французской эмиграции первой революции, и они ничего не забыли и ничему не научились. Они увековечились и окостенели в 14 декабря. Для них и после 30 лет не наступило еще 15 декабря, в которое могли бы они отрезвиться и опомниться».

Годы, которые легли между этими письмами, унесли с собой умиление и восторги Вяземского, видевшего отъезд жен декабристов в далекую Сибирь, превратили его в реакционера, и эти же годы выдвинули на арену истории поколения, разбуженные громом пушек на Сенатской площади.

26 августа 1856 года Александр II подписал манифест о возвращении из Сибири декабристов. Еще тогда, в поэме «Несчастные», Некрасов заговорил о тех, кто десятилетия томился в снегах «Сибири отдаленной». А много лет спустя декабристская тема прочно овладела поэтическим сознанием Некрасова. Этому способствовало его знакомство с Михаилом Сергеевичем Волконским — сыном декабриста Сергея Волконского, ставшего прототипом некрасовского «дедушки» (в поэме того же названия), и Марии Волконской — героини последней из декабристских поэм Некрасова.

Поэт не раз охотился с Михаилом Сергеевичем, под-

робно расспрашивал его о тех людях, которые его теперь особенно интересовали, хотя и замечал, что он обходит политическую сторону дела, а больше рассказывает о частной жизни декабристов в Сибири, где он сам родился и вырос. Михаил Сергеевич показал поэту портрет своего отца, седобородого старика с длинными белыми волосами и умным, ясным взглядом; это о нем сказано у Некрасова: «Дедушка древен годами, но еще бодр и красив».

Первую свою поэму о декабристах — «Дедушка» — Некрасов написал в 1870 году. Во время работы Некрасов не расставался с «Записками декабриста» А. Е. Розена, изданными в Лейпциге. Некоторые эпизоды, описанные в этой книге, привлекли его внимание: например, история обширного селения Тарбагатай, основанного в XVIII веке сосланными раскольниками. Комиссар, доставивший их в лесную чащу, позволил им «выбрать место и обстроиться как угодно... — пишет Розен. — Каково же было удивление этого человека, когда посетил их через полтора года и увидел красиво выстроенную деревню, огороды и пашни в таком месте, где за два года был непроходимый лес. Это волшебство было вызвано трудолюбием, но также и деньгами и беглыми» [1].

Взяв этот факт, поэт придал ему иную окраску: основной причиной «волшебства» он считал свободу:

Чудо я, Саша, видал:
Горсточку русских сослали
В страшную глушь, за раскол,
Волю да землю им дали;
Год незаметно прошел...
...Так постепенно в полвека
Вырос огромный посад —
Воля и труд человека
Дивные дивы творят!

Размышления героя поэмы «Дедушка» о тяготах солдатской службы основаны также на материале «Записок». Розен рассказывает о таком случае: однажды некий саперный полковник сказал генералу, что батальон, которым он командует, «славно учится, но когда стоит на месте, то жаль, что приметно дыхание солдат, видно, что они дышат». Старик декабрист Некрасова вспоминает:

---

[1] «Записки декабриста». Лейпциг, 1870, стр. 248.

Душу вколачивать в пятки
Правилом было тогда.
Как ни трудись, недостатки
Сыщет начальник всегда:
«Есть в маршировке старанье,
Стойка исправна совсем,
Только заметно дыханье...»
Слышишь ли?.. дышат зачем!

Некрасов ввел в поэму этот эпизод, понимая, что за истекшее время мало что изменилось в солдатской жизни. Несколько лет назад он написал на ту же тему стихотворение «Орина, мать солдатская», и его рассказ о смерти солдата, вернувшегося со службы, был не воспоминанием, а фактом современной действительности.

Декабристская тема не оставляла Некрасова. Через два года он написал «Княгиню Трубецкую» — первую часть поэмы «Русские женщины». Вот какие трудности пришлось ему преодолевать во время работы: «1) цензурное пугало, повелевающее касаться предмета только сторонкою, и 2) крайняя неподатливость русских аристократов на сообщение фактов, хоть бы и для такой цели, как моя, т. е. для прославления» (29 марта 1873 года).

Фактов и в самом деле было мало, а тема второй поэмы требовала еще большей осведомленности. Облик Трубецкой рисовался ему во многом иным, непохожим на тот образ, который возникал в «Записках» Розена. Некрасов ясно представлял себе и отъезд Трубецкой, сопровождаемой отцовским секретарем, и бесконечно долгий зимний путь через занесенные снегом, забытые богом и людьми пространства, и ту пропасть, которая лежала между одиноким возком, совершающим этот безнадежный путь, и ярко освещенными залами петербургских гостиных...

Непостижимым казалось, как могла решиться на такой шаг избалованная молодая женщина, выросшая в одном из богатейших домов России. Поэт пытался нащупать скрытые мотивы этого поступка, психологически обосновать его. Розен отводил здесь решающую роль доброте, чувству долга, самоотверженной любви к мужу. Но чем больше размышлял Некрасов, тем очевиднее становилось, что всего этого было бы недостаточно, не будь какой-то силы, подчинившей себе все эти чувства. Образ кроткой, безропотно приносящей себя в жертву женщины вытеснялся другим образом. Женщина, о которой он неотступно думал, постепенно облекалась плотью и кровью.

Она была полна решимости, потому что узы, которые связывали ее с сосланным декабристом, были не только семейными узами: она готова была разделить судьбу мужа, считая себя причастной к его делу.

Некрасов первоначально думал назвать поэму о женах декабристов — «Декабристки»: название вполне выражало то, что он хотел сказать. Женщины, о которых он писал, были единомышленницами декабристов. Одухотворенный идеей, их подвиг приобретал для него особый смысл. Характер героини определился.

За словами Розена Некрасов видел много больше того, что они выражали. Целый мир возникал перед ним, полный красок, мыслей и чувств, а то, что говорил об этом мире автор «Записок», было лишь пунктиром, обозначающим его границы.

Путешествие Трубецкой в Сибирь стало в поэме поездкой в прошлое — сном о жизни, оставленной позади. Только сном и могло казаться княгине прошлое. В ее настоящем не было места для радостных воспоминаний.

Почти явью было видение Трубецкой — восстание на Сенатской площади. Понимая, что она не могла быть свидетельницей восстания, Некрасов не без колебаний решился ввести его в поэму. Но этого, считал он, требовала логика задуманного образа. Его героиня должна была знать о восстании. И не только знать, но и сочувствовать восставшим. Именно тогда она должна была понять, что Николай I — палач, чтобы потом, услышав от мужа слова: «Не тронешь палача», принять их как должное.

Этот сон стал центром поэмы. От него тянулись нити в прошлое и в будущее. Отношение княгини к восстанию — в этом Некрасов был уверен — определяло ее взгляд на прошлое, меняло оценки. Николай I, с которым Трубецкая когда-то танцевала первую кадриль, теперь в ее воспоминаниях был убийцей, скомандовавшим: «Пли!» Прошлое для княгини перестало существовать само по себе: оно было неразрывно связано с восстанием:

А ты будь проклят, мрачный дом,
Где первую кадриль
Я танцевала... Та рука
Досель мне руку жжет...

Некрасовская героиня уезжала в Сибирь, понимая все: и то, что произошло, и то, что ждет ее впереди. Она была готова ко всему, ненависть давала ей силу. Иной

смысл приобретал теперь и тот затянувшийся на много дней разговор княгини с иркутским губернатором, о котором сообщал Розен.

Некрасов знал, что люди, которые были знакомы с Трубецкой, с восхищением вспоминали о ее доброте и кротости. Откуда же ее стоицизм, мужество? Вновь и вновь вчитывался он в слова Розена: «...местное начальство имело повеление употребить все средства, чтобы удержать жен государственных преступников от следования за мужьями. Губернатор представил ей сперва затруднения жизни в таком месте, где находятся до 5000 каторжных, где ей придется жить в общих казармах с ними, без прислуги, без малейших удобств. Она этим не устрашилась и объявила свою готовность покориться лишениям, лишь бы ей быть вместе с мужем... Наконец он решился употребить последнее средство, уговаривал, упрашивал и, увидев все доводы и убеждения отринутыми, объявил, что не может иначе отправить ее к мужу, как пешком с партиею ссыльных по канату и по этапам. Она спокойно согласилась на это; тогда губернатор заплакал и сказал: «Вы поедете».

Некрасов прямо использовал эти свидетельства бывшего декабриста. Но те же слова у него зазвучали по-иному. И женщина, решимость которой пытался сломить губернатор, тоже была другой: одна, не колеблясь, соглашалась на все, другая не просто соглашалась, — уверенная в правоте декабристов, она настаивала, требовала, обличала палачей, то есть самого Николая I.

Губернатор

Пять тысяч каторжников там,
Озлоблены судьбой,
Заводят драки по ночам,
    Убийства и разбой...

Княгиня

Ужасна будет, знаю я,
Жизнь мужа моего.
Пускай же будет и моя
    Не радостней его!

А когда, исчерпав все угрозы, губернатор попытался бросить тень на ее мужа — он, мол, увлекшись «призраком пустым», пренебрег участью и спокойствием жены, Трубецкая с гордостью отвечает:

О, если б он меня забыл
Для женщины другой,
В моей душе достало б сил
Не быть его рабой!
Но знаю, к родине любовь
Соперница моя,
И если б нужно было, вновь
Ему простила б я!..

Вряд ли можно сомневаться, что, рисуя такой характер русской женщины, поэт думал не только о декабристках, но, может быть, еще больше о женщинах-современницах, участницах общественного движения 70-х годов.

В июле 1871 года поэма была закончена. Не желая подвергать ее нападкам «цензурного пугала», Некрасов начал сам изымать все, что могло показаться предосудительным. Впоследствии он не раз говорил, что поэма была «испакощена»: это было сделано им самим.

Но мог ли вообразить Некрасов, что строгим цензором поэмы станет и его давний знакомый Волконский?

Однажды, встретив Волконского в театре, поэт попросил его прочесть «Княгиню Трубецкую» и сделать замечания. Волконский упорно отказывался, ссылаясь на короткие отношения с семьей Трубецких. «Если впоследствии, — говорил он, — найдутся в поэме места, для семьи неприятные, то, зная, что поэма была предварительно сообщена мне, Трубецкие могут меня весьма основательно подвергнуть укору». Некрасов настаивал и в конце концов добился успеха.

Прочитав поэму в корректуре, Волконский заметил, что характер Трубецкой кажется ему сильно измененным по сравнению с оригиналом, и просил переработать отдельные места поэмы. Кое в чем Некрасову пришлось пойти на уступки, но он наотрез отказался изъять то место, где, по словам Волконского, княгиня бросала куском грязи в только что покинутое ею высшее петербургское общество. Это место поэт считал психологической кульминацией характера своей героини и дорожил им, находя, что без него образ Трубецкой утратил бы свою цельность.

Волконского беспокоили частности, Некрасов же более всего дорожил общей идеей. Поэтому, посылая Волконскому 7 апреля 1871 года страницы «Отечественных записок» с «Княгиней Трубецкой», он писал, подводя итог затянувшемуся спору: «Еще замечу, что я, к сожалению, поздно узнал, что отца Катерины Ивановны уже

не было в живых, когда она уезжала в Сибирь, но эта неверность чисто внешняя, не имеющая важности в подобном произведении. Для меня важно, чтобы не было неверности существенной».

* * *

Иные задачи встали перед Некрасовым, когда он начал работать над второй частью поэмы — «Княгиня Волконская».

Мария Николаевна Волконская вызывала у него совершенно особые чувства. Его восхищал и удивительный характер молодой женщины, и необычные обстоятельства ее отъезда в Сибирь, о которых он слышал от очевидцев, и то мужество, с каким она вела себя в изгнании, стремясь облегчить участь сосланных декабристов. Некрасову рассказывали, что ее отец, знаменитый генерал Николай Николаевич Раевский, сказал перед смертью о своей дочери: «Voilá la plus admirable femme, qui j'ai connue»[1]. Семейство Раевских в глазах поэта было окружено ореолом: он знал о близости Раевских к Пушкину.

Едва начав обдумывать новую поэму, Некрасов случайно узнал, что у М. С. Волконского хранятся записки его матери. Для Некрасова это было неожиданностью: несмотря на давнее знакомство, Волконский никогда о них не упоминал. Понимая, каким бесценным материалом могут оказаться эти записки, поэт отправился к Волконскому. После долгих уговоров тот согласился наконец познакомить с ними Некрасова, но при одном условии — поэт обещал принять все его замечания перед тем, как печатать поэму.

Через несколько дней Волконский начал читать вслух «Записки», переводя их с французского. «В три вечера, — рассказывал он впоследствии, — чтение было закончено. Вспоминаю, как при этом Николай Алексеевич по нескольку раз в вечер вскакивал и со словами: «Довольно, не могу», — бежал к камину, садился к нему и, схватясь руками за голову, плакал, как ребенок». Слушая Волконского, поэт делал заметки карандашом в принесенной им тетради.

Редким благородством и чистотой души веяло со страниц рукописи. Фильтр времени очистил их от слу-

[1] «Вот самая удивительная женщина, какую я знал».

чайного и преходящего, от обид и пристрастий. В них ощущалось купленное страданием примирение с прошлым и право прощать. За простотой изложения стояла ясность проверенных временем оценок. Несмотря на истекшие годы, Волконская живо передавала свои тогдашние впечатления и чувства, ее непосредственный, немногословный рассказ был насыщен подлинным трагизмом.

«Русские женщины» были задуманы как героическая поэма. Именно в этом ключе удалось выдержать Некрасову ее первую часть — повествование о Трубецкой, где каждый эпизод, показанный крупным планом, и каждая деталь, какой бы мелкой она ни казалась, раскрывали характер декабристки. Он намеренно удалял из поэмы все, что препятствовало героизации образа.

Но если в первой части был создан образ, весьма далекий от реального облика Трубецкой, то сейчас художественная задача была иной, в определенном смысле противоположной.

Условия, заключенные с Волконским, во многом оказались кабальными. Приходилось создавать адекватный «Запискам» Волконской их поэтический пересказ. 9 июля 1872 года Некрасов писал Волконскому, что, работая над поэмой, стремится «остаться наивозможно ближе к действительности». Между Некрасовым и его новой поэмой неотступно стоял внутренний цензор, не давая ни на шаг выйти за пределы магического круга, очерченного содержанием «Записок» Волконской.

Сохранив в главных чертах композицию «Записок», необходимо было устранить частности, детали, — «возвысить» тот несколько одомашненный образ, который вставал со страниц воспоминаний. Некрасов решил использовать ту их часть, которая кончалась рассказом о свидании с мужем в Нерчинске. Основой этой части поэт считал перипетии отъезда Волконской в Сибирь. Он и прежде слышал об ее отце и старшем брате Александре, о «заговоре», который организовали они, пытаясь помешать Марии Николаевне уехать к мужу. Посвятив этому «заговору» две из шести глав поэмы, Некрасов стянул к нему все сюжетные и психологические нити. В том удивительном по своей силе сопротивлении, которое оказала молодая и, в сущности, беспомощная женщина сплотившейся против ее решения семье, раскрывалась героическая и нравственная сущность ее характера.

Внимание Некрасова с самого начала привлек рас-

сказ Волконской о ее встречах с Пушкиным. Этот рассказ органически вплетался в воспоминания, связывая пору ее ранней юности с настоящим и с тем, что ждало ее впереди. Так же естествен этот рассказ в передаче Некрасова, однако он гораздо богаче по содержанию.

Образ некрасовского Пушкина был историчен. Чтобы дать представление о настроениях Пушкина после разгрома декабристов, Некрасов ввел в поэму его монолог, обращенный к Волконской. В нем — намеки на отдельные строки «Евгения Онегина», на послание «В Сибирь»:

Идите, идите! Вы сильны душой,
Вы смелым терпеньем богаты,
Пусть мирно свершится ваш путь роковой,
Пусть вас не смущают утраты!
Поверьте, душевной такой чистоты
Не стоит сей свет ненавистный!
Блажен, кто меняет его суеты
На подвиг любви бескорыстный!

Критика не раз упрекала Некрасова в тенденциозности последней поэмы. Многие ее места казались натянутыми, недостоверными. Это потому, что был неизвестен источник фактов. Но в подлинных мемуарах, как и в жизни, невероятное и случайное почти не удивляют, в искусстве же они вызывают недоверие. Это не было тайной для Некрасова, но, и предвидя нападки критики, он считал необходимым повторить в поэме все существенное для раскрытия событий и характера героини. Все, что не имело к этому прямого отношения, он обходил, как бы заманчиво и эффектно это ни выглядело. По этому поводу он писал Волконскому: «...например, сцену в шахте я слышал до чтения записок, мне передавали, что работавшие в шахте, пораженные внезапным появлением княгини Волконской, стали на колени, — и я не ввел этого в поэму потому только, что побоялся упрека в мелодраматичности» (22 ноября 1872 года).

Вместе с тем он намеренно воспроизвел сцену свидания Волконской с мужем, сцену, которая впоследствии подвергалась ожесточенным нападкам. В ее правдивость не поверил, в частности, Достоевский:

Я только теперь, в руднике роковом,
Услышав ужасные звуки,
Увидев оковы на муже моем,
Вполне поняла его муки,
Он много страдал, и умел он страдать!..

Невольно пред ним я склонила
Колени, — и, прежде чем мужа обнять,
Оковы к губам приложила!..

Между тем в отрывке точно передан рассказ Волконской: «Сергей бросился ко мне; бряцание его цепей поразило меня: я не знала, что он был в кандалах. Суровость этого заточения дала мне понятие о степени его страданий. Вид его кандалов так воспламенил и растрогал меня, что я бросилась перед ним на колени и поцеловала его кандалы, а потом — его самого».

Понимая значение этой сцены, Некрасов убедил Волконского позволить ему несколько отступить от «Записок» и перенести свидание княгини с мужем из острога (где оно происходило на самом деле) в шахту. Благодаря этому участниками сцены становились ссыльные декабристы. Поэт считал, что поведение княгини здесь психологически обусловлено не только ее отношением к мужу, но ее отношением к декабристскому движению вообще, ее восхищением перед мужеством и бескорыстием его участников.

Декабристская тема неотвязно манила к себе Некрасова. И надо признать, что в XIX веке никто не сделал так много для прославления первых русских революционеров, для привлечения общественного внимания к этим героическим образам, как Некрасов и Герцен (в «Полярной звезде» и других изданиях). Сами они, по сути дела, принадлежат к поколению, разбуженному декабристами.

Напечатать свои поэмы Некрасову было трудно. Вторая из них появилась в «Отечественных записках» под заглавием «Княгиня Т***», со многими изъятиями и смягчениями. Кроме того, автор в специальном примечании счел нужным разъяснить, почему он взялся за столь рискованную тему, и подчеркнуть, что его вовсе не интересовала политика. В примечании говорилось: «Знакомясь с историческими материалами, автор постоянно с любовию останавливался на роли, выпавшей тогда на долю женщин и выполненной ими с изумительной твердостью... Самоотвержение, выказанное ими, останется навсегда свидетельством великих душевных сил, присущих русской женщине, и есть прямое достояние поэ-

зии. Вот причина, побудившая автора приняться за труд, часть которого представляется сейчас публике».

В это же время он взывал к Лазаревскому: «Я побаиваюсь за сцену на площади; но прошло 50 лет!» А в примечании скромно сообщал: «Хотя минуло уже почти полвека со времени события, однако автор счел за лучшее вовсе не касаться его политической стороны, — да это и не входило в пределы задачи, как увидит читатель».

Читатель же видел, что все это говорится о поэме, в которой впервые дана выразительная картина восстания декабристов. Правда, вместо строки «Сам царь скомандовал: «па-ли!..» — было напечатано: «Раздалось грозное па-ли!..», а в других случаях стояли загадочные точки и многоточия. Но дальновидный автор разъяснил и это: «Точки вместо некоторых строф поставлены самим автором, по его личным соображениям».

XIV

КРЕСТЬЯНСКАЯ СИМФОНИЯ

Никогда не оставляли Некрасова мучительные раздумья и «проклятые вопросы». И прежде всего раздумья о счастье народа, о том, когда же придет оно и как найти его.

Новое время — свободы, движенья,
Земства, железных путей.
Что ж я не вижу следов обновленья
В бедной отчизне моей?

Те же напевы, тоску наводящие,
С детства знакомые нам,
И о терпении новом молящие
Те же попы по церквам.

В жизни крестьянина, ныне свободного,
Бедность, невежество, мрак.
Где же ты, тайна довольства народного?
Ворон в ответ мне прокаркал: «Дурак!»

Вопрос трудный и неразрешимый... Казалось бы, «тайна довольства народного» в освобождении крестьян

от крепостного права. Лучшие люди России с нетерпением ждали крушения крепостничества, боролись за крестьянскую волю. И вот свобода была обретена, завоевана. Но ответа на мучивший его вопрос поэт не получил:

Народ освобожден, но счастлив ли народ?..
Ответа я ищу на тайные вопросы,
Кипящие во мне: «В последние года
Сносней ли стала ты, крестьянская страда?..»

Некрасов рассказывал журналисту П. Безобразову: «Я задумал изложить в связном рассказе все, что я знаю о народе, все, что мне привелось услыхать из уст его, и я затеял «Кому на Руси жить хорошо». Это будет эпопея современной крестьянской жизни».

Поэма, которую Некрасов писал на протяжении последних тринадцати лет жизни, для которой долго и кропотливо собирал материал «по словечку», явилась итогом его поэтического и духовного опыта, его размышлений о характере и судьбах народа. Она вобрала в себя и весь его огромный опыт художника, мастера народного слова, знатока народной поэзии. Эта поэма была особенно дорога ему, и, умирая, он страдал, что не успел завершить ее. Сестра Некрасова Анна Алексеевна Буткевич рассказывала, что поэт во время болезни часто вспоминал о своем труде и незадолго до смерти сказал: *«Одно, о чем сожалею глубоко, это — что не кончил свою поэму «Кому на Руси жить хорошо»*. Я... сказала: «Поверь мне, что мы ее кончим». Он с тоской посмотрел на меня: *«Нет, уж не кончим!»*

Простые мужики, те, с кем он постоянно общался в Грешневе и Карабихе, должны были появиться на страницах поэмы и рассказать о себе и своей жизни. Он хотел провести перед читателем на фоне пореформенной Руси сегодняшних «свободных» крестьян с их нуждами и заботами, показать пеструю народную толпу, разноликую и разноголосую. «Передо мною никогда не изображенными стояли миллионы живых существ! Они просили любящего взгляда», — сказал поэт одному из знакомых.

Прежние разрозненные наблюдения постепенно складывались в единую картину — панораму России с ее нищими деревнями и шумными ярмарками, крестьянским тяжелым трудом и бесшабашным пьяным разгулом, с «фанатиками рабства» и провозвестниками нового, намного опередившими свою эпоху. Некрасов стремился показать Россию в ее многообразии и целостности.

Он выбрал для поэмы форму путешествия и ввел в повествование элементы народной сказки: здесь и говорящая птица-пеночка, и волшебная скатерть-самобранка, — на протяжении долгого пути она кормит и поит странников. Особенностью поэмы являются сказочные повторы, так что всякий раз, встречаясь с новым собеседником, семь мужиков заново объясняют ему, кто они такие, куда и зачем идут:

Мы мужики смиренные,
Из временнобязанных
Подтянутой губернии,
Уезда Терпигорева,
Пустопорожней волости,
Из разных деревень:
Заплатова, Дырявина,
Разутова, Знобишина,
Горелова, Неелова —
Неурожайка тож.
Идя путем-дорогою,
Сошлись мы невзначай,
Сошлись мы — и заспорили:
Кому живется счастливо,
Вольготно на Руси?

Предполагаемых счастливцев: помещика, чиновника, попа, «купчину толстопузого», «вельможного боярина, министра государева» и самого царя Некрасов назвал в начале поэмы. Он замыслил охарактеризовать разные социальные слои тогдашней России, столкнув своих мужиков с каждым из «счастливцев». Но план его не был незыблемым, он не раз менялся в процессе работы. Так, вопреки первоначальному намерению, Некрасов уже в первой части поэмы заставил своих мужиков искать счастливого и в крестьянской среде.

Однажды, разговаривая с Глебом Успенским о предполагаемой концовке поэмы, Некрасов спросил его:

— Как по-вашему, кому же живется на Руси весело?

Наудачу Успенский назвал одного из упомянутых в начале поэмы счастливцев.

— Этому? — спросил он.

— Ну вот! Какое там счастье! — усмехнулся Некрасов и двумя словами обрисовал призрачные радости и бесчисленные черные минуты названного Успенским счастливца.

— Так кому же? — вновь спросил Успенский.

Улыбнувшись, Некрасов произнес значительно и с расстановкой:

— Пья-но-му!

Видя удивление собеседника, Некрасов рассказал ему о том, как он предполагает завершить поэму:

— Не найдя на Руси счастливого, странствующие мужики возвращаются к своим семи деревням: Горелову, Неелову и так далее. Деревни эти смежны, то есть стоят близко друг от друга, и от каждой идет тропинка к кабаку. Вот у этого-то кабака встречают они спившегося с кругу человека, «подпоясанного лычком», и с ним, за чарочкой, узнают, кому жить хорошо.

Уже в начале работы Некрасов понял, что необходимо по возможности устранить из поэмы авторский голос, чтобы были громче слышны голоса героев поэмы, чтобы каждый из них высказывал свои сокровенные мысли в своей собственной, только ему присущей манере. Упорно искал он новые языковые средства художественной характеристики. Часто рассказы героев о себе своеобразно преломлялись в сознании слушателей, приобретали новые оттенки. Слушая рассказ помещика Оболта-Оболдуева, крестьяне своими меткими репликами, иронией начисто убивают выспреннюю напыщенность его речей. Происходит типичный для поэмы диалог:

Так вот оно откудова
То дерево дворянское
Идет, друзья мои!

— А ты, примерно, яблочко
С того выходишь дерева? —
Сказали мужики.

Некрасов писал поэму размером «Зеленого шума». Гибкость этого размера и независимость его от рифмы давали ему огромную свободу, позволяя передать многообразие народного разговорного языка, с его меткостью, афористичностью, с его особыми оборотами, дать в поэме и народные песни, и задорные речи подвыпивших на ярмарке мужиков, и самодовольные разглагольствования самодура-помещика, создать исполненные лиризма описания русской природы и трагическую повесть о судьбе русской крестьянки. Его поэма становилась похожа на симфонию, где разные голоса то соединяются, то замолкают, то, разрастаясь вновь, развивают новые темы и

мотивы, которые должны слиться в едином мощном финале.

По замыслу Некрасова, каждая встреча крестьян с предполагаемым «счастливцем» должна была заключать в себе двоякий смысл: в ней раскрывался характер самого «счастливца» и выявлялись закрепленные веками взаимоотношения крестьян с той или иной социальной группой.

Именно так и происходит при встрече крестьян с попом, с помещиком Оболтом-Оболдуевым, с князем Утятиным: немедленно скрещиваются разные голоса, сталкиваются противоположные жизненные оценки, взаимоисключающие интересы.

Живущий поборами с прихожан поп объясняет крестьянам:

Конечно, дело чистое —
За требу воздаяние
Не брать — так нечем жить...

Но крестьяне пока еще не могут распознать скрытого в этих словах наивного своекорыстия. Понимая, что поповские невзгоды несравнимы с их собственными, они все-таки относятся к попу с сочувствием: что же, мол, делать, ведь так уж искони повелось, что поп живет за счет крестьян. Притом поп — непременный свидетель крестьянских радостей и бед: он и крестит, он и соборует, ему и в самом деле приходится несладко: «Зимой, в морозы лютые и в половодье вешнее иди — куда зовут!»

Иное дело помещики. Ни в Оболте-Оболдуеве, ни в князе Утятине нет ничего, что могло бы смягчить неприязнь между ними и повстречавшимися им крестьянами. Оболт-Оболдуев с умилением вспоминает любезные его сердцу времена крепостного права:

Во времена боярские,
В порядки древнерусские
Переносился дух!
Ни в ком противоречия,
Кого хочу — помилую,
Кого хочу — казню.
Закон — мое желание!
Кулак — моя полиция!..

Задумав сравнить на страницах поэмы двух помещиков, один из которых пытается примениться к новой ситуации, а другой верит, что «мужиков помещикам веле-

ли воротить», и все еще живет по старинке, Некрасов хотел показать, сколь ничтожна разница в отношении этих помещиков к крестьянам, насколько одинакова психология всех крепостников.

При известии об отмене крепостного права князя Утятина хватил паралич. Однако он все еще не хочет угомониться. Думая, что на конюшне секут его крепостного,

...Словно музыку
Последыш стоны слушает,
Чуть мы не рассмеялися,
Как стал он приговаривать:
«Ка-тай его, раз-бой-ника,
Бун-тов-щи-ка... Ка-тай!»

Сюжет главы «Последыш», повествующей о встрече мужиков с князем Утятиным, основан на действительном случае, о котором Некрасов услышал в начале 70-х годов от доктора Н. А. Белоголового: владелица села Шукалово долго скрывала от мужа, разбитого параличом, факт освобождения крестьян. Декабрист В. А. Поджио, живший в той местности, рассказывал об этом в письме к доктору Белоголовому: «Во избежание вторичного, окончательного паралича она скрывает от него случайную эмансипацию, и ежедневно счастливый еще помещик отдает по-прежнему приказания старосте: «завтра — сгон, собрать баранов, баб не спускать».

Некрасов дал этой главе одно из тех названий, которые говорят сами за себя. Рисуя образ Последыша, символизирующий уходящую крепостную Русь, он поднял курьезный случай до уровня огромного обобщения. Он стремился сказать читателю: дело не в том, что последыши цепляются за старое, а в том, что они не встречают активного сопротивления со стороны крестьян; сложившаяся веками психология не изменилась после реформы, и освобожденный от рабства народ все еще принижен и по привычке гнет спину перед барином. Как и прежде, Некрасов думал о пробуждении народа, и за строками его поэмы снова звучал вопрос: «Ты проснешься ль, исполненный сил?..»

Наряду с последышами в поэме изображены те, о ком в рассказе «Про холопа примерного — Якова верного» сказано:

Люди холопского звания —
Сущие псы иногда:
Чем тяжелей наказания,
Тем им милей господа.

Хвастает перед мужиками своей «почетной» болезнью — подагрой «любимый раб» князя Переметьева; посылает оброк своему барину из острога мужик, осужденный за конокрадство; «холит, бережет и ублажает» барина примерный холоп Яков. Некрасов с горечью думал о том, каким привычным состоянием было рабство, даже протест проявлялся порой в уродливых и страшных формах.

Однажды А. Ф. Кони рассказал поэту историю кучера, который повесился, чтобы отомстить барину. Кучер завез его в овраг и выпряг коней. «Почуяв неминуемую расправу, барин, в страхе, смешивая просьбы с обещаниями, стал умолять пощадить ему жизнь. «Нет! — отвечал кучер, — не бойся, сударь, я не стану тебя убивать, не возьму такого греха на душу, а только так ты нам солон пришелся, так тяжко с тобой жить стало, что вот я, старый человек, а через тебя душу свою погублю».

Так вошел в эпопею Некрасова тип «холопа примерного». Изменив в рассказе Кони отдельные детали, Некрасов углубил картину отношений барина с преданным ему слугой. Как всегда, он шел от факта к обобщению; это тотчас же уловила цензура; рассказ «Про холопа примерного — Якова верного» был запрещен. В письме начальнику управления по делам печати В. В. Григорьеву Некрасов энергично возражал против этого: «Я принес некоторые жертвы цензору Лебедеву, исключив солдата и две песни, но выкинуть историю о Якове, чего он требовал под угрозою ареста книги журнала, не могу — поэма лишится смысла» (декабрь 1876 года).

В том же письме к Григорьеву поэт пытался доказать, что его «мрачные песни и картины» относятся к прошлой, крепостной эпохе, но зато в поэме «есть и светлые перспективы». И они действительно есть, но только это совсем не те перспективы, которые могли бы удовлетворить цензуру. Светлое начало поэмы определялось мыслью о неизбежном пробуждении народа, о появлении в деревне людей сильных духом, поднимающих голос протеста.

С самого начала работы над своей эпопеей Некрасов присматривался к начавшемуся процессу духовного раскрепощения деревни, искал ростки нового, вслушивался в разговоры крестьян, подмечая, что думают они о переменах, как вспоминают о прошлом, к чему стремятся.

Одна за другой развертываются перед читателем жи-

вописные народные сцены, полные жизни и движения. Вот сельская ярмарка. «Там шла торговля бойкая, с божбою, с прибаутками, с здоровым, громким хохотом». Слившись с толпой, поэт внимательно вглядывался в ее пестрое, праздничное оживление, то и дело выхватывая из этой массы примечательные лица, фигуры, характеры, повторяя меткие реплики, пословицы, прибаутки; так создавалось удивительное многоголосие некрасовской поэмы. Теперь кинематографисты назвали бы подобный прием изображения людей и событий приемом скрытой камеры, — это означало бы высшую степень жизненной достоверности, потому что перед скрытой камерой не играют и не позируют: ее не видят и о ней не знают.

И вот исчезают привычные формы повествования; теряется в ярмарочной толпе сам поэт; не слышен более авторский голос. Зато как по волшебству вызванные к жизни неведомой силой, появляются перед читателем то «мужик какой-то крохотный», выбирающий ободья; то пророчащая голод «старообрядка злющая»; то старик, который пропил деньги и не может купить внучке подарок; он повторяет:

Мне зять — плевать, и дочь смолчит,
Жена — плевать, пускай ворчит!
А внучку жаль!..

Появляется и «купчик-выжига», сбывающий офеням портреты «толстых и грозных» генералов. И только тут вновь слышится голос автора, горестно восклицающего:

Эх! эх! придет ли времечко,
Когда (приди, желанное!..)
Дадут понять крестьянину,
Что розпь портрет портретику,
Что книга книге розпь?
Когда мужик не Блюхера
И не милорда глупого —
Белинского и Гоголя
С базара понесет?

А после ярмарки куражатся, зубоскалят хмельные крестьяне, но и пьяные речи их полны злободневных намеков. С истинно эпическим размахом изображая это буйное веселье, вводя в поэму гиперболические сравнения («Не ветры веют буйные, не мать-земля колышется — шумит, поет, ругается, качается, валяется, дерется и це-

луется у праздника народ!»), автор вместе с тем не забывает о печальной реальности. Потому-то в самый разгар веселья и появляется среди мужиков Яким Нагой со своими протестующими речами — первый из плеяды думающих мужиков. Именно в уста Якима вложена такая политически зрелая мысль:

> Работаешь один,
> А чуть работа кончена,
> Глядишь, стоят три дольщика:
> Бог, царь и господин!

Яким, как настоящий народный оратор, говорит перед толпой, и по всему видно, что гневные слова его монолога близки и понятны крестьянам. Некрасов встречал таких людей, как Яким, знал, что их становится все больше в пореформенной России и что именно они пробуждают «снизу» народное сознание. Может быть, поэтому поэт не придал внешности Якима индивидуальных черт, желая показать, что он такой же, как все, один из многих: «...на землю-матушку похож он: шея бурая, как пласт, сохой отрезанный, кирпичное лицо, рука — кора древесная, а волосы — песок». Так же социально типична и предельно выразительная, до отказа сжатая самохарактеристика Якима: «В деревне Босове Яким Нагой живет, он до смерти работает, до полусмерти пьет!..»

Среди некрасовских крестьян выделяются Ермил Гирин, который честно служит интересам крестьянского мира и пользуется его полным доверием, и Савелий, богатырь святорусский, в котором поэт стремился выделить черты пока еще бессознательного, стихийного, но уже мощного протеста, олицетворить в нем все, что хотел он видеть в русском народе: духовную силу, свободолюбие, не сломленное даже царской каторгой. «Клейменый, да не раб!..» — с гордостью говорит о себе Савелий. Незабываем облик былинного богатыря, хотя таких, как Савелий, единицы в забитой крепостной России, и много лет пройдет, прежде чем их бунт станет сознательной борьбой за народное счастье.

Все дальше и дальше в глубь России идут семь мужиков, разыскивая «счастливого»; проходит весна, наступает лето, и вот «уж налились колосики», а странствиям все нет конца. Тогда неугомонные мужики решают поискать «счастливицу» среди женщин.

В некрасовской поэме русской крестьянке предстояло самой рассказать о своей жизни. Из ее рассказа странники должны были увидеть, как развивался ее характер, крепли душевные силы, зрело чувство высокого человеческого достоинства. И в этом случае поэт шел от конкретного к общему, от судьбы Матрены к судьбе русской женщины вообще.

Некрасов не сгущал краски. В жизни Матрены Тимофеевны не было ничего необычного, из ряда вон выходящего. Смерть первенца, вражда мужней семьи, голод, болезни, пожары — какая крестьянская женщина не проходила через все это? Некрасов и прежде писал о таких судьбах:

Будет бить тебя муж-привередник
И свекровь в три погибели гнуть.
И схоронят в сырую могилу,
Как пройдешь ты тяжелый свой путь...

За Матреной стояли сотни и тысячи таких, как она. Но другие женщины называют ее «счастливой», посылая к ней странников: им, видно, пришлось еще горше. А после потрясающего душу рассказа Матрены горькой иронией звучат слова, с которыми обратились к ней странники при первой встрече: «Молва идет всесветная, что ты вольготно, счастливо живешь...»

Однако не ирония была важна для Некрасова. Он хотел показать читателю, насколько же беспросветна судьба крестьянки, если кажется благополучной и даже «счастливой» жизнь Матрены Корчагиной. Не оставляя у слушателей никаких иллюзий, Матрена заключает свой рассказ напутствием:

Идите вы к чиновнику,
К вельможному боярину,
Идите вы к царю,
А женщин вы не трогайте, —
Вот бог! ни с чем проходите
До гробовой доски!

Оказывается, нет счастливой среди женщин, и это еще раз показывает, что в поэме, как и в действительности, судьба женская и судьба народная едины.

Уже в конце жизни, в 1876 году, Некрасов закончил новую часть своей поэмы, которую назвал «Пир на весь мир». Его первоначальный замысел — поиски счастливо-

го — заметно расширился, теперь поэту казалось самым важным показать, как крепло и развивалось народное сознание, как крестьянство медленно, но неуклонно шло к осмыслению своего протеста.

Глава открывалась крестьянским праздником, и вновь, как в первых главах поэмы, «Сельской ярмонке» и «Пьяной ночи», проходила перед читателем народная масса. Но этот пир был не похож на горькое послеярмарочное веселье. Заметно изменились почувствовавшие свободу мужики, задорно зазвучали их речи:

У каждого в груди
Играло чувство новое,
Как будто выносила их
Могучая волна
Со дна бездонной пропасти
На свет, где нескончаемый
Им уготован пир!

Пируют крестьяне, радуясь отмене крепостного права да еще и смерти старого князя, своего помещика — Последыша. Но песни они поют прежние. «Иных покамест нет», — замечает автор, сожалея, что за целые века народ не сложил песенки веселой и ясной, «как ведреный денек». В самой поэме мы находим эти горькие и жуткие песни старого времени: «Веселая» с ее ироническим припевом «Славно жить народу на Руси святой!»; «Барщинная», где слышен стон забитого мужика Калины («С лаптя до ворота шкура вся вспорота»); «Голодная», где дан потрясающий образ голодающего крестьянина («С коры его распучило...»); «Солдатская», которую поет старый солдат, искалеченный под Севастополем, но лишенный полного «пенциона» (пенсии) по такой причине: «Полного выдать не велено: сердце насквозь не прострелено!»; и наконец, «Соленая», полная безысходного трагизма...

И поэт восклицает: «Душа народная! Воссмейся ж наконец!»

Вера в народ никогда не покидала Некрасова. Предвидя революционное обновление России, он ввел в поэму образ «народного заступника» Гриши Добросклонова — символ подымающейся на борьбу страны. В этом образе воплотил он черты близко знакомых ему революционеров-демократов и просветителей 60—70-х годов, не без умысла придав герою известное сходство с Добролюбовым. И того и другого отличают ясность жизненной цели, сознание

нераздельности судьбы своей и народной, мечта о благоденствии всего крестьянского мира:

...Чтоб землякам моим
И каждому крестьянину
Жилось вольготно-весело
На всей святой Руси...

Так говорит Григорий своим землякам, и слова его идут «из сердца самого». Есть много и других подтверждений того, что Некрасов думал о Добролюбове, когда рисовал своего Григория. Он также происходит из духовного звания (сын дьячка, семинарист), также склонен к самоотверженности и самоотречению, также пишет стихи-песни, в которых выражает свои заветные мысли. Поэт называет его «русским юношей» (как называл Добролюбова) и относит к числу сынов Руси, «отмеченных печатью дара божьего». Будущее Гриши в поэме тоже обрисовано как бы по Добролюбову: «Ему судьба готовила Путь славный, имя громкое Народного заступника, Чахотку и Сибирь».

Именно с Гришей Добросклоновым, в котором нельзя, однако, видеть только черты Добролюбова, связаны светлые тона последних страниц поэмы, где на смену прежним, унылым и мрачным, появляются «новые песни», «добрые песни». В них устами Гриши выражены заветные некрасовские мысли о народе, о его грядущем освобождении («Сбирается с силами русский народ и учится быть гражданином»), мысли о родной Руси — убогой и обильной, могучей и бессильной, Руси, которой поэт посвятил стихи, исполненные революционного пафоса:

Русь не шелохнется,
Русь — как убитая!
А загорелась в ней
Искра сокрытая, —

Встали — небужены,
Вышли непрошены,
Жита по зернышку
Горы наношены!

Рать подымается —
Неисчислимая!
Сила в ней скажется
Несокрушимая!

Эти строки увенчивают все огромное здание поэмы, более того: написанные в конце жизни, они как бы увенчивают и все некрасовское творчество, подводят итог размышлениям поэта о родной стране и ее исторических судьбах; здесь же заключен и ответ на вопрос, в чем «тайна довольства народного» и какая дорога ведет к нему.

Благодаря этим стихам удивительным образом получилось так, что незаконченная поэма оказалась композиционно завершенной: Гриша Добросклонов — это и есть тот счастливец, которого долго искали странники. Иначе вряд ли можно понять следующие вслед за песней «Русь» финальные строки поэмы, — в них воспет юноша, решивший стать «народным заступником» и в этом нашедший свое счастье:

Быть бы нашим странникам под родною крышею,
Если б знать могли они, что творилось с Гришею.
Слышал он в груди своей силы необъятные,
Услаждали слух его звуки благодатные,
Звуки лучезарные гимна благородного —
Пел он воплощение счастия народного!..

Так закончилась поэма «Кому на Руси жить хорошо» — великая национальная эпопея, подлинная энциклопедия русской народной жизни XIX века, в которой жизнь многомиллионной массы российского крестьянства впервые стала достоянием высокого искусства.

* * *

Образ интеллигента-пропагандиста, горячо преданного народу и тесно связанного с крестьянской средой, не случайно занял видное место в некрасовской поэме. В нем нашли развитие те черты русского деятеля, революционного просветителя, какие Некрасов запечатлел в разные годы, создавая портреты своих великих современников — Белинского, Добролюбова, Чернышевского (в стихотворении «Не говори: «Забыл он осторожность!..»), Писарева, Шевченко. С другой стороны, в образе деревенского интеллигента воплощены важнейшие особенности времени — середины 70-х годов, когда крепло движение революционного народничества, когда Некрасов внимательно следил за начинавшимся «хождением в народ».

Образ Гриши Добросклонова был задуман и родился именно в этой атмосфере; Гриша отличался от большин-

ства реальных участников движения только тем, что он вырос в деревне и вел пропаганду среди земляков; он был для них своим человеком и потому пользовался большим доверием, чем неизвестные пришельцы из города. Такие, как Гриша, были менее доступны для преследований, чем городские агитаторы. Недаром в одном из черновиков «Пира на весь мир» крестьяне упоминают «барина-странничка», участь которого была типична для многих других участников «хождения в народ»:

...его отправили
Потом в Москву с жандармами —
Недолго погулял!

Некрасов отдавал должное «хождению в народ», каким он его знал, общаясь со многими лицами, близко стоявшими к народническим кругам. До него доходили сведения о неудачах этого движения, об арестованных революционерах (например, в письме к Елисееву от мая 1875 года Некрасов сообщает об агитаторах, привлеченных к суду за распространение в народе литературы, возбуждающей к восстанию). Зная все это, он не только сочувствовал участникам «хождения в народ», но преклонялся перед их самоотверженностью. Он был недоволен тем, что Тургенев в романе «Новь» не сумел с должной полнотой и объективностью осветить, может быть, самую острую политическую тему эпохи. Пыпин, сидя у постели больного Некрасова, записал его слова об этом: «Тургенев не достиг своей цели... Все-таки люди были крупнее (первые), да и хождение в народ — недосказано, оно бывало не так глупо».

В стихах середины 70-х годов Некрасов стремился поддержать дело и дух революционной интеллигенции, звал ее к подвигу, доказывая важность и необходимость пропаганды среди крестьянства. Зная глубоко жизнь деревни и настроения крестьянина, он в «Пире на весь мир», в главе «Странники и богомольцы», ручался этим своим знанием, что «душа народа русского» есть самая добрая почва, которая ждет своего сеятеля: «О сеятель! приди!..»

Здесь — прямая связь с умонастроением передовой молодежи, стремившейся в деревню будить народ, просвещать крестьянство. К ней же, ко всей народнической интеллигенции, обращены стихи, так и названные «Сеятелям», с их знаменитым призывом: «Сейте разумное, доброе, вечное». Стихи написаны тогда же, в 1876 году,

в разгар освободительного движения, роста революционных кружков и организаций; очевидно, что понять их подлинный смысл можно только на этом фоне.

И другие стихи этого времени — «Молодые лошади», «Праздному юноше», «Отрывок», «Приметы», «Ты не забыта», «Молебен» — тесно связаны с проблемами революционной борьбы семидесятников, с настроениями народнической молодежи. В этих стихах — осуждение тех, кто стоит в стороне («Что сидишь ты сложа руки? Ты окончил курс науки...»); трагедия девушки, сбросившей «мертвящие оковы» друзей, семьи, родного очага и не встретившей тех, примкнуть к которым она мечтала; молитва «об осужденных в изгнание вечное, о заточенных в тюрьму» за верное служение народу.

Среди этих стихов есть и отклики на политические процессы 70-х годов. Таково стихотворение «Приметы», где имеется в виду известный факт: когда судили народников, их родные старались снять лачуги поближе к Петропавловской крепости:

Видно, вновь в какой нелепости
Молодежь уличена, —
На квартиры возле крепости
Поднимается цена.

Откликнулся Некрасов и на судебный процесс по поводу демонстрации на Казанской площади в Петербурге, организованной землевольцами. Словом, стихи этих лет красноречиво свидетельствуют: крепкие нити связывали позднюю некрасовскую поэзию с революционно-народническим движением. Гражданские и поэтические традиции 60-х годов нашли достойное завершение в эпосе и лирике последнего десятилетия жизни Некрасова.

* * *

Еще в 60-х годах критик В. Зайцев отмечал в «Русском слове», что «...вся русская молодежь читала, читает и знает наизусть стихи г. Некрасова». В следующем десятилетии популярность его стихов возросла еще больше. Он без всяких преувеличений сделался кумиром, «властителем дум» молодежи, ему поклонялись, в нем видели идеал поэта, певца народа. «...Имя Некрасова, — пишет современница, — было окружено таким ореолом, что каждый из нас, людей тогдашнего молодого поколения, жаж-

дал хоть издали взглянуть на любимого поэта, хоть послушать его на литературном чтении» (А. Степанова-Бородина).

Возле дома, где жил Некрасов, нередко бродили молодые люди в надежде увидеть его хотя бы издали. Писатель-народник Г. Мачтет, автор революционной песни «Замучен тяжелой неволей», рассказывает в своих воспоминаниях: «...мы выстаивали иногда целые часы, чтобы уловить его [Некрасова] выход на улицу или хоть один силуэт за стеклом оконной рамы...».

Воздействие некрасовской поэзии и журнала «Отечественные записки» на мировоззрение семидесятников было глубоким и органичным. Некрасов и сам тяготел к молодежи, с симпатией и сочувствием относился к начинающим литераторам, близко стоявшим к народническому движению, он встречался и беседовал с ними, хлопотал за тех, кто попадал в беду.

Тот же Мачтет сообщает о встрече с Некрасовым, которому он принес свою рукопись. Пообещав ее напечатать, редактор «Отечественных записок» начал расспрашивать гостя и с интересом выслушал рассказ об его участии в революционной работе. Мачтет сказал, что он убежденный социалист и намерен посвятить свои силы не литературе, а преимущественно «политической пропаганде».

«...Когда я кончил, он насупился и заходил по комнате, заложив руки.

— Конечно, не мне отрывать вас от того, куда влечет вас сердце, — начал он сурово и хмуро, как бы ища слов, — но я все-таки скажу вам: берегите себя... Из вас может выработаться писатель... У вас есть чувство, вы умеете любить и... — он улыбнулся. — И кусаться! — добавил он, все так же улыбаясь, причем его глаза сверкнули мне из-под сдвинутых бровей ласковой и мягкой улыбкой».

Другую встречу с Некрасовым описал товарищ Мачтета — литератор и библиограф, участник народнического движения Д. П. Сильчевский. Он так же восторженно относился к поэту, знал еще с середины 60-х годов наизусть все его стихи и, по собственным словам, «смотрел тогда на него, как на некое божество», видел в нем «величайшего из русских поэтов». «Этого же убеждения я держусь и доныне...» — писал Сильчевский в 1902 году.

В таком настроении начинающий литератор впервые в жизни пришел в редакцию, чтобы предложить свои

услуги по части библиографии. Это было в сентябре 1871 года. Некрасов встретил его ласково и постарался ободрить шутливо-участливым тоном.

— Прежде всего скажите, отец, — сказал он двадцатилетнему Сильчевскому, — почему вы думаете, что из вас выйдет непременно писатель?

«Отец» — было его любимое словечко, с которым он постоянно обращался к собеседнику, придавая этим непринужденно добродушный оттенок всему разговору.

Второй раз они встретились спустя два с половиной года на улице. Молодой литератор рассказал о своих делах и планах, а Некрасов, выслушав его, произнес слова, которые запомнились Сильчевскому навсегда:

— Вот что, отец, занимайтесь делом, а не пустяками... Не библиография важна, важно только одно — любить народ, родину, служить им сердцем и душой. Работайте, учитесь и учите других, и господь с вами!..

С этими словами Некрасов, входя в свой подъезд, крепко пожал руку молодому человеку и посмотрел своими «удивительными, несравненными» глазами. Эти глаза произвели на будущего мемуариста особое впечатление, о чем он подробно рассказывает в своих воспоминаниях. Он говорит, что известный портрет Некрасова, написанный с натуры И. Н. Крамским, хорошо передает черты лица поэта. Но одного не мог уловить Крамской — это выражения глаз Некрасова. «Трудно, даже прямо невозможно описать его глаза... они пронизывали вас насквозь, как будто читали в вашей душе, и чудесно искрились в зрачке... Эти глаза и теперь, когда уже более тридцати лет прошло после моей первой с ним встречи... вновь сверкают и искрятся передо мною... Да! таких глаз я не встречал ни прежде, ни после...»

Итак, всего две короткие встречи. И тем не менее Сильчевский утверждает, что Некрасов сыграл решающую роль в его жизни. Оказывается, в 1876 году Сильчевский был арестован за хранение запрещенной литературы, а в начале 1877 года — за «антиправительственную деятельность». И оба раза за него хлопотал уже больной тогда Некрасов. Используя свои связи, он сумел добиться освобождения арестованного литератора, которого видел всего два-три раза в жизни.

Несомненно, у Некрасова были и другие встречи и знакомства среди революционно-народнической молодежи.

Но сведений об этом по понятным причинам сохранилось немного.

Известно, что Некрасов был на дурном счету у правительства и как редактор, и как поэт. Давно зная это, Некрасов не всегда был уверен в своей безопасности. Ведь неспроста же он в конце жизни набросал в записной книжке такое четверостишие:

За желанье свободы народу
Потеряем мы сами свободу,
За святое стремленье к добру —
Нам в тюрьме отведут конуру.

Однако правительство не осмеливалось прекратить его деятельность (как оно это делало с противниками, гораздо менее опасными): слишком широка была популярность поэта, еще при жизни ставшего народным, и исключительно велик был его авторитет в русском обществе.

XV

ПОСЛЕДНИЕ ПЕСНИ

Шло время, и по-прежнему была до предела насыщена трудами жизнь поэта. И он, и его журнал были теперь постоянно в самом центре общественного внимания. Авторитет имени Некрасова, интерес к его стихам возрастали год от году. Вот его собственные слова в письме к брату Федору Алексеевичу: «Моя поэма «Княгиня Волконская», которую я писал летом в Карабихе, имеет такой успех, какого не имело ни одно из моих прежних писаний, — прочти ее. Вместе с этим письмом я велел послать тебе новую 5-ю часть моих стихов, где и поэма эта находится» (26 февраля 1873 года).

Стихи его вышли к этому времени уже шестым изданием (в шести частях), причем каждое новое издание становилось все более полным. Читательский спрос на них был очень велик. Журнал также пользовался все возраставшим успехом. «Подписка на «Отечественные записки» нынче так повалила, что печатаем второе изда-

ние, — говорится в том же письме. — Из всего этого можешь заключить, что дела идут недурно, и кабы лет десяток с костей долой, так я, пожалуй, сказал бы, что доволен. Да ничего не поделаешь! человек, живя, изнашивается как платье; каждый день то по шву прореха, то пуговица потеряется...»

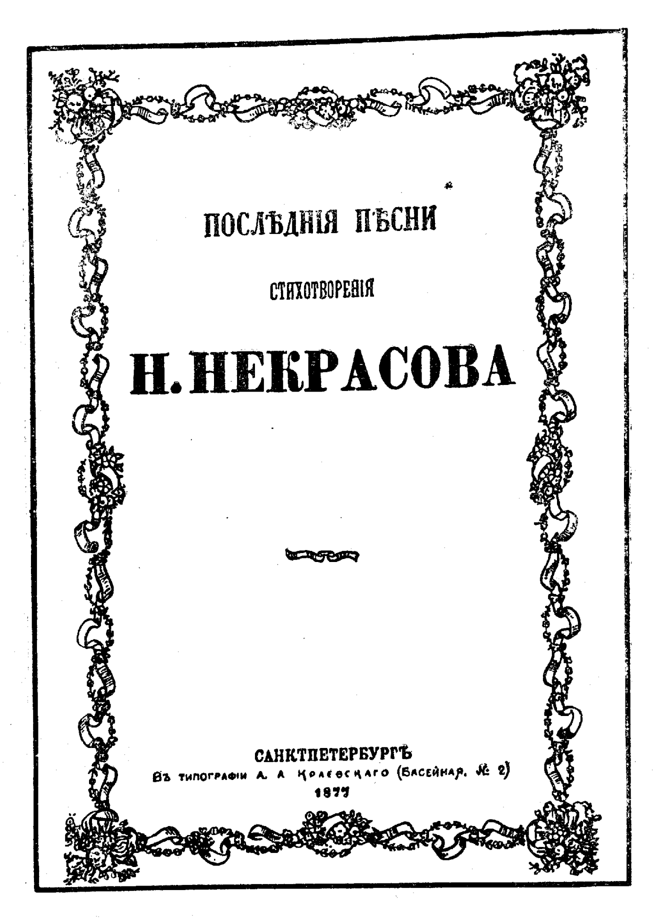
В этих словах заметна некоторая душевная успокоенность. Даже в жалобах на старость преобладают добродушно-рассудительные интонации. Его теперь меньше задевают и выпады реакционных газет, встретивших насмешками его декабристские поэмы, потому что он знает — читатель на его стороне: «Литературные шавки меня щиплют, а публика читает и раскупает».

Но и теперь он не может забыть, как эти «шавки» преследовали его на протяжении долгих лет. Не избалованный похвалами, он горячо откликается на всякое проявление внимания и сочувствия. «Спасибо Вам от души, Владимир Рафаилович, за Ваше доброе, милое письмо! — пишет Некрасов писателю и журналисту Зотову, которому послал новую книгу своих стихов. — Очень оно мне было приятно; в последнее время, кроме грубых (и безапелляционных) ругательств в печати, ничего не слышу! Да и во все 34 года не много слышал я добрых слов; люди, у которых, может быть, и нашлось бы для меня доброе слово, большею частию были моими товарищами по журнальной работе, и это обрекало их на молчание обо мне...» (21 февраля 1874 года).

Ему теперь кажется, что он стареет, и, может быть, по этой причине он все чаще обращается к воспоминаниям прошлого. Еще далеко до последней болезни, а он уже старается пересмотреть и заново оценить прожитую жизнь, мотивируя это так:

Когда зима нам кудри убелит,
Приходит к нам нежданная забота
Свести итог... О юноши! Грозит
Она и вам, судьба не пощадит:
Наступит час рассчитываться строго
За каждый шаг, за целой жизни труд.

Стремлением «свести итог» окрашены лучшие лирические стихи этих лет, неизменно обращенные и к прошлому, и к современности, к молодому поколению — юношам. Личное и общее сложно переплелось в этих стихах, отмеченных высокой зрелостью таланта, особой весомостью


ПОСЛѢДНІЯ ПѢСНИ

СТИХОТВОРЕНІЯ

Н. НЕКРАСОВА

САНКТПЕТЕРБУРГЪ

Въ типографіи А. А. Краевскаго (Басейная, № 2)

1877

слова. Большое «итоговое» стихотворение «Уныние» насыщено воспоминаниями о своей жизни, — она была трудна, потому что поэт отвергал пути, «утоптанные гладко», и «шел своим путем». По-прежнему суровый по отношению к себе, к своим ошибкам, он все надежды возлагает на читателя: «Но мой судья — читатель-гражданин. Лишь в суд его храню слепую веру».

Вслед за «Унынием» Некрасов пишет изумительную «Элегию». Эти стихи «самые мои задушевные и любимые из написанных мною в последние годы». Они посвящены А. Н. Еракову, инженеру, близкому другу поэта, ставшему мужем его сестры Анны Алексеевны.

В «Элегии» снова мысли о народе, о его судьбе и снова тот же вопрос: «Народ освобожден, но счастлив ли народ?..» Поэт отвечает здесь тем, кто считает этот вопрос устаревшим:

Пускай нам говорит изменчивая мода,
Что тема старая «страдания народа»
И что поэзия забыть ее должна.
Не верьте, юноши! Не стареет она.
О, если бы ее могли состарить годы!

Некрасов до конца жизни не оставлял этой главной своей темы и потому имел право сказать: «Я лиру посвятил народу своему. Быть может, я умру неведомый ему, Но я ему служил — и сердцем я спокоен...» Это важнейшее признание поздних лет, оно показывает, что при всех сомнениях в себе, порой болезненно острых, поэт знал: труд его нужен народу. И недаром эти строки «Элегии» приводят на память мысли и интонации пушкинского «Памятника»: и там и здесь — итоги, самооценка, мечта о посмертном народном признании.

«К нему не зарастет народная тропа», — сказано у Пушкина. «Чтобы широкие лапти народные к ней проторили пути...» — по-своему повторил ту же мысль Некрасов [1], думая о могиле, в какую сойдут заступники народные.

* * *

К 1870 году относится начало последней любви Некрасова. Ему приглянулась 19-летняя девушка из «простого звания», как тогда говорили. Она была дочерью рядового солдата (по другим сведениям — военного писаря), сирота, родом из Вышнего Волочка. Звали ее Фекла Анисимовна. Имя это казалось тогда неблагозвучным или непоэтичным, поэтому Некрасов сразу переименовал ее в Зину, и все знакомые, бывавшие в доме, называли ее Зинаидой Николаевной.

Зина отличалась открытым, веселым нравом, от нее веяло душевной теплотой, приветливостью. Были приглашены учителя, — она начала заниматься языками, музыкой. Часто бывала в театре. Некрасов был к ней всегда внимателен. Даже ненадолго собираясь с Зиной в Кара-

[1] В стихотворении «Друзьям».

биху, он просил брата: «Мне бы нужен на эти полтора месяца ройяль. Нельзя ли во избежание хлопот взять порядочный в Ярославле напрокат?» (21 мая 1870 года).

Зина быстро пристрастилась к верховой езде, охоте, научилась стрелять и стала постоянной спутницей Некрасова в его охотничьих выездах. Особенно часто они бывали в Чудовской Луке.

— Николай Алексеевич любил меня очень, баловал,— рассказывала Зинаида Николаевна в старости. — Платья, театры, совместная охота, всяческие удовольствия — вот в чем жизнь моя состояла [1].

В середине июня 1870 года они приехали в Карабиху и здесь спокойно и весело прожили лето. Вскоре по приезде Некрасов писал Лазаревскому: «Многомилейший Василий Матвеевич. У нас здесь отлично. Жаль, что Вы не можете приехать... Другой день купаюсь. Рыбы много в нашей реке Которости. Зина начинает пристращаться к ужению. Она Вам кланяется. Поклонитесь от нее и от меня всем нашим добрым знакомым...» (23 июня 1870 года).

В конце июля, хорошо отдохнув, он засел за работу, за первую из «декабристских» поэм; он задумал посвятить ее своей подруге. Это был первый большой труд, выполненный при ней. За каких-нибудь десять дней поэма «Дедушка» была закончена. Она появилась в сентябрьской книжке «Отечественных записок» с посвящением «З-н-ч-е», то есть Зиночке.

О летнем ее образе жизни в Карабихе сохранился рассказ тамошнего винокура Павла Емельяновича: «...Бывало, оденется в полный мужской костюм и отправится с Николаем Алексеевичем верхом на катанье — всегда уж он ее сопровождал сам. А то отправятся в шарабане купаться, и часто оттуда заезжали ко мне на завод пить чай. Сам-то он не больно разговорчив был, а Зинаида Николаевна все что-нибудь рассказывает и смеется...»

В 1873 году Некрасов и Зина вместе с Анной Алексеевной отправились за границу — пили воды в Киссингене, побывали в Париже, Диеппе. В Киссингене встретили много русских знакомых, в том числе Елисеевых,

---

[1] Рассказ З. Н. Некрасовой записан В. Евгеньевым-Максимовым в 1914 году в Саратове, где она провела последние годы жизни. Тогда же у нее побывал и К. И. Чуковский. Зинаида Николаевна жила в бедности и умерла 25 января 1915 года. Похоронена на Воскресенском кладбище, недалеко от могилы Чернышевского.

Михайловского, который оставил в своих воспоминаниях несколько строк о пребывании Некрасова на этом тихом немецком курорте. Михайловский заметил, что после шумной, пестрой и нескладной петербургской жизни Некрасов отдыхал и, видимо, «отмякал» в этой простой обстановке.

В двух верстах от Киссингена есть развалины древнего замка Боденлаубе, построенного в XIII веке знаменитым Миннезингером. Теперь, рассказывает Михайловский, в этих заросших зеленью развалинах ютится ресторанчик, где можно получить яйца всмятку, кофе, молоко, дешевое вино. «Однажды мы сидели там с Некрасовым. Он разговорился, рассказывал про Белинского, Чернышевского, Добролюбова, отзываясь о них почти восторженно». Он говорил грустно и задумчиво, отметил Михайловский.

Зина и позднее повсюду сопровождала Некрасова — в Карабиху, в Чудовскую Луку, позднее в Крым. Однажды на охоте произошел печальный случай: Зина случайно застрелила Кадо, любимую собаку Николая Алексеевича. По словам одного из чудовских крестьян, он любил этого черного пойнтера так, как любить собаку, может быть, и не следовало. Даже лечась за границей, он не забывал справляться о ее здоровье — просил Лазаревского, охотившегося в Чудове на тетеревов, «навести справки о житье-бытье вселюбезнейшего нашего Кадо».

Рассказывают, что любимцу разрешалось вскакивать на стол за обедом и лакать воду из хрустального кувшина. Ему подавалась жареная куропатка, которую он съедал на ковре или трепал на дорогой диванной обивке. По этому поводу аккуратный Гончаров говорил: «Надо заметить этот диван, чтобы никогда на него не садиться». Впрочем, все это сообщает П. Ковалевский, мемуарист ехидный и склонный к преувеличениям.

То летнее утро в Чудове началось прекрасно. Ехали на лошадях верхом — впереди Зинаида Николаевна в мужском костюме, в светлых рейтузах, с волосами, убранными под шляпу, сзади Николай Алексеевич, пригнувшись, еле поспевал за ней. Она только что из столицы и радуется каждой травке, каждому деревцу, на все показывает ему своим белым хлыстиком. По словам очевидца, оба смеются, веселые и довольные. А потом она одна спешит на болото, за утками. Собака — за нею. Раздаются выстрел и вой собаки. Николай Алексеевич, перепуганный и бледный, бежит туда напрямик через болото. «О настоящей дороге слышать не хочет, все платье себе

в лозняке изодрал, руки, лицо исцарапал, однако добежал, и довольно скоро добежал. Зинаида Николаевна на берегу сидит, Кадо у нее на коленях. Белые лосины ее все в крови перепачканы. Кадо чуть дышит...»

Он взял собаку к себе на колени, а Зина бросилась просить прощенья. Тогда Некрасов, по словам очевидца-кучера, сказал:

— Что ты плачешь, о чем убиваешься? Эту собаку ты нечаянно убила, а каждый день где-нибудь на свете людей нарочно убивают. Нисколько на тебя не сержусь, но дай свободу тоске моей, я сегодня лучшего друга лишился.

Кадо зарыли в саду около дачи, а Некрасов с Зиной с первым же поездом уехали в Петербург. Вскоре он заказал гранитную плиту, на которой была выбита надпись:

Кадо,
Черный понтер,
Был превосходен на охоте,
Незаменимый друг дома.
Родился 15 июня 1868 г.,
Убит случайно на охоте 2 мая 1875 г.

Эта некрасовская надпись на темно-серой плите, вросшей в землю, и теперь видна в саду, неподалеку от охотничьего домика в Чудовской Луке.

Друзья и знакомые Некрасова сразу «признали» Зину. Ей выражали свое уважение, присылали приветы в письмах Салтыков и Плещеев, и Гончаров, и А. Ф. Кони, и Лазаревский, и многие другие. Иначе относились к ней родные поэта: Анна Алексеевна и Федор Алексеевич были недовольны появлением возле их брата этой малообразованной и простой девушки; по их мнению, она была недостойна его, то есть была ему не пара. Разные намеки, холодность в обращении с Зиной — все это очень огорчало Некрасова. Он долго терпел и молчал, его пугала необходимость объяснений, которых он не переносил. «Многие люди терпят в жизни от излишней болтливости; я часто терпел от противоположного качества...» — писал он сестре, разъясняя свое молчание.

Наконец после одного разговора с Анной Алексеевной, когда она прямо высказала свое отношение к Зине, он ре-

шил, что молчать больше нельзя. «Итак, знай, — писал он сестре, — что я вовсе не сержусь и не считаю себя вправе сердиться; я считаю только себя вправе требовать от тебя, *из уважения ко мне,* приличного поведения с Зиной при случайной встрече...» (30 октября 1874 года).

Конечно, только крайняя необходимость заставила его сказать эти слова сестре, которую он любил и которой многим был обязан. Анна Алексеевна, в свою очередь, была его преданным другом, она ценила его талант и делала все, что могла, для облегчения его жизни. А позднее она много сил и труда вложила в подготовку первого посмертного издания стихов Некрасова.

А. Кони считал Анну Алексеевну женщиной умной, самостоятельной и до суровости правдивой. Такой она и была. Но чем больше ценил сестру Некрасов, тем труднее было ему примириться с ее отношением к Зине. Через некоторое время, в период тяжелой болезни Некрасова, Зинаида Николаевна проявила высокую самоотверженность, ухаживая за больным; но даже это почти ничего не изменило в сложившихся обстоятельствах.

* * *

К середине 70-х годов здоровье Некрасова начало заметно ухудшаться. Зимой 1874 года он несколько раз приглашал доктора Николая Андреевича Белоголового, жалуясь на недомогание, вялость и особенно на острую невралгическую боль. Однако он еще держался, работал, бывал в редакции, ездил на охоту.

В эту зиму он участвовал в редактировании сборника «Складчина», изданного в помощь пострадавшим от голода в Самарской губернии, и поместил в нем «Три элегии», посвященные Плещееву; готовил восьмитомное издание сочинений Островского; вел переговоры и переписку с писателями-авторами «Отечественных записок». В частности, он возобновил отношения с Достоевским, который вручил ему только что законченную первую часть романа «Подросток». По словам Достоевского, Некрасов принял его «очень дружески», а потом сам пришел к нему по прочтении «Подростка», чтобы «выразить свой восторг».

К этому же времени относится и активная деятельность Некрасова в Литературном фонде. В феврале 1875 года его избрали товарищем председателя фонда. Он бывает на заседаниях комитета, хлопочет о выдаче

ссуд, ездит по квартирам больных и нуждающихся литераторов. И наконец, сам жертвует в кассу Литературного фонда восемьсот рублей.

Лето 1875 года Некрасов с Зиной последний раз провел в Карабихе. Чувствовал он себя плохо: «...снадобье, которое мне дали доктора, нисколько не действует; желудок и печень в скверном состоянии. Не знаю, что и делать...» (29 июня 1875 года). Тем не менее он продолжал работать не покладая рук. Именно в это время, в июле, была закончена большая сатира «Современники», в которой сказался весь опыт, накопленный к тому времени Некрасовым — суровым обличителем дворянского-буржуазного общества.

Еще в поэме «Недавнее время» (1871) он под видом критики завсегдатаев Английского клуба дал остроразоблачительные портреты либералов, «салонных якобинцев», аристократических тунеядцев, старых крепостников и молодых миллионеров нового типа. Цензурные власти сразу заметили, что «клуб здесь только маска, под прикрытием которой поэту удобнее порицать порядки недавнего прошлого». Эти традиции клубной сатиры Некрасов развил в поэме «Современники». Поэт уже не ссылался здесь на порядки «недавнего времени», и самое название сатиры напоминало, что речь идет о вполне современных темах и проблемах.

«Современники» — вершина сатирического творчества Некрасова; в русской литературе они стоят рядом с бессмертными разоблачениями Щедрина. Некрасову удалось с большой художественной силой показать нарождение и разгул капиталистического хищничества в России; соединив в своих картинах клубной жизни документальную основу (почти все персонажи — реальные лица) с гротескными характеристиками, он создал колоритные образы финансовых и промышленных воротил, спекулянтов, титулованных казнокрадов и прочих рыцарей наживы с их алчностью, цинизмом и могуществом.

Самые отвратительные стороны отечественного капитализма Некрасов сумел увидеть и выставить на позор в то время, когда многие его черты еще не обрисовались достаточно ясно.

Наступивший «грязный» век чистогана и всеобщей продажности, союз набиравшей силы буржуазии с царизмом вызывали такую ненависть у поэта, что он начал свою сатиру прямо с разящих строк: «Я книгу взял, вос-

став от сна, и прочитал я в ней: «Бывали хуже времена, но не было подлей».

«Книга» — это журнал с рассказом забытой ныне писательницы Н. Хвощинской; годом раньше сам же Некрасов напечатал в «Отечественных записках» этот рассказ, где ему запомнились слова: «Были времена хуже — подлее не бывало». Они пригодились теперь поэту для острой характеристики «времени» и определили тональность всей сатиры.

Прошло еще несколько месяцев, и началось «беспрестанное хворанье». Летом 1876 года Некрасовы жили на даче в Чудовской Луке. Отсюда Николай Алексеевич писал в Карабиху: «Любезный брат Федор, мне очень плохо; главное: не имею минуты покоя и не могу спать — такие ужасные боли в спине и ниже уже третий месяц. Живу я в усадьбе около Чудова, почти каждые десять дней езжу в Гатчино, где живет доктор Боткин; что далее будет со мною, не знаю...» (11 июля 1876 года).

Через несколько дней он рассказывает сестре: «Любезная сестра Анна, я уже четвертый раз путешествую в Гатчино... Боли меня не покидают; сто дней не спал по-человечески; облегчения бывают изредка — на полдня; а то сплошная мука. Ноги слабеют» (26 июля 1876 года).

Не зная, чем облегчить болезнь, еще не вполне разгаданную, Сергей Петрович Боткин предложил лечение крымским воздухом, теплом и виноградом. Эта мысль обрадовала больного. «Числа 24—25 августа я еду в Крым; там хорошая осень, и притом там будет доктор Боткин, едущий туда с государыней; еду по его совету, он надеется меня поправить» (15 августа 1876 года).

В Ялте они остановились в гостинице «Россия». Больной был очень доволен погодой и природой, ему стало немного легче. Он начал прогуливаться пешком, ездить с Зиной в экипаже в горы. Почти каждый день бывал у него доктор Боткин.

Приглашая сестру в Ялту, Некрасов писал: «...я в моем трудном положении нахожу минуты, когда море и здешняя природа вообще покоряют меня и утоляют. Выезжаю теперь по утрам каждый день, всего чаще в Ориандy — это лучшее, что здесь пока видел; проходит в езде и прогулке от полутора до двух часов весьма приятно... Ноги плохи, сон дурен, но всё же я покрепче; кабы не прокля-

ИЗДАНІЕ ПЕТЕРБУРГСКОЙ ВОЛЬНОЙ ТИПОГРАФІИ.

ПИРЪ НА ВЕСЬ МІР

СОЧИНЕНІЕ

Н. НЕКРАСОВА.

(Глава изъ поэмы „Кому на Руси жить хорошо", вырѣза цензурой изъ ноябрской книжки „Отечественныхъ Записок" за 1876 г.; дополнена по рукописи автора).

ЦѢНА 50 КОП.

С. ПЕТЕРБУРГЪ.

1879.

тые боли — пропасть бы написал...» (19—21 сентября 1876 года).

Однако в Ялте он написал не так уж мало — здесь была почти завершена важнейшая часть поэмы «Кому на Руси жить хорошо» — «Пир на весь мир», посвященный С. П. Боткину. Это был настоящий подвиг. В «Пире» нет никаких следов болезни, усталости, наоборот, он поражает силой мысли, яркостью словесного мастерства. Это отмечали еще современники поэта. «...Поразительным является тот факт, — писал один из них (народник А. Г. Штанге), — что «Пир» написан полуживым человеком, над которым уже была занесена неумолимая рука смерти».

30 октября Некрасов возвратился домой. Временное улучшение исчезло. Доктор Белоголовый нашел «резкое похудание в теле» и усиление болей, теперь почти не прекращающихся. Больной не мог спать по нескольку ночей подряд, доходил до полного отчаяния и говорил о самоубийстве. Салтыков, навестивший его в день приезда, писал Анненкову:

«...Воротился из Крыма Некрасов — совсем мертвый человек. Ни сна, ни аппетита — все пропало... Не проходит десяти минут без мучительнейших болей в кишках... Вы бы не узнали его, если б теперь увидели. Я был хорош, а он теперь — две капли воды большой осенний комар, едва передвигающий ноги» (1 ноября 1876 года).

К тяжелому состоянию больного присоединилась, по выражению Белоголового, «новая нравственная тревога»: он узнал, что цензура запретила «Пир на весь мир», который печатался в ноябрьской книжке «Отечественных записок». Поэт начал борьбу, пытаясь отстоять свое детище, выстраданное в буквальном смысле слова. Он искалечил текст правкой ради цензуры. Затем пригласил к себе председателя Петербургского цензурного комитета Петрова и битых два часа, несмотря на сильные боли, доказывал ему всю несообразность запрещения.

По словам присутствовавшей при этом Анны Алексеевны, автор разъяснял цензору чуть ли не каждую строчку, «то подсмеиваясь над ним ядовито, то жестоко пробирая и его и всю клику». Петров терпеливо слушал, только пыхтел и отирал пот с лица, как после жаркой бани, и по временам мычал: «Да успокойтесь, Николай Алексеевич», или: «Вот поправитесь, переделаете, тогда и пройдет».

Переговоры не помогли. «Пир на весь мир» вырезали из вышедшей книжки журнала. При жизни автора он не увидел света.

После этой истории Некрасов встретил Белоголового такими горькими словами:

— Вот оно, наше ремесло литератора! Когда я начал свою литературную деятельность и написал первую свою вещь, то тотчас же встретился с ножницами. Прошло тридцать семь лет, и вот я, умирая, пишу свое последнее произведение — и опять сталкиваюсь с теми же ножницами!

Трагедию поэта, на пороге смерти вступившего в неравную борьбу с цензурой, хорошо раскрыл Салтыков в одном из писем к Анненкову: «...Этот человек, повитый

и воспитанный цензурой, задумал и умереть под игом ее. Среди почти невозможных болей написал поэму, которую цензура и не замедлила вырезать из 11-го номера. Можете сами представить себе, какое впечатление должен был произвести этот храбрый поступок на умирающего человека» (25 октября 1876 года).

Ему становилось все хуже, и в начале нового, 1877 года он решил составить завещание. Свидетелями были Салтыков, Белоголовый и Елисеев. Душеприказчиками, то есть исполнителями завещания, умирающий назначил Александра Николаевича Еракова и присяжного поверенного Алексея Михайловича Унковского.

Согласно завещанию, все права на изданные и неизданные сочинения были переданы Анне Алексеевне; часть денег от продажи сочинений должна была получить семья Чернышевского. Камердинеру Василию Матвееву была назначена пожизненная пенсия (триста рублей в год, из доходов Анны Алексеевны); крестьянин Никанор Афанасьев, служивший у Некрасова, получил две тысячи рублей; Зинаиде Николаевне предоставлялось все движимое имущество в квартире на Литейном, а также имение Чудовская Лука, которое ей надлежало поделить пополам с Константином Алексеевичем; ему же были оставлены все ружья завещателя. Не забыта была и Авдотья Яковлевна.

В завещании был один примечательный пункт: «Капитала в денежных бумагах он, завещатель, вовсе не имеет». Это вызвало некоторое удивление современников, считавших состояние Некрасова в последние годы жизни очень значительным. П. М. Ковалевский уверяет, будто незадолго до смерти Некрасов не скрывал, что у него «не одна сотня тысяч в процентных бумагах». Однако тот же мемуарист, подтверждая, что денег после Некрасова не осталось, говорит, что вопрос о том, куда они девались, был для всех тайной. И выдвигает предположение: «Или состояние опять принесено в жертву «направлению»...»

Удивлялся отсутствию денег и другой мемуарист — Л. Ф. Пантелеев. Он сообщает следующее: «В свое время в кругу лиц, близких к Литературному фонду, питалась уверенность, основанная на каких-то довольно ясных намеках самого Некрасова, что от него будет завещано фон-

ду более или менее значительный капитал. Однако в духовном завещании Некрасова ни Фонду, ни на какое-нибудь общественное дело ничего не оказалось».

Некоторые современники, по-видимому, кое-что знали или догадывались об истинных причинах исчезновения «капитала». Вслед за Ковалевским, но более определенно, говорит об этом такая осведомленная мемуаристка, как Е. А. Штакеншнейдер, впрочем, отнюдь не одобрявшая ни «направления», которому служил Некрасов, ни «нигилистов», под которыми она, видимо, подразумевала революционеров-землевольцев 70-х годов.

19 октября 1880 года, спустя три года после смерти Некрасова, Штакеншнейдер записала в своем дневнике: «Нигилисты как будто унялись... Кажется, их в самом деле много переловили. Или, что боже упаси, они только притихли, чтобы сделать какой-нибудь отчаянный прыжок. Но, может быть, и средства их поистощились. Сто семьдесят тысяч Лизогуба [1] все вышли, и завещанные Некрасовым пятьсот тысяч также. Все мне не верится, что Некрасов мог их завещать для подобной цели».

Сведения насчет Лизогуба мемуаристка передает верно. Может быть, так же справедливо и ее сообщение о Некрасове?

Верится ей или не верится, это не так уж существенно. Важно, что слухи о завещании денег ходили, и даже называлась определенная сумма; может быть, здесь и надо искать объяснение загадки, куда девались деньги, почему даже Литературный фонд не получил ни копейки по завещанию. Не пошли ли эти деньги на поддержку революционно-народнических организаций, на революционную пропаганду?

Фактов, прямо подтверждающих эти предположения, пока нет. Но самая возможность таких предположений знаменательна.

* * *

В декабре 1876 года несколько врачей, лечивших Некрасова, а также профессор Н. В. Склифосовский, собрались на консилиум и наконец определили болезнь: рак

---

[1] Д. А. Лизогуб — помещик Черниговской губернии, примкнул к революционно-народническому движению 70-х годов, для которого пожертвовал свое состояние. Был повешен 8 августа 1879 года в Одессе.

прямой кишки. Склифосовский старался успокоить больного, а коллегам сказал, что, по его мнению, неизбежна операция. Врачи согласились с этим, понимая, что хирургическое вмешательство может продлить жизнь, устранить «вероятность мучительного исхода, следующего за абсолютной непроходимостью кишки» (слова Белоголового).

Даже намек на возможность операции вызвал раздражение больного, — он наотрез заявил, что предпочитает умереть, чем подвергаться новым мучениям. Тем не менее Анна Алексеевна по совету врачей написала письмо в Вену, где у нее был знакомый, с просьбой выяснить — не согласится ли приехать в Петербург знаменитый немецкий хирург Теодор Билльрот.

Между тем болезнь прогрессировала, страдания становились непереносимыми даже для окружающих. Опий, который вводили три раза в день, уже почти не помогал. В одну из таких тяжелых бессонных ночей он набросал стихи, посвященные Зине:

Двести уж дней,
Двести ночей
Муки мои продолжаются:
Ночью и днем
В сердце твоем
Стоны мои отзываются,
Двести уж дней,
Двести ночей!
Темные зимние дни,
Ясные зимние ночи...
Зина! закрой утомленные очи.
Зина! усни!

Но Зина не могла уснуть, она оказалась преданным другом и надежной сиделкой, как и сестра поэта. Обе они, по выражению современника, соперничали в самоистязаниях, каждая старалась первой подбежать к постели. Зато, когда истекли эти двести дней и ночей, а к ним прибавились еще многие дни и ночи без сна, она из молодой и цветущей женщины превратилась в старуху.

Непостижимо, как в этих условиях, преодолевая боль, Некрасов создавал свои предсмертные стихи — «Последние песни». Он знал, что умирает, и торопился подвести итоги, высказать то, что было для него бесконечно важно. Поэтому он молил свою музу: «Могучей силой вдохновенья Страданья тела победи, Любви, негодованья, мщенья Зажги огонь в моей груди!»

У Некрасова появился досуг, которого никогда не было, и он мог неторопливо размышлять о жизни в те часы, когда не слишком мучила боль. Тогда-то, полностью отдавшись стихам, он сказал свои знаменитые слова: «Мне борьба мешала быть поэтом, песни мне мешали быть борцом».

Теперь вопреки всему стихи становились все лучше, словно его талант продолжал крепнуть и развиваться, попирая законы, по которым живет человеческий организм. Перед ним вдруг раздвинулись горизонты, прежде заслоненные повседневностью: злободневное отступало перед вечным...

В эти дни он все чаще обращался к своей музе, словно она могла разделить с ним его одиночество и тоску: «О муза! ты была мне другом, приди на мой последний зов!» — молил он, уверенный, что в музе его бессмертие и спасение.

Но муза уже была не та, что прежде. Однажды Некрасов записал в дневнике, который он начал вести во время болезни: «...муза явилась ко мне беззубой, дряхлой старухой, не было и следа прежней красоты и молодости, того образа породистой русской крестьянки, в каком она всего чаще являлась мне и в каком обрисована в поэме моей «Мороз, Красный нос». Этот небывалый в русской поэзии образ музы-смерти появился в изумительном стихотворении «Баюшки-баю»:

Где ты, о, муза! Пой, как прежде!
«Нет больше песен, мрак в очах;
Сказать: умрем! конец надежде!
Я прибрела на костылях!»

Но и об этой бредущей на костылях музе он мог с полным основанием сказать: «Сестра народа — и моя», потому что мысли о судьбе народа не покидали его и сейчас. Перед всепоглощающей любовью к народу отступали его собственные страдания; вот почему в созданном на краю могилы стихотворении «Сеятелям» нет ни звука о болезни и смерти: стихи написаны прежним Некрасовым, трибуном и борцом, они звучали как завещание: «Сейте разумное, доброе, вечное, сейте! Спасибо вам скажет сердечное русский народ...» Он сам всю жизнь был таким сеятелем и теперь знал, что ему уже не увидеть всходов.

Минуты бодрости сменялись у него унынием, особенно когда он думал «об осужденных в изгнание вечное,

Сим заявляю,
что по крайней слабости здоровья ни принимать приходящих ко мне не могу, ни отвечать на письма, которые оставляются непрочитанными

Н. Некрасов

Записка на дверях квартиры Некрасова (1877).

О заточенных в тюрьму», или об «ушедших» — о своих погибших друзьях и соратниках. Порой казались бесполезными жертвы, принесенные ими, и ненужной его собственная борьба, его страдания: «Я настолько же чуждым народу Умираю, как жить начинал».

Но еще при жизни поэта эти его мысли были убедительно опровергнуты.

В январском номере «Отечественных записок» появились стихи из цикла «Последние песни». Читатели узнали о тяжелой болезни поэта. Он стал получать письма с выражением сочувствия. К нему приходили незнакомые люди, часто студенты. Их было так много, что пришлось повесить на дверях квартиры объявление: «Сим заявляю, что по крайней слабости здоровья ни принимать приходящих ко мне не могу, ни отвечать на письма, которые оставляются непрочитанными».

Однако поток писем продолжался. Доктор Белоголовый свидетельствует, что Некрасов ежедневно получал «массу писем и телеграмм, то единичных, то коллективных из разных мест и часто глухих закоулков России, из которых он мог заключить, как высоко ценит его родина и какими огромными симпатиями повсеместно пользуется

его талант». Все это утешало поэта и скрашивало его последние дни.

Но, пожалуй, самое значительное событие произошло в начале февраля 1877 года, когда студенты нескольких учебных заведений — Петербургского университета. Медико-хирургической академии. Харьковского университета и Харьковского ветеринарного института, а также слушательницы женских врачебных курсов — составили и послали Некрасову адрес, в котором выражалось преклонение перед поэтом и гражданином. «Из уст в уста передавая дорогие нам имена, — писали студенты, — не забудем мы и твоего имени и вручим его исцеленному и прозревшему народу, чтобы знал он и того, чьих много добрых семян упало на почву народного счастья. Знай же, что ты не одинок, что взлелеет и возрастит семена эти всей душой тебя любящая учащаяся молодежь русская».

Под адресом стояло триста девяносто пять подписей: он был редким для того времени выражением общественного мнения, мыслей и чувств революционно настроенной молодежи.

Неожиданный приход трех студентов означал, что битва не проиграна. Радостно взволнованный, Некрасов слабым голосом, слегка нараспев прочитал гостям стихотворение «Вам, мой дар ценившим и любившим...», которое не вошло в сборник «Последние песни», хотя по замыслу поэта должно было стать посвящением к нему. Некрасов подарил студентам на память листок бумаги, на котором его рукою было написано это лирическое прощание с читателем: «Вам, ко мне участье заявившим в черный год, простертый надо мной, посвящаю труд последний мой!» Этот листок в рамке и под стеклом долго висел на стене университетской библиотеки.

Примерно тогда же, в январе 1877 года, Павел Михайлович Третьяков, собиратель искусства и основатель картинной галереи, заказал художнику И. Н. Крамскому портрет Некрасова. В феврале художник провел целую неделю в доме поэта, но работать почти не мог, — сильные боли не позволяли Некрасову оставаться в одном положении больше нескольких минут.

Заказчик торопил мастера: «Хорошо бы очень было, если бы удалось успеть написать Некрасова. Уж очень бы я рад был». А мастер, преодолев огромные трудности, пользуясь редкими «просветами», к концу марта уже завершал свою работу. При этом он жаловался Третьяко-

Одна из страниц адреса, преподнесенного Некрасову студентами.

ву: «Я хотел бы еще сказать Вам, что с Некрасовым чистая беда — ведь дежурить приходится каждый день, а работаешь 1/4 часа, много 1/2 часа. Ну, да теперь кажется отделался».

Кроме большого портрета, Крамской в те же дни создал картину, изображающую больного поэта в постели, с карандашом в руке, пишущего стихи. Он назвал ее «Некрасов в период «Последних песен». Поворот головы, лицо поэта на картине почти полностью повторяют большой портрет.

Во время работы Некрасов, несомненно, читал Крам-

скому свои последние песни. 3 марта он прочел стихотворение «Баюшки-баю», о котором художник отозвался так: «Просто решительно одно из величайших произведений русской поэзии!»

* * *

Испытывая нежность и благодарность к Зине за ее самоотверженность, Некрасов, несмотря на свое отчаянное положение, принял решение — обвенчаться с ней, то есть вступить в законный брак. Это было нелегко, надо было обойти церковные правила, требовавшие, чтобы подобные обряды производились в церкви.

Ераков, Салтыков и Унковский взялись за дело. По совету митрополита, к которому пришлось обращаться за разрешением, они достали через военное ведомство походную церковь-палатку и разместили ее в зале некрасовской квартиры. Пригласили священника. Больного взяли под руки и три раза обвели вокруг аналоя, полуживого от страданий. Очевидцы запомнили, что он был босой и в длинной белой рубахе.

Церковным властям еще долго не давал покоя вопрос, правильно ли совершен брак. Говорили, что священника даже постигла какая-то кара за самовольство. Но Некрасов был спокоен — Зина приобрела законные права и могла лучше устроить свое будущее. Недовольна была только Анна Алексеевна. Она писала Федору Алексеевичу: «В Фомин понедельник брат женился, это было для меня тяжелым сюрпризом, именно случилось тогда, когда я наименее этого ожидала».

Венчание произошло 4 апреля. А 11 апреля приехал из Вены Билльрот, с приглашением которого в конце концов согласился Некрасов. На следующий же день, в час дня, была сделана операция — colotomia в левой поясничной области. Она продолжалась всего около получаса и прошла успешно. Благодаря хлороформированию больной ничего не чувствовал, а, проснувшись, выразил удовлетворение, что все благополучно кончилось.

На некоторое время пришло облегчение. Он стал сидеть в кресле, похаживать по комнате. Его навещали немногие знакомые — бывали Салтыков, Плещеев, приехал Достоевский. Наконец в июле — видимо, по инициативе Пыпина — состоялось свидание с Тургеневым. Больного осторожно подготавливали к этой встрече, но он сам, узнав, что Тургенев в Петербурге, выразил желание его увидеть.

Об этом драматическом эпизоде сохранились два рассказа. Один принадлежит Зинаиде Николаевне: в старости она вспоминала, как в дверях комнаты, где лежал поэт, появился Тургенев — бодрый, высокий, представительный. Он застыл у входа, пораженный видом больного. А Некрасова охватило невыразимое душевное волнение. Он поднял тонкую, исхудалую руку и сделал прощальный жест в сторону пришедшего. Тургенев же молча благословил бывшего друга и исчез в дверях. Не было сказано ни слова.

Другое описание той же встречи сделано самим Тургеневым. Это стихотворение в прозе «Последнее свидание»:

«Мы были когда-то короткими, близкими друзьями... Но настал недобрый миг — и мы расстались, как враги.

Прошло много лет... И вот, заехав в город, где он жил, я узнал, что он безнадежно болен — и желает видеться со мною.

Я отправился к нему, вошел в его комнату... Взоры наши встретились.

Я едва узнал его. Боже! что с ним сделал недуг!

Желтый, высохший, с лысиной во всю голову, с узкой седой бородой, он сидел в одной, нарочно изрезанной рубахе... Он не мог сносить давление самого легкого платья. Порывисто протянул он мне страшно худую, словно обглоданную руку, усиленно прошептал несколько невнятных слов — привет ли то был, упрек ли, кто знает?

Изможденная грудь заколыхалась — и на съёженные зрачки загоревшихся глаз скатились две скупые, страдальческие слезинки.

Сердце во мне упало... Я сел на стул возле него — и, опустив невольно взоры перед тем ужасом и безобразием, также протянул руку.

Но мне почудилось, что не его рука взялась за мою.

Мне почудилось, что между нами сидит высокая, тихая, белая женщина. Длинный покров облекает ее с ног до головы. Никуда не смотрят ее глубокие, бледные глаза; ничего не говорят ее бледные, строгие губы...

Эта женщина соединила наши руки... Она навсегда примирила нас.

Да... Смерть нас примирила».

Летом Некрасова перевезли на дачу. Он начал писать стихи (после перерыва), читал газеты. Но видно было, что жизнь в нем угасает. «...Теперь буквально остались

одни кости, — писала Анна Алексеевна в Карабиху, — страшно смотреть, когда он становится на ноги».

В это время им еще владела мысль рассказать читателям о своей жизни, оставить свою автобиографию. С этой целью он, когда мог, диктовал сестре или брату Константину, который был все время при нем, отрывки из воспоминаний о прошлом. Иногда он даже будил их ночью, чтобы записать что-нибудь важное. В других случаях просто рассказывал какой-нибудь эпизод навестившим его знакомым и просил записать его и литературно обработать.

Осенью наступило резкое ухудшение. Оно сопровождалось полным параличом правой половины тела, частыми выключениями сознания. Впрочем, оно быстро к нему возвращалось. Однажды, чтобы испытать свежесть головы умирающего, доктор Белоголовый сказал:

— А ведь сегодня четырнадцатое декабря.

— Да, — ответил больной, — я нынче как проснулся, так и вспомнил об этом.

В начале ноября Пыпин принес Некрасову письмо Чернышевского из Сибири, в котором говорилось: «...Скажи ему, что я горячо любил его, как человека... что я убежден: его слава будет бессмертна, что вечна любовь России к нему, гениальнейшему и благороднейшему из всех русских поэтов». Прослушав эти слова, Николай Алексеевич ответил:

— Скажите Николаю Гавриловичу, что я очень благодарю его: я теперь утешен — его слова дороже мне, чем чьи-либо слова.

Он скончался в 8 часов 30 минут вечера 27 декабря 1877 года (8 января 1878 года по новому стилю).

* * *

Его гроб несли на руках до самого Новодевичьего монастыря. Собралось более пяти тысяч человек. Елисеев, описавший похороны в статье, которая была вырезана из журнала цензурой, говорит, что со времени Пушкина «едва ли ко гробу какого-нибудь писателя стекалось столько народу, сколько мы видели при гробе Некрасова... Интеллигентный Петербург с утра до ночи толпился в его квартире. Надобно было видеть, с каким непритворным горем толпы учащейся молодежи явились при его гробе, благоговейно склонялись на колени перед гро-

Въ „Отечеств. Запискахъ" я, разумѣется, читалъ стихи Некрасова, говорившіе, что онъ, милый и страдающій такою болѣзнью, ждетъ смерти. Я видѣлъ, что это не прикраса для поэтической мысли, а фактическая истина. Но я желалъ сохранить надежду, — и отчасти, [illegible] — что онъ еще справится: я думалъ, это просто старческая мнительность; она для него еще преждевременна; и, быть можетъ, медикамъ удастся сладить съ нею. Глубоко прискорбно, что смерть была уже неотвратима и близка, когда ты писалъ твое второе письмо; — если, когда ты получишь мое письмо, Некрасовъ еще будетъ продолжать дышать, скажи ему, что я горячо любилъ его какъ человѣка, что я благодарю его за его доброе расположеніе ко мнѣ, что я цѣлую его, что я убѣжденъ: его слава будетъ безсмертна, что вѣчна любовь Россіи къ нему, геніальнѣйшему и благороднѣйшему изъ всѣхъ русскихъ поэтовъ.

Письмо Н. Г. Чернышевского к А. Н. Пыпину от 14 августа 1877 года. Автограф.

бом, целовали его руки и потом сменялись новыми толпами».

Похороны носили характер политической демонстрации. В них приняли участие нелегальные народнические организации — землевольцы, южнорусские бунтари, как раз в то время собравшиеся в Петербурге. Плеханов, активный деятель тайного общества «Земля и воля», рассказывает, что это общество решило открыто явиться на похороны в качестве революционной социалистической организации. С этой целью был заказан венок с надписью на алой ленте: «От социалистов». Бунтари и землевольцы вместе с участниками рабочих кружков кольцом сомкнулись вокруг венка; они были вооружены, вспоминал Плеханов, и собирались пустить в дело револьверы, если бы полиция попыталась отнять венок силой. Но этого не случилось, полиция предпочла венка не заметить.

Над могилой говорили речи. Выступили В. А. Панаев, Достоевский, Засодимский, Плеханов и неизвестный рабочий. Самый факт выступления Достоевского над гробом Некрасова знаменателен. Говоря о его поэзии, писатель заметил, что по своему таланту Некрасов не ниже Пушкина.

«Это показалось нам вопиющей несправедливостью, — вспоминает Плеханов.

— Он был выше Пушкина! — закричали мы дружно и громко.

Бедный Достоевский этого не ожидал. На мгновенье он растерялся. Но его любовь к Пушкину была слишком велика, чтобы он мог согласиться с нами. Поставив Некрасова на один уровень с Пушкиным, он дошел до крайнего предела уступок «молодому поколению».

— Не выше, но и не ниже Пушкина! — не без раздражения ответил он, обернувшись в нашу сторону...»

Плеханов выступил от имени общества «Земля и воля» и высказал в своей речи все, что думала об авторе «Железной дороги» тогдашняя революционная интеллигенция. При этом оратор не стеснялся присутствия полиции. Он прямо указал, что Некрасов был певцом угнетенных, сказал о значении его поэзии для русской революции.

* * *

В одном из последних своих стихотворений, обращаясь к «родине милой», к будущему читателю, Некрасов воскликнул: «Как человека забудь меня — частного, но как поэта — суди...»

В этих словах — отражение «покаянных» настроений поэта, отголосок постоянно мучившей его мысли о своем будто бы неисполненном долге перед народом. И еще — сожалений о том, что его «частная» жизнь не похожа на жизнь тех, кто «жертвовал собой», «бросаясь прямо в пламя», и погибал во имя убеждений; сам Некрасов осуждал свою приверженность к «минутным благам», к которым он был, по его же словам, прикован «привычкой и средой».

Склонный преувеличивать свои «грехи» и ошибки, Некрасов считал, что родина должна «судить» о нем только по его поэзии: «И не боюсь я суда того строгого. Чист пред тобою я, мать». Конечно, в творчестве писателя проявляются самые сильные, самые светлые стороны его личности. Но было бы неправильно «судить» о Некрасове-поэте, забыв о нем, как о человеке. Разорвать эти два плана, противопоставить их друг другу невозможно. Тем более, что — при всех «грехах» — частная жизнь поэта, редактора, гражданина была теснейшим образом связана со своим временем, переплетена с боль-

шими и малыми событиями, и уже по одному этому достойна внимания и изучения. А попытки недоброжелателей и врагов очернить и оклеветать поэта, используя его слабости и ошибки, отметены самой историей.

Творчество писателя — неотъемлемая часть его биографии. Вот почему дело биографа — даже вопреки желанию самого поэта — показать историческое лицо в его целостности; не обойти, не забыть «частного» человека, а показать естественную слитность жизни и творчества художника, раскрыть их связи и противоречия.

Кто-то еще в давнее время назвал Некрасова самым русским из всех русских поэтов. В самом деле, глубокая самобытность, теснейшая связь с национальной жизнью, близость к народу, к крестьянству отличают его музу. Всеми корнями связанный с русской литературой, со своими великими предшественниками и современниками, Некрасов как поэт выделялся среди них, и это было замечено еще при его жизни. Критик «Русского слова» В. Зайцев в 1864 году писал, что Некрасов — народный поэт, что «по предмету своему, по своему герою стихотворения Некрасова не имеют равных во всей русской литературе».

Теперь, когда минуло столетие, можно сказать и больше — стихи его не имеют себе равных во всей мировой литературе, ибо ни одна литература мира не знала народного и революционно-крестьянского поэта такого масштаба, как Некрасов. Это отмечено и в зарубежной критике. После смерти Некрасова, когда интерес к его поэзии на Западе заметно увеличился, Мельхиор де Вогюэ в 1884 году писал о его исключительной самобытности: «Оригинальность его господствующая черта. Ни в какой европейской литературе в течение пятидесяти лет не было поэта более индивидуального, более неожиданного в своих мечтах, более свободного от всяких подражаний». При этом французский критик выше всего в наследии русского поэта ставил его стихи о крестьянстве.

Такое понимание Некрасова можно встретить и в современной критике. Так, Ш. Корбэ в книге «Некрасов, человек и поэт» (1948) выделяет крестьянскую тему у Некрасова. Он считает, что поэму «Коробейники» не с чем сравнить в мировой литературе, как и «Мороз, Красный нос» — подлинный шедевр мирового искусства.

Французский исследователь указывает, что Некрасов впервые «ввел мужика в семью человечества».

К этим суждениям можно добавить, что круг поэтической деятельности Некрасова, разумеется, нельзя ограничить крестьянской темой, как ни велико ее место в наследии поэта. В сферу его внимания входили и жизнь большого города, и героические страницы прошлого — движение декабристов, и высокие человеческие чувства, запечатленные в его лирике. Он был крупнейшим поэтическим выразителем национального сознания, певцом русского народа в определенную эпоху его истории. Он был великим художником русского слова, вобравшего в себя все богатства народной речи и народной поэзии. Он был редактором лучших русских журналов, в течение трех десятилетий бессменно стоявшим в центре литературного движения, принимавшим на себя все тревоги и бури своего времени. Все это — заслуги исторические, определяющие ту новую ступень, на которую поднял русскую поэзию, русскую литературу Некрасов — предшественник Блока, Маяковского, Демьяна Бедного, Твардовского.

А. В. Луначарский сказал о нем: «Не принижая ни на минуту ни великих алтарей Пушкина и Лермонтова, ни более скромных, но прекрасных памятников Алексея Толстого, Тютчева, Фета и других, мы все же говорим: нет в русской литературе, во всей литературе нашей такого человека, перед которым мы с любовью и благоговением склонились бы ниже, чем перед памятью Некрасова».

ОСНОВНЫЕ ДАТЫ ЖИЗНИ И ТВОРЧЕСТВА Н. А. НЕКРАСОВА

1821 — **28 ноября** (**10 декабря** по новому стилю) в местечке Немирове Подольской губернии в семье Алексея Сергеевича и Елены Андреевны Некрасовых родился сын Николай.

1824 — Переезд семьи Некрасовых в родовую усадьбу — село Грешнево Ярославской губернии.

1832—1837 — Годы учения в Ярославской гимназии. Знакомство с произведениями А. С. Пушкина.

1838, июль — Приезд в Петербург. Подготовка к вступительным экзаменам в университет.

Сентябрь. Появление в № 5 журнала «Сын отечества» стихотворения Некрасова «Мысль».

1839 — После неудачной попытки поступить в университет Некрасов становится вольнослушателем.

1840 — В начале года вышел из печати сборник Некрасова «Мечты и звуки», в «Отечественных записках» (№ 3) появился отрицательный отзыв Белинского о нем.

1840—1844 — Годы «литературной поденщины».

1840, февраль — Начало сотрудничества Некрасова в журнале Ф. А. Кони «Пантеон русского и всех европейских театров». Под псевдонимом Феоклист Боб Некрасов печатает сатирическое стихотворение «Провинциальный подьячий в Петербурге», а также первые рассказы «Макар Осипович Случайный» (под псевдонимом Н. А. Перепельский) и «Без вести пропавший пиита».

1841, январь — Ф. А. Кони привлекает Некрасова к работе в «Литературной газете».

Апрель, 24. Премьера водевиля Некрасова (Н. А. Перепельского) «Шила в мешке не утаишь, девушки под замком не удержишь» в Александринском театре.

Июль, 29. Смерть матери поэта Елены Андреевны. Некрасов в Грешневе.

Август — сентябрь. Некрасов в «Отечественных записках» Краевского.

Начало 1842 (?) — Знакомство с В. Г. Белинским.

1843 — Некрасов в кружке Белинского. Начало издательской деятельности. Работа над романом «Жизнь и похождения Тихона Тростникова». Публикация в «Отечественных записках» главы из романа «Необыкновенный завтрак».

1844 — Подготовка к печати сборника «Физиология Петербурга».

1845 — Вышел сборник «Физиология Петербурга» с предисловием Белинского. В первой части Некрасов опубликовал рассказ «Петербургские углы» (глава из романа «Жизнь и похождения Тихона Тростникова), во второй части — стихотворение «Чиновник».

1846 — В январе вышел «Петербургский сборник», включающий стихи Некрасова («В дороге», «Колыбельная песня»). Весной Белинский, Некрасов и Панаев покидают редакцию «Отечественных записок».

Октябрь. И. И. Панаев заключает с П. А. Плетневым договор об аренде «Современника».

1847, январь — Начало некрасовского «Современника». Влияние Белинского на идейное направление журнала. В № 1 Некрасов опубликовал «Тройку», в № 9 — стихотворение «Еду ли ночью по улице темной».

1848, февраль — март — Начало «мрачного семилетия» для русской культуры. Цензурные гонения на «Современник». **26 мая** — Смерть Белинского. Начало совместной работы Некрасова и А. Я. Панаевой над романом «Три страны света».

1849 — Осенью по распоряжению Третьего отделения за Некрасовым установлено секретное наблюдение.

1850 — Публикация в № 1 «Современника» статьи Некрасова «Русские второстепенные поэты» с высокой оценкой творчества Тютчева.

1851 — Появление в № 1 «Современника» второго романа, написанного вместе с А. Я. Панаевой, — «Мертвое озеро».

1852 — В феврале написано стихотворение в связи со смертью Н. В. Гоголя «Блажен незлобивый поэт».

Лето. Переписка с Л. Н. Толстым по поводу повести «Детство».

1853, весна — Начало болезни. «Последние элегии».

Осенью Некрасов знакомится с Н. Г. Чернышевским. Стихи: «Филантроп», «Отрывки из путевых записок графа Гаранского». Начало работы над романом «Тонкий человек».

1854 — Чернышевский становится постоянным сотрудником «Современника».

1855 — «Саша», «В. Г. Белинский», «Внимая ужасам войны», «Забытая деревня» и другие поэмы и стихотворения. Подготовка к печати сборника стихотворений. Встреча в ноябре с Л. Н. Толстым.

1856, март — апрель — Заключение «обязательного соглашения» с Тургеневым, Толстым, Островским и Григоровичем об «исключительном сотрудничестве» в «Современнике». Стихотворение «Поэт и гражданин», поэма «Несчастные».

Август — Отъезд Некрасова за границу. Н. Г. Чернышевский в «Современнике».

Встреча с А. Я. Панаевой в Вене, жизнь в Риме.

В октябре в Москве вышел сборник «Стихотворения» Н. Некрасова, имевший огромный успех. Первое предупреждение «Современнику».

1857, июль — Возвращение на родину. Поэма «Тишина». Стихотворения «В столицах шум, гремят витии», «Убогая и

нарядная». Добролюбов становится постоянным сотрудником «Современника».

1858, весна — Расторжение «обязательного соглашения». В № 9 «Современника» опубликовано стихотворение «Песня Еремушке».

1859 — В «Полярной звезде» Герцена напечатана поэма Некрасова «В. Г. Белинский». Написана первая часть цикла «О погоде».

1860 — **В январе** в «Колоколе» Герцена напечатано стихотворение Некрасова «Размышления у парадного подъезда». Написаны стихотворения «Рыцарь на час», «На Волге». Некрасов выступает на вечере в пользу Литературного фонда.

1861 — Манифест **19 февраля** об освобождении крестьян. Смерть и похороны Т. Г. Шевченко. Стихотворение «На смерть Шевченко».

Сентябрь — октябрь — Арест сотрудников «Современника» М. Л. Михайлова и В. А. Обручева.

17 ноября — Смерть Добролюбова. Речь Некрасова на похоронах.

Вышло второе издание «Стихотворений» Некрасова. Написаны «Коробейники».

1862 — Некрасов — член комитета Литературного фонда.

7 июля — Арест Чернышевского. Стихотворение «Надрывается сердце от муки». Первое запрещение «Современника».

30 ноября — Смерть Алексея Сергеевича Некрасова.

1863 — Возобновление «Современника» **(февраль)**. Выход второго издания «Стихотворений» Некрасова в двух частях. Покупка Карабихи. Появление в «Современнике» романа заключенного в Петропавловской крепости Чернышевского «Что делать?». Написана поэма «Мороз, Красный нос». Начата работа над поэмой «Кому на Руси жить хорошо».

1864 — Вышло четвертое издание «Стихотворений» Некрасова в трех частях. Написаны «Железная дорога», «Памяти Добрюбова».

1865—1866 — Первое предостережение «Современнику» за напечатанное в № 8 сатирическое стихотворение Некрасова «Газетная»; второе предостережение — за публикацию в № 12 «Железной дороги». В № 1 «Современника» — начало поэмы «Кому на Руси жить хорошо».

Покушение Каракозова на Александра II. Усиление реакции. Арест Г. З. Елисеева. «Ода Муравьеву». **В июне** — Закрытие «Современника».

1867 — **В декабре** Некрасов заключил договор с Краевским, по которому фактическое редактирование журнала «Отечественные записки» переходит в руки Некрасова, М. Е. Салтыкова и Г. З. Елисеева.

1868 — Начало некрасовских «Отечественных записок», продолжающих идейную линию «Современника». Пятым изданием выходят «Стихотворения» Некрасова. Смерть Писарева. Стихотворение «Не рыдай так безумно над ним».

1869 — Появление в № 1 и № 2 «Отечественных записок» «Пролога» и первых трех глав «Кому на Руси жить хорошо».

Второе заграничное путешествие. Привлечение В. А. Зайцева к сотрудничеству в «Отечественных записках».

1870 — Сближение с Феклой Анисимовной Викторовой — будущей женой поэта (Зина). В № 2 «Отечественных записок» печатаются IV и V главы поэмы «Кому на Руси жить хорошо», а в № 9 — поэма «Дедушка» с посвящением Зинаиде Николаевне.

1871 — Закончены первая поэма о женах декабристов — «Княгиня Трубецкая», сатира «Недавнее время».

1872 — Написана поэма «Княгиня Волконская».

1873 — В № 2 «Отечественных записок» опубликована вторая часть поэмы «Кому на Руси жить хорошо». Вышли также пять частей последнего прижизненного (шестого) издания «Стихотворений» Некрасова.

1874 — В № 1 «Отечественных записок» помещена третья часть поэмы «Кому на Руси жить хорошо». Окончание шестого издания «Стихотворений». Возобновление отношений с Ф. М. Достоевским и Л. Н. Толстым.

1875 — Избрание Некрасова товарищем председателя Литературного фонда. Работа над поэмой «Современники», появление первой части («Юбиляры и триумфаторы») в № 8 «Отечественных записок».

Начало последней болезни.

1876 — Ухудшение здоровья. Некрасов в Крыму. Завершение работы над четвертой частью поэмы «Кому на Руси жить хорошо» — «Пир на весь мир». Стихотворения «Сеятелям», «Молебен», «Скоро стану добычею тления», «Зине».

1877 — **В начале апреля** — выход книги «Последние песни».

4 апреля — Венчание на дому с Зинаидой Николаевной.

12 апреля — Операция.

Начало июня — Свидание с Тургеневым.

В августе — Прощальное письмо от Чернышевского.

Декабрь — Последние стихотворения («О, Муза! Я у двери гроба»).

27 декабря (8 января по новому стилю) — Смерть поэта.

30 декабря — Похороны на кладбище Новодевичьего монастыря в Петербурге.

КРАТКАЯ БИБЛИОГРАФИЯ

ОСНОВНЫЕ ИЗДАНИЯ СОЧИНЕНИЙ Н. А. НЕКРАСОВА

Стихотворения, т. I—IV. Спб., 1879.

Собрание сочинений под редакцией В. Е. Евгеньева-Максимова и К. Чуковского, т. I—V. М. — Л., 1930.

Полное собрание стихотворений Н. А. Некрасова под ред. К. Чуковского, 8-е издание. Л., 1934.

Полное собрание сочинений и писем под общей редакцией В. Е. Евгеньева-Максимова, А. М. Еголина и К. И. Чуковского, т. I—XII. М., 1948—1953.

Собрание стихотворений под общей редакцией К. И. Чуковского, «Библиотека поэта», Большая серия, т. I—III. Л., 1967.

ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА О Н. А. НЕКРАСОВЕ

Некрасовский сборник, тт. 1—4. М. — Л., 1951—1967.

Некрасов и театр. Л. — М., 1948.

О Некрасове, сборник статей (составитель А. Ф. Тарасов). Ярославль, 1958.

О Некрасове, статьи и материалы (составитель А. Ф. Тарасов), вып. 2. Ярославль, 1968.

Н. А. Некрасов в воспоминаниях современников, подготовка текста Г. В. Краснова и Н. М. Фортунатова. М., 1971.

Ашукин Н. С., Летопись жизни и творчества Н. А. Некрасова. М. — Л., 1935.

Зелинский В. (составитель), Сборник критических статей о Н. А. Некрасове, ч. 1—3. М., 1886—1887.

Евгеньев-Максимов В. Е., Жизнь и деятельность Н. А. Некрасова, т. 1—3. М. — Л., 1947—1952.

Гин М., Н. А. Некрасов — литературный критик. Петрозаводск, 1957.

Гин М., От факта к образу и сюжету. О поэзии Н. А. Некрасова. М., 1971.

Чуковский К. И., Мастерство Некрасова, 4-е издание. М., 1962.

Корман Б. О., Лирика Н. А. Некрасова. Воронеж, 1964.

Н. Некрасов, По следам некрасовских героев. М., 1970.

Степанов Н. Л., Н. А. Некрасов, Жизнь и творчество. М., 1971.

Груздев А., Поэма Н. А. Некрасова «Кому на Руси жить хорошо». М. — Л., 1966.

Аникин В., Поэма Некрасова «Кому на Руси жить хорошо». М., 1969.

Розанова Л. А., Поэма Н. А. Некрасова «Кому на Руси жить хорошо». Комментарий. Л., 1970.

СОДЕРЖАНИЕ

Часть первая

Часть вторая

Жданов Владимир Викторович

НЕКРАСОВ. М., «Молодая гвардия», 1971.
496 с., с илл. («Жизнь замечательных людей».) Серия биографий. Вып. 18 (506).

8Р1

Редактор *Г. Померанцева*
Серийная обложка *Ю. Арндта*
Фотомонтаж обложки и оформление *Ю. Круглова*
На обложке — рисунок современных Некрасову художников — *А. Лебедева* и *П. Соколова.*
Художественный редактор *А. Степанова*
Технический редактор *Л. Никитина*
Корректор *А. Долидзе*

Сдано в набор 17/XI 1971 г. Подписано к печати 2/XII 1971 г. А08281. Формат 84×108$^{1}/_{32}$. Бумага № 2. Печ. л. 15,5 (усл. 26,04) + 17 вкл. Уч.-изд. л. 27,8. Тираж 100 000 экз. Цена 1 р. 8 к. Т. П. 1972 г. № 365. Заказ 2274.

Типография издательства ЦК ВЛКСМ «Молодая гвардия». Москва, А-30, Сущевская, 21.